Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
BooksCafe.Net
Все книги автора
Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Всеволод КОЧЕТОВ

Чего же ты хочешь?

РОМАН

Журнал «Октябрь»
№№ 9 – 11, 1969 г.

1

Разбуженный Клауберг протянул тяжелую белую руку к часам, которые с вечера положил на стул возле постели. Золоченые стрелки показывали час настолько ранний, что невозможно было не выругаться по поводу пронзительно-визгливых ребячьих криков. Что это? Какая надобность выгнала на улицу шальных итальяшек еще до восхода солнца? Обычная их национальная бесцеремонность? Но тогда почему в мальчишеской разноголосице, образуя пеструю звуковую смесь, слышались и восторг и удивление, и Клауберг готов был подумать, что даже и страх.

– Пешеканэ, пешеканэ! – с ударениями на первом и третьем слогах выкрикивали мальчишки за распахнутым окном.– Пешеканэ, пешеканэ!

Уве Клауберг не знал итальянского. В памяти его застряло каких-нибудь несколько десятков здешних слов – с тех пор, когда он расхаживал по землям Италии, хотя, как и ныне, в партикулярном платье, но не скрывая горделивой выправки офицера СС. Было это давно, добрую треть века назад, и с тех давних дней многое, очень многое переменилось.

Прежде всего переменился он сам, Уве Клауберг. Ему стало не двадцать восемь бодрых, сильных, веселых лет, а вот уже исполнилось целых шесть десятков. Нельзя сказать, что в связи с возрастом бодрость покинула его. Нет, на это он жаловаться не будет. В общем, ему живется неплохо. Беда только в том, что через всю его послевоенную жизнь отчетливой, постоянной линией прочерчивается ожидание чего-то такого, чем все однажды и кончится; что оно такое – трудно сказать и трудно представить его себе в конкретности, но оно существует, оно где-то стережет Уве Клауберга и не дает ему жить в прежнюю уверенную силу.

При таких криках, которые слышны там, за окном, в те былые годы он вскочил бы, подобно взведенной боевой пружине; тогда его все всюду интересовало, все для него было любопытным, все хотелось увидеть, услышать,

тронуть рукой. Теперь, лежа в постели, на влажноватом от теплого морского воздуха белье, он курил невкусную итальянскую сигарету и, вглядываясь в белый потолок простенькой комнатки дешевого приморского пансиона, принадлежавшего лигурийскому рыбаку, лишь старался припомнить, что же могут означать выкрикиваемые мальчишками слова. «Пеше» – это, кажется, рыба, а «канэ» – собака. Значит, что? Собачья рыба? Рыбья собака?…

И все-таки натура себя оказала, она подняла Клауберга на ноги, тем более, что за окном кричали уже не одни мальчишки, а в общую шумиху ввязались и взрослые – мужчины и женщины.

Отодвинув легкую цветастую штору, он увидел крохотную площадь, окруженную двухэтажными домиками, которую вчера за поздним временем толком не разглядел; прямо перед его окном располагалась лавочка с выставленными на тротуар обычными итальянскими товарами – бутылями вина, банками консервов, грудами овощей и фруктов; по зеленому с фестончиками тенту, под общей вывеской alimentari, то есть пищевые продукты, были разбросаны слова pane, focaccia, salumi. которые Клауберг прочел, как «хлеб», «пшеничные лепешки», «копчености-колбасы».

Но самое главное было не в лавочке, а перед лавочкой. Перед нею в густом людском скоплении стояли двое в одежде рыбаков и держали – один за голову, охваченную веревочной петлей, другой за хвост, проткнутый железным крюком, длинную, почти двух метров, темно-серую узкую рыбину с белым брюхом. Ну как он, Уве Клауберг, сразу-то не догадался, что означают слова «рыба» и «собака», сведенные воедино! Это же акула, акула!

Когда, проделав свой обычный утренний туалет и порассматривав фотоснимки в итальянской газете, подсунутой ему под дверь, он часа полтора спустя вышел к завтраку, накрытому на террасе, пристроенной к дому со стороны моря, крупная, упитанная хозяйка с огромными черными глазами, под общей черной полосой бровей, смуглая и подвижная, тотчас воскликнула:

– О синьор! Это ужасно!

«Ужасно», то есть terribile, и, конечно, signore он понял, но дальше его познания в чужом языке не шли. Усмехнувшись горячности хозяйки, он пожал плечами и принялся за еду.

Хозяйка не унималась. Она все говорила и говорила, размахивала руками и хлопала ими себя по внушительным бедрам.

Кроме Клауберга, на террасе была еще одна гостья, молодая женщина с мальчиком лет четырех-пяти, которого она держала на коленях и кормила кашей.

– Мадам,– заговорил, обращаясь к ней наугад по-английски, Клауберг, – прошу прощения, но не смогли бы вы перевести мне то, что так темпераментно излагает эта синьора?

– Пожалуйста.– охотно откликнулась женщина.– Она говорит, что это ужасно – акула в здешних местах. Это значит, что теперь с побережья убегут все постояльцы и тогда хоть пропадай, так как главный свой доход здешние жители получают от сдачи комнат на летний сезон. Если этого не будет, им останется одно – ловить рыбу. А от продажи рыбы на берегу моря много не

выручишь.

– А что, разве акул здесь раньше не бывало?

– Никогда. Первый случай. В местечке все встревожены и напуганы.

Женщина говорила по-английски хуже, чем он, Клауберг. и с еще более отчетливым акцентом, но тем не менее ему никак не удавалось определить по ее говору, к какой же она принадлежит национальности. На Лигурийское побережье в купальный сезон съезжаются люди со всей Европы. Одни, которые побогаче, предпочитают Ривьеру с шикарными дорогими отелями на самом берегу; другие, менее состоятельные, забираются сюда, в селения восточнее Альбенги. Клаубергу было известно, что поселок Вариготта, где он остановился, – один из самых нефешенебельных. Кроме песчаного пляжа, загроможденного камнями, да морского воздуха, которого, правда, сколько хочешь, здесь ничего другого и нет.

Нет казино, нет всемирно известных ресторанов, нет крупных отелей, – только дома рыбаков да множество небольших грязноватых пансионов. Ни англичане, ни французы, ни тем более американцы сюда не ездят; разве лишь скандинавы да расчетливые соотечественники Клауберга – западные немцы. Молодая женщина эта, конечно, не немка. Может быть, норвежка или финка?

Завтракая, он то посматривал на нее, то вглядывался в тихое море. От береговой линии в морскую лазурь тянулся мол, сложенный из угловатых каменных глыб; какие-то двое, перепачканные в известке, закидывали с него удочки. По пляжу – вправо и влево от мола – в пестрых купальных костюмах бродили любители ранних морских ванн; одни еще только готовились броситься в лениво набегавшие зеленые волны, другие уже валялись в грязном, полном мусора песке, перемешанном с гравием, и подставляли свои тела утреннему солнцу.

Метрах в пятидесяти от воды по берегу пролегала автомобильная дорога, по которой накануне вечером Клауберг прибыл рейсовым автобусом из Турина в Савону. А метрах в десяти за автомобильной дорогой поблескивали рельсы электрички; в ее вагоне он из Савоны ехал в эту неведомую рыбачью Вариготту.

– Перестань! – услышал Клауберг, и ему показалось, что он даже внутренне вздрогнул от неожиданного в этих местах русского слова, брошенного молодой женщиной ребенку. – Ты меня измучил! Иди побегай! Встречай папу. Вон он идет!

С берега, от каменного мола, размахивая мокрым полотенцем, к веранде подымался молодой, одних лет с женщиной, невысокий, остроносенький, одутловатенький,– Клауберг поручился бы, что и не русский и не итальянец, а типичный мюнхенский бюргерчик. Подсаживаясь к столу, он ответил ребенку по-русски, затем заговорил с женщиной по-итальянски; она так же бойко отвечала ему то по-русски, то по-итальянски, и Клаубергу оставалось и дальше ломать голову, кто же они, эти молодые люди, уверенно говорящие на нескольких языках.

Мешая итальянские слова с немецкими, которые кое-как понимала пышная синьора хозяйка, он поблагодарил ее за завтрак, сказал, что обедать не будет, но

на ужин рассчитывает, и отправился побродить по Вариготте. Он прошел всю главную улицу, которая тянулась вдоль моря, заглядывая по дороге в витрины кафе и магазинов, останавливался возле киосков с газетами и журналами, пробегал глазами заголовки в немецких и английских изданиях. Ничего в мире нового, ничего особенного, кроме того, что уже всем известно: война в джунглях Вьетнама, перевороты в бесчисленных государствах Африки, то там, то здесь – «рука Москвы», очередная встреча партнеров по НАТО, новое явление свету не то голландской, не то бельгийской пройдошливой бабы, которая уже не первое десятилетие выдает себя за Анастасию Романову, якобы избегнувшую большевистских рук дочь последнего русского царя… Красивые женщины двигались, обтекая Клауберга слева и справа, по тротуарам; были среди них и немки – он слышал родную речь. Он слышал, как одна говорила другой:

– Маме хотелось, чтобы я поехала в Ниццу. А отец пожадничал, послал меня сюда. Если бы он только знал, какая здесь грязь в пансионе. Боже мой! Простыни какие!

– Итальянцы! – ответила ей вторая.– Чего ты от них хочешь!

Клауберг должен был найти пансион с названием «Вилла Аркадия». Он хотел сделать это самостоятельно, никого не расспрашивая о дороге. Он шел и шел, а на побережье такой виллы все не было и не было. Тогда он пересек автомобильную дорогу, за нею рельсы электрички и вступил в зеленые узкие улицы, подымающиеся на поросшие лесом и кустарником прибрежные холмы. Спросить все-таки пришлось, и кто-то из встречных, спешивших с пляжными корзиночками к морю, указал ему то, что он разыскивал. «Вилла Аркадия» стояла неподалеку от «Виллы Адриана».

О владельце «Аркадии» Клауберг вопросов не задавал. Он давным-давно знал его. Он знал этого человека еще по чудесному баварскому городку Кобургу, который стоит на приятной глазу и сердцу Клауберга баварской реке Ице. Время идет, и трудно сказать, кого Клауберг увидит сегодня. Но тогда, в те давние-давние времена, это был худенький сероглазый русский мальчик Петя Сабуров – сын русского сановника, после революции бежавшего в Германию от большевиков. Отец Пети вместе с генералом Вискупским, мужем знаменитой русской певицы Вяльцевой, служил в Кобурге одному из двух главных претендентов на утраченный Романовыми русский престол, великому князю Кириллу Владимировичу. Отец Уве Клауберга тоже какое-то время служил у этого неудачливого кобургского императора России. Но если старый Сабуров занимался дворцовыми интригами в покоях императорской виллы «Эдинбург», то старый Клауберг ведал конюшней при этой же вилле. Дети – Петер и Уве – дружили, учились друг у друга языку: Петер – немецкому, Уве – русскому. А позже… О, позже было много разного, очень много.

Клауберг прошел мимо «Виллы Аркадия», всматриваясь в ее окна, в заросший кустами двор. На террасах в плетеных старомодных креслах сидели постояльцы того, кто был некогда Петей Сабуровым, читали книги, тихо беседовали друг с другом. Самого Пети, Петера, видно не было. Чем-то, несомненно, занят, о чем-то раздумывает, строит свои планы; ему и в голову не

придет, что же ожидает его в самом недалеком будущем, что принес ему приехавший не столько из дальних далей, сколько из дальних времен его старый друг, товарищ, соратник Уве Клауберг.

Клаубергу было известно – его снабдили необходимыми сведениями,– что Сабурова ныне нет, как не было его уже и в начале тридцатых годов: после войны Петер вторично или даже чуть ли не в третий раз изменил свое имя и свою фамилию; он отыскал в семейных бумагах упоминание о прапрабабке-итальянке, во времена не то Грозного, не то Петра Великого заехавшей в Россию, и вот русский человек, десятилетиями стыдливо прятавшийся под немецкими одеждами, ныне существует в мире под фамилией той легендарной прапрабабки. Надпись на фронтоне его заведения так и объявляет каждому: «Вилла Аркадия. Владелец Умберто Карадонна».

Час спустя они – Умберто Карадонна, или Петр Сабуров, и Уве Клауберг – сидели друг перед другом во флигельке «виллы», разделенные столом, на котором живописно располагались зеленый кувшин с вином и два таких же зеленых стакана.

Ничто в трех тесных комнатках не напоминало о прошлом синьора Карадонны, о том, как писал он в Кобурге стихи, посвящая их русским монархам, о том, как позже, избрав хлесткий псевдоним, публиковал антисоветские романы и как с этими романами под мышкой вступил в отряд гитлеровских охранников, о том, как еще позже стал специалистом русского искусства сначала в ведомстве доктора Розенберга, а затем и у самого Гитлера. Если бы они сейчас оба вновь надели одежды военного времени, то против штурмбанфюрера СС, то есть майора, Клауберга сидел бы вольнонаемный специалист Гофман.

Осенью 1941 года они вместе, под водительством господина фон Хольста, «знатока Ленинграда и Советского Союза», и по личному приказанию доктора Ганса Поссе – директора государственной картинной галереи в Дрездене, которому, в свою очередь, это поручил лично Гитлер, прибыли на тяжелых военных грузовиках под Ленинград, чтобы, как только бывшая царская столица будет взята немецкими войсками, организовать отбор, упаковку и вывоз из нее в Германию наиболее ценных произведений искусства. Вольнонаемный специалист Гофман помнил Петербург дореволюционный. Он был тогда совсем маленьким мальчиком. В его памяти остались красоты невских набережных, городских парков, площадей. Он вспоминал о каких-то чудесных кондитерских на Невском проспекте и с нетерпением ждал вступления в город своего детства, в город, где отец его был когда-то богатым и сильным, имел собственный автомобиль, что в те времена служило признаком необыкновенной общественной значительности человека. Штурмбанфюрер и вольнонаемный специалист подымались на Белую башню в бывшем Царском селе, вольнонаемный специалист рассказывал штурмбанфюреру о Петрограде, пытался указывать ему на какие-то здания задернутого дымкой города; но штурмбанфюрер там особенного не видел – только эту дымку да черные клубы от разрывов снарядов и ответных пушечных выстрелов.

Теперь, спустя более четверти века после тех дней, они с трудом узнали

друг друга. Сабуров, говоря по правде, нисколько не обрадовался появлению друга детства и соратника по походу под Ленинград. Да Клауберг и не ожидал от него никакой радости. Чему радоваться? Каждый знает, что подобные встречи происходят совсем неспроста. Бывший русский Сабуров, он же немец Гофман, ныне итальянец Карадонна, не мог не догадаться, что от него кто-то чего-то ждет и чего-то потребует устами появившегося из небытия Клауберга, а ему ведь не тридцать, не сорок, а тоже за шестьдесят, он хочет спокойно дожить свою жизнь, у него жена, черноокая синьора,– тут, в этих местах, все черноокие,– два здоровенных парня, родившихся после войны, милейшая синьорина дочь, лет пятнадцати. Все они по очереди заскакивали в комнату взглянуть на незнакомого гостя, и Клауберг мог их хорошо рассмотреть.

Понимая, что в семейной суете необходимого разговора не будет, он предложил пройтись. Но Сабуров тоже, конечно, понимал, для чего Клаубергу надобна такая прогулка, и все тянул: предлагал выпить вина, жаловался на печень, говорил о каких-то пустяках.

– Чудесное место – Вариготта,– говорил он, с тревогой вглядываясь в своего нежданного гостя.– Когда-то здесь неведомо почему осели сарацины. Ты заметил, наверно, как смуглы здешние жители, какие диковатые у них глаза? От предков. Вспыльчивы, взрывчаты – того и гляди пырнут ножом. А какова архитектура? Если отъехать на лодке в море и обернуться к берегу, просто удивительно: не Италия, а скорее Алжир или Тунис. В старой части поселка, понятно. Домики без окон, прилеплены один к другому, с плоскими кровлями. Этот стиль называют стилем мориско. По имени морисков, тех самых мавританцев, которых изгнали из Испании.

Клаубергу давно была известна эрудиция человека без родины, и он знал, что, если его не остановить, рассказам подобного рода не будет конца.

– Петер… то есть как тебя?… Умберто,– сказал он, вставая из-за стола.– Надо пройтись.

По извилистым тропинкам меж камней и кустов они не спеша и без слов, чтобы не сбиваться с дыхания, поднялись на один из господствовавших над побережьем, над поселком крутых холмов. Вспугнув ящериц, Клауберг опустился на иссушенную солнцем каменистую землю и пригласил Сабурова сделать то же. Несколько минут они сидели молча, вглядываясь в зелено-голубую мягкую морскую даль. Разноцветными точками по ней были разбросаны парусные лодки, моторные катера, яхты, а совсем возле горизонта, с запада на восток, шел серый военный корабль. Даже без бинокля можно было определить, что это или линкор, или крупный крейсер.

– Как думаешь, чей? – спросил Клауберг.

– Два варианта: или итальянский, или американский. Идет в Ливорно, Скорей всего – американский. В Ливорно у них база.

Помолчав, Сабуров добавил: – Но вообще-то возможен и третий вариант. В последнее время по Средиземному морю стали, бродить советские корабли. Какой-нибудь «Марат» или «Октябрьская революция»…

– «Марат», ты забыл, что ли, еще при нас с тобой сел на грунт в Кронштадте.

– Им ничего не стоит построить новый. У них ничем не ограниченные возможности. Россия – самая могущественная страна. Война доказала это.

– Ого! – Клауберг засмеялся.– В синьоре Карадонне, в герре Гофмане вдруг заговорил товарищ Сабуров!

– Нельзя не быть объективным. Особенно в наши с тобой годы, Уве.

Вы, немцы, не были объективными, когда начинали войну против России в сорок первом году. Одно дело – желать чего-то. Другое дело – считаться с возможностями для осуществления своих желаний. У вас этих возможностей не было. Да, впрочем, и не могло быть. До войны далеко не каждый понимал, что Россия – страна будущего. Еще надеялись ее победить или приручить. Сравнительно легко побеждаются страны одряхлевшего строя, одряхлевшего народа…

– Скажем, Англия,– вставил с усмешкой Клауберг.

– Да, скажем, так,– согласился Сабуров.– Вполне подходящий пример.

– Но тогда почему же мы, немцы, ее не победили? – Клауберг откинулся спиной на землю, все с той же усмешкой смотрел в небо, где, оставляя белый след в голубизне, стрелой рассекал воздух сверхзвуковой истребитель.

– Да потому, что вы полезли на Россию! – с раздражением воскликнул Сабуров.– Иначе от этой Англии не осталось бы и мокрого места.

– Так, так. А почему же тогда и господин Сабуров-Гофман вместе с нами полез на Россию?

– Потому, что в те времена он был так же глуп, как и ваш фюрер!

Клауберг сел, всматриваясь в раскрасневшееся лицо Сабурова.

– Слышал бы эти речи штурмфюрера Гофмана группенфюрер Гиммельхебер.

– А группенфюрера Гиммельхебера, нашего блестящего генерала Эс-Эс мы с тобой, Уве, закопали в Александровском парке Царского Села, поблизости от так называемой могилы Гришки Распутина!… А во-вторых, к чему ты вспоминаешь штурмфюрера! Я вышел из войск Эс-Эс еще до войны с Советским Союзом. И если пошел туда, в Россию, то не военнослужащим, а вольнонаемным. Слушай, Уве…– Сабуров расстегнул на груди рубашку, подставляя тело солнцу. – Ты приехал неспроста. Чего-то тебе от меня надо. Чего? Говори. Я слушаю.

Клауберг закурил сигарету.

– Да, Петер, я приехал неспроста, ты прав. Мы должны с тобой снова отправиться в Россию.

Сабуров, очевидно, приготовился ко всему, он, видимо, ожидал чегото сходного с этим, а может быть, именно этого,– на лице его не было ни изумления, ни испуга – ничего.

– Мы в ней уже были,– ответил он сухо.– Как в первый раз, так и во второй нам никто там не обрадуется.

– Ты хочешь шутить. А это не шутка.

– А что же это?

– Деловое предложение.

– Чье?

– Одно очень солидное издательство… оно в Лондоне… хочет издать несколько альбомов старого русского искусства. Вспомнили тебя. Ты же знаток. Вряд ли есть кто, равный тебе. Я хорошо помню, как о тебе отзывался доктор Карл Вейкерт в Берлинском государственном музее.

– А что он сам-то понимал в искусстве России, твой Вейкерт! – Сабуров досадливо поморщился.

– Ну все-таки… Он же заведовал античным отделом. Словом, Петер, это очень и очень интересное, перспективное дело. И, имей в виду, де– нежное. – На жизнь мне и тут хватает. Я не Крупп, заводы скупать не собираюсь. Содержу эту «Аркадию», она кое-как оправдывает себя и дает кое– что на жизнь моей семье. И достаточно. Чужого «жизненного пространства» мне не надо, «восточных рабов» – тоже. – Ах, группенфюрер Гиммельхебер, ах, группенфюрер Гиммельхебер, где вы? – Клауберг рассмеялся.– Я знал тебя, Петер, как выдающегося упрямца, такой ты и сейчас. Как это в русском кинофильме? «Каким ты был, таким остался»… Тебе нужно время. Подумай денька три. Но не больше.

Тысячи семей из промышленного, загроможденного заводами фирмы «Фиат», приземисто-массивного Турина, спасаясь от городской каменной жары и духоты, устремляются с наступлением лета поближе к морю, на Лигурийское побережье. Женщины и дети обретают там как бы второй дом, мужчины же – мужья и отцы – наезжают к семьям по воскресеньям. Дорога, благо, не слишком дальняя и притом проходит по ласкающим глаз, приятным местам. На всем пространстве северной провинции, которая носит название Пьемонт, человек видит лесистые холмы с древними замками на вершинах, тоннели в склонах холмов, глубокие обрывы с быстрыми речками внизу и с виадуками, перекинутыми через них. Среди неярких, спокойных красот люди мчатся в машинах до Савоны, а от Савоны сворачивают кто направо, кто налево по берегу моря, отыскивая для себя то, что придется по вкусу и вместе с тем будет соответствовать содержимому кармана.

Семья Антониони вот уже второй десяток лет подряд снимает несколько комнат в пансионе «Аркадия» у любезнейшего синьора Карадонны. Далекая, очень далекая родственница этого господина жила в России при очень давних российских царях, хозяин «Аркадии» хорошо владеет русским языком, нисколько не хуже, чем итальянским, а это так кстати семье Антониони, потому что жена Сальваторе Антониони, синьора Мария, родом из России, отец у нее итальянец, мать – полурусская, полугречанка; в начале двадцатых годов они выехали из Советской России, но синьора Мария, которой тогда было, может быть, шесть, может быть, восемь лет, все вспоминает Одессу, где жили ее родители и где она родилась, все видит в мыслях одесские улицы с удивительными названиями: Большой фонтан, Молдаванка, Ришельевская,– и любит, очень любит, встретив русского, поговорить на русском языке. И внимание-то свое на пансион синьора Карадонны она обратила лишь потому, что увидела слово «Аркадия», которое напоминает ей приморское местечко в Одессе точно с таким же названием. При всем при том, что мать синьоры Марии была полурусской, синьора Мария не унаследовала от нее ни

российской раздумчивости, ни северной неторопливости, ни скупости на слова. Она заводила знакомства мгновенно и обожала собеседника, который мог бы слушать ее часами. Муж ее, синьор Антониони, избегал поэтому бывать дома; едва возвратясь из страхового общества, где служил экономистом, он тотчас исчезал с приятелями в бесчисленных туринских тратториях и беттолах, а бывая здесь, на взморье, с утра до вечера просиживал среди камней, уверяя всех, что ловит рыбу, но никогда никакой рыбы домой не приносил. Дети, сын и дочь, которым было уже каждому по тридцать, имели свои семьи, родителей посещали нечасто и не слишком-то баловали общительную мать разговорами, Синьора Мария яростно кидалась на свежего собеседника. Рукав Клауберга затрещал под ее цепкими пальцами, когда Сабуров-Карадонна привел своего нежданного гостя поужинать к общему столу пансиона.

Она затараторила, как сойка, наткнувшаяся на гнездо синичек.

– Синьора Мария,– остановил ее Сабуров,– синьор понимает по-русски. Можете доставить себе удовольствие.– В душе он потешался над Клаубергом, на которого, как предвидел, синьора Антониони должна была обрушить сокрушающий поток слов.

Так, конечно, и произошло. Престарелая дочь Одессы уселась напротив Клауберга и заговорила:

– О, жаль, что сейчас нет моего Сальваторе, он ловит на море рыбу. Но он придет, и вы увидите, какой это замечательный человек. Он тоже понимает по-русски. Он научился у меня. Он очень смешной. Ему мало знать значение слова, он непременно хочет узнать, а почему это так называется. Почему по-русски человек – это человек, а собака – собака? А откуда я знаю, почему? Когда стол – стол, то это потому, что он стоит. А собака?… Нет, с ним невозможно! Как я только смогла прожить эти тридцать с лишним лет! Как все выдержала! Я святая. Можете себе представить, когда пришли немцы, эти вонючие наци, он связался с партизанами. Кругом наци, а у нас спрятаны бомбы. Представляете? Потом он ушел в горы. Я знала, где он сидел со своими дружками. Я носила ему туда еду. Но это было опасно. Меня могли выследить. Вы не знаете, нет, вы не можете знать, какой это народ – немцы.

Клауберг слушал с улыбкой. Ему была забавна простодушная пожилая итальянка. Ее ругательства по адресу немцев его не смущали: в свое время он слышал и не такое. Он только сказал:

– Нет, почему же я не знаю? В какой-то мере они известны и мне.

– Тем лучше… Да вы ешьте, на меня не смотрите, я уже успела поужинать, да-да. А когда явится Сальваторе, поужинаю еще разок. Вместе с ним. Я себя не обижу. Да, так вот. Они хоть и не выследили меня, но все-таки заключили в лагерь. Я просидела несколько месяцев. Ох, и свиньи же эти наци… Когда все кончилось – война, партизаны, немцы,я сказала Сальваторе: хватит тебе твоей политики. Это немыслимо. Или я, или политика. У нас дети. Подумай о их будущем. А он знаете, что в ответ? «Потому,– говорит,– и занимаюсь политикой, что как раз думаю об их будущем». Смотрите, какой идейный, какой беспокойный человек! Ах! Как-то мы отправились с ним в Милан. Так что вы думаете? Он весь вечер протолкался возле памятника

Виктору-Эммануилу Второму на площади Дуомо и проболтал с такими же ненормальными, как он, о политике. Вы же должны знать, что вокруг этого памятника всегда дебаты.

– Ну, впрочем,– сказал Сабуров,– я там тоже бывал, и не однажды. Там говорят об экзистенциализме, о непорочном зачатии, об Иисусе Христе, о чем угодно, только не о современных проблемах.

– Мало ли что с чего начинается, синьоры! Чем кончается – вот вопрос! Бывает, хорошо начнется, а кончится очень скверно. Иисус Христос, говорите. А Иисус Христос был почти коммунистом. А чем кончилось его движение? Ватиканом! Мировым мошенничеством. Страшно подумать! Так что этот разговор длинный – что такое «о чем угодно» и что такое «проблемы современности». Вот, пожалуйста, вам история… У нас в доме, в Турине, есть семья вроде нашей. Только молодая. Он, видите ли, итальянец, марксист. А она русская. Он там, в России, чему-то учился. Встретился с ней. Полюбили друг друга. Она приехала в Италию. И что вы думаете? У них уже ребенок, ему уже пять лет. А они до сих пор спорят по политическим вопросам. Начнут, может быть, с того, что ему хочется спагетти или пиццы, а ей московских щей, а закончат тем, что он с ее точки зрения обыватель…

– Они сейчас тоже в Вариготте? – спросил Клауберг, вспомнив молодую женщину, которая утром кормила кашей мальчика и переводила ему, Клаубергу, на английский слова хозяйки пансиона об акулах.

– Да, да, конечно. Они живут у рыбака. Этот рыбак – потомок сарацинов, и жена у него сарацинка. Совершенно дикая женщина. Какой-то иностранец года два назад погладил ее вот по этому месту, так можете себе представить, она его сгребла в охапку – здоровенная бабища! – и выбросила с веранды на пляж. Муж начал было извиняться перед тем иностранцем, так она с такой силой хватила своего супруга сковородкой по голове, что тот, бедняга, две недели не мог подняться с постели.

– Я как раз тоже остановился в их пансионе,– сказал, внутренне веселясь, Клауберг.– Значит, это опасно?

– Почему опасно! Не надо лазить к ней под юбку – и все будет хорошо.

2

Поздним вечером Клауберг сидел на балкончике своей комнаты, открытом в сторону моря. Он удобно откинулся в плетеной качалке, поместив ноги на железные перильца. На полу, выложенном керамическими плитками, стояла бутылка пива; Клауберг подливал из нее в бокал и небольшими глотками, смакуя, потягивал горьковатую прохладную жидкость. Близкий берег лежал в теплом густом мраке, во мрак отступали и прибрежные холмы; лишь ярко горели голубоватым огнем фонари на главной улице поселка да на станции железной дороги. В море было бы совсем черно, если бы над ним не светились крупные средиземноморские звезды; в их почти неощутимом свете слегка отблескивало и море. Черной полосой от берега в морскую темень тянулся мол; там, на самом его окончании, едва различались силуэты людей. Их было двое.

Они сидели над водой и, должно быть, о чем-то разговаривали.

Это были те самые – итальянский марксист и его русская жена. Час назад Клауберг видел, как вышли они из дома и отправились на мол: подышать перед сном морской здоровой влажностью. О чем они говорили, этот марксист и его жена? Когда-то, всматриваясь в контуры Ленинграда, до которого было, как выражаются русские, рукой подать, он сотни раз задавал себе вопрос, сходный с этим: вот они там окружены, они дохнут с голоду, они едят клей и кожаные ремни, но они, сколько бы их ни умирало ежедневно, все равно живут, живут, сопротивляются, нет-нет да и посылают ответный снаряд или снайперскую пулю, которые делают свое дело,– крестов на кладбищах под Ленинградом все больше, все больше, кресты стоят все гуще; что же при этом думают те люди, неведомо к кому обращал свой вопрос Клауберг, о чем они говорят в своих землянках, в своих заледенелых домах? Должно быть, они настолько ненавидели их, пришлых немцев, и так были уверены в незыблемом своем, что эти ненависть и уверенность приобрели в конце концов материальную силу, в прах сокрушившую Германию Гитлера. О чем говорят эти люди на молу? О любви? Об экзистенциализме, об Иисусе Христе? Позвольте, а о чем там, под Ленинградом, думал он, Клауберг? О любви? Об экзистенциализме, об Иисусе Христе? Нет. Русские пишут в своих газетах, говорят по своему радио: «Два мира – две системы». Там, под Ленинградом,– что правда, то правда – стояли два мира, две системы. И что же – и здесь, в этом чудесном местечке Италии, на берегу теплого моря, возле древней виа Аурелия – дороги Аврелия, две тысячи лет назад прорубленной рабами в приморских скалах, тоже два мира, две системы? Ну, а как же иначе! Они правы, русские. Те, там, на молу, – один мир. Он, Клауберг, на своем балкончике, со стаканом уже согревшегося пива,– другой мир, другая система. Взглянуть если со стороны,– он ведет себя как богач, прибывший к морю от нечего делать. Но он совсем не богач, он солдат, у него есть солдатский долг, он должен, обязан уговорить этого обжившегося в семье Сабурова-Гофмана отправиться в Россию и выполнить то, что этот мир требует от живущих в нем, от существующих по **этой** системе. Они одержимы, он знает, что они одержимы, люди той системы. Но их одержимости надо противопоставить организованность, организацию. В сорок первом году, как оказалось, немцы плохо знали русских, их коммунистическую систему. Сейчас против них объединились лучшие силы этого мира. Весь опыт прошлого изучается, слагается воедино, и то, что было невозможным четверть века назад, должно, обязано быть осуществлено ныне, в не слишком отдаленные годы.

Клауберг еще не совсем знает программу своих действий: ее кто-то где-то разрабатывает. Но он убежден, что она будет умной программой, он и Сабуров, и еще кто-то третий, а может быть, и четвертый пойдут в Россию не с топорами, не с виселицами, а под хоругвями идей добра, братства народов, недаром же для этого понадобились и он, Уве Клауберг, увлекавшийся в молодости живописью, скульптурой, музыкой, и Петя Сабуров, прошедший эмигрантскую школу, в которой детей эмигрантов учили искусствам лучшие умы ушедшей от большевиков за рубеж старой России.

Россия, Россия… С ней было связано немало воспоминаний; там было много тяжелого, но было и приятное… Перед Клаубергом, откупорившим уже третью бутылку пива, поплыли женские лица, возникали одна за другой блондинки и шатенки, задумчивые и грустные, совсем непохожие на итальянскую синьору Марию, которая так гордится тем, что в ней на треть русская кровь. Клауберг никого никогда не принуждал, никому не угрожал. Он, напротив, любил одаривать, и щедро одаривать, и у него всегда было чем одаривать.

Раскачиваясь в плетенке, вглядываясь в звездное черно-синее небо, он улыбался. Воспоминания были – да, ничего не скажешь – по большей части приятные. И вдруг в одно мгновение все они оборвались. Его как бы хлестнули по лицу, хлестнули горячим, жгущим, остро проникающим в самое сердце. И глазки блондинок, губки шатенок тотчас заслонились лицом русского парня из, казалось, навсегда забытого села на дороге, которая лежала между Ленинградом и Новгородом. Лицо было круглое, в веснушках под глазами и возле носа; это были глаза звереныша, глаза рыси; если бы обладателю их развязали руки, он бы кинулся, именно как рысь, кусаться, грызться, рвать. Но он не мог кинуться, не мог кусаться. Зато он, гаденыш, сделал то, отчего на лице Клауберга до сих пор как бы ожоги…

Клауберг заерзал в плетенке, она заскрипела, затрещала под его тяжелым, сильным телом. Забытое вскипало в его душе вновь. Надо было того мерзавца бить, бить по его наглой веснушчатой роже, хлестать наотмашь, плевать ему в глаза, плевать, плевать, всю команду заставить плевать. Но Клауберг поспешил, выстрелил – и русский рысенок так и ушел на тот свет победителем. Моральным победителем. Вот, вот чего не поняли, не учли они, немцы, в сорок первом году. Моральных сил русских. Русские, даже как бы разбитые, даже отступая чуть ли не по всему фронту в тяжелые для них первые месяцы войны, ни на час не чувствовали себя побежденными; да что на час – ни на минуту, ни на секунду, ни на мгновение. Это только дураки армейские генералы могли полагать, что войны решаются числом штук пушек, числом штук танков, числом штук самолетов и числом всяких прочих единиц – будь то единице-солдаты или единице-патроны.

Подавленный скверными воспоминаниями, Клауберг не заметил, когда те двое, на молу, поднялись. Он увидел их уже под балконом, в свете, падавшем из нижних окон пансиона. Они возвращались домой. Насколько он мог рассмотреть ее утром, это была интересная женщина. Прекрасные каштановые волосы, приятное, умное лицо, очень мило сложена: не крупна, но изящна; не чета своему коротышке-итальянчику. Какие силы, какие обстоятельства сумели свести их вместе?

3

Валерия Васильева, или, как ее обычно зовут, Лера, уже три года в Италии. Отец ее – хирург одной из московских больниц. Мать – тоже врач, отоларинголог. Никто из них – ни отец, ни мать – никогда и думать не думал о

том, что в русской семье Васильевых заведется вдруг итальянка, синьора Спада, что синьора эта родит итальянчика, этакого смахивающего на отца кругленького бамбино, уедет в итальянское автомобильное царство Турин, где муж ее, синьор Бенито Спада, будет служить юристом в одной из торговых фирм. Юристом он стал, окончив Московский государственный университет, где на историческом факультете училась и Лера. Лера познакомилась с Бенито в библиотеке; в ту пору она с великими трудами осиливала немыслимо скучный латинский текст и была рада любому поводу отвлечься от своего безрадостного занятия; итальянский студент заговорил с ней на скверном русском, ей было забавно слушать и поправлять его; зато латынь он знал превосходно, и вскоре не только она, но и он получал удовольствие от того, что поправляет другого. Перебирая в памяти мелкие житейские события, трудно потом установить точно, в какой день и в какой час произошло то или иное. Начались совместные прогулки по Москве; смешно сказать, но Лере почему-то было захватывающе интересно иметь другом итальянца, настоящего итальянца, представителя того прекрасного народа, который так много дал мировой культуре. Ни острый птичий носик Бенито, ни его малый росток – Лера сама была маленькая,– ни черные глазки-гвоздики без зрачков– ничто это внешнее не могло заслонить того, что молодой итальянец был поистине энциклопедистом; он знал чуть ли не все, что можно было вычитать в книгах, притом в книгах не на одном, а на трех языках: на итальянском, английском и русском. Он, правда, не был слишком ловким и находчивым кавалером, но все же умел вовремя подарить букетик фиалок или гвоздичку, умел спеть в подходящую минуту итальянскую песенку, был внимателен и предупредителен – так синьора Спаду воспитали в итальянской школе, а до того еще воспитывали и в семье. Ну, а кроме всего этого, нельзя было скинуть со счетов и то, что Бенито Спада состоял в героической Компартии Италии, партии борцов против фашизма, партии товарищей Грамши и Тольятти. Словом, пришел день, когда Спада предложил Лере пожениться, она согласилась, и они стали мужем и женой.

– Когда это решалось, когда это происходило, никто – ни родители Леры, ни сама Лера, возможно, даже ни ее Бенито – толком не вдумался в то, что придет и иной день, день, когда жене итальянца надо будет отправляться к нему – туда, в Италию. Через два года так и получилось. У Леры уже был ребенок, сын, бамбино, на руках с которым, под горький плач матери, при полнейшей растерянности отца, расстававшегося с единственной дочерью, Лера Спада, в документах, правда, сохранившая и фамилию родителей и свое советское гражданство, отбыла из Москвы прямым вагоном на Милан.

В Милане молодых встретили родители и многочисленные родственники Бенито. Полтора десятка автомобилей помчали крикливую толпу мужчин и женщин по шикарной фиатовской автостраде в Турин.

Первые дни, первые недели Лера жила как во сне. На нее, скромную московскую студенточку, пусть даже положившую уже в карман диплом историка, но все равно по-прежнему молоденькую, воспитанную в строгом трудовом духе семьи, во всем своем сверкающем вооружении обрушилась заграница. Все было не так, как в Москве, все было по-другому. Магазины

переполнены всем, чего только ты способен захотеть. В них было даже такое, чего ты не хочешь, что тебе совершенно не нужно, а все равно ты его купишь, не удержишься не купить: уж больно оно ярко, привлекательно, само просится в руки. В магазинах тихо, спокойно, никакой толкучки, продавцы и продавщицы вежливы, улыбаются, благодарят за то, что ты зашла к ним, посмотрела на их товары. А на улицах! Хочешь поехать куда-либо – подними руку, и к тебе, откуда ни возьмись, подкатит такси. Надоело нести покупки в руках – позови мальчика, дай ему сотню-другую лир (а это очень немного– цена плохонького иллюстрированного журнальчика), и он отнесет пакеты к тебе домой. На каждом шагу роскошные рестораны с ослепительными, кинематографическими красавицами за столиками, изысканные кафе, ночные клубы, театры.

Да, так, именно так воспринимала Лера новую для нее действительность поначалу – по блеску, по сверканию, по удобствам, по возможностям. Затем, когда Бенито был устроен своими родителями на службу и семьи, а следовательно, и бюджеты семей разделились, наступило иное – трудовое, будничное – существование. Бенито снял недорогую квартиру за мостом Умберто, перекинутым через реку По, близ монастыря капуцинов, под горой, которая называется Монте Капучини. Собственно, это уже была окраина Турина. Но очень приятная окраина – зеленая, со свежим воздухом, далекая от заводов; к центру города отсюда вела прямая, без единого изгиба улица, или, точнее, проспект Corso, Виктора-Эммануила II. Вопрос средств сообщения решался еще и тем, что родители Бенито подарили ему новенький западногерманский «фольксваген», как самый дешевый в эксплуатации и неприхотливый современный массовый автомобиль. Оба они, Бенито и Лера, дней за пятнадцать – двадцать выучились водить эту действительно не знавшую капризов машину.

Праздник есть праздник. А будни, они так и остаются буднями. Праздник скоро, очень скоро кончился. Уже без всякого энтузиазма проходила Лера мимо зовущих, кричащих магазинных витрин, не восхищалась больше приветливыми улыбками старательных продавщиц; в рестораны они с Бенито попадали редко: это было слишком дорого; в ночные клубы ее тем более не тянуло: там все одно и то же и главным образом для мужчин. Значит, остаются дом, ребенок, соседи… Вечером появляется отслуживший в конторе Бенито, оживленный, суетящийся. Рассказывает о том, как его за что-то похвалил шеф, о том, как их фирма перехитрила другую фирму. Совсем как в старых романах Драйзера или Золя. Того, что ее муж состоит в партии итальянских коммунистов, Лера не ощущала. Ей до крайности странным казались его старания на пользу капиталистической фирме. Однажды она ему оказала об этом. Он удивился. Их фирма, начал объяснять, в общем-то прогрессивная, и хозяева фирмы весьма положительного мнения о служащих-коммунистах, особенно сейчас, когда устанавливаются контакты с советскими торговыми фирмами.

– Да, я понимаю,– осторожно сказала Лера,– но ведь от коммунистов, от членов партии, могут потребоваться такие действия, которые не совпадут с интересами хозяев фирмы. Как же тогда?

– В Италии это не совсем так. У нас, Лерочка, другая демократия, чем в Советском Союзе.

– Ты хочешь сказать, надеюсь, что в Италии ее нет. Что это показная, буржуазная, фальшивая демократия.

– Согласен, согласен. Ты права: «Хороша страна Италия, а Россия лучше всех». Но факт есть факт. У вас человек, исключенный из партии, уже как бы забракован не только для партии, но и для всего иного. А у нас, прости, ничего с ним особенного не случится. Хозяева еще, пожалуй, и денег ему прибавят.

Лера слушала его, смотрела на него и с огорчением думала о том, как, оказавшись в своей родной Италии, Бенито переменился. В Москве он был не таким. Он восхищался там советской действительностью, масштабами строек, массовостью образования, открытым, дружелюбным характером советских людей. От мелочей быта – он сам называл их мелочами – Спада отмахивался, говорил, что со временем все наладится, все образуется. «Унитазов-то наштамповать,– не раз слышала Лера.– несравнимо легче и проще, чем сознание людей перестроить. Россия сумела сделать это. Люди, люди – ее богатство, люди новой морали, люди нового образа жизни». И вот сегодня он совсем иной. Неужели и тут сказывается непреложная марксова формула: бытие определяет сознание? Но он же состоит в партии. Как же все это?

Лера выросла не в обывательской среде. Родители ее были коммунистами не только по документам. Они были действительно передовыми людьми. Отец – депутат Моссовета многих созывов, мать постоянно избиралась в партийное бюро в своей поликлинике, была активисткой, непременно участвовала в общественных движениях. Не отставала от родителей и Лера – была комсомолкой до самого отъезда в Италию и, не покинь она Советский Союз, наверно, тоже вступила бы теперь в партию. О жизни и деятельности коммунистов за рубежом, в капиталистических странах представление у нее было определенное. Борьба за то, чтобы в конце концов власть в этих странах взяли в свои руки рабочие и крестьяне,– для нее это не было только лозунгом первомайских демонстраций. Нет. Отец ее был сыном рабочего и сам начинал свой жизненный путь как рабочий. А мать до института была крестьянкой и дочерью крестьян-колхозников. Бенито, ей казалось, путал все. Хотя он и состоял в партии и учился в Советском Союзе, но подлинному пониманию смысла борьбы коммунистов не научился. Она относила это к тому, что происходил он из мелкобуржуазной среды, что его сознание формировалось буржуазной школой, что в детстве он ходил исповедоваться к своим католическим попам, и то и дело пыталась разъяснить ему те положения марксизма, какие, по ее мнению, Бенито не очень понимал; делала она это осторожно, дружески, очень тактично.

– Ох уж вы, советские! – смеялся он в ответ так, что за его смехом нельзя было не ощущать раздражения. – Все до одного вы пропагандисты. Пропаганда же это, Лерочка, и больше ничего. Нельзя не видеть различия наших путей. Вы шли одним путем. Мы избрали другой, более подходящий для такой страны, как Италия.

– Может быть, может быть…– Лера неуверенно пожимала плечами.

Понемногу она осваивала итальянский язык и уже могла довольно сносно объясняться в городской толпе или с соседями. Однажды ей представилась одна из соседок по двору.

– Милая синьора, что вы так робки? Не бойтесь нас, мы все тут ваши искренние друзья. Что касается меня, то я и вообще на треть русская. Меня зовут Мария. Мария Антониони. Моя мама…– И синьора Мария в течение двух или трех часов преподробнейше рассказывала Лере о своей жизни, о том, как она родилась в Одессе, как и почему покинула Россию; успела даже рассказать о своем ходившем в партизаны Сальваторе. По том она подперла крепким пальцем пухлую щеку и спросила: – А как вам нравится у нас в Италии?

– Очень нравится. Хорошая страна. Красивая.

– Значит, вы уже отказались от коммунизма?

– Не понимаю вопроса. Почему я должна от него отказаться?

– Видите ли, Италия вам нравится… Россия осталась позади…

– Ну и что?

– Как что, милая синьора! Когда у нас был дуче, все были фашистами, хотя до того все были социалистами. Вам, может быть, неизвестно, но родители вашего мужа назвали так своего первенца, вашего Бенито, именно в честь Муссолини. А вы, я вижу, этого не знали! Так знайте, милая синьора, знайте! Да, у нас так. Был Муссолини – все были фашистами. Пал его режим – все стали демократами. А у вас разве иначе, в нашей дорогой, милой моему сердцу России? Вы были у себя коммунисткой?

– Нет, я еще не была коммунисткой. То есть, я хочу сказать, что не состояла в партии.

– А у нас?

– У вас я, может быть, вступлю в Итальянскую компартию. Если примут, конечно. Я подданная все-таки советская.

– Странно, милая синьора, странно. Я вас не понимаю. На черта вам это все надо?

Разговор тот произвел на Леру самое удручающее впечатление. Конечно, все это формальности – имя и прочее, но тем не менее как-то противно, что Бенито, если соседка не врет, был назван так в честь одного из самых больших негодяев двадцатого века. Она спросила об этом у него самого.

– Да, кажется,– ответил он с небрежностью.– А что тут такого!

У вас, в Советском Союзе, сколько угодно Сталин, Владленов и тому подобных.

– Сравнил! – Лера даже закричала. – Как тебе не стыдно!

– Ну хорошо. Владлены – это оставим, это особо. А Сталины…

– Бенито! – сказала тихо, но решительно Лера.– Мы поссоримся. Ты этого хочешь?

Он помолчал немного, перекипая внутри, затем рассмеялся, пошел к холодильнику, достал бутылочку дешевой апельсиновой воды, налил в стакан, отхлебнул глоток.

– Вам, советским, непременно нужны личности и нужен их культ.

Вы любите выдумывать себе кумиров и подчиняться им. А вот мне,

например, на Муссолини наплевать.

– И мне на него наплевать! – зло бросила Лера.

– И напрасно. Он был незаурядной личностью, сильной, он превратил разоренную первой мировой войной, побежденную Италию…

– В первоклассное фашистское государство! – перебила его Лера.

– Ну и что! Может быть. Но он повел за собой народ.

– Куда? К мракобесию. К неизбежному новому поражению. И привел.

– Я его не оправдываю, пойми. Я юрист, а ты историк. Ты, ты, именно ты должна быть беспристрастной в оценке явлений истории. Но ты пристрастна, ты не объективна. А я просто констатирую. Я, я, объективен я, а не ты. Что было, то было.

– Ну и я тебе говорю: что было, то было. Дело не в личностях, а в том, какие идеи исповедуют личности, насколько эти идеи отвечают интересам народа…

– Рабочих и крестьян? – Спада улыбнулся доброй, почти ангельской улыбочкой.

– Да, да, рабочих и крестьян. И ты состоишь в партии, которая была создана, и живет, и борется именно во имя интересов рабочих и крестьян. И если ты не способен отдать всего себя этим интересам, то зря ты связался с коммунистами, зря, Бенито.

– Видишь ли, я не могу быть таким узколобым фанатиком. В наше время коммунистическое движение трактуется иначе, чем полсотни лет назад. Да и тогда это было сложным. Интересы рабочих и крестьян – это одно, а интересы народа в целом – другое. В наше время, если власть в свои руки возьмут только рабочие и крестьяне,– это, поверь, будет для страны бедствием. И тогда, в семнадцатом году, было бедствием. Твои рабочие и крестьяне уничтожили, изгнали из России всю интеллигенцию, и вот по сей день путаются в варварстве, в дикости, в бескультурье. Что они выиграли?

– Мне вполне достаточно того, что они выиграли! – гордо ответил Лера.– Донецкий шахтер Васильев и новгородская крестьянка Степанова, родившие меня, не только сами в результате семнадцатого года стали интеллигентами, но, видишь, и дочери своей дали высшее образование. А таких миллионы и миллионы… Весь народ…

– Милая! – Спада взял ее за руку, поцеловал мизинец.– Я не хотел тебе говорить этого раньше, но ты сама меня вынуждаешь сказать. Став врачами, твои родители не стали интеллигентами. Твой просвещенный общественник отец, уж прости, до сих пор не умеет пользоваться ножом и вилкой, как, впрочем, и те миллионы, миллионы…

– Бенито! – Лера отдернула руку.– Это подло в конце-то концов. Подло и мерзко. Ты сидел за нашим столом, тебя так радушно угощали…

– Потому и говорю. С полным знанием дела.

Лера опустилась на стул, закрыла лицо руками и заплакала. Ничего иного она сделать не могла. Она была беззащитна. Она не могла кинуться на вокзал и немедленно уехать в Москву, к отцу с матерью, к подругам, к друзьям – к своим.

Спада понял, что сотворил неладное. Он принялся целовать ее волосы, шею, плечи, она ни на что не реагировала, как бы ничего не слыша. Плакала и плакала, тихо и горько. Слезы катились сквозь пальцы, которыми она закрывала лицо, по рукам, по локтям, капали на платье из очень красивой, но искусственной ткани, и в том месте, куда они падали, на этой ткани вздувались бурые пузыри. Лера ничего не видела, не слышала, не понимала. Только на короткое мгновение у нее мелькнула мысль о том, что и их жизнь с Бенито построена на искусственной основе и со временем от столкновений с повседневностью покроется столь же безобразными, уродливыми пятнами, пятна сольются в одно, общее, огромное, и то, что было таким радужным, станет мерзко-бурым. Но и эта мысль улетучилась. Осталась пустота, глухая пустота вокруг. Суетился Бенито, подавал стакан с водой, протягивал рюмки с каплями, таблетки. Она и не отказывалась их принять и не принимала. Леру парализовало сознание чуждости всего, что ее окружало, и полной невозможности позвать на помощь.

Так было единственный раз, еще в первые месяцы ее жизни в Италии. Больше это не повторялось. Спаду, видимо, изрядно напугало тогдашнее ее состояние, которое продолжалось с добрую неделю. Никакие врачи не могли ничего поделать. Постепенно прошло само. Жизнь мало-помалу влилась в привычное русло. Особых огорчений она не приносила, но не было и особых радостей. То ребенок здоров, то ребенок болен. То они живут в Турине, то выезжают на море. То у них не хватает денег, то вдруг деньги появляются. Друзей, постоянных, таких, которые приходят к тебе в дом и приглашают к себе, у Бенито не было. Если и встречаются супруги Спада с кем-то иной раз, то лишь в кафе, в ресторане, когда каждый сам платит за то, что съел и выпил. Привыкнуть к этому Лера никак не может. В ее родительском доме любили застолье, любили угостить, любили гостей, и гости у них не переводились.

– Это глупо,– даже по такому поводу высказался Бенито,– тратить деньги подобным образом. Они не совершают оборота. Это пропащие деньги. Поэтому-то в вашей стране постоянные нехватки. Слишком любите гостей, обожаете их угощать.

Лера возражать не стала: к чему? Все равно не поймет. Она часто писала домой. Не потому, что хотела рассказать о своей жизни, нет,– свою жизнь она изображала совсем не такой, какой была та на самом деле,– писала бодрое, веселое, передавала услышанные или вычитанные из газет чужие истории, но только не то, чем терзалась сама. Смысл ее частых писем заключался в том, что ими она понуждала и своих занятых родителей писать почаще. Их письма она перечитывала десятки раз, она их хранила, запирала под ключ, ей не хотелось, чтобы в них заглядывал Бенито. Это было ее, только ее, и ничье больше. Это была часть ее семьи, часть Москвы, часть Советского Союза.

После двух лет жизни в Италии она завела разговор о том, как было бы хорошо съездить в Москву, повидать родителей.

– Можно,– ответил Бенито равнодушно,– люди ездят. Но знаешь, сколько это стоит? – Он назвал внушительную сумму в лирах, в миллионах лир.

– Мне бы могли помочь родители,– сказала она не очень уверенно.

– Да? Родители? – Бенито рассмеялся.– А кто им даст валюту? Доллары, фунты, марки, лиры, кроны? Увы, милая, ваш рублик пока что легковесен. Слишком много прогуливаете денег, обесцениваете их.

Лера и тут промолчала. Ей уже давно не хотелось спорить с мужем. Уж слишком с большим удовольствием демонстрировал он перед ней превосходство всего того западного, которое он противопоставлял ее родному, советскому.

4

О том, что он Петр Сабуров, а не Умберто Карадонна, на всем свете знали теперь, может быть, только он сам да вот этот, откуда-то прикативший товарищ его детства и юности, соратник по войне, по экспедициям за музейными ценностями в Советский Союз, Уве Клауберг, который, как ни странно, своей фамилии не изменил, хотя когда-то в петлицах его черного френча сверкали острые молнии эсэсовца, что само по себе причисляло Клауберга к разряду военных преступников и грозило весьма серьезными последствиями. Даже жена Делия не ведала о прошлом своего Умберто. Она знала – с его слов,– что когда-то кто-то из его прародителей долго прожил в России, отчего в семье Карадонны знание русского языка было традиционным.

Всю правду могла ведать, без сомнения, церковная книга, в которой мартовским днем 1907 года учинили запись о том, что у тайного советника Аркадия Николаевича Сабурова был рожден младенец мужского пола Петр. Но та книга осталась в Петербурге, в церкви святого Покрова, которую еще до войны снесли, надо полагать, вместе с книгой, и на ее месте, как явствует из недурно изученных в свое время Сабуровым планов Ленинграда, образовали Тургеневскую площадь; да еще где-то в Александро-Невской лавре стоят фамильные склепы предков Петра Сабурова, но и они свидетельствуют лишь о том, что был такой род Сабуровых в России, а куда, когда и при каких обстоятельствах подевался последний отпрыск этого рода, камни склепов рассказать не в состоянии.

Да и сам-то Петр Аркадьевич позабывать стал о том, кто он есть на самом деле. Если его окликнуть «Петр» или, как это делает Клауберг, «Петер», он не обернется, не откликнется, он даже не подумает, что это окликают его. Рефлекс на имя, полученное при рождении, утрачен. Он Умберто, он Карадонна. Он даже когда думает, то итальянские слова и понятия в его мыслях мешаются с немецкими, а не с русскими. И только во сне, когда ему видятся картины детства – такое еще иногда случается,– он сам и все окружающие его говорят на языке отцов. Он слышит в таких снах колокольные звоны, церковные хоры, бряк масленичных бубенцов, шум веселий в отцовских имениях, голос охотничьих рогов. Но это бывает даже не иногда, а просто очень редко, может быть, в несколько лет один раз. А так что же?… Когда после войны, пометавшись по странам Европы, где повсюду на первых-то порах весьма активно вылавливали гитлеровских преступников, к которым по союзническим декларациям мог быть причислен и он, поскольку до похода в Советский Союз

носил форму эсэсовца, а во время похода занимался в России вульгарным грабежом, некто Гофман, бывший Сабуров, умело воспользовался случайно попавшими к нему в руки бумагами австрийского итальянца Карадонны, выдал себя за патриота, за блудного сына, который захотел покинуть Австрию и поселиться в «родной» ему Италии, купил по случаю и по дешевке вот здесь, на Лигурийском побережье, полуразрушенный дом, восстановил его на кое-как сохраненные средства и думал прожить тихо, незаметно, как чахлая травинка в расщелине меж камнями. Но жизнь есть жизнь – увлекся дочерью местного рыбака Делией, женился, народил детей. Предприимчивая Делия превратила старый дом в пансион; Сабуров не удержался, в память отца назвал его «Аркадией», с чем, не зная причины, охотно согласилась Делия, так как подобные названия были самыми распространенными на побережье.

Что он теперь? Ничто. Кто? А никто. Праздный, старый Умберто Карадонна. Всеми делами пансиона ведает энергичная, предприимчивая Делия, тоже, видимо, как хозяйка того пансиона, в котором остановился Клауберг, – праправнучка сарацинов, в незапамятные времена селившихся в здешних местах; к делам она приучила и дочь и обоих сыновей, ни какой наемной прислуги в доме почти нет – двое-трое, на самой черной работе.

Что делает в этом муравейнике он? Представительствует, попивает с наиболее значительными постояльцами вино, ведет интеллектуальные разговоры. Делия охотно переложила нелегкое это дело на его плечи. По ее мнению, он, Умберто, чертовски учен и на свете нет ничего такого, чего бы он не знал и о чем бы не мог завести, а тем более поддержать интересный разговор. Приезжим это его качество было известно, и нередко среди них оказывались такие, которые любили побеседовать с синьором Умберто Карадонна об искусстве, о политике, о том, за кем же будущее: за Советским Союзом или за Соединенными Штатами. Он настолько категорически высказывается всегда в пользу Советского Союза, что даже если у кого и возникли бы сомнения по поводу его прошлого, то никто не стал *бы* это прошлое искать в недрах разбитой гитлеровской Германии. Скорее подумали бы, что синьор Карадонна был связан с Россией, что и подтвердилось бы хроникой старинной итальянской семьи Карадонна, по воле судеб долгие десятилетия мыкавшейся на чужбине в Австрии: была, была прапрабабка при дворе какого-то из свирепых русских царей, старые бумаги подтверждают это. Оборонительный круг замыкался, с каждым новым годом опасность быть узнанным, разоблаченным ослабевала, отступала, и Сабуров уже давно перестал ее ощущать и о ней думать.

Клауберг все вновь разбередил. Все вспомнилось, все ожило. Не те времена, конечно, вспомнились, которые предшествовали баварскому, городку Кобургу – не пальба на улицах Петрограда, не зарева пожаров над русской столицей, не стоны и плачи в гостиных семейного особняка на Английском проспекте по поводу того, что их величества государь император и государыня императрица, как простые смертные, арестованы, посажены под замок, окружены солдатней; не метания сановной семьи в автомобиле меж Петроградом и Псковом; и не Псков, не крестьянские убогие дома, и не Рига, не

грязные гостиницы того суматошного времени. Все это было позже расписано в романах, которые он публиковал под вычурным псевдонимом Серафима Распятова, и затем прочно забыто. Появление Уве Клауберга всколыхнуло в памяти иное – то, что началось в жизни семьи с приездом в Кобург. Перед Сабуровым замелькали лица генералов, сановников, придворных дам, крутившихся вокруг Кирилла Владимировича с Викторией Федоровной, и среди них были его отец и его мать – родители Пети Сабурова. Из пронафталиненных сундуков памяти повалили шумные монархические сборища, съезды, совещания, речи генерала Краснова и генерала Врангеля. Атмосфера была такая, будто еще день-два, может быть, неделя – и все они вернутся туда, в Россию, в Петербург, и Сабуровым вновь можно будет поселиться на Английском проспекте, при скрещении которого с улицей Садовой стояла церковь святого Покрова.

Но из императорского двора на кобургской вилле «Эдинбург» ничего не вышло, жизнь растрепала, рассеяла армию Врангеля по странам Балканского полуострова, генерал Краснов принялся строчить антисоветские романы, в духе которых, равняясь на него, выступил и молодой Сабуров под псевдонимом Распятова, генерал Кутепов, на которого Врангель свалил заботы об остатках русской армии, осел в Брюсселе и принялся за мемуары. Над Германией тем временем разгоралась звезда «великого человека» – Адольфа Гитлера. «Следует обратить взоры сюда,– сказал однажды отец, Аркадий Николаевич, в семейном кругу,– Это, конечно, немцы, исконные враги России. Но что поделаешь, если россияне погрязли в распрях и в грызне, утратили все, какие еще имели, силы. Может быть, немцы, этот – в чем никак им не откажешь – организованный народ, помогут нам вернуть родину. Неславно возвратиться в родной дом в окружении немецких штыков, но лучше так, чем никак».

Да, да, а кончилось все тем, что искусства, которым Петя обучался в эмигрантской школе, были оставлены, молодой русский парень вступил в какой-то отряд «для охраны национал-социалистских ораторов», а позже даже натянул черный мундир СС. Отец с матерью к тому времени умерли и не видели, не знали, как их сын, дабы не позорить старинную русскую фамилию, перестал быть Сабуровым, а стал Гофманом, Петером Гофманом, офицером войск СС фашистской Германии.

С появлением на вилле «Аркадия» плотного, коренастого, нестареющего Клауберга Сабуров почти физически стал ощущать на себе хорошо подогнанную, как-то даже распрямляющую его спину и грудь форму эсэсовца – черное облегающее сукно, лакированные ремни, высокие сапоги. Воспоминание не было приятным – просто его невозможно было избежать, сидя напротив этого человека.

До второй мировой войны пребывание в войсках СС было добровольным, и Сабуров с началом войны вышел из них. По рекомендации старых друзей отца, его, знающего искусство России, взял к себе, в свое ведомство, доктор Розенберг, в беседе с которым Сабуров провел не один час. Альфред Розенберг любил щегольнуть знанием теории искусств. «Значение русской школы,– в раздумье сказал он в какой-то день, уже во время войны против Советской

России,– в должной мере еще не понято, нет. Дело в том, что русская икона отражает не только духовный мир русского человека, но и духовный идеал всего народа. Идеал этот, как мы сейчас убеждаемся, заключен в том, что народ всегда должен быть сжат в кулак. Вот вы привезли репродукции с новгородских фресок. Что изображено в главном куполе собора святой Софии? Образ Вседержителя, Пантократора. Обратили вы внимание, господин Гофман, на правую руку этого русского господа бога? Кисть ее сжата в кулак! А утверждают, что древние живописцы, которые расписывали собор, изо всех сил старались, чтобы рука эта была благословляющей. Днем они сделают так – она благословляет, утром приходят – пальцы сжаты вновь! Ничего не могли поделать, оставили кулак. Что же он означает для новгородцев? То, что в руке их спасителя зажат сам град Великий Новгород. Когда рука разожмется, город погибнет. Кстати, он, кажется, уже погиб? Нет? Еще кое-что сохраняется? Ну, а дальше, когда мы займем город Владимир, то в одном из его соборов вы можете увидеть… Ах, вы там бывали в детстве! Детские впечатления обманчивы. Вы должны будете вновь все осмыслить. Так вот, господин Гофман, на древней фреске того собора во Владимире древний русский живописец Рублев изобразил множество святых, которые все вместе, где-то на вершине небесного свода, зажаты в одной могучей руке. К этой руке со всех сторон стремятся сонмы праведников, созываемые трубами ангелов, трубящих кверху и книзу.– Собеседник Сабурова помолчал, как бы готовясь сказать главное.– Ну, поняли теперь весь смысл этих знаменитых русских икон, вы, знаток русского искусства? – продолжал он.– Эти трубачи провозглашают собор, объединение всего живущего на земле, как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов и человеков, объединение, которое должно победить разделение человечества на нации, на расы, на классы. Отсюда и идея коммунизма, дорогой мой друг! Надо истребить, до конца, до ровного, гладкого места все русское. Тогда будет истреблен и коммунизм».

Сабуров поражался, слушая речь Розенберга. Не могло так быть, чтобы это пришло ему самому в голову, уж слишком сложным было такое наисовременнейшее чтение древних русских икон. И кроме того, память, в свою очередь, забеспокоила Сабурова. Где-то, когда-то он нечто подобное уже слышал или читал. Он порылся в русских изданиях и нашел брошюру, выпущенную в Петербурге во время первой мировой войны. Князь Трубецкой писал в ней о русских иконах именно то, что, как свое собственное, изложил Сабурову доктор Розенберг. Только, конечно, у русского князя ни слова не было о коммунизме. Старый князь проливал слезы умиления по поводу того, что русский человек «и мухи не обидит», и если ему надо объять мир вот таким общим великим собором, единым вселенским храмом, то лишь для того, чтобы агнец мог идти рядом со львом и дитятя поглаживал бы их по шерстке. И тогда вспомнились слова, сказанные о Трубецком бароном Врангелем за столом у них, у Сабуровых, в Кобурге: «Евгений Николаевич умер где-то на Кубани, когда мы отступили от Краснодара. Его скосил сыпной тиф, царство ему небесное! В последний раз я видел его во здравии в Кисловодске, когда Покровский вешал большевиков. Мы имели удовольствие вместе созерцать это,

прямо скажем, наиприятнейшее из зрелищ».

Тогда, оказывается, чтобы отстоять Россию с ее иконами, надо было вешать большевиков. Теперь, чтобы спасти мир от коммунизма, надо, выходит, не только вешать большевиков, но и истреблять до ровного, гладкого места все русское. Работы прибавилось. Сабурова коробило от слов Розенберга. Как может тот говорить все это ему, русскому! Он же знает что господин Гофман никакой не Гофман, а самый что ни на есть русский человек Сабуров. Но вот говорит. Почему? Потому, несомненно, что если Сабуров сначала пачкал бумагу под псевдонимом Серафима Распятова, а в конце концов согласился стать эсэсовцем Гофманом, то он отрекся от своей России и уже никакой он не русский. Вот что натворил отец, завещавший сыну обратить взоры в сторону немцев, которые, может быть, помогут им, Сабуровым, вернуть родину, родной дом. В итоге утрачены не только дом и родина, но даже само право называться русским.

Это было больно, это было трудно. Но поток событий нес Сабурова в своем жестком русле, и среди скал, обрамляющих берега потока, не было тех отлогих мест, где бы можно было зацепиться за берег, выбраться на сушу, на землю, на травку, под солнце. В составе специальной команды Сабуров продолжал помогать немцам грабить Россию, изымал русские ценности уже не по ведомству Розенберга, а лично для Гитлера, который задумал в провинциальном городке Линце, знаменитом лишь тем, что поблизости от него, в местечке Браунау, родился и вырастал этот фюрер Германии, создать «музей фюрера», музей «имперского значения», а следовательно, самый лучший и самый богатый в мире. Сабуров участвовал в том, что имело секретное название «операция Линц». Надо было ограбить весь мир и так обогатить подину Гитлера.

Что ж, те, кто сегодня послал Клауберга к нему, правы: древнее искусство России Сабуров знает, он знает, что надо отобрать для репродуцирования, и он, если бы взяться за дело, смог бы сделать его хорошо. Но взяться – это значит снова пойти в опасные похождения.

В трудных размышлениях и в колебаниях прошли два дня из тех трех, какие Клауберг отвел ему для обдумывания поручения лондонского издательства. На третий день, с утра, чтобы ничто его не отвлекало, он вывел из гаража свой легкий «фиат», сказал Делии, чтобы не ждала скоро, и каменистыми путаными дорогами отправился в горы. В горах всегда пустынно, в отличие от побережья, истоптанного туристами и приехавшими отдыхать к морю. Дороги в горах не имеют асфальтового покрытия, это дороги древних римлян, они поэтичны, они хранят в себе тайну веков, но до невозможности дерут резину, и потому автомобилист на них редок.

Сабурова не мог не удивить серый «фольксваген», оставленный в одном из хорошо разведанных им ущелий, возле начала тропинки, которая круто меж кустарниками уходила к вершине холма двух, а может быть, и трех сотен метров высотой, куда он не раз поднимался, чтобы видеть добрую часть Лигурийских Апеннин и море чуть ли не до Корсики. Он поставил «фиат» рядом с «фольксвагеном» и из самого что ни на есть простейшего любопытства

стал подниматься по тропинке вверх. Он давно не взбирался на этот холм, на вершине которого природа предупредительно раскидала с десяток удобных для сидения плоских камней.

Подъем давался трудно, труднее, чем в прошлый раз: годы делали свое дело. Двадцать лет назад, впервые оказавшись в этих местах, он мог бегом взбежать на стометровую высоту. А вот ползет теперь, подобно гусенице, пядь за пядью, отдувается, дышит шумно, как старый насос.

Наверху, на камнях, которые он считал своими, чуть ли не его собственными, сидела женщина. Да еще какая, кто! Это была русская жена того самого итальянского коммуниста, который живет в Турине в одном доме с семьей его многолетнего постояльца Сальваторе Антониони, Несколько раз в сезон она посещает синьору Марию в пансионе «Аркадия», и синьора Мария давно представила их друг другу – синьора Умберто Карадонна и синьору Леру Спада.

– Здравствуйте, синьора Спада! – сказал он по-русски, смущаясь. – Простите меня, пожалуйста. Чертово человеческое любопытство подвело. Полез посмотреть, кто это на моем любимом местечке, и вот помешал вам. Простите великодушно. Сейчас уйду. Отдышусь только.

– Ну что вы, что вы, синьор Карадонна! Как раз я могу уйти, ес ли это ваше местечко. Вам надо отдохнуть. Вы совсем бледный и весь в поту.

– Сердце, сердце, милая синьора.

Сабуров сел на камень поодаль от Леры. Дышал, дышал, утирал платком лоб, шею, грудь под рубашкой.

Чтобы не изводить себя и его неловким молчанием, Лера сказала:

– В чужой стране всегда приятно встретить человека, говорящего на твоем родном языке. А вы еще так хорошо говорите по-русски. Совсем как у нас в Москве говорят. Акцент незначительный. А построение фразы, произношение слов – все очень верное и свободное.

– Рад слышать. Спасибо.– Сабуров взглянул на нее. Синьора Спада смотрела на него приветливо, открыто. Ах, если бы она знала, подумалось ему, кто перед нею.– А все-таки,– заговорил он,– страна эта, хоть у вас здесь и муж и ребенок, все равно вам чужая.

– Что сделаешь! – Она развела руками.– Родина есть родина, никуда от нее не денешься, даже во сне вижу Москву. Да, нелегко выходить замуж за границу. Не я одна говорю так. Я знаю еще двух русских женщин, живущих замужем в Италии. И они тоскуют. Может быть, со временем, когда не станет границ…

– При полном коммунизме? – с улыбкой сказал Сабуров.

– Да, конечно. Не раньше. Вот тогда это чувство, может быть, исчезнет. И то вряд ли. Многие, давно живущие в Москве, никак не могут позабыть свои маленькие родные городки и деревушки. Нет-нет да и отправляются проведать родину. А ваша родина, синьор Карадонна, здесь, в Лигурии? – неожиданно для него спросила Лера.

– Нет-нет,– слегка растерялся он,– не здесь. Я родом из Австрии. Мои родители и прародители жили там с прошлого века. Так случилось. Но сам-то я

бродил по свету, много где побывал, прежде чем осесть в здешней спокойной гавани.

– Досадно, знаете, то, – сказала Лера, – что для меня в вашей Италии не нашлось работы по специальности. Я историк, окончила университет в Москве. Но нас, советских историков, здесь признавать не хотят. Вы, говорят, слишком по-своему представляете историю. Без Ленина, без Октябрьской революции вы ни шагу. Нам такие историки и такая ис тория не нужны.

– Историк! – сказал в раздумье Сабуров.– Да, историку не просто найти сейчас место. История – поле политической борьбы. Каждый к своей пользе стремится ее обратить. Я вот тоже учился…– Сабурова потянуло на откровенность, ему захотелось поговорить с этой миловидной соотечественницей без оглядок, без всяких вторых и третьих смыслов.– Я специалист по искусству. В том числе, знаете ли, и по вашему, русскому.

– Что вы говорите! – Лера обрадовалась. – Как замечательно.

– Чего же замечательного? Какой во всем этом толк, если я самый обыкновенный хозяин самого обыкновенного пансиончика, каких в Италии десятки тысяч. Мы с женой и детьми выколачиваем лиры из постояльцев, вот и все мое искусство и видение искусства.

– Нет-нет, все равно. Человек, знающий искусство, уже богач. А у вас, итальянцев, такое искусство, такое искусство! – Лера захлебывалась от восторга, говоря об искусстве Италии. Она тоже кое-что успела повидать. Она побывала в Венеции, в Милане, во Флоренции, в знаменитейших картинных галереях, в музеях, дворцах, соборах этих городов, о виденном в них она могла говорить и говорить часами.

Сабурова же тянуло поговорить о России, о Москве и особенно о Ленинграде. И чем больше они говорили, чем больше он узнавал нового от этой русской, тем определенней становилось его отношение к предложению Клауберга. Дело совсем не в том, что некое лондонское издательство хорошо заплатит, помимо возмещения расходов, связанных с поездкой в Москву, в Ленинград, еще в какие-то советские города; может быть, даже и во Владимир, о котором когда-то говорил Розенберг. Нет, не в том дело. А в том оно, что ему-то, Сабурову, уже столько лет, что за ними на очереди стоит немощь, и это последний срок и последняя возможность увидеть родину, Россию, тот Петербург, во имя надежды на возвращение в который он стал треть века назад штурмфюрером Гофманом. Больше таких возможностей не будет никогда, и терять эту, последнюю, глупо.

Они просидели на холме больше часа и, кажется, очень понравились друг другу.

Солнце приближалось к зениту, оно пекло, от него надо было спасаться. Вместе спустились они с горы, держась за руки: Лере думалось, что так будет легче пожилому итальянцу, а ему было просто приятно держать в руке ее мягкую и в то же время упругую ладонь. Вместе ехали обратно к морю по каменистым дорогам – он сзади, она впереди, чтобы ей не глотать пыль от его «фиата». Возле виллы «Аркадии», мимо которой проходила дорога с гор, остановив машины, расстались друзьями, горячо приглашали друг друга

приходить в гости.

Делия сказала ему:

– Эге, мой милый, с какими молоденькими бабенками ты стал хороводиться. Я-то что, мне ревновать поздно. Я с неверным мужем рас правлюсь просто: сама наставлю ему рога. А вот если ее муженек-коммунист узнает про ваши дела, он революцию устроит, и все наше добро полетит в тартарары. Будет советская Италия, всех загонят в колхоз, жены будут общие, одеяла в сто метров…

– В шестьдесят аршин, – с угрюмой усмешкой сказал Сабуров, вспомнив, как сорок пять лет назад в Кобурге расписывалась новая жизнь Советской России.

– Я в этих русских мерах не разбираюсь,– прокричала Делия уже издали.– Одно знаю: на черта нам их порядки! Они моего отца укокошили там, на каком-то своем Дону.

– Потому и укокошили, что хотели видеть тот Дон своим, русским, а не итальянским. И на черта твой отец туда полез? – в тон ей ответил Сабуров. – Был уже не мальчик, мог сообразить, что порядочные люди так далеко воевать не ходят. Порядочные люди защищают свое, а не на чужое накидываются.

Она этого, очевидно, уже не слышала, иначе не оставила бы без ответа.

Вечером в установленный час пришел Клауберг. По старой Аврелиевой дороге они отправились над морем в сторону от Вариготты.

– Что ж, – сказал Сабуров,– в твоих предложениях, Уве, есть кое-что меня интересующее. Давай поговорим о практическом. На какой это срок? Каков маршрут, объем работы?…

– Вижу, что ты остался человеком, Петер… тьфу!… Умберто! Главное, что ты дал согласие. Все остальное – в Лондоне. Я сам мало что знаю, честно тебе говорю. Только в общих чертах. Одно точно: надо выезжать как можно скорее. Я и так излишне много времени потерял. Можешь послезавтра?

– Вот чудак, Уве, послезавтра! – Сабуров еще ни разу с тех пор, как обосновался в Италии, не выезжал за границу и не ведал, как это на до делать.– Сколько всяких формальностей предстоит пройти… И за десять дней не управишься.

– Формальности предоставь мне. Думаешь, Клауберг три дня на песочке жарился? Я не миллионер, чтобы даром терять столько времени.

– Ну, смотри, полагаюсь на тебя. Пойдем пивка выпьем? Я еще не за был, какой ты его любитель. Мне отлично помнится тот всегда полный жбан, который стоял на конюшне у твоего отца.

5

Как Сабуров и предполагал, из Италии они смогли выехать только через полторы недели. Их задержали не столько формальности – этих формальностей почти и не было,– застопорилось все из-за Делии. Темпераментная сарацинка категорически не желала отпускать своего Умберто в неведомые края. «Ты чудной,– кричала она на весь двор,– разинешь рот, тебя автобусом и задавит».

«Езжу же я в Турин или в Милан, не задавили до сих пор». «Милан! Турин! Это свои города. Можешь и в Рим скатать, если приспичило. А там, в этой Европе, страны сумасшедшие – всякие Англии и Франции, в них другие порядки. В Англии, говорят, слева направо ездят, как женские блузки застегиваются». Сабуров попытался пошутить: «В твоих блузках я, кажется, не запутался, Делия, сумел разобраться, на какую сторону они расстегиваются». «А! Когда это было в последний раз! Позабыл, поди, голубчик, и это!» Она махнула рукой.

Утешило ее в конце концов то, что Умберто почти не взял денег с их общих текущих счетов: там-де, куда они едут, все будет готовое. О том, что он и Клауберг из Англии отправятся в Россию, конечно, и слова не было обронено, об этом не должен был знать никто. «Знаешь,– сказал Клауберг, – всякий едущий в Россию возбуждает повышенный интерес к себе: что, как да зачем? Лишняя шумиха, лишнее внимание. А „добрая, старая“ Англия – катайся туда, сколько хочешь».

Как бы там ни было, а через полторы недели под бурный плач Делии и всех его детей: младшей – кокетливой Паулы, среднего – крепыша Аугусто и старшего – медлительного Витторио Сабуров отбыл с Клаубергом поездом из Савоны на Турин, Милан, Венецию и дальше – через Австрию, Германию до Копенгагена, чтобы сесть в самолет и по воздуху перемахнуть через море до Лондона. Сабуров во всем полагался на Клауберга – тот выбирал и маршрут, и способ передвижения, и класс вагонов. Сабурова удивляло, но это было именно так,– Клауберг явно и искренне радовался старому товарищу и с удовольствием опекал его, «дремучего итальянского провинциала, двадцать лет по-обывательски просидевшего в захолустной возлепляжной дыре». С огорчением он говорил лишь о том, что деньжат у них скудновато – едва добраться до Лондона, зато за проливом «зеленых бумажек» будет во! И чиркал пальцем над головой, как делают русские, когда хотят сказать о переизбытке чего-либо.

Сабуров раздумывал: в сущности, кто такой этот Уве Клауберг? Ну, был в эсэсовцах. Так и он, Сабуров, был когда-то в эсэсовцах. Многие в те довоенные годы шли в СС лишь потому, что пребывание в их рядах приносило с собой уйму материальных и общественных выгод. Кто из простых людей Германии знал в середине двадцатых годов, и даже в начале тридцатых, что отрядики «для охраны национал-социалистских ораторов», гитлеровские формирования черномундирников, превратятся позже в ударный, бесчеловечный оплот фашизма. Эсэсовец – это еще не гестаповец, говорил себе когда-то Сабуров и все же посчитал необходимым сбросить с себя эсэсовский мундир, как только Гитлер начал войну в Европе: уж слишком страшны были деяния подразделений СС.

Многое припомнилось Сабурову за долгие часы стояния возле вагонного окна поезда, увозившего его из Италии на север Европы. Если отец Клауберга, старый конюх с больным от пива сердцем, лупил своего Уве солдатским ремнем за намерение стать офицером СС, то отец Петра Сабурова, монархист, ревнитель памяти государя-императора Николая II и верноподданный

местоблюстителя российского престола Кирилла Владимировича, подталкивал сына: иди, иди, против большевиков все средства хороши.

Вместе с Клаубергом они, семнадцатилетние, охраняли на митингах гитлеровских бонз, по приказу высшего начальства занимались оба организацией и военным обучением детей русских эмигрантов; к началу войны из этих парней, у которых русский язык путался с немецким, составилось целое формирование, вошедшее впоследствии в «Русскую освободительную армию», вокруг которой закружились было всякие князья, бароны, генералы, полковники царской России.

Словом, черный мундир с молниями в петлицах долгое время нисколько не стеснял Петра Сабурова, как тем более он не стеснял, конечно, и Уве Клауберга. Война по-разному изменила их отношение к этому мундиру. Клауберг еще больше им возгордился, а он, Сабуров, не выстоял перед тем, что называется общественным мнением. В эмигрантских кругах пошли горячие споры о том, как относиться к немцам, напавшим на Россию, и в той обстановке русскому человеку ходить в эсэсовцах было по меньшей мере не совсем ловко. Сабуров вышел из СС, но судьба его уже прочно была связана с немцами, и в частности с Уве Клаубергом. В группу, осуществлявшую «операцию Линц», первым взяли Клауберга. Еще в сороковом году. Вот тогда-то он впервые и побывал в Италии. А позже, когда гитлеровцы пошли на Восток, на Россию, в «операции», покинув ведомство Розенберга, стал участвовать ион, Сабуров. В составе эйнзацштаба они прошли с зондеркомандами доктора Ганса Поссе всю Польшу, тщательно обшаривая ее панские поместья, полные драгоценных произведений искусств, прошагали всю Прибалтику, с чудесными городами Вильнюсом, Каунасом, Ригой, Таллином, весь Северо-Западный край оккупированной России и почти два года просидели под Ленинградом в ожидании вступления немецких войск в Ленинград. Если с кем и приходилось схватываться чуть ли не в рукопашную, то с такими же, поистине вездесущими зондеркомандами хорошо знакомого Сабурову рейхслейтера Розенберга, состав которых рядился не в черную, а в коричневую форму, с командой господина Риббентропа, во главе которой стоял штурмбанфюрер СС барон фон Кюнсберг, с отрядом рейхсмаршала Геринга, возглавлявшимся статс-секретарем Каем Мюльманом. Но то были сражения особого рода, рукопашные тут были символическими, а делалось все очень просто: кто кого опередит, кто кого обманет, кто у кого вырвет из лап.

Что ж Уве? Сабуров искоса посматривал на своего спутника. Ему была известна только одна смерть, в которой прямо и непосредственно был повинен Клауберг. Это, было в селении Чудово под Ленинградом. В руки солдат зондеркоманды попался русский парень, пытавшийся поджечь школу, в которой расположилось на ночлег подразделение Клауберга. Клаубергу взбрело в голову, что парень подослан партизанами, и Клауберг решил во что бы то ни стало добиться от парня признаний в этом. Трудно сказать, зачем ему понадобилось соваться не в свое дело, но вот сунулся. Парень, конечно, говорить ничего не стал, его принялись мучить, и кончилось все весьма прискорбно: русский плюнул в лицо Клаубергу, а взбешенный Клауберг не

нашел ничего лучшего, как выхватить «вальтер» и застрелить парня. Вежливый и просвещенный эсэсовский генерал – группенфюрер Гиммельхебер говорил потом Клаубергу: «Это хорошо, это замечательно, герр штурмбанфюрер, русских свиней надо уничтожать, стрелять их, вешать, топить в колодцах – как угодно и где угодно, никто вам мешать не будет. Но нельзя допускать, герр штурмбанфюрер, чтобы немецкому офицеру плевали в лицо. Немецкий офицер с оплеванным лицом – это, это… не нахожу слов, герр штурмбанфюрер. Все требует умения. Даже убивать, и особенно – убивать, тоже уметь надо. Это надлежит делать изящно, красиво, артистично. Я не доволен вами, прошу прощения».

Потом, когда их шеф доктор Поссе умер, кажется, в декабре 1942 года, и на его место пришел доктор Фосс, комиссар картинной галереи в Дрездене, Клауберга из-под Ленинграда вскоре перевели: это стало тем более возможным, что к тому времени борьба групп и отрядов разных ведомств из-за ценной добычи прекратилась, так как рейхслейтер Розенберг создал единый общий центр ограбления культурных ценностей России и нужда в столь энергичных исполнителях, каким был Клауберг, ослабла. Во главе всего дела был поставлен рейхсамтлейтер Герхард Утикаль. Он считал, что людей на оккупированных территориях надо как можно чаще перебрасывать с места на место, чтобы они не сживались с определенным узким мирком и не утрачивали бы общих перспектив. Что делал Клауберг после 1942 года, Сабуров не знал. Но до того времени вот только одна смерть могла быть поставлена ему в вину непосредственно. Это тоже не столь уж мало – убить хотя бы и одного человека. Но ведь война же, столкновения двух народов, двух армий, – что поделаешь.

Границу Австрии с ФРГ пересекли возле Зальцбурга. Тут только Сабуров понял, как хитроумно составил маршрут их поездки Клауберг. За окнами вагона стали мелькать покрытые ухоженными лесами холмы, меж ними – светлые луга и долины, реки и речки Баварии, так знакомой, так памятной им обоим. По сути дела, здесь начиналась не только родина Клауберга, но и те места, где вырос и он сам-то, Сабуров. Это были незаурядные места. К северу от Зальцбурга простиралась Верхняя Австрия, там, в местечке Браунау, родился Гитлер: к югу от Зальцбурга, рукой подать, был известный всем Берхтесгаден – «орлиное гнездо» Гитлера; рядом и Линц, где немецкий фюрер предполагал создать свой мировой музей сокровищ искусства.

Детство, юность, молодые годы вставали перед Сабуровым при виде баварских лесистых холмов и долин, оживали времена наивных мечтаний, надежд, глупых планов возвращения на родину под охраной немецких пехотных дивизий и тяжелых артиллерийских батарей. С приходом Гитлера к власти русские эмигранты массами уезжали из Германии во Францию, из Берлина и других немецких городов в Париж, в Париж. Но отец Сабурова, связавший свою судьбу с генералом Красновым, с подобными Краснову сторонниками германской ориентации, не стронулся с места. «Да, они, немцы, всегда были врагами России,– говорил он упрямо.– Но в мире, как видите, все перемешалось. Сегодня главные враги русского народа – большевики. И уже то

со стороны немцев будет их дружеским актом в отношении России, если они помогут русскому народу избавиться от большевиков». Отец презирал и Керенского с его малочисленным эсеровским окружением и Милюкова, который и в эмиграции воевал против монархистов, возненавидел он и Деникина, на старости лет принявшегося призывать русских эмигрантов к обороне отечества от немцев. «Все это болтуны, словолеи»,– ворчал он, сухонький, желчный, ежась в старом кожаном кресле перед камином в давно не ремонтированной, запущенной кобургской квартире. Он так и умер в этом кресле, не дождавшись похода немцев на Россию, возвращения в свой петербургский дом на Английском проспекте.

Бежали, неслись за вагонными окнами картины, обеспокоившие сердце Сабурова. Поезд подходил к Мюнхену. На одном из участков ремонтировали железнодорожный путь, и состав пустили по другой линии, в обход. Замелькали предместья баварской столицы, ее пригороды, окраины. Указывая на группу строений в густой, темной зелени, Клауберг сказал:

– Пуллах!

Для Сабурова это был звук пустой. Он пожал плечом.

– Чудак! – пояснил Клауберг. – Здесь центр разведывательной службы ФРГ. Бундеснахрихтендинст! До выхода генерала Гелена в от ставку ты мог бы встретить его в одном из этих зданий. Вон, видишь, крыши?

– А сейчас кого бы встретил?

– Генерала Герхарда Весселя. Старые боевые силы Германии! -

Клауберг сделал такой жест, будто поправляет рукой невидимую портупею и кобуру с пистолетом на поясе.

Они вместе принялись вспоминать детство, молодость, расчувствовались, пошли в вагон-ресторан, заказали бутылку рейнского, и в конце концов Клауберг предложил:

– Петер… тьфу, черт побери!… Умберто! Давай-ка сойдем в Нюрнберге да скатаем автомобилем в Кобург?! Сотня километров. Пустяк.

А то, кто знает, будет ли еще подходящий случай.

Сабуров согласился. Они сняли две комнаты в ближайшей от вокзала нюрнбергской гостинице, наняли автомобиль с шофером и менее чем через два часа были в Кобурге.

Никогда Сабурову не думалось, что его так взволнует встреча с местами детства, с теми местами, где покоятся его родители, где все чужое, немецкое и вместе с тем навечно связанное с его жизнью. Город вырос, изменился. Когда родители привезли сюда его, Петю, прозванного соседскими мальчишками Петером, здесь было двадцать с чем-то тысяч жителей; сейчас, как сказал Клауберг, успевший осведомиться у портье в нюрнбергской гостинице, уже за шестьдесят или даже, все семьдесят. Новые улицы, новые дома, новые магазины… И все же черты былого не стерлись с лица маленькой столички герцогства Саксен-Кобург-Готского. По-прежнему вокруг Дворцовой и Рыночной площадей стоят чудесные средневековые здания. Да, да, здесь носились они с Уве, оба с голыми коленками, в коротких штанах, вокруг статуи Альберта, мужа английской королевы Виктории, немки, рожденной в этих

краях, родственницы русских цариц; отсюда бегали они к набережной реки Ицы, совсем недалеко впадающей в Майн, или отправлялись на холм к старому замку графов Ханнебергов и герцогов Саксонских, в котором существовал интереснейший музей, полный старинного оружия, старых экипажей, коллекций зеркал и еще всякой занимательной всячины. Кстати, в одной из комнат этого замка почти четыре сотни лет назад жил Мартин Лютер.

Нет, в замок они с Уве не пошли, и к Ице не пошли. Они побывали на кладбищах – Клауберг возле своих могил, Сабуров – возле своих. Постояли молча, подумали. А затем нашли и виллу «Эдинбург», где некогда был «двор» российского императора Кирилла, где была конюшня, на которой ухаживал за лошадьми отец Клауберга и где поблизости жили родители Сабурова и с ними он, десятилетний русский мальчик, постепенно превращавшийся во взрослого человека без родины.

Экскурсия в прошлое, в детство, в юность радости Сабурову не принесла. Клауберг на обратном пути в Нюрнберг болтал, вспоминал смешные мальчишеские истории. Он же, Сабуров, всю дорогу делал вид, что задремывает, говорить ему не хотелось.

Когда уже были в Нюрнберге и готовились расположиться на отдых в гостинице, чтобы с утренним поездом двинуться дальше, Клауберг сказал:

– Хватит, Петер, хлюпать носом. Это отвратительная славянская черта– предаваться воспоминаниям вместо того, чтобы действовать. Жизнь– то идет! На, полистай-ка лучше вот это. Купил в Кобурге. Совсем свеженький! – И бросил на колени сидевшему в кресле Сабурову журнал с названием «Национ Ойропа».– В нашем с тобой родном городе издается,– добавил он,– а имеет международное значение. Вот куда шагнул старый, тихий Кобург!

Начав листать нехотя, лениво, Сабуров мало-помалу зачитался статьями, помещенными в «Национ Ойропа», информациями, объявлениями. «В ресторане „Лоэнгрин“ на Тюркенштрассе в Мюнхене состоялось собрание членов НДП». «В ресторане „Хаккеркеллер“ в Мюнхене состоялось собрание членов НДП»… «Лидеры НДП посетили кладбище в Ландсберге, возложили венки на могилы. Потом было сделано следующее заявление по телевидению: „Мы здесь почтили память всех тех, кто невинно погиб от насилия в результате произвола и жажды власти. В то время как в Дахау и Берген-Бельзене чтят погибших, никто не посещает могилы в Ландсберге, в которых покоятся некоторые совершенно невинные жертвы“.

– А кто там покоится, ты не знаешь, Уве?

– И мы там могли покоиться, Петер,– с усмешкой ответил Клау берг. – Те, которых в сорок шестом повесили по приговору союзнического трибунала в Нюрнберге. Военные преступники!

– Так, значит, эта НДП…

– Ох, и отстал же ты! Просто мохом порос. У вас там, в Вариготте, газеты-то читают или нет? Национально-демократическая партия, мой милый, наследница партии фюрера! Она мала. Но и у фюрера вначале она была невелика. А потом даже и ты хотел вступить в нее, но тебя, помнится, не приняли.

– Нет, я не хотел вступать, я против партий. Я принципиально бес партийный.

– Да, так вот учти: и подо льдом вода бежит. Но не пугайся, это нас с тобой не касается. Мы в это впутываться не будем. У нас задача другая, совсем другая. Мы едем в Лондон. Но все-таки, знаешь, приятно чувствовать подземный гул, который предшествует извержениям вулканов.

После ночевки в Нюрнберге снова двинулись в путь. Поезд шел на север, выполняя предначертания маршрута, составленного Клаубергом. Они видели Западную Германию в стройках, в новых, очень новых заводах, они видели отряды марширующих солдат бундесвера, ничем не отличимых от солдат вермахта; немецкое небо резалось ревущими реактивными самолетами, затягивалось дымами кузниц оружия; на станциях в репродукторах гремели бодрые марши, лязгающие как железо об железо. Клауберг смотрел на это и довольно потирал руки.

– Здорово, Петер, здорово!

Перед Ганновером он сказал:

– Нам здесь пересаживаться. Давай устроим еще одну небольшую остановочку и побродим по городу. Ты бывал в нем?

– Однажды. Лет сорок пять назад. Приезжали зачем-то с отцом.

– Хороший город. Красивый. Хотя, по вашим русским понятиям, мрачный. Да, конечно, он каменный, а не из дерева, на крышах – железо, а не солома.

Клауберг явно задирался. Но отвечать ему не хотелось, пусть себе. Вскоре Сабуров понял, что дело было не в том, что его спутнику захотелось осмотреть город. Выйдя с вокзала, они не бродили из улицы в улицу, как делают туристы, а целеустремленно отправились по какому-то известному Клаубергу адресу.

На одном из скрещений ганноверских улиц стоял массивный, хмурый домина с каменными воротами.

– Подымемся на пятый этаж,– предложил Клауберг.– Это очень интересное местечко.

На пятом этаже они увидели тяжелую дверь с несокрушимыми запорами. Когда Клауберг распахнул ее, их глазам представилось большое развернутое красное знамя с белым кругом посредине. В коридор, тянувшийся в глубь помещения, выходило с десяток, а может быть, и с полтора десятка дверей, за ними стучали телетайпы, пишущие машинки, слышались разговоры по телефонам; барышни в юбочках в обтяжку, мужчины в деловых, строгих костюмах сновали из комнаты в комнату; пахло сургучом, чернилами и свежими типографскими оттисками.

– Федеральное правление НДП! – приглушая голос, сказал Клауберг.-Здесь же редакция партийной газеты «Дойче нахрихтен». Это центральная газета.

– А тот, кобургский, журнал – он чей же? – спросил Сабуров.

– Тот, я же говорил тебе, международный орган НДП.

Они заглянули в несколько первых комнат, не углубляясь в недра неонацистской конторы, и Клауберг глазами подал знак на выход. На лестнице он сказал:

– Нам нельзя было лезть с разговорами, обнаруживать себя. У нас, снова и

снова напоминаю тебе, другая задача. Но все-таки хотелось взглянуть на то, как и где заваривается каша. Центр здесь, понимаешь, в Ганновере, в этом доме. Партия растет, хорошо растет. А знамя заметил? Совсем как старое. Только кое-чего нет в белом круге?

– Свастики?

– Ты догадлив, Петер. Ее, конечно. Но дай срок, будет и она. Местечко приготовлено не зря.

Лицо Клауберга светилось, он шагал по улицам бодрее и крепче, чем до посещения этого громоздкого ганноверского дома. Чувство ожидания чего-то рокового, неизбежного, угнетавшее его долгие годы, стало отходить, ослабевать, выпадать из памяти.

«Радуется,– раздумывал, посматривая на него, Сабуров,– приглашает и меня радоваться вместе с ним». А чему вместе с Клаубергом должен радоваться он, Сабуров? Тому, что под новой вывеской возрождается старый нацизм? Тому, что вновь сколачивается колыбель, в которой будет выпестовано новое дитятя нацизма – третья мировая война, и тогда вновь дивизии клаубергов, бауэров, мюллеров, шванебахов попрутся на Восток, в Россию, завоевывать «жизненные пространства»? И что же, и на этот раз ему, Сабурову, надо будет маршировать вместе с ними? На это рассчитывает Клауберг? Нет уж. Позорное, трусливое бегство после Берлина, после пуль Гитлера и яда Геббельса, когда начался такой национальный развал, какого, может быть, история человечества еще и не знала, испытать снова нечто подобное, прятаться в коровниках, в ямах из-под гнилого турнепса, обрастать бородой, чтобы часом тебя не узнали, сжигать одни документы и у растленных негодяев, отдавая им последнее, что у тебя было, получать другие, еще более фальшивые,– увольте, увольте… Когда они добрались до Копенгагена и остановились в гостинице авиа-компании «SAS» и когда в карманах у них уже лежали билеты на самолет до Лондона, Клауберг тряхнул остатками своих финансов и в ресторане, неподалеку от гостиницы, заказал обильный и, надо отдать ему должное, довольно изысканный ужин.

Они сидели в полумраке при свечах, ровно и нездешне светившихся в стеклянных цилиндрах, дабы потоки воздуха от взмаха рук гостей или движений официанта не колебали слабые язычки пламени. В углу, в еще большем мраке, возле пианино горбилась старая пианистка и тихо, еле слышно, исполняла что-то грустное, мечтательное, располагающее к| раздумьям, ослабляющее в человеке колки его нервных струн.

– Я не способен, Петер, делать такие сногсшибательные заключения, как, скажем, делал Шерлок Холмс.– заговорил подвыпивший Клауберг.– Помнишь, разглядев гостиничную наклейку на чемодане, он ошеломлял человека, называя ему ту страну и тот город, откуда человек только что приехал? Но я в какой-то мере физиономист. По твоему лицу в Ганновере я понял, что внутренне ты не был тогда со мной. Зачем тебе эти немцы с их идеями возрождения, думал ты. Разве я не прав? Ну, можешь не отвечать. Это не допрос. Это логические рассуждения. Но, дорогой мой, нам надо быть взаимопонимающими. Мы вас, русских беглецов, понимали в свое время. Мы вас обогрели, пригрели, два

десятка лет вы пользовались нашим гостеприимством в ожидании возвращения в Россию. И мы вам хотели вернуть эту вашу Россию. Не так ли? Можешь, говорю тебе, не отвечать. Так почему же ты, русский, не хочешь понять сегодня немца, жаждущего, чтобы его, то есть моя, родная Германия вновь заняла то место в мире, которое у нее отняли в сорок пятом? Почему ты не отвечаешь тем же на то же?

– А потому, Уве, что это совсем не то же. Во-первых, вы и не собирались возвращать Россию нам. Теперь всем известно из опубликованных се кратных планов, что вы хотели прикарманить ее для себя. Во-вторых, мы стремились в свой дом совсем не для того, чтобы потом на кого-то нападать, брать кого-то за глотку. А вы, вы… Вам что надо? Встать на ноги, вооружиться и опять лезть на соседей.

– Логично, логично,– одобрил его рассуждения Клауберг.– Один только есть изъянец в твоих рассуждениях. Это сейчас ты блеешь таким ягненочком: нам бы домой, мы бы тихонько сидели, никого не трогали. Брось чудить! Вам бы подай вашу старую Россию, вы бы тотчас заговорили о Дарданеллах, об исконных российских интересах там, да еще там, да вот здесь. Да ваши Милюковы, уже будучи в эмиграции, не могли столковаться друг с другом по поводу не им принадлежавших проливов, по поводу того, давать или не давать государственную самостоятельность, скажем, Финляндии. Уж настолько-то я историю знаю, Петер. Кое-чему меня учили, а кое-что я и сам прочел за свою жизнь. Словом, нехорошо, когда ты на добро, сделанное тебе немцами, не хочешь ответить добром.

– Мне думается, я давно за все расплатился, и с лихвой,– сказал Сабуров.– И настолько старательно расплачивался, что теперь своего истинного имени никому не могу открыть.

Они ели, пили, слушали музыку, перебрасывались словами, атмосфера была такая, что к спорам не располагала, напротив, звала к единению, к взаимному пониманию. Клауберг сказал:

– Мне кажется, что ты не совсем отчетливо уяснил для себя, где мы находимся. Это же Копенгаген! Родина вашей предпоследней царицы по имени Дагмар, но у вас ставшей Марией Федоровной. Тут она и умерла, ускользнув своевременно из России. Сколько страстей здесь кипело откипело лет сорок пять назад! Какие строились планы! Можно сходить ее родственничкам во дворец. Скажешь, что ты Сабуров. Вспомнят, примут.

– Обойдемся, – ответил Сабуров.

– Между прочим, тут ваших много. Убежден, что та бабуся, которая музицирует в углу, твоя соотечественница. По репертуару сужу. Датчанка, даже престарелая, преподносила бы нам современную музыку. А эта законсервированная сударыня, слышишь, как на наших с тобой нервах играет. Пойду спрошу.

– Зачем? Сиди.

– Нет, все-таки. Интересно.

Клауберг поднялся и ушел к пианистке. Он пробыл возле нее несколько минут. Когда шел обратно, пианистка уже играла «Очи черные». Лицо

Клауберга расплывалось от удовольствия.

– Ну что, видишь! Русская баронесса. Правда, с не очень-то русской фамилией – Буксгевден. Ольга Павловна. Можешь поцеловать ручку.

Сабурову было стыдно. Стыдно, что в датском ресторане играют эти «Очи черные», ставшие среди русской эмиграции чуть ли не ее гимном, стыдно от сознания того, что посетители ресторана прекрасно знают, в каких случаях исполняется одиозная мелодия. Всем в эти минуты понятно, что в ресторане находятся русские, на которых, конечно же, тотчас начнут оглядываться. Вот уже и оглядываются, отыскивая их глазами. Стыдно и то, что восьмидесятилетняя старуха, взявшаяся за цыганщину, делает это лишь потому, что давным-давно утратила чувство человеческого достоинства и живет по единственному оставшемуся ей принципу «чего-с изволите».

– Гадость,– сказал он,– мерзость, Клауберг. Напрасно мы так на пились. Сейчас я ненавижу все и всех. И ту старую дуру в углу и тех глупых людей, которые полвека назад стадами бежали из России, из своей родной России. Разве не могли они договориться с большевиками? И тебя ненавижу, тебя, слышишь? У тебя наполеоновские планы, обрадовавшая тебя контора новых наци в Ганновере, их журнальчик в старом Кобурге. А что у меня? Ничего! Ровным счетом.

– Не распускай слюни, Петер,– миролюбиво ответил Клауберг. – Не меня надо ненавидеть. А большевиков. Красных. Коммунистов. Это все из-за них. И ты из-за них.

Ему остро хотелось рассказать Сабурову о своих предположениях по поводу их поездки в Советский Союз, рассказать, что, насколько он понимает, репродукции репродукциями, древнее искусство своим чередом, но они только камуфляж, а главное в том, что надо будет преподнести какую-то солидную пилюлю красным. Не зря же его, немолодого немца, мирно работавшего в мадридской торговой конторе у одного из крупных нацистов, вдруг, после двадцатилетнего пребывания в глухой неизвестности, пригласили приехать из Мадрида в Стокгольм и там, в огромной нежилой квартире, подмигивая и намекая, рассказали о предложении лондонского издательства, оговорясь при этом, что вся работа будет проводиться в рамках международных организаций, чуть ли не в рамках ЮНЕСКО. Говорилось туманно, расплывчато, но Клауберг многое понял и сверх сказанного. Прежде всего он понял, что особенно-то рассуждать об этом не следовало. Следовало действовать. То есть для начала подобрать верного человека – слово «верного» подчеркнули, – и вместе с тем действительно хорошо знающего русское искусство. Найдите этого человека, а все остальное – в Лондоне.

Что ж, завтра будет и Лондон.

Едва Сабуров улегся в постель в своей комнате с тщательно задернутыми шторами – иначе пылающие всеми цветами огни реклам за окнами не дали бы уснуть,– в дверь к нему постучали. По властному стуку он понял, что это Клауберг. Чего еще ему надо? После ресторана Уве куда-то отправился, сказав, что на часик-полтора, и вот, видимо, возвратился с очередной новостью или

идеей.

Сунув ноги в мягкие комнатные туфли, Сабуров в одной пижаме пошел отмыкать дверь.

– Ты бы хотел увидеть весьма интересного человечка? – сказал Клауберг, входя.

– А может быть, мне лучше поспать? – неуверенно ответил Сабуров, которому и в самом деле не хотелось вставать в такой поздний час.

– Поспишь в Лондоне. Там подобного человечка ты не увидишь. Одевайся и пойдем ко мне. Вот так. Жду через пять минут. – Он взглянул на часы.

В комнате Клауберга сидел действительно не человек, а человечек – маленький, кругленький, розоволицый, добродушно улыбающийся.

– Ты знаешь, Петер, кто это? – спросил Клауберг, когда Сабуров и гость Клауберга пожали друг другу руки. – Это же один из героев Копенгагена! Полковник Ренке. Тогда, впрочем, он был, кажется, не полковником, а…

– Капитаном, – подсказал кругленький Ренке, которому на вид из-за его округлости и моложавости было не более пятидесяти, скорее даже меньше.

Сабурову припомнились не столько официальные сообщения, сколько изустные рассказы о том, как в 1940 году немцы мгновенно овладели Данией; это решилось прежде всего тем, что в течение двух или трех часов уже захвачена была столица Копенгаген. Но так как перед гитлеровской армией в те времена спешили капитулировать и другие малые и большие государства Европы, то касавшееся Дании припоминалось среди прочего весьма смутно.

– Расскажи-ка, Генрих, этому маловеру, как по правде-то было дело,– сказал Клауберг, обращаясь к гостю.– Он думает, что наши времена, наш опыт, наш натиск сданы в паршивые музейчики, с обгаженными голубями вывесками, с благостными призывами типа: «Миру мир!», «Перекуем мечи на орала» – и прочей словесной чепухой. Давай, Генрих, давай!

– А чего давать, Уве? В ночь на девятое апреля эти торговцы подтяжками мирно дрыхли в своих фамильных перинах. А мы на пароходе «Ганзенштадт Данциг», впереди которого двигался ледокол «Штеттин», спокойно вошли в порт. Затем, едва привалив к причалу – есть тут такой под названием Лангелиние… было это, кстати сказать… я вел запись боевых действий… ровно в четыре часа двадцать минут,– и тотчас пососкакивали на причальную стенку в полном своем вооружении. С форта, замыкающего вход в гавань, наше движение заметили и хотели было шарахнуть из пушки. Но уж какие датчане вояки! У них не то заело пушку, не то кто-то ушел в город к бабе, захватив с собой ключи от порохового погреба. Короче говоря, нам понадобилось всего пять минут, чтобы и таможня, и полицейский участок порта, и другие портовые здания были в наших руках. Можно было заняться цитаделью. Подорвали ее ворота, захватили спящие караулы, ворвались в телефонную станцию и еще через пять минут, то есть через десять с момента высадки на Лангелиние, уже загоняли толпу разоруженных, обмиравших от страха датских солдат в подвалы форта.

Ренке отпил пива из бокала, стоявшего перед ним на столе, усмехнулся своим явно приятным воспоминаниям.

– Ну, конечно, в городе тоже все было подготовлено нами заблаговременно. Дней за пяток до высадки под видом делового человека с необходимыми для такого дела документами сюда, в Копенгаген, прилетел на рейсовом самолете командир нашего батальона майор Глейн. Потолкался в штатской одежде, все разведал, все прикинул – в порту, на пристани, всюду. Возле порта полисмен спросил его, что господин иностранец делает, чего ему надо. Майор ответил, что пошел гулять и заблудился. Тот олух до того был пустоголов, что взялся провожать нашего командира к остановке автобуса, чтобы помочь ему добраться до центра города. Вот так, друзья! – Ренке еще посмаковал глоточек пива. – Майор Глейн нам потом рассказывал все подробно, можно было умереть от смеха. В тот день он, конечно, вновь вернулся в порт и, уже не задерживаясь для расспросов, деловым шагом прошел прямо в цитадель. Дабы отвести подозрения, он двинулся от ворот к церкви. Церковь была закрыта. Пробегавший по своим делам сержант из гарнизона сказал нашему командиру, чтобы он не рассчитывал на осмотр церкви в такой день, потому что ее открывают только по воскресеньям. Сержант был словоохотлив, он с готовностью показывал иностранцу достопримечательности копенгагенской цитадели. Он даже затащил посетителя в войсковую лавочку, надулся там пива за счет майора Глейна, а тогда и вообще вывалил перед ним все. Показывал майору помещения командного состава, здания военных учреждений, телефонную станцию, места расположения караулов. Ну и понятно, что к моменту высадки мы точно знали, кому как действовать, куда идти, что захватывать. К тому же в городе были и еще наши. Они тоже делали свое дело. Какое? Ну, скажем, именно они доставили в цитадель радиостанцию и подготовили ее к работе. Когда начальник штаба войск, предназначавшихся для оккупации Дании, генерал-майор Химер, сидевший в Копенгагене с седьмого апреля тоже под видом делового человека, вышел из подполья и надел свою генеральскую форму, которую любезно прятал для него в багаже один из наших дипломатических чиновников, он тотчас связался по этой рации со штабом и попросил в небо над датской столицей прислать эскадрилью бомбардировщиков для острастки. Самолеты заревели над копенгагенскими крышами, и через два часа десять минут после того, как я выскочил на здешний пирс с борта «Ганзенштадт Данцига», датское правительство капитулировало. Вся операция по захвату Дании обошлась нам в двадцать человек убитых и раненых. Правда, и со стороны датчан их было пустячок – тридцать шесть человек. Нет, мы на западе воевали лучше, чем вы в России! – Ренке весело рассмеялся. Клауберг сказал:

– Я рад, Петер, что ты услышал это из уст непосредственного участника операции. Все, как было, без примеси досужей болтовни. Когда мы готовимся по-настоящему, нам неизменно сопутствует успех. К походу в Россию мы тогда не подготовились.

– А что было делать! – сказал Ренке.– Фюрер утверждал, что, про медли мы еще два года или даже год, лезть на Советы было бы для нас самоубийством.

– Но и так для немцев и для самого фюрера получилось самоубийство, –

сказал Сабуров.

Клауберг и Ренке промолчали. Затем Ренке встал, сказав, что рано утром улетает в Пакистан, там у него важные торговые дела. В Копенгагене он пролетом, он очень рад, что встретил Уве Клауберга, повспоминали былое, встряхнулись немножко, боевыми рассказами подняли дух друг у друга. Улыбаясь, он выкатился в коридор и исчез.

Сабуров ушел в свою комнату. Клауберг остался у себя допивать пиво из бутылок и расхаживать по ковру из синтетической ворсистой ткани.

6

С точки зрения родителей, жизнь их сына Феликса была не только не совсем нормальной, но и вовсе не нормальной. Женился Феликс рано, еще учась на третьем курсе института. А когда женился, то перешел на вечернее отделение, днем же стал работать лаборантом на одном из московских заводов. «Дело в том, товарищ отец и товарищ мать, – объявил он, сделав это, – что мне предостаточно моего бесплатного проживания на вашей жилплощади, а уж посадить вам на ваши немолодые шеи еще и некую постороннюю девицу – этого я позволить себе не могу». «Какая чушь! – возмутилась его мать, Раиса Алексеевна. – Что он плетет. Сергей?» «Ну чего ты ахаешь? – успокаивал ее отец Феликса, Сергей Антропович. – Не видишь, что ли, парень треплется. Ему надоело учиться всерьез, он нашел учебочку полегче и теперь ищет оправданий, а может быть, и путей, чтобы и вовсе бросить институт на полдороге».

Отец был не прав, бросать институт Феликс не собирался, он понимал, что закончить начатое необходимо. Правда, удовольствия ему хождение в институт не доставляло, учение давалось трудно. Первые курсы он одолел более или менее успешно, но чем дело шло дальше, чем больше учебный процесс углублялся в дебри специальных инженерных дисциплин, тем на душе у Феликса становилось все тоскливей. Он чувствовал, что пошел не по той дороге, какая могла бы оказаться его подлинной дорогой. Много начитавшийся в школьные годы, он легко схватывал новое, проявлял самые разносторонние способности. Под настроение мог. неплохо набросать пейзажик с натуры или девичье личико карандашом, перышком, а то и акварелью; был способен побренчать на рояле, спеть душещипательный романсик под это домашнее бренчание; школьные сочинения писал так, что учительница по литературе постоянно подозревала, а не списал ли он откуда-нибудь. Из-за многочисленных мальчишеских талантов Феликса Раиса Алексеевна все годы его учения в школе не ведала ни дня покоя. Через знакомых и полузнакомых, а то и вовсе не знакомых пробивалась она к именитым профессорам консерватории, к академикам живописи, к известным писателям. Потревоженные мастера снисходительно рассматривали рисуночки Феленьки Самарина, слушали, раздумывая совсем о другом, его упражнения на клавесине, читали его сочиненьица, простые, как мычание, но в которых Раиса Алексеевна усматривала глубочайший смысл, пожимали плечами, разводили

руками. Дело тем, нет, не заканчивалось. Раиса Алексеевна после очередной неудачи клокотала от возмущения, искала новых знакомых и полузнакомых, новые ходы и выходы к новым знаменитостям.

Мало-помалу Феликс остро возненавидел и рояль и краски с карандашами, остались лишь неудержимая любовь к чтению да потребность время от времени записывать что-либо особо интересное в тетрадь, на обложке которой было выведено: «События и мысли». Читал он все подряд и действительно по своему возрасту знал необыкновенно много; и знал не так, как знают постоянно читающие в газетах и журналах различную дребедень под рубрикой: «А знаете ли вы, что…» Феликс многое знал основательно, глубоко. Хорошо давались ему история, науки о жизни живого на земле, те законы, по каким развивалось и развивается человеческое общество; он любил географию, этнографию; и, конечно, очень неплохо Феликс знал художественную литературу. А вот при всем при том школу-десятилетку он закончил отнюдь не с медалью, аттестат его был изукрашен благородными четверками да менее благородными тройками. В довершение ко всему на экзаменах в университет, куда он собрался было поступить, Феликс должных баллов не набрал. Сроки подачи заявлений и приемных экзаменов уходили, могло вполне получиться так, что ему пришлось бы дожидаться нового приема целый год. А что же он станет весь этот год делать? Бить баклуши? Работать поденщиком? Раиса Алексеевна, как тот ни протестовал, заставила Сергея Антроповича повязать парадный галстук и отправиться по его старым приятелям. В конце концов правдами и неправдами Феликс Самарин был зачислен на первый курс сугубо, сверхсугубо технического вуза. Ракеты, космос, галактики, звездные миры – все это во всей своей вселенской неохватности распахнулось перед молодым человеком. Душа же его в эти хладные объятия мироздания не пошла. Три долгих года нечеловеческих мучений – и он не выдержал, сдался, точнее, отчаянно запротестовал.

К тому же вот эта женитьба. Раисе Алексеевне пришло в голову, что неудачи Феликса в институте объясняются теми же причинами, как у известного литературного персонажа, который, будучи принужден к ненавистному учению, возвопиял: «Не хочу учиться, хочу жениться». Несколько месяцев прохлопотала она над тем, чтобы Феликс познакомился, сдружился, сблизился с внучкой одного из известных авиаконструкторов, тоже студенткой, аккуратной, хорошо воспитанной шатеночкой, божественно, по словам Раисы Алексеевны, сложенной Нонночкой. Никаких достаточно веских причин, чтобы не желать женитьбы на Нонночке, как, впрочем, и особо желать этого, у Феликса не было, и они поженились. Свадьба была веселая, многолюдная. Игралась она сначала в ресторане «Прага», куда сошлось сотни две народу. Потом свадебный шум перенесся на дачу деда юной супруги Феликса, а закончилось все в квартире Самариных.

В этой квартире молодым отвели самую лучшую комнату. Раиса Алексеевна с ног сбилась, вия им уютное «гнездышко». Молодые хорошо ужились друг с другом – никаких несогласий, никаких скандалов. В доме они почти не бывали: то в институтах, то за городом, то в кино, в гостях. Все шло

как нельзя лучше. О них говорили: «Счастливый брак. Чудесная парочка». И вот громыхнул первый раскат грома. Феликс заявил: «С дневного отделения института ухожу. Обязан содержать супругу самостоятельно, зарабатывать ей на скунсовые шубки, на туаль-де-нор и на фильдеперс. А так как у моего вуза вечерних отделений нет, то вынужден перейти в другой, может быть, даже подобный, но все-таки попроще, иначе мне не сдюжить». «Дурости», «глупости» – чего только не говорилось по этому поводу среди родных и знакомых, но дед Нонны, нисколько не переча, пристроил своего внучатого зятя в испытательную лабораторию одного из заводов. работающих на авиацию, помог ему и с переходом в другой институт – на вечернее отделение, и к должному сроку Феликс получил диплом инженера, специалиста по холодной обработке металлов. Он остался на том же заводе, но не в лаборатории, а в цехе уникального режущего инструмента. Было много криков и даже рыданий, поскольку Раиса Алексеевна требовала, чтобы он не смел идти в цех, а шел бы в аспирантуру. Но Феликс стоял на своем, он обрадовался должности инженера на участке. Событие это остро, очень остро переживалось Раисой Алексеевной.

– Странно…– сказала она, обескураженная и притихшая.

– А что именно тебе странно, Рая? – отозвался Сергей Антропович.

– У нас все было как-то в гору, в гору, а он…

– С горы, ты хочешь сказать, да? А мне кажется, что в основе-то Феликс прав. Он исправляет нашу с тобой ошибку. В спешке, в этом всеобщем психозе погони за званиями, за степенями, как в некие времена за лотом на Клондайке, мы, может быть, чуть было не исковеркали ему жизнь. Окончи он тот свой, первый институт, получился бы весьма средней руки гений теоретической физики или механики, со скрипом бы зубовным отправлявший свои служебные ненавистные обязанности. А если бы еще и пошел в аспирантуру… Сколько их сейчас таких, из аспирантур, с кандидатскими степенями! И как трудно с ними что-либо решать, а тем паче осуществлять. Решают они все с полнейшим равнодушием, осуществляют без всякого огня. Перебросить руль на сто восемьдесят градусов Феликсу трудно. Он еще не знает своего нового жизненного курса. А там. на его отчетливо ясной работе, на, так сказать, исходных позициях индустрии, у него будет время спокойно подумать над будущим. Он найдет верную дорогу, я убежден, что найдет. Инженер-инструментальщик или еще какой-либо такой производственный инженер – ладно. Только, пожалуйста, не надо ему мешать. Ни понукать, ни одергивать. Пусть сам. А мы-то с чего – забыла? – начинали.

– Время другое было, Сережа. Сейчас то, что ты от станка или от сохи не звучит, как говорит управляющий нашим жэком. Над подобным явлением только посмеются.

– Где?

– Да везде.

– И очень жаль, очень жаль, если так. Но, мне думается, посмеются все-таки не везде. Разве что среди мещан и обывателей, Рая, черты которых, кстати, и мы с тобой в известной мере стали, увы, обретать. Да, увы. «Все в

гору, в гору»,– передразнил ее Сергей Антропович. – Да не в ту гору-то, вот в чем беда, дорогая моя верная подруга. В гору роста сознания надо было покруче идти, в гору духовного обогащения. Духовно го! А в такую гору, сама знаешь, чем рюкзак больше набит барахлом, чем он объемистей, подниматься труднее, а то и вовсе не поднимешься, вниз загремишь.

– Давненько ты аллегориями не изъяснялся, Сереженька.

– А повода не было. Мы с тобой давненько по серьезному-то и не толковывали. Так все, мелочи жизни. Текучка.

– К старости на философию потянуло?

– Что ж, ты права, шестьдесят не тридцать. Права. Но старости я пока не чувствую. Хочешь стойку на руках сделаю? Хочешь?

– Упаси господь! Не хватало нам «Скорую помощь» вызывать.

Сергей Антропович Самарин, начальник главка одного из машиностроительных министерств, уперся ладонями о пол и, как бывало лет сорок – тридцать назад, попытался вскинуть ноги кверху. У него отлетели пуговицы от брюк, сползли подтяжки, он поднялся с лицом, налитым до багровой синевы пульсирующей кровью, сел на стул.

– Да, под гору скорее вот это, а не то, что у Феликса, – сказал тяжело, сквозь одышку.

– Ну псих, ну псих! Это же немыслимо! – хлопотала вокруг него перепуганная Раиса Алексеевна. – Я вашему министру позвоню, попрошу, чтобы тебя на Канатчикову дачу отправили, в Белые Столбы – полечиться. Среди буйных.

С ходом времени на Раису Алексеевну обрушилось новое, ничем не объяснимое, тяжкое событие. После окончания своих институтов молодые, пожив вместе в общей сложности около трех лет, разошлись. Тихо, без всякого шума, внешне очень мирно. Нонна собрала свои вещички в два-три чемодана и уехала к родителям, туда, откуда пришла в дом Самариных. Ни с чьей стороны ни упреков, ни претензий, ни взаимных обвинений. Мало того, они даже иногда встречаются, эти бывшие муж и жена. То она к нему забежит, то он к ней отправится; то сидят в ресторане, то вместе к кому-нибудь на именины пойдут. Никто не знал, что же произошло меж ними, что их развело.

А было это так. Подошел какой-то вечер, и Феликс задал вопрос:

– Нонка, ты любишь меня? Только честно, с полной откровенностью, без уверток и пошлостей.

– А почему ты спрашиваешь? Что-нибудь случилось? Ты встретил другую?

– Никого я не встретил, и не крути, отвечай на вопрос.

– Так, может быть, у тебя есть подозрения на мой счет? Выкладывай все. Это забавно.

– Не надо такого тона. Я всерьез, Нонна, очень всерьез. Мне совсем не легко это говорить, потому что как человек ты мне по душе: ты добрая, хорошая, отзывчивая, веселая. Но позволь, любовь это же несколько боль шее,

чем дружеские чувства, или, если не большее, то, во всяком случае, она нечто иное качественно.

Ты не чувствуешь крыльев у себя за спиной, так, что ли? – Нонна с напряжением слушала Феликса.– Ты просто живешь со мной, так вот, по заведенному, в ожидании такого, которое будет иным, настоящим, а это, нынешнее, сегодняшнее, полетит тогда кверху тормашками, как его и не было? Я верно понимаю?

– Что-то вроде этого, Нонна. Приблизительно. Ты, пожалуйста, прости меня.

– Не за что, ты откровенен и… ты прав. Да, прав. Думаешь, отсутствие крыльев у тебя не сказывается на мне? Они и у меня, если хочешь знать, тоже не очень-то растут. Я окончила свой курс наук, у меня высшее образование. А куда, в сущности, я развиваюсь, будучи с тобой? В более или менее расторопные домохозяйки. Со временем я, может быть, научусь солить помидоры и мариновать грибки, и тогда однажды ночью, проснувшись, ты скажешь: «Пульхерия Ивановна, а не отведать ли нам рыжичков?» Так?

Феликс рассмеялся.

– А что, это совсем неплохо. Перспектива приятная. Они сидели за столом и смотрели друг другу в глаза, понимая, что в главном объяснились, понимая, что так жить, как они прожили три года, завтра, после этого объяснения, будет уже невозможно, надо будет что-то менять, и менять решительно. Она рассматривала его загорелое с лета лицо, его живые карие глаза, которые он ни разу не отвел под ее взглядом, его стрижку, которую ныне считают старомодной и которая у парикмахеров называется «под полечку». В Феликсе нет ничего грубого, но все мужественно, все честно, открыто. И даже этот нелегкий для него разговор он ведет честно и мужественно. И, наверно, он прав. Уж прав хотя бы потому, что и она-то не чувствует такой любви, о которой говорит он и от которой растут крылья. С ним очень хорошо, с ним спокойно, с ним все ясно. Жить бы да жить с этим Фелькой. Она ничего не имеет против жизни с ним. До этого разговора она и думать не думала о том, что их совместная жизнь когда-нибудь окончится. Но в самом деле, не только же в книжках существует та любовь, о которой говорит Феликс. Интересно бы только знать, чего он хочет этим разговором? Все поломать? Всю их совместную жизнь? Но как, как ломать? И зачем?

– А если я скажу, что я тебя люблю? – Нонна продолжала смотреть в глаза Феликсу. Он промолчал. – А если я скажу, что я тебя не люблю? -Она сделал ударение на «не».

– Ты мне говори не варианты, а правду, то, что есть на самом деле, Нонна.

Тогда она заговорила и высказала все, о чем только что, вглядываясь в черты его лица, говорила самой себе.

– Мне жаль, жаль, Нонна…– выслушав ее, сказал Феликс.– Но вот увидишь, придет время, и ты будешь меня благодарить. – Ладно, хватит, – отмахнулась она.

Они порешили, что будут дружить, и только. Ссориться причин у них нет. Нонна поплакала. Она привыкла к Феликсу. Она даже сказала: «Фелька, ты же

ничего не понимаешь. Ты же мне как брат родной».

Недели две они не виделись. А потом вот начались эти дружеские визиты. Первым пришел он.

– Видишь ли, – сказал, усмехаясь, – беспроволочный телеграф по всей Москве растрепал, что я холостой, и невесты прут ко мне со всех концов матушки-столицы.

– Ты пришел похвастаться этим?

– Нет, отдохнуть от дур.

– Отдыхай. Хочешь пастилы? Вон в той коробке.

Они проболтали весь вечер. Им не было скучно, они понимали друг друга, даже не открывая рта, по взглядам, по прищуру глаз, по губам. Уходя, он сказал:

– Хорошо, что ты есть на свете, Нонна -Помолчав, добавил – И хорошо, что нам теперь не надо обманывать друг друга.

– А я тебя никогда и раньше не обманывала.

– И я тебя. Но понимаешь…

– Понимаю или не понимаю – какой теперь смысл разбираться в этом! Передавай привет Раисе Алексеевне и Сергею Антроповичу. Как-нибудь забегу проведать.

Забежала она очень просто, как ни в чем не бывало. Расцеловалась с Раисой Алексеевной, Сергеем Антроповичем, заглянула в «нашу» комнату: как-то теперь в ней. Весело поболтала и исчезла, оставив уже ставший за три года привычным в квартире запах своих легких духов. Феликса дома не было. Когда он вернулся, сразу почуял эти духи.

– Нонка была?

– Была, была. Посидели, поговорили. Ничего с отцом понять не можем.– Раиса Алексеевна избрала почему-то ворчливый тон.– Оба вы умные, оба одаренные, оба хорошие. А чего натворили.

– Милая мама,– сказал Феликс, подсаживаясь к вечернему чаю,– если говорить честно, то мы, конечно, натворили. Но не сейчас, решив жить по-иному, а вот тогда, когда впопыхах кинулись жениться. – Феликс не ведал о том, как в свое время его мать старалась устроить эту женитьбу, и не ей адресовал он свои упреки. Но Раиса-то Алексеевна не могла отмахнуться от его упреков, даже если они и делались в косвенном виде. Она слушала Феликса, чувствуя виноватой себя.– Вы с отцом, мама, виноваты в том,– будто услышав ее мысли, продолжал Феликс,– что не отговорили меня, не удержали от поспешного шага. Я-то был что, мальчишка! Какой у меня жизненный опыт? А у вас!…

– Но вы же ни разу даже не поссорились! – воскликнула Раиса Алексеевна. – Значит, ошибки не было.

– Вот и беда, что не поссорились, – заговорил Сергей Антропович. – Вот он и прав, наш Феликс. Ты мне на третий же день нашей совместной жизни, мадам, такую пощечину влепила… Уж не помню из-за чего, но ударчик твой помню. До сих пор скула ноет. Особенно перед дождем.

– Ах, у тебя все шутки!

– Нет, это не шутки, – настаивал Сергей Антропович. – Удар был сделан неспроста. Тебе показалось, вспоминаю, что я одну из твоих подружек притиснул в коридоре нашего рабфаковского общежития. Разве не так?

– Помнишь, оказывается! Точно. Так и было. А была это Дунька Шмелькова. Потаскуха.

– Вот видишь, видишь, ревность! По сей день злишься. А он? – Сергей Антропович кивнул на Феликса.– А он ревновал Нонну? Или она его? Кто-нибудь кому-нибудь съездил по физиономии? Без любви, товарищи дорогие, драк в семье не бывает, как не бывает и любви без драк.

– Батюшки! Уж совсем Спинозой стал. Мудрец.

– Точнее если, мама, то не со Спинозой отца надо в таком случае сравнивать,– сказал Феликс.– а с Овидием. Это Овидий писал трактаты о делах любовных. Но я не думаю, что он прав по существу. Я не думаю, что тягу к мордобою надо считать вернейшим признаком подлинной любви. Все-таки от пещерных времен мы постепенно отходим.

– Значит, я, по-твоему, пещерная жительница?

– Не цепляйся, мамочка. Если уж начат такой разговор, то я хочу объяснить вам, чтобы к этой теме больше не возвращаться. Мы с Нонной не хотим повторять унылую схему сожительства без любви, даже если оно и разрешено нам официально, с выдачей надлежащего документа, к которому приложена гербовая печать. Это не та семья и не та любовь, которую тысячелетиями воспевали поэты, художники, музыканты. Чем все такое отличается от публичного дома? Только что посетители публичного дома ходят к разным женщинам, а при законном браке – к одной.

– Феликс! – Раиса Алексеевна была возмущена. – Ну что ты плетешь! Ты бросаешь тень на тысячи тысяч прекрасных семей. Увы, это правда, отнюдь не все живут по страстной, пылкой любви. В жизни бывают самые разные обстоятельства, объединяющие семьи и без любви.

– Вот я и выступаю против браков, против сожительств по так называемым разным обстоятельствам. За меня Маркс, Энгельс, Ленин! Хотите, открою сейчас их книги, и вы собственными глазами увидите?…

– Феленька, не открывай, верим. Сами учились, сами читывали соответственные цитатки. – Сергей Антропович пытался примирить обе стороны. – И ты прав, и мама права. Да, без любви хорошего брака нет. Но не всегда есть такая любовь. Да, нельзя, недопустимо жить в браке по сложившимся обстоятельствам, но что поделаешь, если еще не пришло время, когда можно будет отбрасывать подобные обстоятельства. Классики марксизма-ленинизма говорили о том, как будет у наших потомков…

– Я потомок, отец! – перебил Феликс резко. – Ваш потомок. И мне пора жить так, как предполагалось жить вашим потомкам. Что же, и будем все это переваливать дальше, на плечи своих потомков? А те еще дальше?

– Кстати, а почему у вас-то с Нонной не оказалось потомка? – сказал Сергей Антропович.

– А вот как раз поэтому. – Феликс встал из-за стола. – Потому что не было главного – любви.

– Увы, дружок, – сказал Сергей Антропович, тоже подымаясь. – Если бы все так. Детишки-то появляются на свет и без всякой любви.

7

Двоюродная сестра Раисы Алексеевны, худощавая, синеокая блондинка, похожая на хрупких царевен Васнецова, вышла замуж на шестнадцатом году жизни, когда загс еще отказывался регистрировать столь неслыханно ранний брак. Олимпиада, или, как все ее звали, Липочка, в ту пору едва перешла в девятый класс, было это два года спустя после окончания войны. Молодой муж Липочки – ему тогда шел девятнадцатый – учился в художественном училище. Мешать девчонке-жене заканчивать школу он не стал потому, видимо, что сам еще был мальчишкой и не представлял себе, как это можно существовать без школы. Липочка благополучно закончила десятилетку на круглые четверки, имея пять лишь по поведению, и к тому же вопреки возрасту была примерной женой, хозяйственной, исполнительной, взиравшей на все глазами своего Тоника, Антонина Свешникова, как звали ее мужа.

До окончания училища Свешников не дотянул. Было этому несколько причин. Главной из них нечаянно оказалась Липочка. Тоник с ума сходил от любви к ней, ему хотелось, чтобы Липочка, всем обликом царевна из сказок, и жила бы в должных условиях. На грех, у него оказалась бойкая, не знавшая устали кисть. А после войны, к концу сороковых годов, и в Москве и в других городах открывалось немало ресторанов, фирменных пивных, пивных залов, кафе-мороженых. Для оснащения их «птицами-тройками», «витязями на распутьях», иванушками и царевнами, златоглавыми силуэтами Москвы, у которой как раз на эти послевоенные годы подгадалось восьмисотлетие, – для создания всех этих декораций в стиле а-ля рюс понадобилась армия молодцов, способных к подобной работе. Свешникова втянули в денежную халтуру. Направо к налево малевал он помпезные плафоны, разделывал стены, наводил фризы, полагая, что со временем бросит это и вновь вернется к серьезной живописи. Молодого парня сбивало с дороги еще и то, что его восторженно хвалили. Постепенно он стал сомневаться: а надо ли ему какое-то учение, если над ним и так почти что распростерла крылья слава великого мастера в одном из дефицитнейших жанров времени? Денег такой незамысловатый труд приносил много. Из коричневого школьного платьица и нитяных чулок с грубыми школьными башмаками на низком каблуке Липочка переоделась в такие размоднющие в ту пору, цветастые «заграничные» шелка, обтянула ноги такими чулками-паутинками, сковала пальцы такими туфлями из кожи змей и крокодилов, что видавшие виды киноподруги знаменитых режиссеров и молодые жены старых академиков багровели от ярости, видя ее в Доме работников искусств или на театральных премьерах.

Через несколько лет золотая жила иссякла. Москва была перенасыщена богатырями, царевнами, градами-китежами, и никому это стало не нужным, в моду входили западные оранжевые круги и черные треугольники, стекло и алюминий. Антонин Свешников оказался на мели. Учение продолжать уже не

хотелось: отвык от учения, познал вкус жизни вольного художника. Молодая пара стала бедствовать; продажа в комиссионках цветастых платьев и крокодиловых туфель приносила скудные средства, едва на хлеб, потому что и платья и туфли Липочки тоже к тому времени устарели, их еще кое-как соглашались покупать спекулянтки из Ростова да из Витебска, но и то по бросовым ценам.

Привыкший к успеху и достатку, втянувшийся в успех, Свешников заметался. Он понимал, что если переориентируется и тоже начнет малевать оранжевые круги и черные треугольники, то, несомненно, сможет поправить свои материальные дела. Но что же станется с его творческим лицом? Как оно будет выглядеть? Не потеряется ли он в толпе бездарностей, халтурщиков, спекулянтов на модном, всех тех мазил, у которых стряпню одного невозможно отличить от стряпни другого? Свешников не был заурядной бесталанностью, как эти эксплуататоры увлечения кругами и треугольниками. Он просто недоучился, у него не хватило мужества претерпеть неизбежные трудности, какие сопутствовали пребыванию в художественном училище, не нашлось должного упорства для того, чтобы пройти тот длинный, трудный, порой изнурительный путь, который ведет к подлинному мастерству. Он хотел хватать все на лету и тотчас нести своей Липочке, он привык к этому.

Пометавшись так, Свешников все же нашел выход из тупика. Оранжевыми кругами и черными треугольниками он не соблазнился. Он пошел более сложной дорогой: стал писать портреты. Они были не больно грамотны, специалисты видели в них уйму недостатков и даже пороков. Но Свешников обладал ценной способностью делать их похожими на оригинал и передавать если не сущность, не весь внутренний мир оригинала, то, во всяком случае, его настроение. Лица на портретах получались одухотворенные, с потусторонней глубинкой, с загадкой. Никто, кроме Липочки, не знал, что каноны такого своеобразного письма Свешников позаимствовал – надо, правда, отдать ему должное, позаимствовал по-своему, творчески – у древних русских мастеров. Немало часов и дней провел он в соборах Московского Кремля, в ярославских, владимирских, суздальских церквах, в тех отделах музеев страны, где собраны русские иконы, и нащупал эту поразительную черту похожей непохожести, которая одну древнюю школу отличала от другой и при в общем-то земном облике святых и богов делала их святыми и богами.

Свешникова заметили в разных кругах. Его заметили снобы, которые хвалили все то, о чем нельзя было сказать, что оно создано по методу социалистического реализма, и что уводило советское искусство с главных путей его развития. Заметили его те иностранцы, которые в советской действительности отыскивали щербины и щели для заброски семян своей буржуазной идеологии. Заметили и русофилы, копавшиеся в старине и в ней пытавшиеся находить ответы на вопросы дня. В причудливо сплетенном единении, делая ставку на него, «молодого, талантливого», все они набросились на Антонина Свешникова. Сам он ничего об этом не ведал, лишь упоенно работал. Когда жена одного из американских дипломатов, заказавшая портрет Свешникову, увидела себя на его полотне, почти отраженно похожей на ту,

какую она привыкла ежедневно видеть в зеркале, и вместе с тем неуловимо напоминающую образ русской богородицы, она пришла в восторг, она устроила большой коктейль, на который съехались ее приятельницы из десятков западных и восточных посольств, аккредитованных в Москве, и все они дружно ахали, стоя перед портретом, эффектно помещенным в гостиной, все хотели познакомиться с необыкновенным художником. Художник был тут же. Его представляли дамам; дамы знакомились с его скромной, тихой, несущей в себе какую-то трагическую тайну, белокурой, синеокой женой.

И грянул бой, полтавский бой! Заказы хлынули таким потоком, что Свешников даже растерялся. Платили ему, не скупясь и не торгуясь.

Теперь у него, как положено крупному мастеру, была мастерская с верхним светом, переоборудованная из двухсотлетней давности каретного сарая во дворе одного из старых московских домов. В мастерской всегда толпились посетители. Огорчало лишь то, что были это особые посетители: иностранные дипломаты, иностранные туристы, иностранные корреспонденты.

– Мистер Свешников, – неизменно интересовались они, – почему вы не состоите в Союзе советских художников и почему не устраиваются ваши выставки?

– Не знаю, – пожимая плечами, отвечал Свешников. – Возможно, что для меня это рано. Да меня нисколько и не волнуют подобные дела.

– А вы подавали заявление о приеме в Союз?

– Нет, не подавал.

– А если бы подали, вас бы приняли? Как вы думаете?

– Не знаю, не знаю,– говорил он.

Свешников, чего прежде в нем не замечалось, оказался честолюбивым. Внимание «мировой общественности», за какую выдавали себя его чиновные иностранные доброжелатели, постепенно делало свое дело. Если прежде он и думал о том, чтобы подать заявление в Союз художников, то теперь на место этой простой мысли пришла другая, уже не слишком простенькая. Ему захотелось быть принятым в Союз без всяких его просьб и заявлений, с почетом и с помпой, а затем оказаться столь же торжественно введенным под руки и в академию. Рано или поздно так оно и будет; совершенно теперь ясно, что когда-то будет именно так. Чем дольше он не станет подавать заявление в Союз, тем громче повсюду, по всему миру, будут звучать возгласы недоумения и возмущения по поводу того, что такой мастер, такой самородок подвергается дискриминации. И тем заметнее будет исторический момент, когда великий портретист займет наконец подобающее ему место среди советских художников.

Одним хмурым зимним днем в мастерскую Свешникова позвонил незнакомый посетитель. Открыл сам Свешников.

– Здравствуйте, Антонин Иоакимович! – заговорил, окая, широко, по-народному улыбаясь, позвонивший. Он был в распахнутой шубе на хорьках, в бобровой, до бровей шапке.– Может, впустите путника-то в свой терем?

– Пожалуйста, пожалуйста,– засуетился Свешников.

Гость был, судя по всему, солидный, с представительной внешностью.

Белокурая бородка, голубые светлые глаза. А когда снял шапку, из-под нее щедро высыпались длинные, по-старославянски подстриженные соломенные волосы. Он основательно, удобно уселся в резном ореховом кресле, представился:

– Поэт я, Антонин Иоакимович, прозаик, драматург и историк. Может, слыхивали такого – Богородицкий. Савелий, или для обыденного употребления Савва Миронович. – Он поправил бородку, соломенные свои волосы, зачесанные назад и слегка взятые на пробор, оперся левой рукой о бедро, глянул с усмешкой исподлобья -ну совсем Садко, богатый новгородский гость.– Северянин я. Белозерье, Кириллов… Вытегра, Каргополь… Вот мои удельные владения. Хе-хе!

– Да как же, как же! – захлопотал Свешников. – Вас да не знать, Савелий… простите… Савва Миронович! Уж кто из русских людей не знает Богородицкого! – При этом он, не больно тративший время на чтение современных советских авторов, изо всех сил старался вспомнить хоть одну книгу или даже одну бы строку, созданную рукой своего посетителя. Слышать о нем что-то по различным поводам слыхивал: то он о чью-то голову сломал палку в ресторане Казанского вокзала, то лично был приглашен французской поэтессой Линдой Мулине в Париж на выставку почтовых марок с портретами литераторов всего мира, то в одной из газет опубликовал такое стихотворение, в котором были принципиально отброшены все знаки препинания; они, дескать, мешают свободному потоку мысли. А что еще? Да, да вспомнил! Несколько лет назад появилась большая поэма Саввы Богородицкого под названием «На богомолье». Смысл ее, как растолковывали скрестившие свои перья критики, заключался в том, что лирический герой поэмы, некий «Он» или «Я», прожив несколько десятков лет в городе с его суетой и спешкой пятилеток, на склоне лет решил отправиться в места, где родился, где рос и первично познавал мир и красоту природы. Герой приезжает в лесную и озерную глухомань – да, да, именно в северную! – находит там свою родимую деревеньку десятка в полтора дворов; все в деревеньке обветшало, половина изб заколочена, молодежь разъехалась в города, на старых завалинках остались доживать жизнь деды да бабки. Герой смотрит на них, древних, худых, коричневых от прожитых лет и пережитых невзгод, и кажутся они ему святыми, почти богами с икон в церкви соседнего с деревенькой села. Церкви давно нет, ее разрушили, и икон нет – ликов тех святых и богов. Зато есть вот эти живые святые, на которых держится мир. Они умрут, и что же останется?

Одни остро критиковали поэму Богородицкого за ее безысходность, другие утверждали, что она глубочайшее произведение мирового значения, полное гуманизма. Потом о ней перестали вспоминать. Прошумела и отшумела.

На счастье, история с поэмой Богородицкого вспомнилась Свешникову.

– Мы с женой зачитывались вашим «Богомольем»,– сказал он, радуясь этому, ему очень не хотелось в глазах литературного гостя выглядеть невеждой и невежей.

Кое-как пересказывая свои отрывочные сведения о помянутой поэме, Свешников стал ощущать беспокоивший его неприятный запах, который все

гуще распространялся по мастерской.

– Принюхиваетесь! – заметил движения его носа Богородицкий. – Чесночком от меня, должно быть, потягивает. Время гриппозное, скверное. Зима-то гнилая, оттепелистая. Вот потребляю. Врачи велят. Оно, конечно, собеседникам противно. Что верно, то верно. Зато здоровью как раз.

И вам советую. Не отведаете? – Он вытащил из кармана парочку крупных изжелта-розоватых головок чеснока.

– Избави бог! Мы с женой терпеть этого не можем. – Свешников понял, что все-таки допустил неучтивость по отношению к своему гостю. – Но раз такое время, если грипп и так далее, ничего уж не поделаешь,– старался он поправить положение. -Только горькое лекарство лечит, как утверждают на Востоке.

– Но я и другое, ныне забытое, уважаю, – заговорил Богородицкий, извлекая из кармана шкатулочку с эмалью на крышке. – Нюхательный табачок! – Запустив в каждую ноздрю по щепотке, он долго сморкался в платок, охая и ахая от удовольствия.

Человек этот был немногим старше Свешникова, но держался не в пример хозяину мастерской солидно, основательно, с чувством полного сознания того, кто же он такой и какое место занимает в мире.

– Вот и решил прильнуть к тебе, Антонин, – вдруг прочихавшись, перешел он на «ты».– Потому решил так, что творчество твое сродни моему «Богомолью». Душу твою я почуял. Обижают тебя, гляжу, затирают. А надо бы выставочку соорудить да всему миру тебя представить. Ты же Васнецов наш, ты сила, талантище. А у тебя ни медальки рыженькой на пиджачке, на лапсердаке этом,– Богородицкий указал пальцем на измазанную красками вельветовую куртку Свешникова, – ни орденочка, нигде в президиумах тебя не увидишь, все эти– обломки культа там, никак не хотят уходить со сцены истории. Твое творчество – во как! – надобно народу, жихарю нашему российскому. Тяжка жизнь-то у людей русских, тяжка. С народом-то я общаюсь, хаживаю в него. Излучье – село мое. Дальнее, лесное, моховое. Ныне до него никому и дела нет. А бывало… Что это у тебя, голая баба? – Взор Богородицкого пал на обнаженную женщину, которую Свешников изобразил лежащей на чем-то бордовом. Это было шелковое стеганое одеяло. Им, как заметил Богородицкий, была застлана широкая тахта в углу мастерской: – На одеяло, значит, укладывал? Как они, черти, эти бабы, не стыдятся вот так распластываться перед вами, художниками? Ну и ну!

– Профессия такая, Савва Миронович.– Свешников не решался ни «ты» говорить гостю, ни отбросить его отчество, как запросто, без всяких усилий сделал тот.– Когда пишешь натурщицу, не воспринимаешь ее как женщину, а она, в свою очередь, не видит в тебе мужчины. Работа!

– Да, работка завлекательная. Ну так о чем я? Бывало, слышишь, село наше Излучье на торговом тракте располагалось. На север ехали через него, с севера… По зимнику, понятно. Летом у нас не продерешься. Болота, комар, морошка. Семьдесят дворов. Церковь из лиственниц, по обхвату толщиной, рублена была. Прадед мой ставил. Богородицы Заозерской. По той церкви, по

богородице-то, и прозвище наше семейное. Как поставил прадед церковь Богородицы, так фамилию нашу и позабыли. Богородицкими звать начали.

– Надо полагать, богачами вы были, Савва Миронович, если, церкви ставить могли?

– А уж не без того. Это сейчас всю историю перекроили. На бедняков да на кулаков Россию рассортировали направо и налево. А в те времена не бедняк был, а лодырь, шпана, шаромыжник. И не кулак был, а первый работник, первый хозяин на селе, крепкий крестьянин, который ни дня покоя не ведал, за урожай бился, за хлеб, за доходность земли. Ну, значит, доподлинно работящими были и мы, Богородицкие, еже ли одни, семьей, на церковь могли свободно наработать. Да только ли на церковь! У отца моего, не знаю, как у прадеда, дом был двухэтажный, под железной крышей. Низ – из камней, верх – бревно с тесовой обшивкой да еще и покрашенной. Внизу трактир на два зала, с несколькими кабинетами, как тогда называли отдельные комнаты для желающих.

Верх – жилье. Шестнадцать нумеров. В пяти из них семья наша обитала. Одиннадцать постояльцам сдавались. Смешно сказать, Советская власть не смогла для своих нужд построить хотя бы то, что одни Богородицкие осилили. В начале коллективизации отобрали дом у отца, и что? Все туда уместилось. И сельсовет, и клуб, и библиотека с читальней, и почта.

– Интересно, а что же теперь с тем домом? – спросил Свешников.

– Так ведь привел я его в порядок, оборудовал как надо, приспособил. Сам, случается, езжу гостевать летом, а иной раз и по зиме. Ох, места! Вот махнем, если согласный будешь, такой красотищи насмотришься…

– Обождите, Савва Миронович, а как же, вы говорите, отобрали у вас дом, а вот теперь вы его в порядок привели. Не понимаю.

– А чего не понимать! Откупил у местных властей. Кое-кто помог мне уговорить их возвратить дом подлинному владельцу, то есть наследнику владельца. Отец-то мой умер.

– Его раскулачивали?

– Не допустили до этого мы. Туда-сюда, Сталину писали. Главная-то зацепка в самом отце была. Когда в наших местах интервенты пре бывали… да, да… прорвались к нам белые с севера. Было такое дело. Излучье на несколько дней и подпало под их власть. Повесили кого-то, в колодец бросили. Ну как обычно. А отец мой крутой натуры был человек, не то чтобы задира, а несправедливости во как не выносил. А тут возьмись некий белый солдатишка-мозглячишка понукать его по какому-то поводу. Отец и смазал солдатишку по уху. В кутузку отца, само собой. Три дня прождал следствия. А на четвертый красные вернулись, ну и при полном торжестве выпустили на волю сельского политзаключенного, по страдавшего за Советскую власть. Шутит же шутки история! Справочку получил сиделец от ревкома. Хранил ее, будто знал, что понадобится. И понадобилась. Оказала себя. Не тронули в коллективизацию ни отца, ни братьев. А вот все равно, как ты там хочешь, сидит внутри, вот тут обида.– Богородицкий тиснул себя кулаком в грудь.– Наиздевались все-таки и над отцом нашим, над нами над всеми. Косились на

нас мужики-голодранцы из лодырей. Угрозы всякие.

– И лично вам пришлось пострадать?

– Мне-то? Да так, самую малость. На трудовой фронт отправили во время войны. Принудили лямку тянуть.

– Что значит принудили? Как? Почему? За что?

– Очень просто, за что! За честность. Отказался идти людей убивать.

– То есть как убивать? – поразился Свешников.

– И это проще простого: на фронте, оружием. Я христианин, Антонин Иоакимович, христианин! Мне человека любить положено, а не штыком в него пырять.

Разговор был странный, неприятный, и продолжать его Свешникову не хотелось.

– Савва Миронович, может быть, чайку выпьете, кофе? Или винца? Сухое есть. Коньячок. А? – предложил он.

– А что, надоел тебе с разговором?

– Да нет, что вы, напротив! Чтобы разговору и дальше течь.

– Давай тогда кофею с коньяком.

Пока Свешников заваривал кофе да ставил на круглый столик рюмки, Богородицкий ходил вдоль стен мастерской, рассматривал этюды, эскизы, наброски, всякий хлам, служивший натурой для натюрмортов.

– Занятная у вас жизнь, у художников, – заговорил он, когда кофе и коньяк были налиты.– Посадишь перед собой человека – и сдувай с него. А мы-то сквозь «магический кристалл» должны пропустить свое, через него жизнь видеть. И то, что в сущности есть, и вместе с тем другое все-таки.

– Но ведь и мы не фотографы.

– Это верно, это верно. Но, когда человека изображаешь, конкретную личность, нельзя, чтобы он был похож на случайного дядю. Вот эта голая…– Богородицкий вновь обернулся на полотно с белотелой женщиной, лежащей на бордовом одеяле. – Она вот такая и есть, не приукрасил, ничего не подрисовал?

– Все так.

– А кто она, не секрет?

– Натурщица. Не с улицы же.

– А что у них, у этаких, и документ соответственный есть? Ведь вот, скажем, милиция зайдет, стриптизом, скажут, развлекаетесь, гражданин художник. У нас не Париж, не Мулен Руж и не Фоли Бержер.

– Не знаю, все предусмотреть невозможно. Но ничего подобного еще не бывало. Никакая милиция ко мне не заходит. Зачем?

– Занятно, занятно. Вот раз, когда Линда в Париж приглашала, меня там у них повели на стриптиз полюбоваться… Нет, знаешь, у тебя тут натурально. Все как есть. А там туману напускают. Начнут светом мигать, вроде бы уже на ней ничего и нету, а толком не разглядишь. А тут, значит, лежит и ни-ни… Как скажешь, так и предстает перед тобой? При полном свете?

– В потемках я бы не смог работать.

– Верно, верно. А поприсутствовать при таком деле можно?

– Нет, Савва Миронович, только с холстом, с кистями, с карандашом.

– Ловко вы устраиваетесь. Это ведь еще матушка Екатерина Великая о вас, художниках, порадела. Известно тебе или нет, что до нее бани в России были общие – мужики и бабы вместе мылись. Матушка повелела банщикам разделить свои заведения надвое и в женскую часть мужчин допускать только по служебной необходимости: лекаря, скажем, истопника. А вот художникам, ежели кто пожелает изучать свое искусство на живых моделях, было сделано исключение. Ходи, изучай. Ну ладно, я не об этом. Голытьбы тоже насмотрелся на своем веку. Так Россию, Россию писать надо, дорогой Антонин. Кисть у тебя крепкая, широкая.

В мастерской появилась Липочка, вернувшаяся из города. Богородицкий потискал ее сухую узкую руку, обдал чесночным духом, отчего Липочка слегка попятилась, сказал, неимоверно разокавшись:

– Вот такою и полагал я музу Антонина Свешникова. С обликом страстотерпицы. И в огонь которые пойдут бестрепетно и на эшафот, ежели дело-то правое.

– Не пугайте Олимпиаду Федоровну,– сказал Свешников.– Зачем уж про огни да про эшафоты?

– К слову оно, к характеру. О таких лебедушках синеоких поэмы писать надо, не токмо портреты с них снимать.

Он еще поболтал о чем-то подобном не совсем к месту, надел свою шубу на хорьках и бобровую шапку и распрощался.

– Неприятный тип,– сказала Липочка, когда дверь за ним затворилась.– Дремуче сер. Некультурен. Нажравшись чесноку, нельзя ходить на люди. Сидеть дома надо.

– А мне он показался ничего, так себе. Мужлан, ты права. До сих пор чесноком у нас разит. Отвори, пожалуйста, форточку, пусть продует. Но мужланы – они народ пробивной, между прочим. Может далеко пойти.

– Далеко, милый Тоник,– почти нараспев произнесла Липочка, – пойдешь ты. Сегодня я встретила мадам Лию Ламперт. Она сказала, что по Би-би-си будет передан на днях большой материал о тебе, о твоей жизни, о твоем творчестве. Кое-что, она утверждает, будет там и обо мне, твоей верной подруге. О дне и часе сообщат дополнительно. Мадам Лия как раз собиралась нам позвонить.

Свешников расхаживал по мастерской, и мысли его прыгали с этой передачи, которая состоится на днях, на поэта Савву Богородицкого, с постоянно улыбающейся жены одного из западных корреспондентов мадам Лии Ламперт на ту старуху, родственницу советника одного из посольств, которую к нему должны были привезти в двенадцать дня, да вот не привезли, вместо нее явился Богородицкий и отнял два дорогих часа, а что сказал? Россия, Россия!… Многие носятся теперь с этой их стилизованной Россией . Самовары, тройки, русская зима, русские блины, кокошники, медовухи… Опять богатыри и царевны, которых он, Свешников, малевал после войны. Очередная путаница. Ему вспомнилась женщина-архитектор, с увлечением показывавшая ему достопримечательности своей старой Риги. Потом, когда из старых улиц они вышли за кольцо садов, где начинались места с

разностильными, один вычурней другого, громоздкими домами, она не без грусти сказала: «А это, как у нас называют, стиль профан». Стиль профан! До чего же метко. Облекая современность в псевдорусские формы, люди профанируют настоящее русское, подлинно русское.

Свешников был убежден в том, что, так подчеркнуто, с нажимом рассуждая о России, о русском, Богородицкий делает не доброе, а злое дело. Маслом кашу не испортишь!… Но культура нации – совсем ведь не каша.

8

Из всех, кому так или иначе была известна неудача Феликса Самарина с женитьбой, кто знал, что молодая семья Самариных распалась и Нонна возвратилась к своим родителям, а Феликс снова холостой, самое деятельное участие, более даже деятельное, чем Раиса Алексеевна, не говоря уж о Сергее Антроповиче, который махнул на это рукой: сам, дескать, Феликс разберется, – принимала в обсуждении и переживании этой истории именно она, Липочка Свешникова, двоюродная тетка Феликса, «тетя Олимпиада», как называл ее Феликс, чтобы позлить, потому что она с ее тридцатью с чем-то годами никак не считала для себя возможным быть кому-нибудь тетей: в своих представлениях она была постоянно юной, хрупкой Липочкой и желала продолжать оставаться таковой для всех других.

Липочка редко посещала дом двоюродной сестры-Раисы Алексеевны. Зачастила она к Самариным лишь в те годы, когда на ее Антонина обрушились материальные тяготы. В ту пору она то и дело заскакивала к ним перехватить трешницу или пятерку «на хлеб» – в тех еще старых, дореформенных, деньгах – попить чайку с вареньем, которое никогда не переводилось у Раисы Алексеевны, и упархивала, чтобы через день или через два явиться вновь, потому что хлеб был нужен ежедневно.

С тех пор, когда дела Свешникова начали поправляться, когда, как выразился Сергей Антропович, «маэстро овладел тайнами Андрея Рублева и Феофана Грека» и в карманы его потекли гонорары, исчисляемые не столько в рублях, сколько в денежных единицах разных зарубежных стран, Липочка опять исчезла на несколько лет.

– Она с детства была странная,– как бы оправдывала ее в глазах Сергея Антроповича Раиса Алексеевна.– Она любила побыть одна, любила тишину, она могла часами просиживать перед зеркалом и видеть в нем невидимое другими. Она говорила, что видится там себе самой в более интересной жизни. Понять ее можно: Липочкина жизнь не очень ведь заладилась. Ты же знаешь.

Да, Сергей Антропович знал основные биографические вехи двоюродной сестры своей жены. В далекую, давнюю пору, когда молоденькая Раечка работала обмотчицей на заводе «Динамо», ее тетка, мать Липочки, уже окончила медицинский институт и стала врачом. С началом войны она ушла на фронт и там погибла. Отец Липочки был крупным хозяйственником; он увез девочку в Сибирь, где на новом месте налаживал работу эвакуированного оборонного завода, и тоже умер – отравился консервами. Липочка попала в

детский дом, встретилась с Антонином Свешниковым, которого ребята звали не иначе как Тонькой, потому что был он слабеньким физически, обидчивым и плаксивым. Двенадцатилетней Липочке его, которого так часто все обижали, было очень жалко, она старалась заботиться о нем, утешала, когда ему приходилось особенно плохо. Он злился на нее за эти девчоночьи заботы, отмахивался от них. Но время шло, паренек привык и к Липочке и к ее участливому отношению к себе и стал принимать все как должное.

О том, что тетка Раисы Алексеевны погибла на фронте, а муж ее умер в тылу, в семье Самариных узнали только по окончании войны. Сергей Антропович немедленно принял меры к розыску их дочери Олимпиады, и в конце концов с помощью соответствующих организаций удалось установить ее адрес. Раиса Алексеевна отправилась в Сибирь. Но вернулась она не только со своей младшей двоюродной сестрой. Пришлось везти в Москву и ее приятеля, без которого Липочка ехать не соглашалась. Паренек оказался способным, поступил работать, закончил два последних класса средней вечерней школы, самозабвенно увлекся живописью. Как и Липочка, он жил в семье Самариных, был предупредителен к взрослым, возился с маленьким Феликсом, Фелькой, и вдруг на своем девятнадцатом году, уже учась в художественном училище, объявил, что он Липочкин муж и что, следовательно. Липочка его жена. «Но ей же еще нет и шестнадцати! Что ты наделал! – выходила из себя Раиса Алексеевна.– Если бы только были живы твои родители, они бы!…» «А они живы, Раиса Алексеевна», – ответил Антонин.

Это было полнейшей неожиданностью для семьи. «То есть как живы? Где же они? Почему бросили тебя?» «Очень просто. Они ушли к немцам, знайте это, Раиса Алексеевна и Сергей Антропович». «Где? Как ушли? Почему?» «Не знаю, почему, но где, знаю. В деревне, недалеко от города Порхова, под Псковом. Деревня называлась Красухой. Я там каждое лето жил у бабушки, у отцовой мамы. Поехал туда и в то лето. Мне уже исполнилось двенадцать. Уже в пионеры меня приняли. И вот не успел приехать – война. Что делать, ни я, ни бабушка не знали. Все отпускники возвращаются в свои города. А я сижу, жду ответа на письмо, которое мы с бабушкой спешно написали моим родителям. Вместо ответа неожиданно приехали они сами. И повели себя странно так. Что бы взять меня и бабушку, да и укатить оттуда поскорее. Нет, живут день, живут другой… Шушукаются меж собою. А бои уже совсем рядом, совсем близко. Бабушка сказала отцу: „Тебя, Акимушка – его Иоакимом звали,– поди, в военкомате ждут. Мобилизация же!“ „Да, да, мама, знаю. Еще несколько деньков обождут, никуда я не денусь“. А вскоре уже и немцы пришли. И оба мои родителя, можете себе представить, Раиса Алексеевна и Сергей Антропович, на моих собственных глазах вышли к ним навстречу, мать махала платочком, отец, не скажу чтобы весело, но все же улыбался. Потом их вызывали в немецкие учреждения, приняли не то в Порхове, не то еще где-то на работу. Они ходили туда и обратно каждый день по многу километров. Бабушка не выдержала, разбудила меня однажды ночью и говорит: „Пойдем отсюда, внучек, нам тут с этими людьми делать нечего“. И, знаете, я понял ее, согласился с ней, и мы ушли. Бабушка была знаменитой в области льноводкой.

Отец у нее священник, но сама она ордена имела за работу в колхозе. Мы долго с ней шли, много дней. Пробирались через такую людскую мешанину, что трудно даже и представить, что такое может быть. В одну деревню сунемся – немцы, в другую зайдем – наши красноармейцы, в третью – вообще никого нет, в четвертой все живут, как жили. Добрались в конце концов до Павловска, под Ленинградом. Сильный бой шел в тот день. Артиллерия бьет, самолеты бомбят. Земля качалась. От своих мы уже больше не отставали, вместе с ними дошли до Колпина – такой городок возле Ленинграда, где Ижорский завод. А из Колпина и в Ленинград попали. Бабушка отыскала там своего дальнего родственника, который в Зоологическом саду ухаживал за зверями, за хищниками. Здоровенный такой мужчина, черный, как цыган, голос у него – что паровозный бас, сам плечистый, рукастый. Выслушал он бабушкин рассказ да как рявкнет: „Так и знал я, что гады они, Якимка этот с его сучкой мокрохвостой!“ Я кинулся на него: не смей говорить плохо про моих родителей. За мать стало обидно. Хотя уже давным-давно, с того ее платочка и с той отцовой улыбки, на душе у меня было нехорошо и никак не мог я разобраться в поступке моих родителей. Весь народ поднимался на немцев, а мои отец с матерью служить к ним пошли. Ну, словом, так. Бабушка умерла от голода. Тот цыганистый ее родственник тоже умер. А меня эвакуировали в Сибирь, в детдом. Вот вам полная моя исповедь. Я сын изменников, врагов народа. Это я говорю вам самым первым, потому что никто, кроме меня, не знает теперь ни про тот платочек, ни про ту улыбку. Даже Липа не знала. И если она после этого откажется от меня, винить ее не стану». «Сын за отца не отвечает! – закричала Липа.– И ты же не стал с ними жить, как только узнал, какие они».

Сергей Антропович отправился куда следует и рассказал обо всем, что услышал от Антонина. Он просил навести справки, постараться выяснить, не путает ли парнишка, ему же было тогда всего двенадцать лет. Через некоторое время Сергея Антроповича пригласили на площадь Дзержинского, и майор госбезопасности сказал: «Погибли они, Иоаким и Александра Свешниковы, товарищ Самарин. Разведчиками они были. Под видом того, что молодые родители едут за своим ребенком, наши товарищи отправили их навстречу наступавшим немцам. Задание было – проникнуть в штабные органы группы армий „Север“. Оба в совершенстве знали немецкий, были отличными стрелками, освоили специальность радистов. Вот взгляните!» – И майор положил на стол перед Сергеем Антроповичем несколько старых, потускневших фотографий. Сергей Антропович увидел на них девушку в полосатой футболке, высокую, тонкую – чувствовалось, что это заядлая физкультурница: лицо у нее было открытое, правдивое. А молодой человек в военной гимнастерке весело улыбался во весь белозубый рот. Об этой улыбке, врезавшейся в его детскую память, не один раз с отвращением упомянул Антонин. «Да, вот так штука,– только и мог сказать Сергей Антропович.– Как же быть-то теперь? Как этому парню все рассказать?» «Так попросту и рассказать, товарищ Самарин. Непременно надо рассказать. Хотите, расскажем вместе?»

Они, тот майор и особенно Сергей Антропович, полагали, что, узнав

правду, Антонин обрадуется, воспрянет духом, получит нервную разрядку долголетнего напряжения. Но ошиблись. Правда не распрямила, а напротив, пришибла Антонина. Он притих, затаился, много дней не мог прийти в себя. Этому невозможно было найти объяснения. Невозможно для других. А сам-то Антонин знал, в чем дело. Долгими годами он остро, жестоко осуждал своих родителей, он порицал их за неверность Родине, за то, что и его-то, своего ребенка, они сделали несчастным, сыном врагов народа. И вдруг что же? Оказывается, он на них постыдно клеветал все эти годы: ничего толком не зная, ни в чем не разобравшись, поверив платочку и улыбочке, поверив бабушке, от которой тоже все было, конечно, скрыто, и тому цыгану, ухаживавшему за тиграми. Какое горе, какое несчастье! Выходит, что верить нельзя никому: ни далеким, ни близким, ни самым близким, ни самому себе.

Липочка же восприняла все как должное. «Я не удивлена нисколько. Этого и следовало ожидать. Не могло же быть так, чтобы у скверных, недостойных родителей вырос такой прекрасный сын. Если сын хорош, то и родители не хуже».

При всех странностях жизни семьи Свешниковых Самарины их никогда не осуждали, ни в чем не винили. Напротив, постоянно стремились оправдать. «Поломала ребяток жизнь, покрутила». Липочке ссужались без отдачи не только трешницы и пятерки, а и более значительные суммы. Антонину через Моссовет выхлопатывались не только старые каретные сараи под мастерские, а делалось много и сверх того. А когда семейка в полосу своего бурного просперити пропала из поля зрения Самариных, Самарины тоже смотрели на это как на должное.

И вот Липочка, разодетая в англо-итальяно-американо-французское, появилась вновь.

– Я никогда не считала браки подобного рода правильными и способными приносить людям счастье,– заявила она с первого же раза.

– То есть какие такие? – спросил ее Сергей Антропович.

– А вот такие, династические… Крупный советский работник женит своего сына непременно на дочери…

– На внучке,– подсказал Сергей Антропович.

– На внучке,– согласилась Липочка,– тоже, конечно же, сильного мира сего, лауреата, депутата, кандидата…

– Доктора.

– Доктора наук, Героя Советского Союза…

– Социалистического Труда.

– Это ведет к обособлению определенной кучки людей, к суживанию их интересов и в итоге к перерождению и вырождению, – переводя взгляд синих глаз с Сергея Антроповича на Раису Алексеевну, разъясняла свою точку зрения Липочка.– Для счастья, для подлинного счастья люди, вступающие в брак, должны быть очень далекими и очень различными. Они должны быть из разных социальных групп, тогда им интересно будет узнавать мир друг друга. Они должны быть разного жизненного опыта, тогда они будут передавать друг другу этот опыт. Очень полезно им быть разного уровня развития, тогда один

станет подымать другого до своего уровня, и это тоже будет интересно, будет цель, будут устремления.

– Тогда уж развивай свою роскошную теорию дальше,– сказала Раиса Алексеевна. – Для полноты счастья, скажи, надо, чтобы люди бы ли и разных национальностей.

– Правильно! – подхватила Липочка. – Именно.

– Чтобы он был негром, а она была бы белая! – воскликнула Раиса Алексеевна.

Липочка на минуту призадумалась.

– Если по любви, то да. А если только потому, что это может стать модным у московских девчонок наравне с подкрашиванием век синими чернилами завода «Радуга», тогда, пожалуй, не стоит. Но вы меня все время сбиваете с мысли. Нонна – прекрасная девочка. Но они с Феликсом слишком одинаковы. У обоих высшее образование. Оба здоровые, красивые чистоплотные. Оба чертовски положительные, оба уравновешенные, добрые и так далее и тому подобное. С ума же можно спятить от такой одинаковости. Один для другого, как отражение в зеркале. Поживи-ка годик-другой лицом к лицу с зеркалом. Не говорю уж, что всю жизнь. Завоешь!

– А знаешь, мать, она не дура,– вдруг согласился Сергей Антропович – В ее рассуждениях есть зерно. Ну, а что же ты предлагаешь практически, Олимпиада?

– Да ничего. Что я могу предложить? Могу, конечно, познакомить его с одной, с двумя, которые уж никак не похожи ни на его Нонну, ни на него самого. Есть интересные девчонки.

– Да, в вашем художественном мире чего только нет. Нет уж, не будем своднями и сводниками. Пусть сам себе ищет, кого знает. Еще, может быть, с Нонной поладят. Навещают же друг друга.– Сергей Антропович раскурил сигарету, с удовольствием выпустил дым под потолок. – У них очень хорошая дружба.

– Вот это-то и есть ярчайший признак того, что они уже никогда не будут вместе, нет! – решительно заявила Липочка. – Дружба! Раз заговорили о дружбе – с любовью покончено, о ней и слова не может быть.

Липочка не ограничилась разговорами. Через несколько дней она позвонила Феликсу:

– Феликс, милый, мы не могли бы с тобой посидеть часик вдвоем в каком-нибудь кафе?

– А что, милая тетушка,– ответил он, смеясь,– у тебя на примете объект для отдаленной гибридизации?

Она поняла, что Феликсу передали дома ее давешние суждения о непохожестях, необходимых для семейной жизни.

– Врать не стану, но мне очень хотелось бы, чтобы ты пришел. Очень. Понимаешь?

Они нашли места за столиком в «Национале».

– Можешь заказывать, что хочешь. Я тебя пригласила, я и уплачу, – подавая ему меню, сказала Липочка. – У класса-гегемона пока еще нет средств для прожигания жизни по ресторанам. Вот разве с проведением в жизнь экономической реформы, с новым порядком экономического стимулирования…

– Видишь ли,– Феликс просматривал список блюд,– я, к сожалению, не слишком долго принадлежал к классу-гегемону. Теперь я выбился в технократы, и… словом, я не санкюлот, и, как говорится, офицер такой-то армии с женщин денег не берет. Заказывай все, что хочешь ты!

Они взяли немного вермута. Липа сказала, что нигде в мире не дуют стаканами коньяк, как у нас, и вообще его пьют не так вот запросто, а в определенных случаях; от нечего делать потягивают джин с тоником, в виноградных странах – сухие натуральные вина, там, где похолоднее, где немыслимо накачиваться вином, употребляют вермут. Феликс согласился на вермут, но, попробовав его, сказал, что это скорее вермуть, чем вермут.

Они так перебрасывались словами с полчаса и уже принялись было за куриную котлету, когда возле их столика, как и предполагал Феликс, появилась девица, довольно привлекательная на взгляд, без всяких подкрасок глаз и губ, гладко причесанная, как говорят в таких случаях, натуральная.

– Ия! Как хорошо! – поприветствовала ее Липочка.– Садись с нами. Познакомьтесь, товарищи. Моя подруга. Младшая, конечно. Очень младшая. А это мой почти что брат, Феликс. Вместе росли, вместе…

Липочкина подруга села, ей тоже налили вермута, тоже заказали куриную котлету. Но она прежде всего закурила, и некоторое время молча посматривала зелеными глазами на Феликса.

– Я слышала о вас от Липы,– сказала она.– И я хотела познакомиться с вами. Липа подстроила это по моей просьбе. Вас не шокирует это?

– Что именно?

– Такой разговор и моя откровенность. Я не люблю врать. Считаю, что врать очень хлопотно. Надо все время помнить, что и как сказала раньше, чтобы не спутать, не запутаться. Голова занята, ничто иное в нее не идет. Когда врешь, много теряешь.

– А почему вы так хотели познакомиться со мной?

– Потому что вы, судя по вашим поступкам, не ординарный. Вы от казались от родства с высоким человеком, расторгли брак, потому что в нем не было любви, пренебрегли аспирантурой, научной карьерой и пошли в так называемые простые заводские инженеры. Покажите, пожалуйста, ваши руки, если можно.

– Почему же нельзя! Вот мои ладони. Вас именно ладони, конечно, интересуют, мои мозоли, так? Ведь я до самого окончания института работал слесарем-инструментальщиком.

– Что ж, и мозоли тоже. – Ия поводила пальцем по положенным на стол кистям рук Феликса, по его повернутым кверху ладоням. – Руки как руки. Красивые притом, ладонь не лопатой, пальцы длинные. На фортепьяно играете?

– Могу.

– А мозоли… Они ни о чем еще не говорят. Мой дед, например, был настройщиком роялей, мозолищи же у него на руках были, не сравнить с вашими. Потому что все лето возился на огороде с лопатой и граблями. А сколько вы зарабатываете? Не тайна?

– Рублей сто пятьдесят, сто семьдесят. В зависимости от выполнения плана.

– Значит, если вы останетесь на всю жизнь таким вот рядовым инженером, у вас никогда не будет собственной дачи, собственного автомобиля?

– Дачу хоть завтра можно завести. Получить участок в так называемом коллективном саду за городом и построить дощаник. А машина – по вещевой лотерее бац, и вот она! «Москвич», «Волга».

– Я спрашиваю серьезно.

– А если серьезно, это уж как выйдет. Пока что ни в даче, ни в машине я не нуждаюсь.

– Бессребреник! Мне это подходит. Давайте дружить, а?

– Трудно так вот, сразу-то. Тем более что и враждовать нам не с чего.

Когда котлеты были съедены, Ия предложила:

– Кофе поедем пить ко мне. Здесь какой же кофе! Бурда. А я могу приготовить настоящий турецкий. Недалеко. Несколько остановок на автобусе. Или на троллейбусе. До улицы Димитрова. Бывшая Якиманка.

Все втроем вошли они во двор старого серого дома, поднялись по обшарпанной, темной лестнице на второй этаж. Ия отворила дверь своим ключом. В запущенной темной квартире с застойным, неприятным запахом в коридоре она отомкнула еще одну дверь, включила за нею свет, и Феликс увидел почти испугавшее его странное жилище. После чистоты и постоянно свежего воздуха у них дома, после такой же чистой и светлой квартиры семьи Нонны и всех других известных ему квартир, пусть даже небольших, тесных, но опрятных, здесь ему показалось, что он попал в вертеп таких времен, в какие происходили события, описанные Достоевским в его романе «Преступление и наказание». Никогда в этой комнате не менялись, думалось ему, мрачные, неопределенного рыже-буро-серого цвета обои, не освежался белилами чуть ли не ставший черным потолок, вполне возможно, что он еще хранил на себе копоть керосинок военных лет. Половицы шатались под ногами. На этих разошедшихся, широких, с облезлой краской тесинах, занимая всю середину комнаты, стоял круглый, низкий стол, у которого, чтобы сделать его таким, просто-напросто отпилили ножки. Вокруг стола располагались старые-престарые кожаные стулья, тоже с укороченными ножками. Стол был завален книгами, рукописями, начатыми пачками сигарет, карандашами. Среди всего этого стояли две пишущие машинки и лампа с широким плоским абажуром.

– Не смущайтесь, – сказала Ия гостеприимно. – Устраивайтесь на тахте. Но пусть вас не испугают звон и визг пружин. Тахта старенькая. И все здесь старенькое. Оно еще бабушкино и дедушкино, а может быть, и прабабушкино и прадедушкино.

Действительно, пружины залязгали под Феликсом и опустили его чуть ли

не до самого пола. Он сидел так и рассматривал вкривь и вкось развешанные по стенам случайно подобранные эстампы, дешевые картинки, среди которых, трудно понять почему, оказалось несколько старых икон и костяное распятие; две железные подковы, помещенные под распятием, были подняты, видимо, где-то на сельских дорогах.

Ия кипятила в электрической кофеварке кофе, Липочка помогала ей.

– Ийка закончила что-то восточное,– говорила Липочка, звякая чашками и блюдцами. – Она индолог, ориенталист, синолог.

– А что это такое? – поинтересовался Феликс.

– Синолог-то? Да специалист по Китаю. От слова «Сина», «Чина». Знаешь,– пропела Липочка,– «чина-чина-чина сан»? Из оперетки.

Кофе пили долго, из чашечек, а чашечки были крохотные, и наполнять их приходилось по нескольку раз. Пили на той стороне стола, с которой хозяйка просто взяла и сгребла все. что там было,– бумаги, книги, коробки со скрепками. На вопрос Феликса, чем она занимается, Ия ответила:

– Перевожу.

– С каких же языков?

– А с каких вам угодно?

– То есть? Вы все языки, что ли, знаете?

– Не все. Но могу с французского, могу с английского, могу с хинди, с урду, с арабского, корейского…

– Хватит! – закричал Феликс. – Караул! Вы счетная машина. Сколько же вам лет?

– Двадцать шесть, как вам.

– Когда же вы успели?

– Время, которое ушло бы у меня на переклейку обоев, на перестилку полов, на наведение так называемого уюта, на устранение этого бес порядка,– она повела рукой вокруг,– который, я вижу, вам так активно не понравился, я употребила на другое. Вы поняли?

– По-вашему, значит: или – или? Или человек живет вот так, – Феликс тоже повел рукой вокруг,– зато много знает, или живет по-другому, и тогда он, как все? Третьего не дано?

– Нет, не дано. Увы. Я выбрала первое. Почему я спросила вас об автомобиле? Потому что тот, кто стремится к автомобилю, сам себе готовит духовную, интеллектуальную гибель. Автомобиль сожрет его с потрохами. Автовладелец будет постоянно искать запасные части к своей машине, резину, связываться с жуликами, крадущими все это из государственных гаражей. Он не будет не только иметь свободного времени днем, но он не сможет и ночью спать спокойно – все думать… Зимой – о том, как бы не замерз радиатор, а летом – как бы его четырехколесное сокровище не украли с улицы. Потому что гаража-то у вас не будет.

– У вас что, есть машина?

– У меня-то нет и не было. Но вы же знаете, наверно, что она была у Липочки с Антониной? Я сужу об этом на их печальном примере.

– Да,– подтвердила Липочка.– Мы только тогда и вздохнули свободно,

когда отделались от этой пожирающей деньги чертовщины. Был ужас!

– Ну, а то, что не дожрет в человеке машина,– продолжала Ия, – докончит дача. Крыша потекла, дымоход засорился, дрова надобны, какие-то баллоны с газом… Это уже из жизни семьи моего отчима. Ох. Ох, ох!… Чем убивать себя на такую чертовщину, как говорит Липочка, я лучше прочту лишнюю книгу. Умней стану.

– А для чего, для кого?

– Для себя. Мне приятно чувствовать себя умной. А вам разве нет?

– Не задумывался над этим. Никогда не изводил себя мыслью – умный я или нет.

– Попробуйте задуматься. Это полезно.

– А со стороны как оно выглядит? Как, на ваш взгляд – вы же не любите лгать,– каков я? С умом или без оного? – Феликс пытался шутить. Ему было нелегко вести разговор с этой особой.

– Со стороны-то? От природы вы неглупы. Но ум ваш неоткультивирован. У вас нет должной школы. Так сказать, одно самоусовершенствование. Но и оно для начала неплохо. Вокруг ведь повальная глупость или суррогаты ума. Умничанье вместо ума, манерничанье вместо манер, острословие вместо остроумия, красивость вместо красоты.

– Таков век,– вставила слово с интересом слушавшая их разговор Липочка.– Век синтетики, век заменителей. Даже и думать начинаем переставать, все на электронные машины переваливаем. Интересно, как детишек в будущем станут вырабатывать? Ведь то, как есть сейчас, наверно. будет считаться очень отсталым.– Новаторы этого дела будут поносить консерваторов, обзывать их ретроградами.

Все засмеялись, даже очень серьезная Ия.

Феликс взглянул на часы.

– Если не врут, уже поздно. А мне, знаете, когда на работу-то вставать?

– Да, да, советская индустрия! Вы создаете материальные ценности, а мы их проедаем. Что ж, очень была рада встретиться с вами. Спасибо тебе, Липочка, за содействие. Тщусь надеждой, Феликс, что вы не откажетесь хотя бы еще разок побывать у меня? Адрес не забудете?

Когда вышли на улицу, Липочка сказала:

– Ну как?

– Забавная особа.

– Вот бы тебе такую жену.

– Да, с такой не соскучишься.

– Ты иронизируешь?

– Нисколько. Просто не хочу сразу же делать вывод. Надо пола гать, у тебя еще не один вариантик приготовлен для меня. Посмотрим остальные.

– Остальные хуже, клянусь, честью, Фелька. Ия – это супер, это женщина будущего, она нечто космическое.

– Вот пусть и ждет марсианина. А я что! Я земной, тетенька Липочка.

Чтобы поспеть на работу к восьми часам утра, Феликс вставал ровно в шесть. В первые дни, когда он только что поступил на завод, Раиса Алексеевна пыталась вставать раньше его и готовить ему завтрак. Но получалось нескладно: и тому и другой неудобно. Она спросонья делала все медленнее, чем обычно, толком ничего не могла сообразить; Феликс спешил, нервничал: на завод опаздывать нельзя, и в итоге получалось не добро, а взаимное неудовольствие. Он не выдержал, сказал:

– Не вскакивай ты в непривычное для тебя время, мама. Сам управлюсь. А то получается так, что я злюсь на тебя, а ты злишься на меня за то, что я злюсь на тебя. И никому этого не надо.

Стали приготавливать холодный завтрак с вечера, кипяток наливали в термос, и так сложился утренний быт молодого инженера Феликса Самарина.

Сын уже сорок минут расхаживал вдоль линии станков под лампами дневного света, когда из подъезда десятиэтажного дома на одной из небойких московских улиц выходил отец, садился в «Волгу» и отбывал в свой главк. Ни у сына, ни у отца претензий друг к другу в связи с тем, что один к месту работы ехал на метро чуть ли не через весь город, а другой едва за километр – на машине, не было. Положение, должность, возраст, род и объем деятельности отца – все это Феликс прекрасно понимал. И вообще, когда он видел таких вот в черных «Волгах», одетых в не очень уклюже сшитые пальто, будто бы скроенные одной и той же поднаторевшей рукой, в одинаковых меховых шапках по где-то и кем-то утвержденному единому образцу и подобию, как было и у его отца, Феликс не острил, не потешался над немодностью пассажиров черных «Волг». По отцу, по многочисленным товарищам отца он знал, что люди эти через край загружены большой, трудной, незаметной с улицы работой, без которой государство не может ни жить, ни успешно развиваться. Все их время, все их здоровье, вся их жизнь отданы этой работе, и у них нет ни времени, ни желания следить за модами, за тряпочными ветрами, обычно дующими с Запада, который задыхается от перепроизводства ширпотреба и ищет выхода в быстрых переменах мод. Смешными Феликсу казались как раз те из них, которые, дабы не прослыть консерваторами и догматиками, спешили для начала обузить свои широковатые брюки, позже, через какой-нибудь год-другой, даже вовсе по-стиляжьи или по-ковбойски расклешить их вниз от колена; которые начинали с пиджачков при одном разрезике сзади, а доходили и до оснащенных двумя разрезами на боках, не понимая почему-то, что их отнюдь уже не юношеские массивные зады упрямо рвались на волю сквозь эти изыски иностранных модельеров и галантерейщиков.

Феликсу нравился его отец. Он был основательный и надежный. Никто не знал, чтобы Сергей Антропович Самарин когда-то и в чем-то шарахался из стороны в сторону. Начинались, бывало, отчаянные, лихие перестройки – летели министерства, на их обломках возникали бесчисленные комитеты, – некоторые из товарищей отца впадали чуть ли не в панику: что будет, что будет? Отец говорил: «Конечно, это все не может не отразиться на уровне

производства, но оно, это все, случайно, конвульсивно, оно пройдет, друзья мои, будут найдены нормальные, органически присущие нашему строю формы работы. Потом поднажмем, мы же умеем это, и упущенное наверстаем. Зря волнуетесь». Так в конце концов и получалось. После перестроечных шумих, когда шумихи утихали, люди брались за работу, и многое-многое наверстывалось, восполнялось и успешно уходило вперед. Со стороны могло показаться, будто бы у отца Феликса Самарина был такой компас, который никогда не отклонялся ни на что случайное. Самарин-старший был человеком спокойным, уравновешенным и вдобавок обладал добрым чувством юмора.

На заводе с Феликсом об отце не заговаривали. Отец и отец – кто он там такой, какая разница? Но художника Антонина Свешникова, не только приходившегося Феликсу родней, а который, как сам он, Феликс, рассказал однажды, даже прожил несколько лет в семье Феликса,– того время от времени в рабочей среде поминали.

Феликс, хотя и стал инженером, ничем и никак не отделялся от рабочих и техников. Он постоянно был в цехе, возле рабочих мест, возле станков, пользовался общей бытовкой, сам любил постоять у станка или верстака, повникать в тонкости умного мастерства инструментальщиков. С ним все были запросто, от него не таились. Он был «свой».

– Слушай, Самарин,– сказал раз в бытовке, переодеваясь после работы, электрик Шурыгин. – А родственничек-то твой снова по эфиру звучит. Вчера какой-то из «голосов» – не разобрал, то ли из Лондона, то ли из Мюнхена – возносил его до небес. Обижен, говорят, властями: в Со юз, художников не принят, выставок не имеет. А гений! Один из немногих. Слушаешь так и ушами хлопаешь: правда это или неправда? Са ми-то мы его работ не знаем, не видим. Как судить?

– А верно, – вмешался наладчик станков Олег Егоров. – Ты бы, Феликс Сергеевич, устроил нам свиданьице с твоим родственничком. Свел бы к нему. Где он работает – в учреждении каком, в мастерской?

– Ну да, больно надо время терять! – выкрикнул кто-то.

– Именно надо, – возразили ему. – Каждый должен иметь свое собственное суждение о таких делах, а не с голоса Лондона или Мюнхена.

– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? – засмеялись за шкафами.

– Не в этом дело, – сказал Шурыгин. – А в том, что когда сто раз услышишь, то есть, когда тебе сто раз скажут одно и тоже, то у тебя в башке все отпечатается так, будто ты это увидел, и из словесной брехни в твоем представлении вырастет в конце концов то, что ты будешь считать истиной. Я, к примеру, стихи люблю. Читаю такого поэта, читаю другого, читаю третьего. Хорошие стихи, ну просто замечательные, за душу берут. А рецензии начнешь читать – их, этих поэтов, критики чуть ли не матом кроют. И за границей их, оказывается, даже кроют. Мать честная! Где же правда? А поднимают у нас кого? Того же, кого и за границей готовы носить на руках. Разве ж это дело? Что-то, мне думается, ребята, здесь не того.

Разговоры такие затевались нередко. Вопросы литературы, искусства

волновали рабочих, техников, инженеров завода. За этими вопросами, казалось бы, такими специфическими, далекими от производства, угадывалась большая политика, слышались отзвуки борьбы двух противоположных друг другу миров. Феликс слушал эти разговоры с большим интересом. Кое-что, по его мнению, ребята из цеха упрощали, кое о чем судили слишком поспешно, но в основе своей они понимали все правильно, точно, с верным практическим преломлением.

Завод Феликса не был таким заводом, история которого уходила корнями в давние времена, в девятнадцатый или в восемнадцатый век. Он был построен за несколько лет до начала Отечественной войны, чтобы как можно скорее и как можно больше дать Красной Армии самолетов новых конструкций. Потомственных рабочих, селившихся бы вокруг него целыми династиями, как на старых заводах Урала, Ленинграда да и самой Москвы, здесь еще не было. Но вместе с тем заводской коллектив был хорошо слажен и существовал уже три десятка лет, он много сделал для обороны в годы войны, он обрел свой стиль работы, свою культуру. Образования менее чем в семь классов на нем, пожалуй, ни у кого не было. А было то восемь, то девять, а то и все десять. Да в вечерних, да на заочных отделениях техникумов и вузов сколько училось. Серые малые, конечно, и тут были, хамоватые, некрасиво ведущие себя, пьющие, болтающиеся по жизни. Такие есть всюду, даже среди инженеров и кого повыше. Но не они, не серяки, задавали тон на заводе. Люди думали, спорили, хотели разобраться в проблемах времени. Их касалось все, потому что они были подлинными хозяевами жизни, хозяевами страны, творцами ее настоящего и будущего. Феликсу нравилась кипучая, деловая заводская атмосфера, дух рабочего товарищества, готовности прийти на помощь друг другу, поддержать один другого, дух суровой справедливости при решении сложных, острых человеческих конфликтов. Феликс никогда не слышал и не видел, чтобы кто-то на заводе сюсюкал, гладил кого-то по головке, но и в обиду рабочий коллектив своих людей не давал. Среди тех, кто окружал его, Феликс чувствовал себя уверенно, надежно, как дома с отцом.

Удивительными были на заводе девчонки. Как отличались они от изломанных кукол-секретарш из иных учреждений, продавщиц из магазинов, из разных случайных застольных компаний! Здесь они не были лишь существами другого пола, они были подлинно равноправными с мужчинами. Если подойдешь к такой, заговоришь с ней, сна не начнет крутить перед тобой боками, строить загадочные гримасы, так или иначе предлагаться в качестве объекта для ухаживания. Человек как человек, простой, нормальный, без вошедшего в привычку жеманства, без манерничанья. Даже когда кто-нибудь из них спросит: «Ну как, Феликс Сергеевич, вы все еще холостой?» – это отнюдь не значит, что ему сейчас вот подсунут невесту, а просто сочувствуют трудностям его холостяцкой жизни. Да еще добавят: «Ничего, ничего, не спешите в петлю-то. Погуляйте вволю. Потом времени не будет». И это, конечно, все шутка. Шутить заводские любят. То тебя будто ни с того ни с сего увесисто хлопнут по плечу, то без особых церемоний попросят потесниться за столом во время обеденного перерыва и, почти сидя у тебя на коленях,

добродушно станут похохатывать на тему, что, дескать, в тесноте да не в обиде, то всей бригадой примутся вышучивать тебя по поводу уж очень старательно повязанного галстука и свежей белой сорочки. «Не иначе, на свидание собрался. Должно быть, буфетчица Сонечка приглянулась. То-то она нашему инженеру лишнюю котлетку подбросила. Чтоб силенок прибыло перед свиданьицем. Девчонка-то, ой-е-ей, пудиков на шесть. Такую…» И так далее. Смех, потеха. И если не подчиниться общему духу коллективизма, если не научиться понимать шутку, сказанную от души, неладно тебе будет. Умей сам отшутиться, но лезь, как это обычно называют, в бутылку. Пропадешь. И сам их всех, шутников этих, возненавидишь, и они начнут рассматривать тебя как полное ничтожество.

Общаясь с заводскими людьми, с отзывчивыми, добрыми заводскими девчатами, Феликс вспоминал рассказы отца и его друзей о годах войны, о фронте. Перед ним вставали такие вот, молодые и старые, одетые в те времена в гимнастерки, в шинели и ватники, мужчины и женщины, и совсем парнишки, совсем девчонки,– в землянках, в траншеях, в атаках, в походах, и ему до предела ясным становилось, почему они победили, почему выиграли войну. Если такая вот девчонка в ходе боя могла вытащить из-под огня на своей совсем не богатырской спине десяток раненых, если такой паренек мог с ходу броситься на амбразуру дота и собою перекрыть пулевой поток, то как же иначе? Как не победить? Многое становилось понятным Феликсу по мере того, как углублялся он в жизнь завода. Главное, что он понял, основа всего в стране – это они, беззаветные труженики, а не те путаники – и от искусства и от хозяйствования, голос которых, к сожалению, часто слышится чаще и громче, чем голос людей, честно, без шума и треска, делающих свое трудовое дело. Если бы заводской голос звучал почаще да погромче, путаникам не было бы такого простора.

– Ладно,– сказал он в конце этого очередного диспута в бытовке. – Не ручаюсь. Может быть, родственничек откажется от встречи. Но попробую ее устроить, поговорю с ним.

Был темный мартовский вечер, слегка морозило, падал снежок. Феликс не спеша шел от станции метро к своему дому. Обычно ходу здесь было минут семь-восемь, и он нарочно замедлял шаги, чтобы подышать воздухом, который уже нес в себе запахи весны.

Заблямкал колокол церковки на углу его улицы, распахнулась церковная дверь, и из нее вместе с клубами дымного парного воздуха, пахнувшего свечами, ладаном и потом, повалила толпа богомольцев и богомолок. Кончилась вечерняя служба.

Феликс разглядывал старушек, преградивших ему путь, шаркающих старичков. Внезапно чья-то рука коснулась его руки.

– Это вы? Удивительно! – Перед ним стояла зеленоглазая Ия. – Неужели тоже были в церкви?

– А как же! Это же наша придворная церквуха. Перед сном бью поклоны.

– Шутите. А я и в самом деле там была. – Она указала перчаткой на распахнутую дверь.

– На какой же предмет? Дабы отрешиться от действительности? – Феликс вспомнил иконы на стене ее комнаты.

– Нет, напротив… Чего мы тут стоим, мешаем движению. Может быть, пройдемся? У вас есть время?

– Некоторое.

– Ах, да, я должна бы не забывать: вы рано встаете. Ну, несколько минуток.– Они завернули за угол.– Да, так я говорю,– продолжала Ия, – совсем, говорю, напротив. Не для отрешения от действительности хочется зайти сюда иной раз, а чтобы лучше понять ее, действительность. Почему, зачем идут люди в церковь? Неужели в наше время, время такого развития наук, можно всерьез верить в бога, в некое высшее начало? Да еще и в такое, по образу и подобию которого создан человек. С ногами, руками, с бородой, в кем-то сшитых одеждах. Прихожу вот сюда и что вижу? Бьют перед, иконами поклоны, истово осеняют себя крестом, шепчут слова молитв.

– Все?

– Конечно, не все. Иные просто стоят, как овцы, без всякой мысли в глазах.

Они шли и шли, шли по набережной реки Москвы, мимо Кремлевской стены, по Каменному мосту– и оказались в конце концов перед воротами того дома, в котором, как запомнилось Феликсу, жила Ия.

– По чашечке кофе? – предложила она. – Он не был вам тогда очень противным? Я же придумала, что умею его как-то особенно готовить. Еще и по-турецки. А делаю, как и все: тяп-ляп, и готово.

– Значит, солгали? А утверждали, что всегда говорите только правду, потому что лгать хлопотно.

– А разве не хлопотно? Вот теперь я должна крутиться, объяснять вам, почему тогда сделала так, зачем прихвастнула. Выдумаю чушь, вы ей все равно не поверите… А в общем-то и это я солгала: что никогда не лгу. Бывает, что не солгать просто нельзя. Кстати, все искусство – тоже ведь ложь. Но хорошо, красиво преподнесенная.

– Что вы, что вы, Ия! – запротестовал Феликс.– Это уж совсем…

– Абсолютно точно – ложь. Хотя все жрецы искусства очень громко выражают свою верноподданность правде, но изо всех сил клеймят именно ее, правду. «Фотография!» – кричат они в таком случае. Ну, а что может быть правдивее фотографии? Нет, тут дело темное, и трудно понять, почему в одних случаях заведомую ложь называют правдой, а в других подлинную правду объявляют ложью. Так как же насчет кофе?

Они зашли во двор, поднялись по лестнице, в руках Ии зазвенели ключи. Снова была эта неуютная, угрюмая комната со столом и стульями, у которых ножовкой укоротили ножки, с провалившейся до пола тахтой. Только на этот раз Феликс более внимательно всмотрелся в иконы Ии, пока она готовила кофе. Одна из икон, большая, почерневшая, старая, была поделена ее мастером на несколько клеток, в каждой из которых мастер разрабатывал особый сюжет. Кого-то жгли, пытали, возносили на небо.

– Что-то вроде чистилища,– сказала Ия, видя, что Феликс засмотрелся на икону.– Подарил мне один поклонник… Он сказал, что я принадлежу к такому

типу женщин, – продолжала она, защелкивая дверь комнаты на французский замок,– которые должны обретаться в мире нездешнем – в скитах и монастырских кельях, среди икон и лампад.

– И что ваши пальцы должны пахнуть ладаном?

– Примерно. Вам сколько кусков сахара?

– Сам положу, спасибо.

– Боитесь моих пальцев? Не любите запаха ладана? – Она с вызовом положила свою руку на его руку и смотрела прямо в его глаза с усмешливой смелостью. – Вы, может быть, святой?

– Да, святой,– не без резкости ответил Феликс, раздражаясь от того, что незримый, но отчетливый верх над ним берет в разговоре эта излишне смелая особа.

– Святой! Как чудесно! – сказала она.– И вы навсегда отрешились от грешного мира?

– Ни от чего я не отрешался. Просто звук защелкиваемого замка я принимаю за то, что оно и есть на деле, – за знак того, что дверь заперта, а не как сигнал сбрасывать верхнее и исподнее. – Феликс не узнавал себя – он явно хамил.

– Слушайте,– Ия сняла свою руку с его руки, – а вы мне нравитесь все больше. Я очень хотела встретиться со святым, но на моем пути попа дались только грешники. А грешники так заурядны, так стандартны, будто вырабатываются на конвейере. Заранее знаешь, что и как каждый из них сделает, что скажет, как поведет себя, как будет на то или иное реагировать. Святые же, хотя их и малевали по строгим канонам соответствующих икономазных школ и весьма по виду единообразны, в сущности своей непознаваемы. Что такой скажет, как поступит – никогда не угадаешь, нет. А я вам какой кажусь – грешной, безгрешной? Понятной, непонятной?

– Грехов ваших не знаю. Но что касается непонятности, то не очень-то вы понятны. Скорее, просто непонятны. Если, конечно, и это все вы не играете. Сейчас многие начитались разного алогичного, потустороннего и осваивают стиль жизни не столько земной, сколько надземный. «Друг мой, – декламируют, – я очень и очень болен». Больным сейчас быть моднее и интеллектуальней, чем здоровым. При том формулируется это так: «Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Для замутнения разума годятся, как видите, строки даже тех поэтов, которых диспутанты терпеть не могут. Все годится. От одного я слышал и такое высказывание: «Обратите внимание, какие у нас девушки в последние годы стали пикантные, изящные и привлекательные. Тоже последствие ликвидации культа личности. Тогда они ели слишком много картошки: ничего другого не было – и злоупотребляли физкультурой».

– Позвольте, позвольте! – Ия встала из-за стола.– Кто же вам та кое сказал?

– Один парнишка. Имеет ли это значение?

– Имеет! -Ия поспешно рылась в бумагах, набросанных на подоконнике.– Вот! – Она выхватила из пачки газету, развернула ее, стала ли стать страницы. – Слушайте… Я перевожу с французского. Слушайте! «Не даром же в Германии говорят о „медхенвундер“ – немецком „девичьем чуде“, которое приятно

изменило внешность девушки. Она все меньше по ходит на мускулистую валькирию, которую так ценили нацисты и сходство с которой объяснялось злоупотреблением картофелем и спортом». Это статья французского журналиста о неонацизме в ФРГ. Как вам она нравится? То, что говорят о немках, ваш парнишка приложил к нашим девчонкам, да еще и культ личности приплел. Кто он такой? Может быть, я его знаю?

– Неважно, кто, и не думаю, что он вам известен.– Феликс уклонился от ответа. В мыслях перед ним возникло постоянно ухмыляющееся лицо того белобрысика, с которым Феликс учился в школе,– веснушчатое круглое лицо Генки Зародова. Папенькин и маменькин сынок этот все еще учится и учится, переходя из одного московского института в другой. Благо, папаша с мамашей против затянувшегося его студенчества, очевидно, ничего не имеют. Папаша – кандидат каких-то наук, доцент, имеет множество полезных знакомых, и те выставленного из одного института его сыночка непременно через некоторое время внедряют в другой.

Феликс не видел смысла в том, чтобы рассказывать Ие о недоучке, выболтавшем ему эту чушь о вреде картошки и физкультуры для девиц. Тем более, что Феликсу важнее было другое. Его поразило волнение Ии, ее негодование по поводу такого высказывания. Это было у нее уже не потусторонним, не заиконным, а самым что ни на есть здешним, земным. Ия искренне негодовала, искренне возмущалась. Феликс смотрел на нее и думал: «Какая же она на самом деле?»

– А это можно понять, лишь узнав всю мою жизнь, – оказала она с усмешкой.– По отдельным деталям вы ничего не определите, дорогой товарищ инженер.

– Вы читаете мысли на расстоянии? Телепатия? – Феликс уди вился.

– У святых их мысли на лице. Читаю по вашему лицу. Сопоставив, как вам кажется, несопоставимое, вы в раздумье: какая же она на самом деле, эта экстравагантная женщина? Неправда? Не так?

– Так. Правда.

– Что ж, будет время, и особенно желание, все узнаете. А сейчас давайте-ка я вас провожу до ворот. Я совсем не хочу, чтобы вы завтра проспали, опоздали бы на завод, прокляли меня и на том бы наше колючее знакомство окончилось.

Они попрощались у ворот. Феликс долго ловил такси и домой явился так поздно, как давно уже не бывало. Встретила его Раиса Алексеевна.

– Папа тоже не спит,– сказала она.– Ну что же это такое, Фелька! – совсем как в детстве принялась она его упрекать.– Ты же знаешь, мы волнуемся. Где тебя носит? Был с Нонной, все было хорошо, спокойно. Начинаются эти холостяцкие блуждания. Не жилось ему с такой чудес ной девочкой. Мучаешь ты нас. Думали, взрослым стал. А ты еще мальчишка…

Он ел холодную котлету, улыбался. Действительно, все как в детстве. По-прежнему родители не спят, ждут его среди ночи, волнуются. До каких же это будет пор? Всегда, что ли?

– Хорошие вы у меня ребята, – сказал он, отпивая чай из стакана. – Вы мне

вполне подходите, хотя в молодости и злоупотребляли картошкой и напрасно так рьяно занимались физкультурой. Да, скажи, пожалуйста, кто они такие, родители того Генки Зародова, с которым я учился в школе? Ты же знаешь их. Мне это было ни к чему, не выяснял.

– Зародовы-то? Она… Ну что тебе сказать? Ничего особенного. Всегда о нарядах хлопотала, и все они у нее были как на корове седло. Дорогие, шикарные, а не по ней, поэтому и без эффекта. А он… Он, говорят, голова. Но словом «голова», как наш отец считает, еще не все сказано.

И та голова – тоже ведь голова, которая к тому только и предназначена, чтобы человеку было на чем носить шапку. Какова голова у Зародова, не знаю. У отца завтра спросишь. Сейчас его лучше не беспокой. А зачем это тебе понадобилось? Не у них ли был?

– Да нет, просто разговор шел о Генке, ну и вспомнили – а кто его родители, отчего он такой, болтающийся и болтающий.

– Это совсем другое дело, Феликс. Родители – одно, дети часто очень не похожи на родителей.

Феликс отправился спать, но еще долго ворочался, не мог уснуть. Все думал об Ие: кто же она на самом деле; думал он и о Генке: почему сказанное о западных немцах, о нацистах Генка перенес на советскую почву? Болтовня ради красного словца или же водится тот с кем-то таким, кто вот так сто раз говорит одно и то же, повторяет и повторяет злобное, клеветническое, чтобы слушающему человеку показалось, что он уже и сам это видит и что это так и есть на самом деле?

10

– Отец, ты бы не смог уделить мне некоторое время для серьезного разговора?

Было воскресенье, все позавтракали, в квартире стояла мирная тишина. Любительница цветов, Раиса Алексеевна поливала из пластмассовой голубой лейки свои «китайские розы», лимонные деревца, жасмины и столетники, Сергей Антропович сидел в кресле возле окна, за которым еще несколько лет назад открывался чудесный вид на Москву-реку и на голубые заречные московские дали; ныне, загородив все это, совсем не на должном месте, перед окнами, поднялось многоэтажное, до самого неба, угрюмое здание-ящик; говорят, что там телефонный узел или нечто ему подобное, которое вполне бы можно было сооружать на любом пустыре, не уродуя вид набережной.

– Почему же,– отозвался он на вопрос Феликса, снял очки, уложил их в кожаный футлярчик, двинулся в кресле. – Давай потолкуем. Что у тебя там?

– Скажи, но только с полной откровенностью: как ты относишься нашей нынешней молодежи?

– По-моему, ты это знаешь.

– Нет, мне важны точные формулировки, а не общие контуры. Точно – как и почему – так. – Феликс взял стул, сел напротив отца.

– В общем-то все вроде бы и на месте,– подумав, заговорил Сер гей

Антропович.– Вы образованные, кое-что знаете, развиты, остры. Многие из нас, старших, в вашем возрасте еле ворочали языками, а среди вас уйма Цицеронов. Все, значит, хорошо и вместе с тем тревожно, Феликс, очень тревожно.

– Отчего? Почему?

Сергей Антропович шевельнул рукой груду свежих газет у себя на коленях.

– В мире-то, дружок, натянуто, как струна, вот-вот загудит. На нас идут таким походом, какой, может быть, пострашнее походов тех четырнадцати государств, которые кинулись на Советскую республику в девятнадцатом году.

– И ты думаешь – что? Что в случае чего мы не выдержим, не вы стоим, драпанем в кусты?

– Не в этом дело, совсем не в этом. Одни, может быть, и драпанут, и непременно драпанут, другие, нисколько не сомневаюсь, встанут грудью и пойдут в бой. Дело в другом. В том, что вы беспечны, вы слишком поверили сиренам миролюбия – и зарубежным и нашим, отечественным. Эмблемой вашей стал библейский голубь с пальмовой ветвью в клюве. Кто только вам его подсунул вместо серпа и молота? Голубь – это же из библии, из так называемого «священного писания», он не из марксизма, Феликс. Слишком уж вы доверчивы…

– Отец, я надеюсь, что, когда ты говоришь «вы», то не имеешь в виду меня лично. Давай условимся.

– Давай. Так вот, видишь газеты? Хоть и скупенько, меленькими буковками, но они чуть ли не ежедневно поминают в последнее время новую фашистскую партию в ФРГ, так называемую «национально-демократическую». Это грозная опасность. Сколько лет подряд я говорил, ты это слышал, конечно, что ни о какой новой мировой войне можно не думать до тех пор, пока в Западной Германии не возродится и не придет к власти фашизм, пусть в иных, в сверхиных одеждах, в новых, но все тот же старый, кровавый фашизм – зверское порождение судорог империализма. Так я считал и так считаю. И вот семена проросли – фашизм не только дает побеги, но он, подобно бамбуку, растет по метру в день.

– А ты не преувеличиваешь, папа? Ведь они там, эти «национальные демократы», имеют в ландтагах каких-то два-три процента. Ты же ничего не говоришь об итальянских фашистах. А те-то на последних выборах в парламент имели не два-три, а целых пять процентов голосов! Они факельные шествия устраивают в Риме. Они…

– Итальянский фашизм – итальянским, а немецкий – немецким. И тот плох и этот. Но немецкий – главная опасность для человечества. Опыт уже показал это. А что касается процентов, скоропреходящей цифирью никогда не самоослепляйся. Что ты знаешь о гитлеризме?

– Как что? Многое знаю… Знаю, что…

– Я понимаю, ты можешь рассказать мне о том, как нацисты шли к власти и как распорядились ею. Да, ты об этом читал, верно. До сих пор валит дым от головешек затеянной нацистами мировой войны. Двадцать с лишним лет прошло. Но нет, я не о таком, общеизвестном. Я о ростках. А ростки вот

каковы. «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия», НСДАП, была гигантской машиной. А с чего она начиналась? С того, что Антон Дрекслер… кстати, действительно рабочий, слесарь… сколотил шаечку завсегдатаев одной из мюнхенских пивных. Вместе с ним было только шесть человек. Обрати внимание на эту цифирьку. Шесть! Назывались они «Германской рабочей партией». Появился еще один малый и примкнул к тем шестерым. Это был Адольф Гитлер. Ему выдали «партийный» билет за номером семь. Семь! А через десять лет на билетах новых членов НСДАП стояли миллионные номера. А еще через десять лет гитлеровцы покрыли землю Европы миллионами, десятками миллионов трупов, претворяя в жизнь «партийную программу» Гитлера. Сегодня они вновь маршируют под своим красным знаменем, Феликс, в центре которого белый круг. В это белое пятно осталось лишь вписать черную свастику. А программа та же, та же, за исключением мелких тактических разночтений.

– И ты думаешь?…

– Я обязан думать. Если бы мы об угрозе со стороны немецкого фашизма не думали, начиная с первой половины тридцатых годов, итог второй мировой войны мог бы быть совсем иным. Причем думали все – от Политбюро партии, от Сталина до пионерского отряда, до октябренка, не уповая на кого-то одного, главного, единолично обо всем думающего. На до задуматься и сегодня. Западная Германия полна реваншистами и националистами. Резервы для роста неонацистской партии там обширные. Приберут эти молодцы к рукам своим власть, им лишь бы зацепиться за бундестаг, и загудят горны новой войны. А вы, ребятки, беспечничаете. Все силенки свои сосредоточили на удовольствиях, на развлечениях, то есть на потреблении. Пафос потребления! Это, конечно, мило, приятно. Развлекайтесь. Мы тоже не только, как говорится, завинчивали что-то железное. Тоже не были монахами: вас-то вот народили сколько. Но беспечности у нас, Феликс, говорю тебе, не было: и днем, и ночью, и в будни, и в .праздники готовились, готовились к тому, что на нас рано или поздно нападут, учились воевать, отстаивать свою власть, свой строй, свое настоящее и ваше будущее.

– И все равно напали на вас внезапно, все равно, как всюду пишется, Сталин не подготовился к войне, растерялся.

– Я понимаю, что ты сознательно обостряешь разговор и подливаешь масла в огонь спора, Феликс. Ты ведь неглупый, ты умный. И ты не можешь не понимать, что если бы было действительно так, как вот ты сказал, то есть как ты где-то вычитал, мы бы с тобой не сидели сегодня у окошечка с газетками в руках. Твой отец и твоя мать были бы сожжены в одном из стационарных крематориев, предназначенных для планомерного истребления советских людей. А ты, мой друг, с твоими товарищами, пока бы у вас были силенки, работали бы на немцев, как восточные рабы. Не повторяй, Феликс, сознательной клеветы одних и обывательских пошлостей других. Было сделано наиглавнейшее: к войне, к выпуску самого современного оружия в массовых масштабах была подготовлена наша промышленность, и необыкновенную прочность приобрело производящее хлеб сельское хозяйство -оттого, что было

оно полностью коллективизировано. И не было никакой «пятой колонны», оттого что был своевременно ликвидирован кулак и разгромлены все виды оппозиции в партии. Вот это было главное, чего никто не прозевал, Феликс.

– Значит?…

– Да, значит, так. Ваше дело – действовать в таком направлении, чтобы нам и впредь быть необычайно сильными экономически, необычайно превосходить врага идейно, необычайно быть убежденными в правоте, в верности своего дела и быть совершенно бескомпромиссными в борьбе против тех, кто убежденность нашу пытается поколебать, подорвать, ослабить.

– Довольно стройная и ясная программа. Но чем же тогда тебя не устраивает состояние современной молодежи? Вернемся к этому.

– Я же тебе говорю: беспечностью, то есть непониманием окружающих опасностей и, если хочешь, несколько преувеличенными потребностями, этаким забеганием вперед, которое еще преждевременно.

– Феленька, – сказала Раиса Алексеевна, молча прислушиваясь к их разговору.– А ты мне вот что объясни. Почему ребятки нынешние, хотя и шумные, громкие, обо всем свободно рассуждающие, слов всяких нахватавшиеся, а приглядеться если, то уж больно однообразные они и неинтересные.

– Ты по ком судишь, мама?

– Ну вот у нас во дворе компания собирается, часами гогочут под окнами. Или в городе встретишь, среди дачников тоже. К тебе, бывает, приходят. Или в кино про них смотришь, занудную какую-нибудь, тоскливую картину.

– Тебе, мама, не везет. Разные, конечно, есть. И такие, о которых ты говоришь. Но есть и другие. Есть немало ребят, которые по-настоящему задумываются о жизни. Нас многое волнует, многое. Но верно, уйма и таких, которые пусты, бесцветны. Ты слыхала, конечно, о теории отражения?

– Как там мы воспринимаем внешний мир, что ли?

– Ты слыхала, конечно, что наш мозг сам ничего не вырабатывает?

– Вот уж, извини, не слыхала. Так, по-твоему, ума нет, что ли?

– Сложнее дело. Ум есть, не беспокойся. Но мозг – это еще не ум, и сам он не вырабатывает ничего, в нем лишь отражается реальность.

– А для чего тогда извилины?

– В них-то все и накапливается, в извилинах, в клетках извилин. И чем больше накапливается, тем человек, так сказать, умнее. То есть, что это значит? А то, что, когда в мозг поступает новое, оно в обогащен ном мозгу и так и этак соотносится с уже отложенным там и получает свою, квалифицированную оценку. А если новое поступает в не обогащенный знаниями мозг, оно ни с чем не соотносится и болтается, как одинокая пуговица в пустой жестянке. Не зря же говорят: дураку и грамота во вред. Каков опыт у человека, мама, таков и запас у него в мозгу. Что наполучал, то и имею. Читаю Пушкина – отражаю Пушкина. Читаю про Джеймса Бонда – отражаю Джеймса Бонда. Читаю «Неделю» – отряжаю «Неделю». То есть если мозг получает настоящее, он и отражает настоящее, глубокое, содержательное. Получает чепуху, он и отражает че пуху, пошлятину, обывательщину.

– Но ты все время говоришь: читаю, читаю. А то, что написано, оно уже продукт отражения,– сказал Сергей Антропович.

– Тем более. Те, услышавшие, увидавшие, испытавшие, отразили что-то, неизбежно исказив действительность в силу индивидуальных особенностей наших воспринимающих аппаратов, да мы, прочтя искаженное отражение, в свою очередь, исказим его… Поэтому человеку совершенно необходим собственный жизненный опыт, чтобы объективность без всякого посредничества отражалась в его мозгу. Каждому из нас нужна наша собственная общественная, производственная, политическая, научная деятельность. Это наиболее верный и точный путь обогащения мозга полно ценным материалом. Ты поняла меня, мама?

– Я поняла так. Что ребятки, о которых мы только что говорили, зелены еще, сами ничего не испытали, а судят обо всем по тому, чего на читались, наслышались, насмотрелись в кино. А то, чем они питаются, в свою очередь, насочинено тоже не больно зрелыми умами, тоже ничего не видевшими и не испытавшими, и тоже начитавшимися, и наслушавшимися всяческих искажений.

– Совершенно верно. Браво, мама! Учти только, что я тоже, может быть, многое наискажал, объясняя тебе эту механику, осветил ее упрощен но, приблизительно.

– Зато понятно. Но жалко все-таки расставаться с мыслью, что мозг наш всего-навсего какая-то штука для отражения.

– Ничего, можно смириться,– засмеялся Сергей Антропович. – Лишь бы он правильно отражал.

– Между прочим,– оказал Феликс,– вот вы с отцом часто возмущаетесь тем, что идет в наших кино, тем, что иной раз публикуется в журналах, недовольны некоторыми книгами. Вы правы, это – засорение мозга. И даром оно, как всякое засорение, не проходит. Озера, реки засоряют – рыба дохнет. Дымоход засорят – дым в комнаты валит и глаза ест. Мозг засорят – совсем беда. Всюду пишут, что гангстерские фильмы в Америке способствуют росту преступности. Верно. Именно так, а не иначе и должны подобные фильмы отражаться в мозгу человека и сказываться на его сознании. А те наши фильмы, которые просто серы, убоги, бесталанны, пустопорожни, они тоже ведь сказываются. Допустим, не порождают гангстеризма. Но они порождают серость, убогость, бесталанность, пустопорожность. Зачем же молодежь-то винить, отец?! Вините, дорогие товарищи взрослые, себя. Вините тех дядей, которые позволяют тратить народные деньги на постановку пустопорожних, бесталанных фильмов. Тех тетей, которые пишут об этих фильмах восторженные рецензии, сбивая зрителей с толку. Всех тех, кто ответствен за выпуск такой продукции на рынок. А ты говоришь, мы беспечничаем! Прежде всего беспечничаете вы. Почему вы открыли дорогу всему этому? Не мы же это сделали? Вы, вы! А почему? Испугались, видимо, что вас обвинят в консерватизме, в догматизме… Надеюсь, ты понимаешь, что, когда я говорю «вы», я не тебя имею в виду персонально?… Испугались и попятились, отступили с господствующих над идеологическим противником высот в

либеральные болотистые низины. И сейчас, если хочешь, вы на середке-половинке – и не консерваторы и не либералы, и от вас, в общем-то, от таких половинчатых, растерянных, всем тошно. Вот что значит устареть: и нового не приобрести и старое потерять, вернее, дать отнять его у вас крикунам и демагогам.

– Ты верно, черт такой, рассуждаешь. Где ты этого нахватался?

– Там, куда предпочел уйти, вместо того чтобы выковывать из себя космического ученого, который ухватился за космос или за циклотрон не потому, что таково его призвание, а потому что почуял большую деньгу. Там, где я сейчас, хотят ясности и судят обо всем откровенно. Не на основе спекулятивных книжонок и серых кинофильмиков, а на основе непосредственного отражения нашей действительности.

– Давай включим,– предложил Сергей Антропович, заглянув в про грамму телевидения, помещенную на последней странице «Правды».Какой-то фильм. Название не указано. Посмотрим коллективно, обсудим, вынесем приговор. Как раз через три минуты начало.

Перешли к телевизору. Долго из темноты, еще до титров, кто-то там, изводя кинопленку, насвистывал; потом долго кинематографировалась земля, очевидно, с вертолета. Сопки, реки, дороги, тайга. Потом зрителя стремительно опустили в центр большой стройки на берегу широкой реки; то ли там строили плотину, то ли мост – не совсем было ясно. Насвистывал, оказывается, шофер самосвала, пока экскаватор загружал кузов его машины грунтом. Потом шофер долго ехал с этим грунтом неведомо куда и, крутя баранку, все насвистывал и насвистывал все тот же мотивчик. Затем, опять-таки неведомо как, оказалось, что в кузове ничего уже не было, грунт исчез сам собой, а на дороге, голосуя, стояла девушка с чемоданом в руке. Парень впустил ее в кабину; мотаясь дальше по таежным дорогам, он попытался поцеловать девушку, она отвесила ему пощечину. Он весело рассмеялся, сказал: «Ну-ну, поживем – увидим». Потом, среди новеньких дощатых домиков, он ее все-таки выпустил. Потом они уже ходили вместе в сопки. Стройка была забыта. Забыта авторами фильма. Парень ездил на своем самосвале куда надобно было сценаристам, а не руководству стройки, возил еще нескольких девчат, тоже сначала получал по физиономии, затем ходил с ними в сопки. Закончилось все тем, что вертолет пошел в обратном направлении, унося зрителя в небеса, а на земле оставляя самосвал с улыбающимся парнем. Потом – затемнение и долгое насвистывание парня, под которое пошли надписи: кто сочинил сценарий, кто его ставил, кто кого играл. Оказалось, что сочинил это все тот же, кто и ставил, он же исполнял и главную роль.

– Ну и что это? – сказал Сергей Антропович, когда киносвист умолк.

– Жизнь, как она есть,– ответил Феликс, смеясь.

– Но ведь, чтобы увидеть и отразить это, не надо не только пятилетиями учиться во всяких киноинститутах, но даже и человеком-то можно не быть. Баран тоже видит жизнь, как она есть. Это же все воспринято глазами барана и отражено бараньей головой. А где искусство? Где открытие человека, его внутреннего мира, его душевных богатств? – Сергей Антропович

разволновался.

– Ладно вам, – сказала Раиса Алексеевна. – Эта тема конца не знает. Всегда так спорили и негодовали. Вот уж верно Феликс говорит: у каждого свой опыт, и каждый по-своему искажает действительность. Те, – указала она на выключенный телевизор,– по-своему, мы по-своему. Времени-то уже сколько! Пора к обеду накрывать.

После обеда Феликс решил пройтись по улице. Их улица считалась одной из самых тихих. Но поблизости было немало и шумных мест Москвы. Таганская площадь, площадь Ногина, набережная перед гостиницей «Россия»… У церковки на их улице, как всегда, толпился народ – старики и старушки. Они заходили внутрь – предстояла, видимо, вечерняя служба. Феликс снял шапку, тоже вошел. Сумрачно, строго, пахнет благовониями. Лики святых на старых иконах смотрят сурово, но спокойно. Он огляделся вокруг, поймав себя на мысли об Ие: нет ли и ее в толпе богомольцев? Ии не было. Вышел на улицу, надел шапку. Спустился к набережной Москвы-реки, пошагал к Кремлю. Возле гостиницы «Россия» группами толпились иностранные туристы, шумно болтали на французском, немецком языках, но больше всего слышался английский.

Показалось, что среди них прошмыгнул на днях помянутый Генка Зародов. Феликс вошел за ним в вестибюль гостиницы. Да, это был Генка. Он уже сидел в одном из кресел возле низкого столика.

– Генка, – сказал Феликс, подавая руку – Ты чего тут? Не фарцовщиком ли стал? – И тоже присел к столику.

– Нет, знаешь, не фарцовщиком. Просто практикуюсь в языке. То с одним болтанешь, то с другим. Без языков сейчас нельзя. Моя сестра изучила их штук семь или восемь. А я хоть парочкой хочу обзавестись. Решил так: английский, понимаешь, как международный, и для разнообразия – итальянский. Только итальянцы к нам не очень ездят. У них у самих страна туристская, сами доходами от туристов живут. Где уж ездить – поспевай гостей принимать. А англичане с американцами по всему свету, мешки-то с золотом, мотаются. В любой сезон, в любую погоду. Я по гостиницам много чего насмотрелся. Эти чудики до икон, например, сами не свои. Ничего в них не петрят, им можно любую дрянь подсунуть. Купят! Денежный народ. А из комиссионок на Арбате или на улице Горького они наших совсем выжили. «Гарднер»? – хватают. «Кузнецов?» – любые цены. Мебель волокут – пупки надсаживают. Столы, кресла, спальные и столовые гарнитуры. Мне один рассказывал, в Италии целая индустрия создана: «старину» вырабатывают. Что хочешь соорудят – не отличишь. Хоть этрусскую вазу. Вот наши бы были пооборотистей, приспособили бы заводишко, скажем – «фарфор Кузнецова», да запустили бы в производство «старину». Валюты бы можно было нагрести!

– А тебя бы главным по этому делу?

– А что думаешь – дело интересное. Ведь это ж надо, знаешь, как сделать? Чтобы и стиль, и манера, и каждый штришок, патина какая-нибудь – все бы соответствовало своей эпохе, своему веку. Историю надо знать, теорию искусств. Это не землей торговать, на чем в цветочных магазинах зарабатывают

левые деньги.

– А как это? – спросил Феликс.

– Да просто. Кто там тонны да центнеры считает когда привозят самосвалами! Земля же, не золото. Тьфу, дескать. Сунут самосвальщику десятку-другую, тот и рад. А торгуют по килограммчикам, строго: с одного самосвала до трех сотен в карманы к этим гусям может пойти. Двадцать самосвалов – и новенькая «Волга». А то, знаешь, пряжа на нитяных фабриках…– Генка увлекся, глаза его светились, он даже стал выписывать на столе цифры воображаемых кушей.

– Ты что, все способы левых заработков изучил, что ли? – сказал Феликс, удивляясь.

– Где же все! Всех сам Бендер не знал. Хотя, если по правде, он мальчик был по сравнению с теми, которые сейчас деньги делают!

– А на кой шут они, эти деньги-то? – Феликс все с большим удивлением смотрел на Генку.– Что бы ты стал с ними делать, если бы при валило?

– Что? Нашел бы. Ну – машину надо? Надо. «Мерседесик» бы отхватил у иностранцев. Дачу надо? Надо. Построил бы игрушечку. В журнале «Америка» такие картинки печатают – умрешь, не встанешь.

– Так. Дальше?

– Можно кооперативную квартиру по особому проекту оборудовать. Спецстройки для этого есть. С холлами делают, с черными унитазами, с антресолями. Как надо, словом.

– А еще?

– По мелочи остальное. Магнитофон. Кинокамеру. Цветной телик. То да се.

– А дальше?

– А дальше – чего уж тебе дальше-то! Что осталось, на книжке лежит, проценты приносит. Три процента в год. Сто тысяч положишь – три тысчонки сами собой приплывут. По двести пятьдесят целковых в месяц, как с неба. Можешь уже и не суетиться.

– А серьезная у тебя программа, Генка!

– Ну, а что! А ты бы не хотел ничего такого? Всю жизнь тебе на до вставать по утрам и по звонку куда-то топать. А где свобода, гармоничное развитие личности? Где осуществление золотой мечты человечества? Да, знаешь, забыл тебе сказать!… Баб бы завел несколько, самых шикарных и в разных планах, под разные настроения. Уныло когда – к веселенькой бы закатился, весело слишком – к мечтательной…

– Холодно – к горячей, – подхватил Феликс, – жарко – к прохладненькой?…

– Смеешься, а в этом что-то есть.

– Ты опоздал, Генка, родиться. Так в царской России разбогатевшие купчики жили. Именно так. Но у них размаху было больше. У тебя скромнее.

– Чудило! Так они при капитализме мыкались. И вообще, ты зря думаешь, что я шучу. Я серьезно. Хватит прибедняться. Когда-то жрали одну картошку да физкультурой занимались.

– Стоп! – сказал Феликс.– Это ты однажды уже говорил. Какие, мол, девчата у нас стали – мечта! Не то, что во времена культа,– с картошки да с физкультуры. Ты откуда это взял?

– Из головы, откуда же? Что я сам не шевелю извилинами, что ли?

– А хочешь, я тебе скажу, откуда ты это взял?

– Ну, ну! – Генка насторожился.

– Из французской газеты, из статьи о неонацизме в Западной Гер мании.

– Мы с тем французским парнем могли подумать одно и то же параллельно.

– Да не параллельно, а противоположно подумали-то, Генка. Он это о гитлеровской Германии написал.

Генка долго смотрел прямо в глаза Феликсу, стуча пальцами по столу.

– Это Ийка тебе натрепалась? – вдруг сказал он.

– Какая Ийка? О чем ты? – Феликс даже растерялся.

– Моя сестрица. Что ж, было дело, я просил ее перевести мне из той статейки. Она же все языки знает. Ну и болтливая баба! Ну и стукачка!

Генка еще говорил и говорил, возмущаясь. Феликс его не слушал. Он растерянно думал о знакомой Липочки Свешниковой, Ие, которая оказалась сестрой такой дряни, как этот тип. Значит, она Зародова, дочь того кандидата наук и доцента. Но почему живет отдельно от семьи? Почему у нее все так странно и необыкновенно? И, кажется, она что-то говорила не об отце, а об отчиме? Расспрашивать Генку не хотелось. Феликс подал ему руку и ушел.

11

У издательства «New World» не было ни роскошного особняка, ни собственных типографий, ни слишком большого аппарата сотрудников. Располагалось оно поблизости от кинематографов, где шли новейшие боевики, на кипучей городской артерии Чаринг кросс, в окружении больших и малых книжных магазинов и торговли книгами прямо на тротуарах, на втором этаже ничем не примечательного старого дома. Когда подымешься на лестничную площадку к дверям этой издательской конторы, то перед тобой будет самая обычная квартирная дверь. Внутри, в тесных комнатках, посетителя обдаст запахом сургуча, оглушит стуком машинок, звоном телефонов.

Оказавшись там, Сабуров вспомнил помещение центрального руководства НДП в Ганновере. Но в конторе на Чаринг кросс было не столько темных деловых костюмов, сколько разномастных твидовых пиджаков и коротковатых брюк с пузырями на коленях, а юбочки кокетливых мисс открывали не только колени, но и значительно выше колен.

Клауберга с Сабуровым приняли в небольшом, подчеркнуто в духе модерн обставленном кабинете. Голый лакированный стол, без единого на нем предмета, без единой бумажки. Круглый столик в стороне, с несколькими очень низкими креслами вокруг него: в углах – скульптуры самого современного толка – куски железа, дерева, камня, на стенах – абстрактные яркие пятна и мрачные хаосы в рамах и без рам. Принимал приезжих вице-директор

издательства, аккуратно и тщательно одетый, корректный, в меру улыбающийся; он предложил виски, джину, апельсиновой воды, кофе – кто чего хочет. Разговор пошел самый общий – об Италии, о том, насколько приятным было путешествие от Милана до Лондона и как господам нравится Лондон; к сожалению, лондонская погода в это время года весьма-таки прескверная: туманы, дожди, возможен смог – губительный, часто смертельный туман; ну, ничего, можно жить и в условиях смога, если умело пользоваться вот этим… Вице-директор поднял стаканчик с виски.

Потом явился эксперт по искусству стран Восточной Европы и России, неряшливый толстяк, оказавшийся русским, родители которого выехали из России еще до революции, до его рождения, поэтому русский язык он знал отнюдь не в совершенстве. Дожди и туманы были отставлены,– заговорили о предстоящей поездке в Россию, об альбомах, репродуцировании, о сроках работ и их объеме. Сабуров убедился в том, что издательство все уже основательно продумало и что дело здесь верное и поставлено солидно. Тем более, что в руках вице-директора был документ с грифом ЮНЕСКО, которым один из отделов столь представительной международной организации выражал готовность рассматривать задуманную издательством «New World» работу как запланированную для осуществления в рамках деятельности ЮНЕСКО, если, конечно, работа будет проводиться со строгим соблюдением всех международных правил.

В конце беседы Клаубергу и Сабурову были вручены довольно солидные суммы денег в английских фунтах – на текущие расходы, сказано, что в дальнейшем предстоят новые, уже более конкретные разговоры и что лучше всего будет, если они поселятся в отеле «Бонингтон», сравнительно недорогом, современном, а главное – расположенном в нескольких шагах ходьбы от Британского музея, в котором им обоим, Клаубергу и Сабурову, придется, надо полагать, основательно поработать до отъезда. Отъезд же… Срок его еще не установлен. Но он будет установлен, пусть их это не беспокоит; главное – хорошо подготовиться.

Два дня таскались они по Лондону, в тумане и по лужам, никто их никуда не приглашал, они могли располагать собою как им вздумается. В отеле «Бонингтон» был вполне приличный ресторан, вокруг него несколько хороших старых викторианских пивных. Тем не менее обедали и пили пиво Клауберг с Сабуровым не в отеле и не поблизости от него, а в самых различных местах Лондона. В Англии ни один из них до этого не бывал, каждому хотелось увидеть как можно больше. Все дни проходили в блужданиях по городу, который был даже и не городом, а целой страной в стране. «Оказывается, эта суетливая человеческая страсть путешествовать не проходит и к шести десяткам,– сказал однажды Клауберг, стоя на набережной Темзы. – Думал уж, ничто меня нигде и никак не удивит, все видел, все знаю. А стронулся с места, готов, подобно заправскому туристу, носиться по грязным переулкам и отыскивать дома, в которых живали некогда господа Бернард Шоу или Шерлок Холмс».

На третий день письмом, доставленным из издательства с нарочным, их

предупредили, чтобы в семь вечера они были на месте, в отеле, – за ними приедут.

Точно в срок явился молчаливый человек в котелке, усадил их в белый автомобиль марки «Англия», и затем в полном молчании они более часа тянулись по запруженным всеми видами транспорта улицам вечернего Лондона, постепенно выбираясь за пределы города. Там, за этими пределами, в мокром осеннем парке с облетевшими листьями, остановились. Крупные холодные капли падали на голову, на плечи с голых ветвей. Было зябко, слякотно. Удивительно кстати после всего этого оказался пылающий камин в старинном глухом особняке, в подъезд которого их ввел молчаливый человек, предварительно въехав с машиной во двор и заперев за собой тяжелые ворота.

В большой комнате, возле старого камина, сидело в креслах несколько человек, в том числе и молодая женщина. Главенствовал среди них худощавый старик лет шестидесяти пяти – семидесяти, седой, с лицом в морщинах и складках, но живой и энергичный. Он был без пиджака, в белой сорочке, при синей в мелкий горошек бабочке.

– Садитесь, господа, – пригласил он властным, энергичным тоном.– Прошу, – и указал на свободные кресла перед камином. Он долго и внимательно всматривался в лица Клауберга и Сабурова. – Господин Клауберг и господин Карадонна, – обращаясь к ним, заговорил неторопливо,– должен вас предупредить, что вашими спутниками и товарищами по работе будут еще и мисс Порция Браун, она американка, постоянно сотрудничающая в изданиях, осуществляемых издательством «New World», и господин Юджин Росс. Он, как видите, молод, ему нет сорока, он прекрасно водит машину и обладает еще многими превосходными качествами, чтобы быть незаменимым и приятным спутником для экспедиции в такую нелегкую страну, как Советский Союз.

Мисс Браун, когда назвали ее, улыбнулась светло-голубыми глазами, расположенными на ангельски правильном овальном чистом лице несколько шире, чем бы надо было, а господин Росс при упоминании его имени учтиво склонил голову, выстриженную такими короткими клочьями, как некогда было в моде у императоров Древнего Рима.

– Я не могу сказать точно, – продолжал сухой старик, – когда имен но вы покинете Лондон и пуститесь в свой путь. Но полагаю, что пяти-шести месяцев на подготовку вам будет достаточно. Сейчас что? Середина ноября. Итак, декабрь, январь, февраль, март…– перечислял он, подняв глаза к потолку.– В середине или в конце апреля, очевидно. В это время уже и в России холода ослабнут, сойдет снег, можно будет успешно работать.

«Пять-шесть месяцев! – подумал Сабуров, ужасаясь, когда старик назвал этот срок.– С ума сойдешь в зимнем Лондоне за шесть-то месяцев».

– Простите, сэр,– сказал Клауберг, которого, видимо, тоже поразил срок, отведенный на подготовку.– Почему мы должны собираться так долго? В чем дело?

– А потому,– ответил человек в дымчатых очках, сидевший у самого камина, – что вы отправитесь в Россию на специально оборудованном автомобиле. Его сейчас, этот особо сконструированный автофургон, создают на

базе одной из легковых моделей фирмы «Остин». В нем будет все: отопление, холодильное устройство, возможности для спанья, приготовления пищи. Будет фотолаборатория. И все это в габаритах, не превышающих обычные. Для чего так надо? Для вашей полной автономии. Чтобы вы не зависели ни от каких советских организаций. Если по интересующим нас объектам вас будут возить они, вы проторчите в Рос сии несколько лет и никакого дела не сделаете. А так вы будете исключительно мобильны. Значит, первое – подготовка технического обеспечения экспедиции. В эту подготовку входит и приобретение специальной фото– и киноаппаратуры для цветного репродуцирования. Мастером всех видов фотодела является уже известный вам господин Росс.

Росс вновь склонил древнеримскую голову. Он сидел в кресле, вытянув ноги, как палки, а руки держал в карманах брюк, и тоже, как морщинистый старик, устремив взгляд в отделанный темным деревом потолок.

– И еще,– сказал некто третий, держась за плечом главного старика.– Вам надо тщательнейшим образом подготовить самих себя для раба ты в России. Нам известно, что вы, господин Клауберг и господин Карадонна, там бывали и знаете Россию. Но какую Россию? Каких времен? Давнюю, такую, какой уже нет. В Советском Союзе все быстро меняется. Мисс Браун посещает послевоенную Россию часто, по меньшей мере в три-четыре года раз, но и она, приезжая туда вновь, теряется перед обилием происшедших перемен.

– О, да! Белый медведь – загадочный зверь,– подтвердила голубоглазая американка.

– Специалисты-дрессировщики утверждают, – отозвался тот; кто был в дымчатых очках,– что белые медведи менее всего поддаются дрессировке.

– Значит,– продолжал, выслушав эти реплики тот, третий, который был за плечом старика,– вам надлежит проштудировать всю текущую литературу – и о России и вышедшую в России. Основное, конечно. Все прочесть невозможно.

– Но имейте в виду,– поспешно сказал главный старик,– никаких нечистоплотностей, никакого шпионажа, ни малейшего намека на него. Вы должны изучать Россию для квалифицированного, сознательного подхода к ее художественным ценностям, и ни для чего иного.

– Сэр,– снова подал голос Клауберг.– А почему возникает разговор о шпионаже? Меня это как-то тревожит.

– Потому, господа, что многие культурные начинания Запада проваливаются в России из-за того, что к этому делу неумно и неуместно примешивается шпионаж…

– Но если вы нам не дадите таких заданий, о чем разговор?! – не унимался Клауберг.

– Мы-то не дадим, а вот какие-нибудь юркие организации непременно отыщут вас и привяжутся с просьбами оказывать или оказать им единовременно некие незначительные услуги. Нет, нет, со всей серьезностью предостерегаю вас от этого. Человечество хочет знать, какими богатствами культуры оно располагает на занятой им планете. Такие богатства есть и в России, несмотря на все пороки ее строя, которые в данном случае нас не

касаются. И мы дадим мировому любителю искусств полно ценные собрания репродукций того лучшего, что было создано древними мастерами России. Ясна задача? Ну, а теперь выпьем за успех начинания издательства «New World»!

Потом в маленьком зальце, погасив свет, стали показывать последнюю советскую кинохронику. Это были октябрьский парад войск на Красной площади, комбайновая уборка риса в южных районах, обширное кладбище в Ленинграде, на котором в дни войны и обороны Ленинграда захоронили более полумиллиона умерших от голода и убитых снарядами мирных граждан…

Сабуров увлекся тем, что он видел на экране, и не заметил, как и когда из зальца ушли сухой старик и Клауберг.

Клауберг уже сидел тем временем в кабинете хозяина особняка, в глубоком кресле. Хозяин расположился поодаль, в таком же кресле. А совсем новый, незнакомый Клаубергу человек, с дергающейся бровью, расхаживал по ковру кабинета и говорил:

– Клауберг, мы вас знаем. Мы имеем о вас полные данные. Карадонна, или как вы назвали его в своем сообщении, Сабуров, он на вашей ответственности. Верный это человек или неверный, мы сказать не можем, это говорите вы. Работайте с ним сами. Мы же будем работать с вами и только с вами. Вы глава экспедиции… или назовем ее операцией… Операцией «Икона»? А? Неплохо!

– Слишком легко может быть расшифровано,– возразил Клауберг.

– Ну, а что бы могли предложить вы?

– Операция «Спаситель».

– Недурно. Со смыслом. Но дело не в кодах, не в шифрах. Все это ерунда и в наше время годится только для названия детективных фильмов. Господин Игл,– говорящий указал на старика в кресле,– вас уже предупредил о том, что мы со шпионажем не имеем ничего общего. И ни в каких шифрах не нуждаемся, и если и говорим о них, то только для шутки. Прошу вас внимательно выслушать меня. Это будет несколько утомительно, может быть, но необходимо. Возможность атомных и водородных ударов по коммунизму, с которыми носятся генералы, с каждым годом становится все проблематичней. На свой удар мы получим такой же, а может быть, и более мощный удар, и в ядерной войне победителей не будет, будут одни покойники. Точнее, пепел от них. Новых, более мощных, разрушительных средств для ведения войны на уничтожение коммунизма, и в первую очередь Советского Союза, мы пока не имеем. Да, кстати, их, может статься, никогда и не будет. Но независимо, будут они или не будут, а покончить с коммунизмом мы обязаны. Мы обязаны его уничтожить. Иначе уничтожит нас он. Вы, немцы, чего только не делали, чтобы победить Россию, Клауберг. И массовое истребление людей, и тактика выжженной земли, и беспощадный террор, и танки «тигр», и орудия «фердинанд». И все же не русские, а вы были разбиты. А по чему? Да потому, что предварительно не расшатали советскую систему. Вы не придали этому никакого значения. Вы ударились о монолит, о прочные каменные стены. Может быть, вы надеялись на стихийное восстание кулаков, как русские

называли своих богатых крестьян? Но кулаков коммунисты успели раскулачить, и вам достались одни обломки – на должности сельских старост, полицаев и иных подсобных сил. Вы надеялись на старую интеллигенцию? Она уже не имела никакого влияния. Она растворилась в новой рабоче-крестьянской интеллигенции да и сама давно переменила свои взгляды, поскольку коммунисты создали ей все условия для жизни и работы. Вы надеялись на политических противников большевизма – троцкистов, меньшевиков и прочих? Большевики своевременно их разгромили, рассеяли. Да, собственно, что я рассуждаю за вас! Вы ни о чем этом и не думали. Ваши секретные документы свидетельствуют об одном: уничтожай и уничтожай. Довольно тупая, топорная программа. Одного уничтожишь, а десять оставшихся-то, видя это, будут еще отчаяннее сопротивляться. Уничтожите миллион, десять миллионов станут драться против вас с утроенным ожесточением. Неверный метод. Лучшие умы Запада работают сегодня над проблемами предварительного демонтирования коммунизма, и в первую очередь современного советского общества.

Говорящий налил себе содовой воды в стакан, отпил несколько глотков, вытер губы платком.

– Так вот,– продолжал он.– Работа идет со всех направлений и всем направлениям. Они, коммунисты, были всегда необычайно сильны идеологически, брали над нами верх незыблемостью своих убеждений чувством правоты буквально во всем. Их сплочению способствовало сознание того, что они находятся в капиталистическом окружении. Это их мобилизовывало, держало в напряжении, в готовности ко всему. Тут уж ни к чему не прицепишься, никак не подберешься. Сейчас кое-что обнадеживает. Мы исключительно умело использовали развенчание Сталина. Вместе с ниспровержением Сталина нам удалось… Но это потребовало, господа, работы сотен радиостанций, тысяч печатных изданий, тысяч и тысяч пропагандистов, миллионов и миллионов, сотен миллионов долларов. Да, так вместе с падением Сталина, продолжаю, нам удалось в некоторых умах поколебать и веру в то дело, которое делалось тридцать лет под руководством этого человека. Один великий мудрец нашего времени – прошу прощения за то, что не назову вам его имени,– сказал однажды: «Развенчанный Сталин – это точка опоры для того, чтобы мы смогли перевернуть коммунистический мир». Русские, конечно, тоже все поняли. В последние несколько лет они возобновили свое коммунистическое наступление. И это опасно. Им нельзя позволить вновь завоевывать умы. Наше дело сегодня – усиливать и усиливать натиск, пользоваться тем, что «железный занавес» рухнул, и повсюду, так называемо, наводятся мосты. Что мы делаем для этого? Мы стремимся накачивать их кинорынок нашей продукцией, мы шлем им наших певичек и плясунов, мы… Словом, их строгая коммунистическая эстетика размывается. И ваша «операция», герр Клауберг,– сказал он на чистейшем немец ком языке,– послужит одним из мостиков, одним из троянских жеребеночков, которых мы постоянно преподносим партийным московитам!

Он весело рассмеялся и вновь заговорил на английском:

– Пусть это не будет так называться… Это только для вас, господин

Клауберг, только для вас одного… Хотя и мисс Браун и вот Росс, они в курсе всего… Но пусть и вам ведомо: вы будете являться подлинной боевой группой. Пусть это вас, офицера райха, офицера СС, в какой-то мере утешит. Вы не картиночками станете заниматься, смею заверить вас,– это удел Карадонны-Сабурова, а тем, чего своевременно не сделали немцы, готовя войну против СССР: разложением общества нашего общего с вами противника. И, кстати, еще вот что. Вас, наверно, радует то ; что в Федеративной республике появилась некая партия, НДП, продолжающая программу гитлеровской партии, к которой принадлежали и вы? Не сомневаюсь, что радует, вижу, что радует. А надо, Клауберг, не радоваться, нет, а огорчаться. Перед лицом роста нацизма русские усилят бдительность, вот и все. Во всех случаях, когда Запад бряцает оружием, русские не проигрывают, а выигрывают. Они освобождаются от благодушия, от извечной для России робости перед общественным мнением Запада. Самый верный путь – довести их до полной сонной одури – сидеть тихо, вести себя образцово-миролюбиво, идти на частичные разоружения, особенно когда таким путем можно отделаться от морского и сухопутного старья. Но вот видите, как получается! Наш с вами мир не может, чтобы не шебаршить. Таковы противоречия империализма, верно это говорят марксисты. Своими противоречиями мы облегчаем жизнь коммунистов. Ну и так, мой друг, лекция моя затянулась. Щажу вас. Для начала хватит. Группа у вас будет прекрасная, разносторонняя. За полгода вы сживетесь, сдружитесь, и противнику от вас не поздоровится. Карадонна-Сабуров пусть ничего этого не знает, пока вы полностью не убедитесь в том, что он готов на все.

– А может быть, ему и вообще не надо ничего этого знать? – подал голос хозяин дома. – Пусть занимается репродукциями. Незнание обеспечит ему натуральность поведения. А среди русских это очень важно – быть безукоризненно натуральным.

– Может быть, может быть.

В просмотровом зальце все еще крутили советские ленты, когда Клауберг вновь занял место в кресле позади Сабурова. Он видел, с каким интересом Сабуров смотрит кадры из жизни России, и раздумывал о только что услышанном. Да, не случайно, что к игре великих западных стран все больше и больше привлекают и их, немцев. Потому что немцы никогда не смирятся с тем, что сделали с ними в сорок пятом году. Немцы! Версальский договор был дрожжами, на которых взошло неудержимое тесто второй мировой войны. Договор Потсдама не даст покоя немцам до тех пор, пока не будет смыт кровью. Конечно, они хитроумны, эти англичане и американцы, они ловко обрабатывают русских, никогда не упуская случая принять их в свои «дружеские» объятия. Но когда дойдет до дела, решать его будут не их певички и танцовщики, не их кинофильмики и песенки, а наши, немецкие, пушки, танки, самолеты. Ему, видите ли, огорчительно, что в Западной Германии возрождается партия фюрера! Она, дескать, раздражает русских и усиливает их настороженность, что в итоге вредит общему делу. Понятно, какое у них общее дело: прикончить русских руками немцев, а самих немцев всегда держать в узде, как ломовую лошадь. Так вот, не будет этого! Не будет! Да здравствует

НДП! Лишь тех безмозглых баранов – христианских демократов, всяких социалистиков – могут околпачивать западные боссы, обрабатывать и накидывать на них узду. На тех же, кто возрождает великую партию Гитлера, ничего не накинешь.

Возвратясь в отель, они разошлись по своим комнатам. Клауберг запер за собою дверь, задернул шторы на окне, подсел к столику с яркой лампой. Из потайного кармана своего старого кожаного бумажника он вытащил несколько небольших фотографий. На первой был изображен он сам, молодой, с хорошей выправкой, в полной форме, офицер СС. Немало дел сделал он во славу Германии во время войны. Сабуров этих его дел не знает. Сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый… Тогда они уже были в разных местах и встретились вновь перед концом войны. Если бы Петер знал обо всем, он завопил бы истошным воплем. Он чертовски чувствителен, как, впрочем, все русские.

Клауберг долго любовался молодым эсэсовским офицером. Затем он взял в руки вторую фотографию. Тихая, застенчиво улыбающаяся женщина, окруженная детьми,– их четверо; это его жена; давняя, тогдашняя штурмбанфюрерша Эмилия. Всех их, и Эмилию, и детей, которых он стал уже позабывать, кого как звали, Клауберг потерял. Бреслау, где они жили перед войной и во время войны, после разгрома перешел к Польше, стал Вроцлавом, и куда подевались его прежние жители, один бог ведает, да молчит. А может быть, все они погибли при бомбежках и штурмах. Не одним же русским было сгорать в огне войны…

На третьей фотографии, закинув голову, во весь крупный красивый рот с прекрасными зубами смеялась пышноволосая молодая женщина. Невозможно было равнодушно смотреть на ее обнаженные красивые руки, внушительную грудь, которая так и рвалась наружу из-за выреза платья. Это была невенчанная жена Клауберга. Она в Мадриде. У нее уже двое ребятишек, которые не могут осилить даже десятка немецких слов, чешут только по-своему, по-испански. Разве из них, из этих черномазых галчат, вырастишь когда-нибудь порядочных немцев! Так и останутся цыганятами.

Нет, личной жизни не получилось. Ни капиталов не нажил, ни домов, ни магазинов. Но черт с ними, в конце-то концов, и с капиталами и с домами. Остается несравнимо более высокое, незыблемое, вечное. Остается райх, райх, райх! Он солдат, он немец. Он готов делать все, что угодно, служить кому угодно, лишь бы в конечном счете это пошло на пользу Германии и победила бы в конце концов Германия.

Клауберг спрятал фотографии на их место. Спать не хотелось. Он принялся расхаживать по тесной комнате – три шага туда, три обратно. Он усиливал шаг, печатал его, ему казалось, что за его спиной, следуя за ним, уже идут его батальоны и тоже печатают шаг. Он слышал грохот сапог по мостовым городов мира, рев тысяч глоток на стадионе в Мюнхене, в берлинском «Спортпаласте», в огромном «Шлагетерхаузе» Кенигсберга… Там, в Мадриде, все это казалось ушедшим в прошлое, в небытие, несуществующим. Нет, оно, оказывается, никуда не ушло, и оно имеет будущее, оно существует, живет.

Он стал насвистывать взвинчивающую чувства мелодию «Баденвайлера» –

того марша, который был любимым маршем Гитлера.

Раздался стук в дверь. Клауберг вздрогнул от неожиданности. Придя в себя, ответил: в чем дело, почему так поздно. За дверью, смущаясь, стояла горничная.

– Простите, сэр. Джентльмен из комнаты, которая под комнатой господина, болен, у него температура. Он просил бы господина не стучать так в пол. Еще раз простите, сэр.

12

В круглом читальном зале библиотеки Британского музея, под огромным куполом, который по размерам уступает только куполу собора святого Петра в Риме, не так-то просто получить для работы одно из четырехсот пятидесяти восьми мест. Обычно этому предшествует длинная, не знающая отступлений от правил, жесткая процедура, установленная еще в прошлом веке. Но группе Клауберга места, очевидно, были приготовлены заранее. Собственно, не всей группе, а только два места: предполагалось, что постоянно заниматься здесь будут Клауберг и Сабуров, Порция Браун и Юджин Росс – по мере надобности, установив соответствующую очередь.

Но в очереди нужды не последовало. В первые дни, пройдя после завтрака несколько сотен шагов от «Бонингтона» до музея, являлись сюда именно лишь Клауберг и Сабуров. Молодой джентльмен Юджин Росс вообще избегал появляться в читальне, мисс Порция заскакивала, как залетная птаха, просматривала списки изданий, которые заинтересовали или Клауберга, или Сабурова, успевала рассказать вполголоса парочку-другую историй и, мило улыбаясь, исчезала, распустив после себя в зале и в коридорах шлейф запахов, выработанных парижскими фирмами Диора или Роше.

Вскоре перестал ходить и Клауберг: у него появилось предостаточно дел, связанных с организационным и техническим обеспечением экспедиции, поскольку уже окончательно стало очевидным, что главой в группе является он.

По нескольку часов в день, иной раз по восемь и по десять, под внимательным взором смотрителя, поднятого на возвышении среди зала, листал и листал Сабуров страницы книг, журналов, газет, рукописей, касавшихся Советской России. Он утопал в обилии противоречивого материала. В хранилищах музея содержались тонны, десятки тонн, может быть, даже тысячи тонн изданного и в СССР и за его пределами, написанного и друзьями Советской России и ее непримиримыми врагами. О всей предшествовавшей октябрю 1917 года истории человечества» за все долгое время с того дня, когда четыре или пять тысяч лет назад первый грамотный шумер взял в руки первую глиняную табличку и первым стилом начертал на ней первое известное ныне письменное свидетельство прошлого, не было написано столько, сколько понаписали люди менее чем за полвека после перевернувшей мир октябрьской даты.

Сабуров начал с мемуаров, с рассказов участников и очевидцев Февральской и Октябрьской революций и гражданской войны. Просматривая

их, он не мог не вспомнить себя, молодого и самоуверенного, бездумно бравшегося за перо для вольных описаний событий того времени. Писал он их по живым, страшным, как повести Гоголя, рассказам беглецов из России, тех перепуганных русских, которые вращались в том же эмигрантском кругу, что и его родители. Перо юного сочинителя было бойкое, романы под этим пером получались живописные, наполненные, с одной стороны, сентиментальными историями платонической любви то армейского офицера к одной из царских дочерей, то крестьянской девушки к своему хозяину-графу, помещику, за которого она отдает жизнь при налете на поместье банды озверелых красных, а с другой стороны – «ужасами Чека», зверствами большевиков, картинами их разгула, «афинскими ночами» в Смольном и Кремле, расправами в казематах Лубянки. Сабуров и до того, как ему оказаться в читальном зале Британского музея, еще в довоенные времена, но уже став взрослее, понимал, конечно, сколь далеки от подлинной действительности были его юношеские сочинения, так легкомысленно публиковавшиеся эмигрантскими издательствами в Берлине и в Праге. Но только теперь, взяв в руки составленные и тогда и позже и с той стороны и с этой материалы сухой статистики, отчеты иностранных наблюдателей, побывавших в годы переворота в России, донесения послов и агентов, он начал по-настоящему осознавать сложность и противоречивость минувших событий. Монархические сентиментальные воздыхания, которыми изобиловали его романчики, были так наивны и сусальны, что Сабуров не только не признался бы ныне в своем авторстве, но он даже постеснялся спросить, имеет ли музей экземпляры сочинений некого Серафима Распятова. Как хорошо, что сочинялись они под псевдонимом; как мудр и дальновиден был отец, настоявший на замене подлинной фамилии автора под этими сочинениями.

Возможно, что Сабуров запутался бы в бумажных лабиринтах музея, и не только шести месяцев – всей оставшейся жизни не хватило бы ему даже на то, чтобы хоть с приближенной полнотой составить список опубликованного на разных языках о Советской России, о революции, о пятилетках, о Великой Отечественной войне, как войну против гитлеровской Германии называли и называют советские люди. Помогла мисс Порция Браун. Она взяла на себя труд набросать для него несравнимо более сжатые, чем это делал он, списки необходимой литературы да и в них отметила как первоочередное и обязательное чтение далеко не все. При всей ее голубоглазости, женственности и улыбчивости мисс Порция была и не глупа и весьма деловита. С ее помощью Сабуров нащупал верную дорогу. Взятие власти большевиками, гражданская война, восстановление хозяйства в стране, борьба с оппозицией в большевистской партии после смерти Ленина, роль Сталина в этой борьбе, индустриализация, коллективизация, Отечественная война, послевоенный период строек и развития – вот как под водительством американки выстраивалась линия его чтения. Книжные тексты подкреплялись фотографиями в журналах, материалами газет с их текущим хроникальным освещением событий.

Поразило Сабурова обилие эмигрантских изданий. Сидя год за годом в

Италии, в своей Вариготте, куда ни зарубежных, ни советских русских никогда и никакими ветрами не заносило – кроме на треть русской жены Антониони, давным-давно утратившей связь с Россией, да жены коммуниста Спады, – он почти ничего не знал о послевоенных делах эмиграции. Как, чем живет эмиграция, да и вообще живет ли она, не ассимилировались ли те два или три миллиона беглецов, которые покинули родину после семнадцатого года,– все это ему было совершенно неведомо. Боясь привлечь чье-либо внимание, вызвать подозрение досужих соглядатаев, он даже русских эмигрантских изданий не выписывал. А сами они никакими иными путями до Вариготты не доходили. И вот после долгой полосы глухого забвения всего русского, всего былого, казалось, навсегда исчезнувшего из его жизни, в руках Сабурова «Новый журнал», издающийся на русском языке в Америке, нью-йоркская газета «Новое русское слово», какие-то «Грани» и «Посев», альманах «Мосты», газета «Русская мысль», нечто такое, которому дано название: «Общественно-политические тетради Зарубежье»,– издающееся в Мюнхене… Уйма – горы, монбланы – книг, журналов, газет на русском языке, изданных за пределами России. И все они датированы последним годом, последними месяцами, последними днями. Совершенно все свежее, типографская краска еще пачкает пальцы.

Глаза разбегались, скользя по листаемым страницам. Вот Сабуров взял в руки «Новее русское слово». На первой странице газеты – траурное объявление в черной рамке: «Скоропостижно скончалась моя дорогая, горячо любимая жена Эвелин. Заупокойная служба в похоронном бюро Кэмпбелл, Медисон Авеню и угол 81 улицы, Нью-Йорк». И подпись, которая ошеломила: «Майор Александр Северский». Какой же это Северский, не тот ли известный авиатор? Да, конечно, это он. На одной из внутренних страниц можно было прочесть, что покойная Эвелин была дочерью профессора медицины доктора Рутерфорд Оллинфан; в 1925 году она вышла замуж за русского летчика, инженера, авиационного конструктора. Русский авиатор, где же он подвизался все годы, пока Сабуров сидел в итальянской Вариготте? И об этом было сказано в объявлениях. Ему, «мужу покойной и своему директору», «искреннее соболезнование» выражали! все служащие «Электронатом корпорейшн».

Объявления подобного рода так и лезли в глаза. «Состоялись похороны В. Н. Салато, бывшего председателя ОРОВУЗа (Объединения русских, окончивших высшие учебные заведения за рубежом)». Со своей Делией он, Сабуров, и представить себе не мог, что где-то и такие объединения существуют. «Бывшего кадета I корпуса В. Дмитриенко, который напечатал в „Новом русском слове“ статью о Суворове и Первом кадетском корпусе, просят сообщить свой адрес в отдел хроники». Можно себе представить, что это за бывший кадет! Лысый бородач, беззубый и глухой, лет семидесяти пяти – восьмидесяти. Да…

В одной из газет печатается с продолжением роман какого-то Виктора Гроссмана «Орион». Вытащили к 50-летию Октябрьской революции заново перепечатывают старые статьи Николая Бердяева, в которых философ-мистик доказывал, насколько точно Достоевский в романе «Бесы» охарактеризовал

русских революционеров и революцию. Вновь извлекли на свет божий и книгу Мельгунова «Как большевики захватили власть», бесконечно давно изданную в Париже. В предисловии автор книги назван одним из лидеров «партии народных социалистов».

Все то же, все то же, что и сорок и пятьдесят лет назад. Только варево стало жиже, безвкусней, будто бульон из мозговой косточки, которую варят по третьему разу.

Наткнулся Сабуров в газетах на «Письмо в редакцию», подписанное полковником Олегом Ивановичем Пантюховым, «старшим русским скаутом и основателем движения русских скаутов-разведчиков (1909 г.)». Письмо было озаглавлено так: «Черный год». Ни больше, ни меньше. Старший русский скаут писал: «Все мы, русские люди, с горечью переживаем сейчас пятидесятилетнюю годовщину того бедствия, того несчастья русского, которое наши русские газеты озаглавливают: „Трагическая годовщина“, „Траурная годовщина“ и т.д… Пятьдесят лет назад – выстрелы по Зимнему дворцу, выстрелы по Ивану Великому и старому Кремлю Московскому – это были выстрелы по всей нашей матери России. Наши добровольческие белые армии героически старались отстоять Россию, но лживые обещания красных и поддержка их теми странами, которым хотелось разрушить Русь, – все это не дало победы, и разруха нашей родины началась».

Полковник Пантюхов, полковник Пантюхов?… Старший скаут?… В памяти Сабурова возникали картинки конца двадцатых годов. Тогда он тоже состоял в отряде скаутов в Баварии. Ему вспомнилась выправка полковника Пантюхова – по фотографиям из Джембори, в Англии. В 1929 году в Джембори происходил всемирный слет скаутов. Среди других отрядов промаршировал перед трибунами и отряд русских парней под трехцветным российским флагом. С приходом гитлеровцев к власти русских скаутов очень скоро превратили в белорубашечников – в русское фашистское формирование.

Теперь вот «старший русский скаут» вспоминает о том, как в 1910 году в Царском Селе он представлял своих питомцев родоначальнику скаутизма английскому генералу лорду Баден-Пауэллу.

Каждый ворошит свое, каждый о своем вздыхает. И все это трупы, и все это полутрупы. Недаром же эмигрантские газеты пестрят такими объявлениями: «Похоронное бюро Ф. Волынина. Первоклассные похороны за минимальные цены. Часовни с аппаратами охлаждения. Нью-Йорк. 123. Восток 7-я ул.», «Похоронное бюро Петр Ярема. Лучшие похороны за самую дешевую цену в Нью-Йорке, Бронксе и Бруклине», «Памятники мраморные и гранитные устанавливает П. А. Карасик. Район Спринг Валли, близ „Ново Дивеева“. Первоклассная работа с многолетней гарантией», «Памятники, мавзолеи, статуи ставит на всех кладбищах Константин М. Карлович».

И вместе с тем, конечно, как всегда в жизни, рядом с гробовым входом играет и младая жизнь. Парижские русские рекламируют «Ресторан-бар „Калинка“, „Винно-гастрономический магазин В. Ростовцева“, где „как всегда, большой выбор русских и заграничных продуктов“. На Больших бульварах, оказывается, существует ресторан „Тарас Бульба“. „С украинским фольклором

в живописной обстановке“. Где-то есть ресторан „У Любы“, где-то „Ля Водка“, есть „Московские колокола“, с блинами и расстегаями, русскими плясками и цыганскими песнями.

Кому надобны услуги похоронных бюро, кто нуждается в надгробьях, в мавзолеях и памятниках, – понятно. «Старшие скауты», «бывшие кадеты» – сегодня они уже еле волочат ноги. Их срок подходит. Но кто-то ведь еще кушает и блинки, хлебает ушицу с расстегаями под звон московских колоколов, кто-то хочет цыганской тряски плечами и бюстами. Кто же это и насколько они многочисленны, насколько серьезны?

Мисс Порция однажды положила перед Сабуровым листовку, широковещательно озаглавленную «К интеллигенции России». Сабуров читал: «Исполнилось 50 лет, как произошла революция, изменившая жизнь нашей родины и принесшая с собой множество бедствий. Эта годовщина побуждает нас обратиться к мыслящим людям России с призывом еще и еще присмотреться к пережитому и подвести ему итоги».

Итоги, по мнению авторов листовки, весьма плачевны. Россия разорена, инакомыслие в ней подавляется, идеи не осуществились, коммунизм себя изжил.

«Минувшие полвека не изменили извечных задач, стоящих перед обществом. Напротив, они скорее подчеркнули, что не погоня за утопией, а реальное и трудное дело постоянной организации и совершенствования социальных и международных отношений остается главным общественным делом и что оно может осуществляться нормальными и человеческими методами, без тех ненужных жертв, крови, мук, которых столько пришлось испытать России за 50 лет».

А на Западе зато совсем другое дело.

«Нельзя не видеть, что национальная политика ведущих держав после второй мировой войны перестала быть империалистической. Она меняется вслед за общими изменениями, постепенно направляющими жизнь народов в единое русло, в котором подлинные их интересы могут заключаться только в мирной созидательной деятельности. И если не произойдет ядерная война, движение в этом направлении будет продолжаться».

Надо только, чтобы Россия не трепыхалась и не способствовала возникновению ядерной войны.

«Переход жизни страны от борьбы к миру оздоровит и упорядочит в ней обстановку. А это даст надежную почву для утверждения свободы совести, слова, творчества и других свобод и прав, отнятых у граждан России,– тех свобод и прав, которые тщетно в нынешних условиях пытаются вернуть отдельные представители общества и без которых человеческой жизни не может быть».

Листовка, словом,– нельзя было этого не понимать – призывала интеллигенцию России менять порядки, менять строй. Как и что – рецептов не давалось, но авторы листовки звали завершить «один из самых тяжелых периодов в истории России». «Ясно только одно,– заканчивали они свой призыв,– на всех нас лежит ответственность за то, чтобы задача эта была

решена».

Среди подписавшихся Сабуров нашел имена всех тех, кто редактировал ныне проходившие перед его глазами эмигрантские издания и кто в них активно сотрудничал. Так он узнал, что редактором нью-йоркской газеты «Новое русское слово» является публицист М. Вейнбаум, что «Новый журнал» редактирует писатель Роман Гуль, что парижскую «Русскую мысль» выпускает публицист С. Водов. Он внимательно прочел весь перечислительный столбец под обращением. «Г. Андреев (Г. Хомяков)– писатель, редактор альманаха „Мосты“; Д. Анин – публицист; В. Вейдле – писатель, искусствовед; Я. Горбов – писатель; Н. Градобоев – публицист; Г. Ермолаев – профессор; Борис Зайцев – писатель; В. Зубов – историк искусства; Ю. Иваск – профессор; Олег Ильчинский – поэт; И. Курганов – профессор; Г. Круговой – профессор; С. Оболенский – публицист; К. Померанцев – писатель; Н. Полторацкий – профессор; С. Пушкарев – историк; Андрей Седых – писатель; Глеб Струве – профессор; Н. Ульянов – писатель; Виктор Франк – публицист; Александр Шик – писатель; отец А. Шмеман – профессор богословия».

– Почему, мисс Браун, вы с каким-то особым значением предложили мне эту листовку? – спросил Сабуров, закончив чтение. – Вы что-то имели мне этим сказать?

– Сказать то, во-первых, что вы, не сомневаюсь, увидели здесь немало знакомых имен.

– Да, конечно. Я еще по Германии, по Чехословакии помню и Бориса Зайцева и Глеба Струве, Романа Гуля и некоторых других. Но они стары, не моложе или немногим моложе меня. Это все старые карты, затрепанная колода с загнутыми уголками. В такую играть нельзя.

– Ошибаетесь. Это сгусток русской свободолюбивой, демократической мысли.

– Вы американка, мисс Браун. О вас, американцах, говорят, что вы деловой народ. Но при этом вы, оказывается, еще и сентиментальны.

Посмотрите-ка, что здесь меленьким шрифтиком приписано внизу…– Сабуров прочел вслух: – «Эмиграция давно не имеет возможности созывать съезды или совещания, на которых могли бы вырабатываться подобные обращения, и оно было составлено одним лицом. Затем, по переписке, к нему присоединились другие подписавшие его лица, одобрившие основные положения обращения».– Сабуров взглянул на Порцию Браун. – Следовательно, это никакой не сгусток русской мысли, а бумажка, и только. Начирикал все эти тезисы кто-то один, какой-то из этих никому не ведомых публицистов или профессоров, остальные «по переписке» «присоединились». Вяло, равнодушно, от полной бесперспективности сделали это. И написано-то их «обращение» по-рыбьи, тоже вяло, равнодушно, заупокойно. Не таким бороться против большевиков, мисс Браун. Немцы, и те не смогли их одолеть.

– Вы плохо, невнимательно прочли.– Порция Браун приятно улыбнулась.– Дело не в этих старых людях, что правда, то правда. А вот обратите-ка внимание на следующие слова.– Ее тонкий палец с перламутровым длинным ногтем уткнулся в строчку: «…тех свобод и прав, которые тщетно в нынешних

условиях пытаются вернуть отдельные представители общества…» – Вот о ком надо думать – об этих отдельных, – подчеркнула голосом мисс Браун.

– Так ведь отдельные – они и есть отдельные. Единицы! – возразил Сабуров.

– Из искры возгорится пламя! – Порция Браун улыбнулась еще приятнее.– Вам известно, что в этом зале некогда занимался Ленин? Нет? Что же вы, дорогой синьор Карадонна! Где-то в соответствующих списках посетителей есть, видимо, его собственноручные росписи. И вот там стоит кресло… там, там, слева… За литерой «Эл» и под номером тринадцать, Утверждают, что обычно он занимал именно это кресло. Вы поинтересуйтесь. Это небезынтересно. Так вот – Ленин. Он был тоже одним из отдельных в царской России, а сумел в конце концов захватить всю власть.

– Но он не один, не в отдельности барахтался и не впятером-десятером, а создал сильную партию своих единомышленников. А партия, насколько я, будучи, кстати, противником всяких партий, понимаю, может возникнуть лишь на общности очень привлекательных и популярных идей. Такой идеей у Ленина была идея свержения самодержавия и установления власти народа.

– Ну, а для либеральных русских сегодня такой идеей является свержение советского строя, власти коммунистов,– с некоторым вызовом сказала Порция Браун.

– И что, эта идея привлекает многих? Она популярна?

– Да, безусловно. А кроме того, ее надо раздувать, как искру. Понимаете?

– Раздувать можно,– согласился Сабуров.– Но раздуется ли? Я, извините, скептик. Я ведь бывал в России. Во время войны. Плохо советские русские сотрудничали с немцами. И потому еще не хотели они сотрудничать с завоевателями, что не желали возвращения старых порядков – помещиков, фабрикантов, князей, баронов.

– Да, это было неумно предлагать им тогда помещиков и князей.

– И сейчас не будет умнее. Они и сами, судя по статистике, пре красно хозяйствуют, и народные доходы у них непрерывно растут.

– Не скажите. Не все определяется доходом. Духовная жизнь скована – вот что главное. А что касается князей, баронов… На это взгляды меняются. В Москве у меня есть один знакомый. Он проделал очень любопытную эволюцию. Отец его до революции был торговцем, торговал в провинциальной лавчонке. После революции установили порядок, что в высшие учебные заведения предпочтительно принимались дети рабочих и крестьян. Мой знакомый никому не сказал, что он сын торговца, пошел работать на завод, два года стучал там молотком, уверяя всех, что и отец его тоже кузнец, и так получил право учиться в университете. Закончил его и, как сам рабочий и сын рабочего, даже вступил в большевистскую партию! А теперь, когда все это утратило у них значение – происхождение, класс, сословие, когда анкет уже не требуют, когда быть рабочим не стало так почетно, как было, он, знаете, что? Он вполне прозрачно намекает, что родители его были дворяне, и не простые, а чуть ли не с гербом. Это очень интересный и обнадеживающий симптом. Не правда ли?

Они дошли с мисс Браун до шумной Оксфорд-стрит, отыскали тихое, уютное кафе, выбрав столик в углу, и разговорившаяся мисс Браун нарассказывала Сабурову множество любопытного о Москве, о Ленинграде, о людях, с которыми она встречалась. Круг ее знакомств ограничивался деятелями литературы и искусств. Она знала некоторых советских писателей, художников, режиссеров, артистов. Все те отдельные, на которых намекали авторы обращения, были, по ее словам, именно из этого круга. О них мисс Браун говорила с большой симпатией. Зато, нисколько не сдерживая себя, она поносила остальных.

– О, это такие бездари, такие тупицы, приспособленцы! Попробовали бы вы с ними поговорить. Как горохом о стену! – Она даже посту чала костяшкой пальца в обтянутую желтым шелком стену возле их сто лика.– Упрямые, самоуверенные. Им, только им все. Им премии, им гонорары, им должности и ордена. Вы это все увидите. Хотя такого рода дела и не будут нашими с вами делами, но они сами собой бросятся вам в глаза.

Она порылась в сумочке, набитой бумагами, и вытащила подобие брошюрки небольшого размера в мягкой серой обложке.

– Это вам,– сказала, подавая.– Это журнал, который называется совсем просто: «Студент». Замечателен он тем, что является журналом авангарда советской литературы.

Сабуров полистал страницы малоформатного карманного изданьица.

– Позвольте! – воскликнул он.– «Журнал авангарда советской литературы», как тут написано, а издается в Лондоне!

– А вы хотели бы, чтобы такое издавалось в Москве? Вы наивны, синьор Карадонна. Большевики этого не допустят. Они не такие. Нет, это, конечно же, издается в Лондоне, но завозится в Советский Союз и распространяется там среди желающих.

– Отдельных? – с ударением спросил Сабуров.

Мисс Браун усмехнулась.

Весь вечер Сабуров листал у себя в комнате этого «Студента». Он начитался посредственных альбомных стихов, которые занимали треть книжки и которые, как он понял из предисловия, автор сам же и распевает под гитару; с удивлением увидел заново перепечатанный отрывок из «Хулио Хуренито» Ильи Эренбурга, изданного еще в 1922 году в берлинском «Геликоне»; старые-престарые стихи этого автора, объединенные общим названием «Молитва о России», а рядом и так называемые «Рязанские частушки». Нечто подобное певали солдаты белых армий на островах под Константинополем, изливая злобу на тех, кто вышиб их с Кубани и из Крыма.

По деревне слух идет:
Вшей забрали на учет;
Чтобы вшей пересчитать,
Стали баб учить читать.

И так десятками строк и четверостиший.

Была здесь, в «авангардном журнале», напечатана и «народная советская песня». Начиналась она строками:

У бабушки под крышей сеновала
Там курочка спокойно проживала,
Жила она, не ведая греха.
Пока не повстречала петуха.

Потом вот ей повстречался петух, он стал к ней ластиться, приглашать за реку. А за рекой:

Сначала она робко упиралась,
Потом она в истерику бросалась,
Подставил Петя курочке той ножку,
И сбил он нашей курочке прическу.

Следовала мораль:

– Так вот, девушки, советую я вам,
Не верьте вы усатым петухам,
И не ходите с ними вы за реку,
А то вы запоете «кукареку»!

Глупее что-либо придумать было трудно. Народная русская песня! Сабурову помнилось немало чудеснейших народных русских песен. Он уже запамятовал многие слова, но в ушах его еще не заглох напевный, лирический настрой тех песен, их целомудренность, их чистота и глубина. А тут бог знает что. Если теперь таковы у русского народа песни, то плохи же его дела. А если это фальсификация, то что ею преследуется?

Он увидел и объявления в «Студенте», из которых узнал, что антикварный магазин издательства «Флегон Пресс», издающего этот журнальчик, высылает книги по почте. Какие же это были книги? «Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификации. К. Каутский. Большевизм в тупике. Б. Пастернак. Доктор Живаго». И даже журнал «Новый мир» № 3 за 1927 год! И еще его внимание привлек призыв: «Флегон Пресс покупает телефонные книги СССР. Выплачиваем 150 долларов за телефонную книгу любого советского города».

Все стало ясным. Английское издательство, с адресом 24, Chancery Lane, London, W– C– 2, собирает по задворкам Советской страны литературные отходы, публикует их на русском языке в Лондоне, платит гонорар авторам не своими английскими фунтами, а американскими долларами, скупает телефонные книги СССР, стремясь таким путем завербовать агентуру и приобрести адреса – старый, избитый прием. Зачем же ему, Сабурову, собирающемуся заниматься русским искусством, читать всю эту чушь? Напрасно мисс Браун навставляла такого чтива в список необходимой ему литературы.

13

– Бенито, ты знаешь, у нас в Турине находится группа советских писателей! – сказала Лера.

Допивая утренний кофе, Спада просматривал газеты.

– Знаю, – сказал он, не подымая головы.

– Может быть, надо встретиться с ними, пригласить к нам?

– Да ты что? – Спада вскинул свои глаза, два темных пятна за очками.– Это же Булатов со товарищи. Все трое – из этих… из баловней культа. Премии, ордена, подмосковные дачи…

– Мне кажется, ты неправ. – Лера сидела напротив за столом и катала шарик из мякиша только что принесенной, еще теплой булочки. – Во-первых, двоих из них, в частности Булатова, «культ», как ты называешь, не успел обласкать. Во-вторых, при «культе» такими писателями, у которых учился Булатов, были созданы очень хорошие книги. В-третьих, «культа» давно нет, а в Советском Союзе Булатова «со товарищи» читают, каждая новая книга каждого из них издается громадными тиражами, и все равно ее не купишь.

– Может быть, и читают,– довольно миролюбиво согласился Спада. – Но кто? Самые примитивные, самые неразвитые читатели. У вас в Советском Союзе таких двести с лишком миллионов. Только в их представлении Булатов – писатель. На самом же деле, то, что пишут он и ему подобные, не литература, а просто, как у вас говорят, агитки за Советскую власть. Критерий таков: за Советскую власть? Хорошо! Не за Советскую власть? Плохо! Вот и вся «эстетика». Так подлинно художественное никогда не создавалось, не создается и не может быть создано.

– Да, мне известна твоя точка зрения на советское искусство.

– Ну, ну, сформулируй. Интересно.

– Надо ли? Еще поссоримся. У меня ведь она, эта точка зрения, другая. Для тебя существуют лишь Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бабель, а я росла – даже и в руки не брала их книг. А когда взяла, они меня не тронули. Они из иного мира. На книгах совсем других писателей формировался мой мир.

– На своих Фурмановых, Островских да Фадеевых вы вот и получились такие, с шорами на глазах! – Спада вскочил из-за стола, принялся хватать с полок книги, бросать их на тахту.– Вот вы что читали, вот!… Подай вам «Настоящих человеков», «Московские характеры», «Кремлевские куранты»… Вы, вы, вы! Одни вы! А вы насовершали грубейших ошибок. Еще ваш баснописец Крылов учил вас, что и «дуги гнуть уменье надо». А вы – бац, трах! – по-медвежьи, сила есть – ума не надо.

За окном стояла осень. Семья Спады давно покинула побережье и Вариготту, оба они были заняты обычными городскими делами, а такие дела, как известно, нервам не на пользу, нервы от них напрягаются, сил сдерживать себя не хватает. Лера слушала крикливые откровения мужа и смыкала замком кисти рук: чтобы не схватить со стола кофейник и не запустить его в мотающуюся перед него коротко остриженную, круглую, как шар, голову

человека, принявшего на себя роль судьи того, огромного, никакими общеизвестными мерками не измеримого, что за полвека сделал, совершил ее народ.

– Но их,– сказала она, подрагивая голосом,– тех, которые, по-твоему, представляют собой настоящую литературу, породили не революция, не Советская власть. Они были и до революции или же шли в сторонке, в обособленности от нее. Может быть, ты считаешь, что если у советского народа и есть какая-то литература, то она появилась не благо даря революции и советскому строю, а вопреки?

– Ты очень точно выразила мою мысль, очень точно. Низкий поклон тебе за это. Чтобы не забыть, сейчас же запишу. – Спада схватил карандаш и на обложке первой попавшейся под руку книги стал черкать, приговаривая:– «Не бла-го-да-ря, а во-пре-ки!…»

– А вообще,– спросила Лера,– наша революция, наша Советская власть, она что-нибудь дала миру, человечеству?

– Демагогический вопрос, дорогая. Дать, конечно, дала.– Спада помедлил,– Но мы, мы,– подчеркнул он,– пойдем другим путем. У нас все будет гуманней, интеллигентней, современней.

– А главное – западней?

– Да, если хочешь. Западней.

– Когда каждый платит за себя?…

– Не понял.

– И не поймешь.

Она уже не настаивала на том, чтобы советских писателей, прибывших в Турин, пригласить к себе домой. Но ей все же очень хотелось повидать их, поговорить с ними. Она одела своего пятилетнего Бартоломео, которого Спада звал Барти, а она Толиком, и повела его к синьоре Антониони.

– Не смогу ли я часа на два, на три оставить своего мальчика у вас, синьора Мария?

– О, какие разговоры! Часа на два, на три! Да хоть на три дня! Хоть на неделю. На месяц! Вы же знаете, я и Сальваторе обожаем детей. Если бы моего энтузиаста не остановить, он бы завел их две добрые дюжины. Раздевайся, мой красавчик, мой ангелочек!…

Лера отправилась в гостиницу, в которой остановились советские писатели. Сведения об этом она вычитала в утренней газете. Булатов и его товарищи, как там сообщалось, были в Турине проездом, их интересовали заводы фирмы «Фиат». Лера читала книги всех троих, знала их по портретам и, войдя в вестибюль гостиницы, тотчас узнала лицо Булатова, с резкими чертами и острым взглядом глаз под припухшими веками. Он отдавал портье ключ от номера. Вокруг него было несколько итальянцев, всех их у подъезда ждала машина.

– Товарищ Булатов! – окликнула Лера.

– Да! – Радуясь русским словам, Булатов обернулся.

– Я советская гражданка, Васильева. Живу здесь, в Турине. За мужем за итальянцем. Мне бы очень хотелось побеседовать с вами. Скажите, это

возможно?

– Да, конечно. Но…– Отогнув рукав, он взглянул на часы.– Вот еду на завод. Уже опоздал, мои товарищи укатили еще час назад. А я задержался с журналистами. Трудно сказать, сколько мы там пробудем. Если у вас найдется время, приходите сюда же…– Он подумал. – В шесть часов вечера. Хорошо?

– О да, да, конечно.

Он был свой, советский, понятный. Он уже уехал в большой темно-синей машине, которую за ним прислала фирма, а Лера все стояла на улице перед входом в гостиницу, под мелким, моросящим дождем Северной Италии, в эту пору года очень похожим и на московский и особенно на ленинградский, и улыбалась вслед машине. В шесть! Ровно в шесть!

Она забрала Толика у синьоры Марии; та даже огорчилась, что так быстро ее лишили общества приятного и обходительного молодого синьора, сказала, чтобы синьора Спада приводила его без стеснения в любой день и в любой час,– они, Антониони, будут только рады.

В пятом часу вернулся со службы Спада, Лера стала одеваться. Одно из лучших платьев, лучшие туфли – все лучшее.

– Куда ты собралась? – спросил он.

– Меня пригласил Булатов.

– Вот как! Успела снестись. Что ж, пойди проведай кумира ваших колхозников и прачек. Всем известно, что он сочиняет чтиво для простонародья.

– А я как раз из так называемого простонародья, синьор Бенито Спада. Но, кстати, и Пушкин, вслушиваясь в говор няни, в сказки, которые она ему рассказывала, тоже стремился писать для простонародья.

– Ха-ха! – раскатился деланным смехом Спада. – Пушкин и Булатов! Или кто там с ним прикатил: Краснодарцев, Громов? Классики!

В вестибюль гостиницы она вошла ровно в шесть. Булатов, посматривая на часы, уже ждал ее. В руках его был объемистый кожаный портфель.

– Точность – качество, удивительное для женщины,– сказал он, идя навстречу. – А тем более для моей соотечественницы.

Опять вокруг него были люди. Булатов оглянулся на них.

– Друзья,– сказал он,– вы не будете против, если мы захватим с собой и эту мою милую соотечественницу? Синьору Васильеву?

– О нет, здесь моя фамилия – Спада! – поправила Лера.

– Синьора Спада! – воскликнул один из итальянцев, когда перевод чик перевел им этот разговор.– О, мы знаем вашего супруга, да, хорошо знаем. Очень приятно!

В такси Булатов сказал Лере:

– Вы удивляетесь, где же двое других из нашей группы. Не удивляйтесь. У каждого из нас тут свои намерения. Один отправился к художникам, другой – к инженерам. А мы вот с вами едем в дом к туринскому рабочему. Здесь, оказывается, знают мои книги о летчиках, об авиаконструкторах и решили побеседовать с автором, Видимо, рабочая складчина. Поэтому и я тоже кое-что прихватил. – Он похлопал по раздувшимся бокам портфеля.

Квартира, куда они вошли, была тесная, в прихожей не повернуться, потолки в комнатах низкие. Совсем как в московских новостройках. И обстановка ничем не отличалась от московской. Разве что было несравнимо более шумно. Каждый кричал свое, не слушая другого. Из карманов доставали свертки, бутылки, банки. На минуту, когда и Булатов раскрыл свой портфель, притихли. Зато взрывы криков стали следовать при появлении каждого предмета, которые он принялся извлекать из портфеля и ставить на стол.

– «Столичная»! О! – восклицали знатоки.

– Русская икра! О-о!

– Крабы!…

– Еще «Столичная»!

– А это что? «Охотничья»?! Мы все охотники! Барсальеры!

– Колбаса? Но это скорее полицейская дубинка! Ею же можно про ломить голову! Вот взгляните на Джузеппе! Что у него на шее? Этой опухоли уже шесть лет. Никак не проходит. Вот такой дубинкой однажды огрели.

– Да здравствует Советский Союз! – сказал хозяин дома, плечистый, грузный рабочий, когда все, тесня друг друга, кое-как расселись за столом. – Да здравствуют русские рабочие, наши дорогие братья! В вашем лице, компаньо Булатов, я хочу обнять весь народ России. Позвольте! – Он стиснул Булатова так, что тот охнул.

Все зааплодировали, засмеялись, каждый захотел обнять советского человека.

Булатов поинтересовался:

– А почему вы говорите «компаньо» – «приятель», а не «камерата» – «товарищ»?

– А потому, что слово camerata испоганили фашисты. Так они обращались друг к другу. Compagno – наше слово, оно означает «товарищ» для каждого коммуниста.

– А среди вас, вот здесь, сегодня, много коммунистов?

– Да почти все. – Хозяин дома обводил взглядом собравшихся. – Вот разве что он, Луиджи, тот, остроносенький… Да Пеппо, который оброс, как ваши медведи, потому что экономит на стрижке… Они беспартийные.

– Какой же я беспартийный! – закричал остроносый Луиджи. Лохматый, тот действительно ни в какой партии не состоит. А я же социалист. Вы что, забыли?

– Забыли. Давно забыли.

– Так вот, компаньо Булатов, почти все мы здесь коммунисты, И мы вам скажем честно, вы об этом можете написать, если хотите, мы этого скрывать не собираемся, можете просто рассказывать в Москве, – хозяин отодвинул свой стакан с вином,– что мы даем по рукам каждому, кто сегодня кидается на вас, на Советский Союз. Среди нас есть вся кие, есть верные коммунисты, а есть и примазавшиеся к партии. У некоторых из таких, примазавшихся, особые взгляды. Они вас только и знают, что критиковать. А у них власти в руках еще никогда не бывало, за страну, за ее судьбу они ни разу еще не были в ответе и не знают, что это такое. Им бы молчать. Но они разевают свои крикливые

пасти. Это люди случайные, так и знайте. Рано или поздно, когда трудно станет, они сами от нас уйдут. А нет, так рано или поздно мы их вышвырнем.

– Кто сегодня критикует Советский Союз, тот не коммунист! – вы крикнул худенький маленький человек, размахивая вилкой.

– Сборщик двигателей,– через переводчика пояснил Булатову хозяин дома. – Ему уже немало лет. Он сидел у Муссолини в тюрьме.

– Россия – это родина коммунизма! – продолжал худенький сборщик.– Это наша мать. Свинья тот, кто способен лягнуть свою мать копытом.

– Ты хочешь сказать, осел, Пьетро. У свиньи нет копыт.

– Нет, именно свинья, Эммануэле. И у нее, ты плохо смотрел, копыта есть. Этакие раздвоенные. – Маленький человек даже встал со стула, чтобы казаться повнушительней. – Осел лягается по своему ослиному упрямству,– продолжал он.– И осел многого может не понимать, потому что он осел. А свинья есть свинья, самое грязное животное, которое способно жрать своих детей, хотя и знает, что это ее дети. Так вот он, о ком я говорю, и есть самое грязное животное, он свинья, а не коммунист.

Сборщику двигателей шумно зааплодировали, выпили за его здоровье, похлопали по его плечам. «Верно, верно, Джироламо. Ты молодец!» Заговорили о Советском Союзе, о советских ракетах, о кораблях советского флота, которые плавают в Средиземном море, о Москве, о восстановленном Сталинграде, о многом ином. Булатова поражала бессистемность знаний о его стране у этих симпатичных, дружелюбных людей.

– Скажите, пожалуйста,– заговорила по-итальянски Лера.– А как вы, товарищи, относитесь к советской литературе, к советскому кино, к живописи? Компаньо Булатову, наверно, это интересно знать.

– Какую мы советскую живопись видим, синьора?! Мы в Венецию на биенале не ездим. Это нам не по карману. В Советский Союз – тем более. Мне, например, известно, что был один такой русский, который изобразил на полотне последний день Помпеи. Так, говорят, жил он еще в прошлом веке.– Остроносый социалист Луиджи весело рассмеялся.

– Кино у вас было раньше просто замечательное. Много отличных фильмов увидели мы после войны. Сейчас, должно быть, наши власти не позволяют ввозить в Италию революционные фильмы. Показывают нам лишь такие, что и не поймешь, в какой это стране происходит. То ли у вас в Советском Союзе, то ли у нас, в Италии, то ли у датчан или люксембуржцев.

– А интересно, есть у вас новые хорошие песни? – спросили у Булатова. – Кроме «Катюши» и «Подмосковных вечеров»?

– Ты забыл, что ли, про маму и про небо? – ответил кто-то.

– Согласен, про маму и про небо присоединяю к тем. Хорошие песенки. А новые-то, еще новее есть?

– А у нас у самих есть, что ли, новые? – взорвался хозяин дома.Ни черта нет. Кто вам мешает петь старые?

– Никто. Ну-ка начали! Пьетро, давай!

Запели «Катюшу». И пели так дружно и с таким чувством, что Лера не могла сдержать слезы, они сами собой набегали на глаза. Итальян-ские слова

хозяев и русские гостей – Леры, Булатова и переводчика – сливались настолько органично, что было это будто бы на едином, общем, красивом и звучном языке.

– У нас есть композитор,– сказал хозяин дома, указывая на человека с черной окладистой бородой. – Очень хороший композитор. Зовут его Чезаре. Чезаре Аквароне. Он бы сыграл нам что-нибудь свое. Но в доме нет такого, на чем играют. Только проигрыватель. Можем прокрутить пластинку с музыкой Чезаре.

Мгновенно включили проигрыватель, но, выхватывая друг у друга из рук пластинку с музыкой Аквароне, ее столь же мгновенно сломали. – А, черт! Лопнула. Пусть сам автор поет! – Не могу я так, без всего,– отказался композитор.

– Ну выпей, если без этого не можешь.

– Я о музыке говорю. Если нет музыки…

– Хотите, я спою? Такую, которую можно и без музыки,– предложила Лера.

– О, синьора! – закричали все дружно, вскакивая с мест. – Будем счастливы!

Она запела «Землянку».

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза…

Переводчик не переводил, ждал, когда она закончит, чтобы пересказать сразу весь текст. Слов никто, следовательно, как думалось Лере, еще не знал. Но Лера с удивлением видела, как по щекам одного из немолодых ее слушателей побежали слезы. Он их не утирал. Потом, когда слова песни были переведены, когда Лере восторженно поаплодировали, человек этот сказал:

– Синьора, вы видели, я плакал. Я немножко понимал вас. Я был на войне, я сидел в таких землянках с такими печурками, я был под Сталинградом, я чудом остался жив и потом в плену не раз слышал эту пес ню. Она брала за душу так, что мы, итальянцы, готовы были живьем изжарить Муссолини, который оторвал нас от наших семей и послал туда, где до смерти четыре шага.

– Но ты был оккупантом! – сказал остроносый Луиджи.

– Нет, я был не оккупантом! Нас гнали на войну, как баранов на бойню. Я был бараном!

Весь вечер прошел в спорах, в криках, в шуме. Но Лера давно не чувствовала себя так хорошо и бестревожно. Среди этих людей все было понятно, просто, по-человечески.

В конце вечера говорил Булатов. Он говорил об общих чертах русского и итальянского народов, о солидарности рабочих всех стран мира, о том, что он верит в такое устройство на земле, когда не будет границ между государствами, и тогда люди разных языков станут чаще общаться друг с другом и выработают единый, общий для всего человечества язык. И никто, никакие недружелюбные издательства, никакие контролирующие организации не смогут помешать

свободному обмену тем лучшим, что есть в культурах разных народов.

Потом все снова обнимались и никак не хотели, чтобы вечер кончался.

По дороге в гостиницу Булатов заговорил с Лерой о том, какие это были сегодня чудесные люди и как здорово, что они устроили такую встречу.

– Самое страшное и бесполезное, посещая другую страну, пройти мимо ее людей, мимо подлинной их жизни. Быть только туристом и видеть только то, что определено гидами и путеводителями. Но, конечно, надо и это посмотреть. В Турине, например, есть что-нибудь такое, мимо чего пройти невозможно?

– Да, есть. И много. Все зависит от того, сколько у вас времени.

– Может быть, день. От силы – два.

– О, так мало! Тогда посетите хотя бы Королевский дворец… Нет, лучше Египетский музей. Это очень интересно. Богатейшее собрание вывезенного из Египта. Музей здешний не так известен, как, скажем, Лувр или музеи Лондона, какой-нибудь Британский, но по тому, что касается Египта, им не уступит. Он составлен из натащенного разными людьми после наполеоновского похода в Египет. Посмотрите, пожалуйста.

– Если вы согласитесь быть гидом, готов завтра с утра уделить это му делу часик-другой. Сможете?

– Конечно! Какой разговор. Здесь такая тоска, вдали от дома, от Москвы. Я вам так рада, вы даже и не представляете.

Прежде чем возвратиться в гостиницу, Булатов довез Леру до ее дома. Она взглянула на окна своей квартиры – темно. Ну и черт с ним, с Бенито, пусть демонстрирует свое неудовольствие. Сегодня он все равно не сможет испортить ее превосходного настроения. Сегодня она побывала среди настоящих людей Италии. Не то, что родители Бенито и его нечастые визитеры и приятели-конторщики.

Был час ночи, терять уже нечего и спешить незачем. Лера ходила перед домом в темноте и раздумывала, раздумывала. Какой, собственно, Бенито коммунист? Ее муж оказался самым заурядным итальянским обывателем. Бенито Спада и коммунисты Италии – ничего же общего! Сегодня она увидела настоящих коммунистов. Это люди, с которыми так легко находишь общий язык, это те. которым интересно все, что происходит в Советском Союзе, кто в Советской России видит поучительный пример и для себя. А такие, как Бенито, только портят дело партии, они во всем сомневаются, все, с их точки зрения, делается не так, все они не одобряют. Зачем только Бенито вступал в партию? Неужели права Мария Антониони – такова, дескать, мода?

Мысли Леры проделали длинный и сложный путь от ее Бенито к Булатову, о котором с такой острой неприязнью отзывается Бенито. Булатов? Как легко он сошелся с этой туринской рабочей компанией, как понравился всем простотой, искренностью. При чем тут «баловень культа?» Что за способ порочить человека, не зная и даже не пытаясь его узнать.

Когда Лера вошла в дом, Спада спросил из темноты:

– Ну как, пообщалась с соотечественничком? Потрясла подолом вокруг знатного кавалера?

– Потрясла,– ответила Лера спокойно.– Я ему понравилась. Завтра мы

пойдем осматривать город. Он сказал, что лучшего гида ему не нужно.

– Но ты никуда не пойдешь! – вдруг закричал Спада, включая свет. Он лежал на тахте, не раздеваясь. Значит, ждал и бесился.

– Пойду. Мы уже условились.

– А я тебя не пущу. Я замкну двери на ключ, и ваша экскурсия со рвется. Хватит! Я еще в Москву, в Союз писателей, в их партийную организацию напишу, в ЦК, чем он, гусь этот, тут занимается. Где ты, дрянь, болталась с ним до двух часов ночи?

– Ну где, милый! Ты же знаешь эти дела. Ты тоже, бывает, болтаешься. В ресторане сидели, потом у него в номере. Кофе пили. В «Лигурии» на Карло Феличе.– Лера назвала одну из лучших туринских гостиниц, хотя группа, в которой был Булатов, обосновалась совсем не в ней, а во второразрядном «Великом Моголе».

Напевая какой-то прилипчивый мотивчик, Лера раздевалась, всячески стараясь делать вид, что она действительно только что из злачных мест ночного Турина, после свидания с мужчиной.

– Я тебя ударю, слышишь! -Подняв кулаки над головой, Спада подскочил к ней.

– Ты? Ударишь? – Она рассмеялась. – А я пойду к твоему шефу, расскажу ему, что ты бьешь свою жену, и тебе убавят жалованье. В свободной стране, в стране подлинной демократии, нельзя бить жен, милый. А кроме того, ты коммунист, революционер, носитель новой морали. Нельзя, нельзя.

Он начал ругаться по-итальянски. Самые мерзкие ругательства, какие только знает этот звучный язык, сыпались на Леру. Но на чужом языке ругательства воспринимались совсем не так, как было бы на своем. Лера стала смеяться. Спада схватил подушку с тахты, рванулся было запустить ею в Леру, но швырнул на пол, схватил со столика фаянсовую рекламную пепельницу вин «Мартини», ударил о пол, пепельница рассыпалась на осколки. Он входил в свой мелкотравчатый раж и швырял на пол все, что видели его глаза и что попадалось под руку.

С каждой разбитой безделушкой Лере становилось все смешнее. И что удивительно, ничего не было жаль. Ни один предмет в этом доме, оказывается, не воспринимался ею как свой, все было чуждое, чужое, принадлежащее не ей, а этому осатанелому пузатенькому человечку с двумя темными кляксами вместо зрачков.

Довольно быстро все в доме было перебито и переломано. Спада притомился, белки глаз вокруг его мутных клякс были от ярости налиты кровью. И лицо было багровым и шея. Тяжело дыша, он плюхнулся спиной в кресло-качалку и так, откинувшись, застыл.

Ничего не убирая после разгрома, ни к чему не прикасаясь, Лера легла в постель и погасила свет. Но она почти не спала, она опасалась, как бы Бенито не взорвался вновь и не набросился на нее. Пожалуй, она зря его взвинтила, придумав этот ресторан и посещение гостиничной комнаты Булатова. Спада может и в самом деле наябедничать в Москву.

Сон приходил к Лере дробными порциями. Налетит на несколько минут и

растает.

Утром, пока она возилась с Толиком, Спада, покрутившись по дому, исчез. Он ушел так впервые – без завтрака, без кофе, без сигареты. Лера потрогала дверь – заперта. Раскрыла свою сумку – ее ключей там нет. В шкафу на кухне хранились запасные. Их тоже не оказалось. Выполнил, значит, то, что пообещал. Запер на замок! Преглупейшее положение. Распахнуть окно, позвать кого-нибудь, сказать, что муж случайно унес ключи? Все равно примутся судачить. Ох, любят же здесь это дело – посудачить! Ну негодяй, ну негодяй! Лера металась по квартире. Хорошо же, хорошо! Ты поступил вот так, я поступлю этак. Но придумать ничего подходящего не могла. Она полистала телефонную книгу, нашла номер «Великого Могола», спросила у портье номер комнаты Булатова, ее соединили. Когда Булатов отозвался, сказала, что просит прощения, но ее домашние дела сложились так, что она не сможет быть его гидом, как ей это ни огорчительно.

– Жаль, жаль,– сказал и он.– Что ж, ничего не поделаешь. Тогда до встречи в Москве. Сегодня мы уезжаем в Милан, а там и в Рим, и домой. Желаю вам если не счастья, то хотя бы мужества для того, чтобы на так остро переносить разлуку с родиной. До свидания!

– До свидания,– ответила Лера дрожащими губами.

Повесив трубку, она бросилась на незастланную постель и заревела в голос.

14

Лере противно было оставаться дома. Целыми днями вместе с Толиком, а иногда оставляя его у синьоры Антониони, бродила она по улицам. Вокруг нее был тяжелый, каменный, чужой город, с памятниками, со борами, дворцами, торговыми галереями. Ей вспоминалось, как в первые дни жизни в Италии она не могла оторваться от витрин, переполненных красивыми, яркими вещами, которые все без исключения хотелось купить, надеть, принести в дом, любоваться ими и собой в них перед зеркалом. Она идет теперь, даже не глядя на эти застекленные царства крикливого ширпотреба. Там, в витринах, настоящие итальянские – итальянские! – туфли, с лучшей в мире колодкой, модные, просящиеся в руки, от одной мысли о которых, бывало, и она сама и ее подруги с ума сходили в Москве. А какая парфюмерия, привезенная из Парижа,– духи, губная помада, лак для ногтей, карандаши для ресниц, для бровей, для век. Белье – это же та самая пена морская, из которой некогда вышла богиня любви Афродита. Всех цветов, всех оттенков, в кружевах и без кружев, просторное и в обтяжку. А… Много, много всего, так много, что через край. И ничто из этого ей не нужно, провались оно все пропадом. Домой бы, домой, к своим, к родным, понимающим тебя и которым ты по-настоящему нужна. Обычно, рассказывая о родителях, Лера говорила: «моя мать», «мой отец». А тут думала о них только так, по-старому, по-девчоночьи: «мама», «папа». К маме, к папе хотелось, рвалось всем сердцем, «Мама!» – то и дело пищал возле нее, держась за юбку, Толик. «Мама! – все кричало внутри Леры.–

Что я наделала, зачем я тут?» Перед ней неотступно стояли сцены отвратительного скандала, какой Спада устроил в тот день, когда запер ее дома на ключ. Он явился, как всегда, в пятом часу.

– Да! – закричал он с порога. – Ты, наверно, ругаешь меня. Нечаянно я все наши ключи запихал к себе в карман. Вот история.

– Да, история, и гнусная история,– согласилась Лера.– Лет пятнадцать назад была и у нас такая же, в Советском Союзе, в Киеве. Ревнивый идиот, уходя из дому, заколачивал дверь гвоздями, чтобы жена не мог ла никуда выйти. Об этом писали в газетах. Потом его судили.

– Простите, за что? – с подчеркнутой галантностью осведомился Спада,– У вас любят судить людей даже за литературные произведения. А в данном случае за что же?

– За изуверство, за нравы крепостников, за нарушение нашей Конституции.

– Хо-хо, не подашь ли и ты на меня в суд?

– Нет, не подам. У вас правды не добьешься. Сегодня у меня было достаточно времени. Я порылась в тех книгах, какие ты выписываешь из Парижа, из Лондона, из Нью-Йорка. Троцкого почитываешь.

– Да, Троцкого! Это имя для вас, как красное для быка. Закипаете от ярости, услыхав об этом человеке. А он звал к более разумным от ношениям классов. Без крови, без баррикад, без подавления и принуждения одних другими.

– Ну да, он был против диктатуры пролетариата, и всего-то навсего! – Лера усмехнулась; – Эх ты, марксист!

– Нет, он не был против диктатуры пролетариата! Это клевета! – закричал еще яростнее Спада.

– Пожалуйста! – Лера полистала недавно полученную из Лондона книгу некоего «знатока» истории Коммунистической партии Советского Союза Л. Шапиро.– Здесь приведены слова Троцкого на Втором съезде РСДРП. Вот: «Диктатура пролетариата будет не конспираторским „захватом власти“, а политическим господством организованного рабочего класса, составляющего большинство нации». Где это есть такое положение и возможно ли оно, чтобы рабочий класс составлял большинство наций? Чушь какая! Если бы Ленин ждал этого, большинства рабочего класса, у нас бы и сейчас Керенский сидел. Он жив, кажется. И что значит «конспираторский захват власти»? Ой, не подпрыгивай ты, не подпрыгивай! Посиди или постой спокойно хоть минуту. Хватит этих прыжков. Дай сказать. Или у нас ты единственный оратор? Он, твой Троцкий, был против партии, которую создавал Ленин. Ленин создавал именно конспиративную партию, которая бы тайно от царской власти работала среди масс, готовила революцию. А Троцкий хотел парламентской, легальной болтовни и никакого дела. «Балалайкин!» – говорил о нем Ленин. И этот Балалайкин погубил бы все, и не было бы в России пролетарской революции.

– И было бы расчудесно! – выкрикнул Спада. – Была бы Февральская, демократическая…

– Буржуазно-демократическая!

– Это так по терминологии Ленина. А она была демократической, и при ней Россия не испытала бы ужасов гражданской войны, истребления миллионов русских русскими, уничтожения своей многовековой культуры, подавления свободной мысли во имя ультракрайних ленинских доктрин. И хватит об этом, хватит! Между прочим, если тебе уж так хочется сбегать к своему Булатову, можешь бежать, я побуду с Барти.

– Успокойся. Булатов сейчас уезжает. А может быть, уже и уехал.

– Но ты действительно была у него в «Лигурии»?

Лера не ответила.

Он потоптался вокруг нее и принялся приводить разгромленную ночью квартиру в порядок: собирал осколки, обрывки, сокрушался по поводу того, что вот из-за нее разбиты такие ценные вещи. Ну вот эта, например статуэтка из терракоты. Специалисты утверждают, что ей цены нет. А что от нее осталось? Крошки! Черепки. Или эта акварель. Да я же купил ее по случаю в лавчонке на Монмартре, а оказалось, что она принадлежит кисти такого мастера, такого мастера! Ее, кажется, можно будет склеить.

Лере надоели его причитания. Она ушла тогда на улицу, и вот уже который день совершенно не может сидеть в опостылевшей квартире, в этой мерзкой клетке, набитой мерзкими книгами. Спада взялся прочесть в каком-то обществе доклад о Достоевском. Всюду в доме теперь выписки, цитаты – на разбросанных листках, на клочках. Какой из них ни возьми в руки, прочтешь: «Русский революционный социализм никогда не мыслился как переходное состояние, как временная и относительная форма устроения общества, он мыслился всегда как окончательное состояние, как царство божие на земле, как решение вопроса о судьбах человеческих». Или: «Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почуял, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют нечеловеческие духи». «Когда в дни осуществляющейся революции перечитываешь „Бесы“, то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было все так предвидеть и предсказать». «Достоевский предвидел, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного». «В России все должно быть коллективным, массовым, безличным».

По этим выпискам, как, впрочем, и без них, было совершенно ясно, что доклад у Спады будет совсем не о Достоевском. С помощью Достоевского он примется доказывать пагубность большевизма, пагубность насильственного свержения существующего или существовавшего буржуазного строя и, мол, то, что путь былой отсталой России не пригоден для западных, высокоразвитых стран.

Однажды на скрещении улицы Черной и улицы Академии наук ее с Толиком застал дождь. В двух шагах был тот музей, куда она хотела повести Булатова. Они забежали в подъезд, Лера взяла билет у привратника и, с грустью думая о несостоявшейся экскурсии с Булатовым, принялась ходить из одной залы в другую. В музее этом она уже побывала года два назад, но пробежала тогда вдоль каменных глыб и стеллажей с экспонатами очень быстро,

рассчитывая вернуться позже для более основательного осмотра. Сейчас спешить было некуда, и она как бы проверяла себя: действительно ли здесь так интересно, как она расписала Булатову, заслуживает ли это таких ее горячих рекомендаций.

Музей располагался в старом громоздком здании, в залах с высоченными потолками, со скрипучими полами. В углах, сидя на стульях, подремывали служители. Было немноголюдно, тихо, дремотно. Но богатства под этими высокими сводами были собраны поистине неоценимые. Ряды статуй всевозможных Тутмосов, Рамзесов и их жен. Десятками метров измеряющиеся папирусы, выставленные в витринах и развешанные под стеклом на стенах. Папирусы были раскрашены красками, пережившими несколько тысячелетий и не утратившими своей сочности. Сотни скарабеев из разных пород камней. Всевозможнейшие предметы из гробниц и могил. Были даже зерна тогдашних, древних хлебных злаков. По виду они были совсем такие, как нынешние. В витринах лежали черные усохшие плоды граната, извлеченные из гробниц. Что-то подобное тыквам. Куриные и страусовые яйца.

Особенно долго, как и в прошлый раз, Лера задержалась возле двух мумифицированных женских голов. Им было по три с половиной тысячи лет. Но как же они сохранились! Это чудо какое-то. И у той и у другой пышные волнистые волосы. Мало исказились от времени даже черты их лиц. Они сохранились настолько, что по ним можно судить о характере этих женщин. Одна из них была, очевидно, властной, гордой, привыкшей повелевать. А другая – та нежная и тихая, не она повелевала, а повелевали ею. Какие думы занимали эти головы тысячи лет назад, какие страсти владели теми, кому они принадлежали?…

Лера стояла бы и стояла перед застекленной витриной, в которой помещались эти две удивительные головы, не совсем понимая, что же держит ее возле них. Возможность соприкосновения с так называемой тайной тысячелетий? Сопоставление чего-то такого своего, личного, с тем, что происходило с другими бесконечно давно? Может быть, может быть. Жаль, жаль, жаль, что ничего этого не увидел Булатов. С ним, наверно, было бы интересно поговорить обо всем увиденном здесь.

Толик закапризничал, и лишь поэтому Лера была вынуждена оторваться от приковавшей ее к себе витрины. Они ушли из музея, хотя дождь на улице не переставал, но несколько ослабил силу.

В один из последующих дней своих блужданий по городу Лера добралась на автобусе до района крупного автомобильного предприятия. Ей было известно, что секции, или цехи, или даже целые заводы фиатовского концерна были разбросаны по всему Турину: и в центре, и на окраинах, и в окрестностях – чуть ли не до самых гор на севере. Но здесь, куда заехала Лера, было что-то уж очень крупное: цехи со стеклянными кровлями занимали огромную территорию. А перед ними -высилось многоэтажное, величественное административное здание. Возможно, что в этот час окончился рабочий день или одна из смен этого дня: толпы людей спешили к автобусам, троллейбусам, расхватывали на стоянках велосипеды, а кое-кто и маленькие «фиатики»

модели «600».

Откуда были те люди, которые пригласили тогда к себе в гости Булатова? Почему она не запомнила адрес хозяина квартиры, в которой происходила встреча? Лере захотелось к ним, в их шумную, но дружелюбную компанию. «О! – вспомнила она.– Там же был композитор. Его имя Чезаре, Чезаре Аквароне». В ближайшей табачной лавочке она попросила телефонную книгу и узнала номер телефона композитора Чезаре Аквароне. Взял трубку он сам. Лера объяснила ему, кто она и что ей надо. – Синьора Васильева! – воскликнул он радостно. – Замечательно, что вы меня вспомнили. Я вам сейчас назову все адреса. Но если хотите, я и провожу вас к любому из тех, с кем вы тогда виделись. И вообще, если позволите, я бы с вами выпил чашечку кофе? Я люблю русских, вашу музыку, вашу страну.

Через час они сидели в кафе «Рим» на площади Карло Феличе. Аквароне, широко и добро улыбаясь, предложил вина, мороженого, фруктов – чего только захочется синьоре Васильевой-Спада.

– Тогда не было на чем играть,– говорил он.– Иначе я бы сыграл вам, спел, даже станцевал! Я знаю, что вы поймете меня. Русские ведь тоже очень музыкальный народ. Вы так чудесно пели про смерть, которая в четырех шагах.

Тех адресов, которые были нужны Лере, он, конечно, назвать не мог. Но это ничего не значит, уверял он, глаза его помнят любой дом и любую дверь, у него отличная зрительная память, они поедут вместе, и он все покажет. Она согласна? Чудесно! Но не будет ли ревновать синьор Спада? Он стал такой важный, каким был его отец во времена Муссолини. У него хорошее место в этой торговой фирме, поставляющей товары в десятки стран. Не знаю, может быть, вы рассердитесь, синьора, и, может быть, я суюсь не в свое дело, но синьора Спаду не очень любят, нет.

– Почему? – спросила Лера. – И кто?

– Мы, синьора, мы, итальянцы. На него нельзя надеяться, увы. Он скажет одно, сделает другое, а то даже и третье. И он всегда хочет быть правым, то есть находиться посередине в любом деле. А наше время такое, что середина ведет туда…– Он махнул куда-то за окно.

– А именно?

– Именно? У нас все время у власти разнесчастная чентросинистра, эти левоцентристы. Лучше были бы откровенно правые, мы бы дрались с ними. А еще лучше дали бы власть нам, мы бы установили свои порядки. А так все время где-то болит у страны, ноет. А что там болит, что ноет? Может быть, это рак. Быть посередине – это, во всяком случае, не за народ. Синьор Спада из тех марксистов, которые считают, что им почему-то полезно называться марксистами,– не знаю, почему,– но в идеале своем иметь парламентский строй. Они мечтают быть избранными в парламент, пользоваться депутатскими правами, выступать с оппозиционными, но, в общем-то, очень умеренными речами и, занимая приличные, доходные должности, постепенно сколачивать капиталец. Я, честно говоря, за другим пришел к коммунистам, синьора Васильева. Я хотел бы народной власти в Италии. Я хочу быть свободным, свободным, понимаете? Я хочу писать такую музыку, такие песни, которые

звучали бы на площадях, в колоннах революционных масс, я завидую вашим музыкантам. Они это могут делать. Я мечтаю написать музыку, которая подымала бы людей с колен… Вы же знаете, у нас бездна верующих католиков. Ватикан держит их на коленях… Так чтобы они поднялись, выпрямили спины, шеи, вскинули бы головы. И я такую музыку пишу, пишу, не сомневайтесь. Но куда я пойду с нею? Кто у меня ее купит? Я бы и даром отдал. Кто возьмет? И чтобы жить, кормить семью, я что должен делать? Сочинять джазовые песенки! Вот вам свобода! Да, меня не держат в клетке. Мне говорят: резвись, прыгай. Но на моих ногах на каждой гиря по сто килограммов. Попрыгай с ними! У нас полная свобода быть холуем или негодяем. Вы, может быть, смотрите на наши витрины, которые горят ярче и богаче, чем у вас в Москве? Но вот неделю назад в нашем доме умерла женщина. Вскрыли ее квартиру – там было все, что наше общество считает необходимым иметь среднему современному человеку: электрокофейники и холодильники, электропроигрыватели и телевизоры, полотерные и стиральные машины. А владелица вещей, как установили эксперты, умерла от голода, от истощения. Потому что не она была владелицей вещей, а вещи ею владели. Она взяла их в рассрочку, она не выстояла перед возможностью иметь все это у себя и, надрываясь, выплачивая стоимость каждого предмета, отказывала себе в пище. И вот конец. Трудовой человек не способен выдержать соревнования с производящим товары капиталистом – он надрывается в этих скачках с препятствиями. Свобода! Нет, я хочу настоящей свободы, как у вас. Поэтому я стал коммунистом. Вот мои пальцы…– Он положил на стол руки.– Пальцы музыканта. Но я готов рыть ими землю, гнуть железо, держать в них оружие, да, да, да! У меня есть друг. Он актер кино, и он же способен сам ставить прекрасные фильмы. Но он не согласен торговать собой, своим искусством. После войны он поставил две превосходные картины. Кое-кому они показались слишком смелыми, замахивающимися на основы. И его больше никуда не приглашают. А он же не капиталист, он на свои средства рассчитывать не может. Кое-как живет, играя незначительные роли. Я на вас нагнал тоску, простите, пожалуйста. Но мне так хотелось высказать все это. Как-то легче на душе стало.

Лере было интересно с композитором Аквароне. За короткий час она узнала от него об Италии больше, чем от Спады за все годы их совместной жизни. На Италию, на итальянскую действительность Аквароне и Спада смотрели разными глазами. Взгляд Аквароне был Лере понятней и ближе, чем взгляд Спады.

Уговорились они на том, что Лере нет смысла ходить по квартирам рабочих самой. Если она хочет с ними встретиться, то будет лучше, если такую встречу устроит у себя дома он, Аквароне. И если нет возражений, то в ближайшую же субботу.

Квартира Аквароне была раза в три больше, чем та, где принимали Булатова,– с парадной лестницей, с балконами. Синьора Аквароне была хорошо одета и причесана, и вместе с тем по маркам вин, по кушаньям, какие подавались на стол, по всей обстановке Лера поняла, что композитор и в самом деле живет очень и очень стесненно, хотя друзья его, тот самый Эммануэле,

или старый сухонький сборщик двигателей Пьетро, и все другие, уже известные Лере, входя в квартиру, восклицали: «Ах, вот где обитает наш партийный капиталист Аквароне!», «Ничего себе палаццо у синьора коммуниста!», «Ого, здесь целая картинная галерея Брера! Поди, миллиончиков на сто тянет?»

На этот раз все пришли со своими принарядившимися женами. Ну как же мужья могли им отказать в горячем желании посмотреть на рус-скую, на советскую, вышедшую замуж за итальянца!

Аквароне сказал собравшимся, что поскольку он в прошлый раз задолжал, то собрал всех, чтобы выплатить долг. Он хочет своим старым друзьям и синьоре Васильевой, которую тоже считает теперь своим другом, показать новую, а если кто попросит, то и старую музыку его сочинения. Он сел к роялю, и Лера услышала то, о чем Аквароне говорил ей в кафе. Его музыка поднимала со стульев, из кресел, с дивана. Она звала, вела, она порождала восторг в душе, желание делать важное, значительное, бросала людей друг к другу. И люди запели. Они пели песнь об объединении. о тесно сомкнутых плечах, о борьбе, о победе. Не петь эту песню было невозможно. Слова сами слетали с губ, хотя Лера их до этого и не знала.

Потом по обычаю все долго хлопали Аквароне по плечам, по спине, тискали в объятиях.

– Когда в Италии будет народная власть и кто-нибудь из нас станет главой чего-нибудь правительственного, мы тебе, Чезаре,– сказал Эммануэле громовым голосом,– такой дворец построим…

– Мы просто-напросто отдадим тебе Королевский дворец. Не надо и строить.

– Зачем мне тогда какой-то паршивый дворец, друзья, когда будет это! – отвечал Аквароне.– Когда будет народная власть, тогда в любую халупку придет свобода. Лишь бы это осуществилось.

За столом подвыпили, опять было шумно, как в прошлый раз, спорили, старались друг друга перекричать.

– Раньше мы таких столов почти не устраивали,– сказал Аквароне.– Австрийцы и немцы приучили нас к своим порядкам. Хочешь пригласить гостей, зови их в кафе или в ресторан, а там каждый за себя заплатит. Гостеприимно, вежливо, а главное – экономично. И мы, итальянцы, такими же жмотами под их влиянием сделались. Русские напомнили нам, что человек есть человек. Русское гостеприимство на весь мир известно. Я предлагаю поднять наши бокалы за представительницу замечательной страны – Советской России, за прелестную синьору Спада! Женщин очень интересовало, почему синьора Спада одна, где же синьор Спада. Пришлось приврать, что у них не совсем здоров ребенок и оставлять его с чужим человеком не захотелось, вот отец и сидит дома.

– О, это замечательно, когда отец любит своих детей. У нас, итальянцев, есть разные отцы. Но в большинстве своем…

– Они обожают не своих детей, а чужих теть! – крикнул кто-то слушавший разговор женщин.

– Это ерунда! Это французы не знают удержу в любовных делах.

– Правильно. А итальянцы – ангелочки.

– Пусть не ангелочки. Но нельзя о них судить по тем дурацким фильмам, которые сейчас выпускаются тысячами километров в год.

– А ты хочешь, может быть, только таких фильмов, которые одобряются папой? Чтобы вместо человеческого тела – мощи, а вместо вина – святая водичка?

– Не надо мощей. Но зачем же и коллективное хождение в публичный дом? Это всегда было делом сугубо индивидуальным.

– Мой чудило поперся на стриптиз. Я ему говорю: на черта ты тратишь такие деньги, чтобы поглазеть на чужое голое туловище. Пожалуйста, глазей дома бесплатно. Если тебе при этом нужны выкрутасы…

– Синьора Люона!…– сказала хозяйка с укоризной. – Синьоре Спада, наверно, это не совсем приятно.

– Ах, извините, синьора Спада, – спохватилась синьора Люона. – Мы еще так мало знаем друг друга. Извините. Я буду осторожней.

Дома Лера спросила:

– Ты знаешь композитора Аквароне, Бенито? – Ей теперь доставляло какое-то злое удовольствие называть мужа полным именем; Бенито. В это она вкладывала особый смысл, видя перед собой образ человека, в честь которого был назван так первенец в семействе Спада.

– Чезаре? – ответил Спада. – Барабанщик. Музыка для барабанов и литавр. Бездарность.

– А я слышала его музыку, и она мне понравилась.

– У вас, у русских, дурной вкус. Вы народ не музыкальный. И вы не разбираетесь, где искусство, а где фокусы. У вас несколько лет назад чуть ли не на руках носили эту южноамериканскую ведьму, которая пела на все голоса. А это же цирковой номер, не более. От парижских уличных горлодеров вы в восторге.

– Кто – вы?

– Ну, вы, русские.

– Ты же знаешь, что это не так. Зачем ты клевещешь на всех. Тебе же известно, кто бегал слушать эту, как ты говоришь, ведьму и кто визжал от восторга на концертах тех безголосых французов. У нас…

– Ах, сейчас пойдут ссылки на Чайковского, Римского-Корсакова и Бородина, которых якобы обожают твои соотечественники. Слышали. Старо.

– А бывало, ты сидел рядом со мной на концертах этого Чайковского и…

– Мало ли что бывало. Жизнь идет вперед, дорогая.

– Далеко же она у нас ушла, Бенито. Очень далеко.

15

На Ваганьковском кладбище шли похороны. Вокруг черной ямы рыжей земле, в которую студеный ветер заметал с дорожек сухой морозный снег, толпилось человек сто народу с прощально-обнаженными головами. Тихо

плакала в измятый платок пожилая вдова; ее поддерживали под руки сын и дочь, уже взрослые и давно имевшие свои семьи; тесно стояли тут же внуки – встревоженные мальчишки и девчонки. Товарищи покойного говорили речи, говорили просто, по-домашнему, не заботясь о стиле выражения, но по их словам каждый, не знавший его, мог составить себе представление об умершем от инфаркта шестидесятитрехлетнем человеке, который всю жизнь свою отдал служению делу народа. Был он крестьянским парнем, говорили над ним, лежавшим в открытом гробу под хмурым январским небом, учился в комвузе, потом служил политработником в Красной Армии, потом – в органах государственной безопасности, во время войны забрасывался в тылы противника, имеет много правительственных наград, и жить бы ему еще да жить, но вот не щадил себя, не искал, где полегче, где поспокойнее, и смерть подобралась к нему прежде срока.

За спинами обступивших могилу и гроб с останками того, кто еще несколько дней назад был коренастым, плотным человеком с неутомимыми, крепкими ногами и сильными руками, держался худой и сутулый, никому тут не ведомый посторонний, до глаз укутанный пастушечьим кавказским башлыком. Никто не обращал на него никакого внимания, но он, как бы страшась, что такое внимание все-таки обратят, надвигал башлык на самые глаза и вместе с тем тянулся через плечи других, чтобы близко, совсем близко увидеть лицо покойного.

Он дожидался, когда гроб засыплют землей, когда, насколько возможно, выровняют холмик из угловатых мерзлых комьев, когда застелют эти комья еловыми ветками и охапками цветов, когда, наконец, друзья и родные решатся покинуть здесь навсегда того, с кем шли они по жизни многие-многие годы, не задумываясь над тем, что настанет такая страшная минута такого страшного расставания.

Кладбище опустело, уже смеркалось, в окрестных улицах загорались фонари, а неизвестный в башлыке все ходил вокруг могилы, все перечитывал, в упор вглядываясь, надпись на жестяной планке, прибитой к красному столбику: «Дмитрий Иванович Пшеницын. Полковник в отставке»,– все возвращался глазами к фотографии, помещенной тут же под небьющимся толстым стеклом. Фотография была старая, военных лет, покойный был на ней еще не седым полковником, а молодым капитаном и выглядел как раз таким, каким запомнился он с тех пор человеку в башлыке.

Это было под Псковом, на второй год войны. Сотрудник служившей немцам русской газетки «Новое время» катил по редакционным делам в рессорной двуколке. Серая лошадка бежала резво, весело. День стоял теплый, летний, пахло хвоей, травами, земляникой; живописная дорога змеилась среди молодых сосен, и как-то совсем нежданно-негаданно появился на ней в лесном безлюдье одинокий человек.

Человек шел навстречу, за спиной у него был виден немецкий автомат.

– А! – сказал он, не то радуясь встрече, не то чему-то удивляясь. – Кондратьев! Собственной персоной. Герр журналист! Ну-ка выйдите из шарабанчика, побеседуем.

Человек в кепке, в линялой солдатской гимнастерке, в истоптанных сапогах был коренастым, видимо, сильным – да к тому же у него вот автомат с магазином, полным патронов.

Кондратьев, как его назвал встречный, опасливо сошел с двуколки. Сделать что-либо иное в подобных обстоятельствах было невозможно. Лошадь, отмахиваясь хвостом от оводов, принялась тотчас объедать листья с придорожных кустарников.

– В чем дело? Кто вы такой? – все же не без задиристости спросил сотрудник «Нового времени».

– Я-то – ладно, я человек советский,– ответил встречный.– А вот вы кем стали, Кондратьев? Какую мерзопакость сочиняете для немецкой газетенки! Вам не стыдно?

– Чего вы от меня хотите?

– Я мог бы вас сейчас пристукнуть, продажный строчкогон, и это было бы со всех точек правильно. Вы изменник Родины, вы пособник немцам. Тут, как говорится, все до предела ясно. Но как же вы стали им, предателем-то, изменником? Вы же советский журналист, о чем здесь все знают. Вы годами писали за Советскую власть. И неплохо писали. Так что же, или вы притворялись тогда, говоря одно, а думая другое, или теперь служите немцам просто из трусости, только потому, чтобы сохранить жизнь? Если так, если вы прибились к ним из этих шкурных побуждений, у вас еще есть возможность поправить дело. Ступайте за мной, и я вам покажу выход.

– А кто все-таки вы такой? – продолжал хорохориться Кондратьев, теряясь в догадках, как ему быть, как выпутаться из скверной истории.

Кто знает, что это за встречный лесной человек? Может быть, он из местных партизан; может быть, энкаведист какой-нибудь – их тут время от времени сбрасывают на парашютах; а может быть, и немцы решили проверить лояльность своего сотрудника? И так бывает. Подослали провокатора…

– Рано или поздно узнаете, кто я,– ответил человек, наблюдая за ним. – А сейчас давайте-ка решать: со мной вы или против меня?

– Видите ли, – заговорил Кондратьев, – так вот сразу я решить ничего не могу. Если вы меня знаете, то, может быть, вам известно и то, что у меня жена, ребенок в Пскове. Как же я их брошу? Немцы их уничтожат.

– А мы вам поможем. Мы их вывезем из Пскова.

– Ну как же это? Нет, это опасно. Уж лучше я сам.

Человек опустился на сухую траву, закурил папиросу – ленинградский «Беломор».

– Хотите? – предложил, протягивая пачку.

– Не курю, спасибо.

– А то, может быть, соблазнитесь? Видите? Фабрика Урицкого! Вы, господа кондратьевы, расписываете у себя по немецкой указке, что Ленинград задохнулся в блокаде, что все там умерло, все остановилось. А папироски-то самые свежие! Фабрика Урицкого продолжает их выпускать. На Васильевском острове которая. Эх, Кондратьев, Кондратьев!… Да в тоже присели бы. Чего стоите? Потолкуем. Расскажите, как вы тут остались, собкор областной

уважаемой газеты, а?

– Говорю же, ребенок, жена…

– А сколько их, с детьми, с женами, поуходило из этих мест в леса к партизанам, а то и в Ленинград! Нет, не понимаю вас. Ну хорошо – остались. Предположим, иного выхода не было. Допускаю такой случай. Но какого же черта вам понадобилось наниматься к немцам?

– А вам бы к носу парабеллум приставили, вы бы что? Тоже бы, поди…

– Так уж сразу и парабеллум!…

– Плохо вы их знаете. Они – машина, шестеренка к шестеренке. Вызвали в комендатуру, приказали… В их зубья попадешь, не выбе решься.

– Я же предлагаю помощь. Вытащим вас из зубьев.

– А потом судить будете? В Сибирь годочков на двадцать пять отправите, так, что ли?

– Все равно же судить будем, когда разобьем Гитлера. Но тогда уже не о годочках пойдет речь. Вздернем вас тогда, Кондратьев. А сейчас, как знать, может быть, на фронт отправят, в штрафную роту. Во всяком случае, сейчас еще есть время.

– Дайте подумать, говорю, с женой посоветоваться. Это же не простой шаг, не легкий.

– Что ж, валяйте, герр Кондратьев, – как бы утратив к нему всякий интерес, сказал человек с автоматом.– Я вас отпускаю, хотя, может быть, и делаю неправильно. Держать изменника за шиворот и отвести от него карающую руку закона – само по себе тоже преступление. А я вот иду на него. «Жена, дети»!…– передразнил он.– А у меня их нет, что ли, жены и детей! Словом, валяйте. Катите своей дорогой. Стрелять в спину не буду. Но в следующий раз выстрелю в грудь без разговоров.

– Я подумаю, подумаю, – забормотал бывший собкор областной газеты. – Я, может быть, решу…

Забравшись в двуколку, он погнал лошадь обратно, в сторону Пскова. Редакционная надобность была позабыта.

Шесть дней после этого отряд карателей прочесывал тамошние места, стараясь обнаружить партизан, которые напали на сотрудника газеты «Новое время» господина Кондратьева. Жгли крестьянские дома, пороли жителей, нескольких повесили. Но партизан нигде не было; не было и того человека с автоматом.

Кондратьев же, дабы расквитаться за испытанный страх, принялся еще яростнее писать против Советской власти, против коммунистов, против всего, что в июле сорок первого года оставил он по ту сторону фронта.

Много позже, в Восточной Пруссии, брошенный немцами, потерявший при отступлении и жену и ребенка, видя, что путей на Запад уже нет, что все они перехвачены советскими танками, он схитрил и вмешался в толпы тех, кого советские войска освобождали из гитлеровских лагерей. Подобрал арестантскую куртку с нашитым номером и брел среди таких же, похожих на него тысяч людей.

И вдруг в одном из пунктов очередной регистрации лицом к лицу

столкнулся с капитаном госбезопасности, в котором невозможно было не узнать того коренастого, плотного человека с автоматом.

– А, Кондратьев! – вновь, как и в тот раз, то ли радуясь, то ли удивляясь, воскликнул капитан.– Вот мы и встретились! Долгонько пришлось вас ждать! А ну-ка ко мне в машину!

Капитан не знал, что теперь это был уже не Кондратьев, а Голубков. Еще в Пскове зимой 1944 года, когда немцы только-только начали бежать из-под Ленинграда, сотрудник служившей немцам газетки позаботился о новых документах для себя. И еще не знал капитан госбезопасности того, что у новоявленного Голубкова в кармане лежал немецкий «вальтер» с патроном в патроннике и с полной обоймой в рукоятке.

Шофер вел машину по разбитой танками дороге, седоков подкидывало на сиденье. Капитан сидел не с шофером рядом, а с тем, кого он называл Кондратьевым.

– Итак, Кондратьев, вы не послушались меня. Вот теперь-то будет полное следствие и будет беспощадный суд. Что вы выиграли, обманув меня в тот раз? Я чувствовал, что обманете и не придете: вы же даже не спросили, а куда и когда прийти. Вы кинулись в Псков, и по вашей указке немцы прислали карателей. Что ж, и за это придется платить. За все, Кондратьев, за все.

Ждать, когда с тебя потребуют плату, смысла не было. Наперед известно, чем такое дело кончится. Был выхвачен «вальтер», первая пуля ударила в сидевшего рядом капитана, вторая – в шофера. Потом, для верности, еще по одной пуле в каждого, и – бежать, бежать, без оглядки, куда попало.

Так окончательно перестал существовать некто Кондратьев, и окончательно утвердился на божьем свете некто Голубков. Под видом демобилизованного солдата он заехал в ту самую Сибирь, которой так боялся, и десять долгих лет, страшась городов и крупных селений, прослужил в разных таежных и северных экспедициях: то подсобным рабочим у геологов, то возчиком у геодезистов, то проводником в группе, занимавшейся комарами и мошками. По окончании сезона руководители групп выдавали ему самые лестные характеристики: исполнителен, дескать, грамотен, безотказен, сообразителен.

Страх мало-помалу отступал, таял, как лед на солнце, начинало тянуть к иной жизни: был человек еще совсем не стар, еще и пятидесяти не стукнуло, в вечные схимники заделываться не хотелось. Перебрался поначалу в Свердловск, потом перекинулся в Серпухов, оттуда недалеко и до Кунцева, которое под Москвой. А вскоре получилось и так, что Кунцево включили в границы Москвы, и гражданин Голубков вполне законно стал москвичом.

В экспедициях по северу, по таежным дальним селениям он насобирал десятка три старых икон. Первая досталась ему из рук древней-предревней бабки, в избе которой иконами были увешаны все стены от лавок до потолка. Больно понравился ему в бабкином иконостасе Георгий Победоносец на коне белокипенной масти, с копьем в воздетой руке, разящий аспидно-черного змея с девятью огненно разверстыми пастями. Иконка была крохотная, форматом с небольшую книгу. Но живописная, тонкая. Еще в Пскове, наезжая в

знаменитый Псково-Печерский монастырь, где монахи истово услужали немцам, Кондратьев начал понимать толк в иконах; ему разъяснили там, в чем заключаются различия меж школами иконописцев, научили с большей или меньшей точностью определять возраст икон. Георгий Победоносец, по его представлениям, относился к веку семнадцатому, а то и к шестнадцатому. Забрав у бабки за гроши, он таскал его с собой всюду. Прослышав про старинную икону эту, кто то из сотрудников очередной экспедиции подарил ему Николу Угодника; к Николе прибавилась затем Богородица… И так пошло, пошло… Всем было интересно заглянуть в сундук, который Голубков перевозил с места на место, и при случае добавить к его содержимому.

Объемистый сундучище доехал так со своим хозяином вот и до Подмосковья. В Кунцеве Голубков снял комнату в доме старухи, доживавшей век. Муж старухин погиб на войне, дети выучились и разъехались. Старуха сама вела свое хозяйство, состоявшее из этого дома на четыре комнатенки да из нескольких кур с петухом. Был еще, правда, кот. Но мышей он, как говорится, уже не ловил, а целые дни валялся на лежанке под боком у хозяйки. Старуха располагалась в одной комнатеночке, а три остальных сдавала жильцам, поэтому у Голубкова были еще два соседа. Один работал поблизости на заводе и ждал очереди на квартиру, чтобы привезти тогда и жену с ребятенком. А второй занимался неведомо чем.

Он, этот второй, узнав о том, что Голубков интересуется иконами, И не только интересуется, а накопил их целый сундук под несокрушимыми замками, сказал, что имеет знакомцев, которые понимают толк в товарах подобного рода. Голубков и не хотел бы связываться ни с какими «знакомцами», но сосед был малым деятельным, и знакомцы вскоре все же явились. Среди коллекции Голубкова они обнаружили несколько икон, которым, по их словам, только бы в кремлевской Оружейной палате красоваться.

Одни знакомцы привели других знакомцев, и так Голубков, страшась этого и сопротивляясь этому, был втянут в артель оборотистых дельцов, которые сбывали иконы иностранцам. У Голубкова завелись деньги. Давно их не было у него, а в таких суммах и вообще никогда не бывало.

Все шло хорошо, благополучно. Никто к Голубкову не вязался с его прошлым, анкет никаких, которых он когда-то страшился больше всего на свете, давно нигде ни с кого никто не спрашивал; истрепанный паспорт местное отделение милиции обменяло ему на бессрочный, московский. Всякий след простыл какого-то Кондратьева. О Кондратьеве не было и помину. Голубков Семен Семенович. Москвич. Уж на что военкомат – учреждение строгое, но даже и там никакого интереса не было к Голубкову, поскольку имел он ограничение по сердцу, а рядовой с ограничением никому в мирное время не надобен. Нашел он себе, ограниченный рядовой, работку подходящую – вахтером в больнице близ Кунцева: сутки на посту, двое суток пребывай дома или гуляй. А где ты гуляешь, никому до этого дела нет. Сиживал свободный советский гражданин по московским ресторанам, смаковал заказные кушанья, пил коньяки, всяким иным предпочитая армянский «три звездочки»; хорошо одевался.

И вот будто громом небесным бухнуло по голове. Лежал однажды в своей комнатенке на постели, смотрел телевизор. Шла передача, посвященная истории ВЧК и работе органов госбезопасности. Среди других участвовавших в передаче появился на экране он, тот человек, с которым дважды в своей жизни сталкивался Голубков-Кондратьев. Он, тот, в которого Голубков всадил две пистолетные пули. В упор! Первую – в живого, вторую – уже в мертвого, для верности.

Голубков вскочил на постели, надел очки, впился глазами в экран. Как же тот жив? Может быть, все-таки ошибка? Может быть, невероятное сходство? Нет, нет, это, конечно же, он. Он так и рассказывает: действовали в тылу противника на Псковщине, сражались с карателями, разоблачали изменников Родины, предателей, немецких пособников. По том, уже в Германии, вылавливали и таких, которые пытались прикидываться насильно угнанными на Запад. Работа была нелегкая. От одного из перевертышей получил две пули в грудь. С трудом жизнь спасли. Вперед наука, недооценил коварного противника, думал: так себе, хлюпик. А хлюпик-то вот ускользнул и живет среди вас, товарищи телезрители, может быть, затаился, присмирел, а может быть, и делает черное дело. «Как сейчас помню фамилию его – Кондратьев».

Голубкову показалось, что все, кто там был на экране, смотрят на него, видят его, узнают его. Голова его сама собой вжималась в плечи, он весь хотел бы вжаться в землю, стать невидимым, неслышным, несуществующим.

Назавтра, не зная зачем, но не в силах противостоять этому, он позвонил из автомата на телевидение и, получая все новые и новые номера телефонов, упорно добивался, как фамилия, имя и отчество того товарища, который в такой-то передаче рассказывал вчера о своей работе в тылу противника и который был ранен предателем. Он, мол, звонящий, хочет написать тому человеку письмо. Ему ответили наконец: Дмитрий Иванович Пшеницын, полковник в отставке.

Добежал до киоска Мосгорсправки и через полчаса получил адрес Пшеницына. Не было никаких сил, чтобы не пойти на Большую Грузинскую и не взглянуть на дом, который значился в справке. Голубков поднялся на этаж, где была квартира Пшеницына, постоял перед дверью. И с тех пор все пошло сначала, вновь стали мучить его былые изнуряющие тревоги. Он не мог спать без снотворного, он перестал ходить в рестораны, он стал одеваться как можно незаметнее, в поношенное, неброское, чтобы ничем, ничем не выделяться среди людей. В отставке-то бывший капитан, в отставке. Но вдруг они столкнутся с ним на улице, в парикмахерской, в магазине… На этот раз отставничок уже не выпустит его из своих лап. В спокойной-то обстановке, когда спешить некуда, они, кегебешники, все раскопают, все вытащат наружу, доберутся до самых корней.

Голубков прочитывал и перечитывал в газетах сообщения о происходивших время от времени то на Северном Кавказе, то в Белоруссии судебных процессах над разоблаченными предателями. Те подсудимые тоже по многу лет скрывали свои подлинные лица, искусно заметали следы былых деяний, и все же их как-то обнаруживали, как-то разоблачали и усаживали на

скамью советского суда. Наружу выплывало тогда все, вплоть до того, кем были их родители и прародители. Если и у бывшего Кондратьева дело дойдет до родителей, получится совсем скверно. На свет выплывет его происхождение, так старательно скрываемое когда-то, извлекутся из пыльных, где-то сохраняемых папок, документы с подчистками, с помощью которых сын владельца крупной скорняжной мастерской к середине двадцатых годов превратился в сына мелкого кустаря, а еще позже и рабочего-скорняка. По тем подчищенным документам принимали молодого Кондратьева в комсомол, приняли и в институт журналистики, направили работать в областную газету. У писавшего на самые патриотические темы журналиста уже были рекомендации и для вступления в партию. Помешала война. Собкор Кондратьев при приближении немцев не стал звонить в Ленинград, запрашивать редакцию, как ему быть, что делать. Он сам это решил для себя. Он остался в Пскове. Но не для работы в подполье, как многие псковичи, нет, совсем для другого. Писал-то он всегда одно, а думал иное. Ему почудилось, что это иное принесут с собой немцы. Что ж, вначале они его действительно обласкали как сына человека, пострадавшего от Советской власти. Но первоначальной лаской этой все и ограничилось. Он-то полагал, он был просто уверен, что с приходом гитлеровской армии Советской власти конец, что наступило время вернуть все былое, с которым из дальних северных краев возвратится и его отец. Не раз прежде донимала Кондратьева мысль о том, что он не только порвал всякую связь с отцом, но даже и не признавал никому в том, что такой отец у него был. С приходом немцев, думалось отец вернется, немцы помогут ему встать на ноги, начнется такая жизнь, когда будет можно свести счет со всеми горлодерами, которые вопили ликвидации кулачества как класса, о своих пятилетках, о социализме, мировом коммунизме.

Ничего из планов Кондратьева не вышло. Немцы меньше всего думали о нем и о его отце. От предателей они требовали беспрекословной рабской службы им, немцам. Он прогадал, жестоко ошибся. Надо было своевременно уехать в Ленинград, в свою редакцию, пробыть там всю блокаду, получить орден, а может быть, и два, и тогда бы беспокоившее прошлое было окончательно похоронено. Не изнуряло бы сознание того, что в папках подшиты подчищенные, «улучшенные» документы. Их надежно покрыли бы подлинные, честные документы об участии в войне.

После ошеломившей его телепередачи вся муть и грязь, осевшая было на дне души Голубкова-Кондратьева, вновь поднялась наверх. Кроме него, на свете жил еще, оказалось, и полковник Пшеницын, и двоим им на этом свете было не ужиться. Свет огромен, безграничен, но весь он от края до края заслонен для Голубкова Пшеницыным, полковником в отставке. Почему только две, а не четыре, не пять пуль всадил он в контрразведчика в тот несчастный апрельский день сорок пятого года?! Появилась мысль написать в КГБ анонимку. Дескать, было дело под Псковом Проявил чекист Пшеницын политическую близорукость, утратил революционную бдительность – выпустил из своих рук опасного врага; тот вызвал карателей, погибло много мирных жителей, и так далее. Брался уже за перо, за бумагу. Но все же не

написал. Испугался, что, когда начнут копать, даже по анонимке докопаются до ее автора.

Любимым чтением Голубкова стало чтение таких книг, в которых в непривлекательном свете представали работники госбезопасности,– это несло зыбкую, но все же надежду на то, что всех их, может быть, разгонят, саму госбезопасность закроют, ликвидируют. Он слушал по заграничному транзисторному приемнику передачи зарубежного радио. А вдруг – война. вдруг придут какие-нибудь освободители, вдруг будут иные порядки?… Он понимал умом, что все его мечтания – чепуха. Но это для него было последней соломинкой, и он за нее хватался.

И вдруг вчера, как нередко бывает после полосы черных дум и мыслей, после неудач и тревог для Голубкова в зимний хмурый день засияло яркое солнце, Что же случилось вчера? Во вчерашней вечерней газете Голубков прочел извещение о скоропостижной кончине полковника в отставке Дмитрия Ивановича Пшеницына. Все! Конец! Хватит трястись от страха, хватит прятаться, не спать ночами.

В извещении говорилось, что похороны состоятся на Ваганьковском кладбище. Голубков спозаранку был перед уже знакомым ему домом на Большой Грузинской. Он видел, как в подъезд шли и шли люди – кто в штатском, кто в военном; видел погоны офицеров госбезопасности, но уже не боялся их. Никто, никто не сможет теперь узнать его в лицо и сказать, что Голубков – это не Голубков, а некий Кондратьев. Это мог сказать только он, Пшеницын, но Пшеницына уже нет, нет, нет!

Было холодно. Голубков сбегал на улицу Горького, в буфет, выпил сто, а потом и еще сто граммов коньяку, не посмотрев даже на марку, на то, что коньяк был не армянский. Потом, когда вынесли гроб, когда расселись по машинам, он тоже отправился на кладбище. Мало было знать что противник умер, хотелось видеть и то, как его закопают, как засыплют землей и как утрамбуют над ним землю. Хотелось увидеть лицо покойного – тот ли? Не однофамилец ли?

Кутаясь в башлык, он подходил к гробу и справа и слева, и с головы и с ног. Все смотрел и смотрел. Он это был, он, тот, из рук которого дважды едва ушел Кондратьев-Голубков, за что – за каждый раз по одной – он и всадил в него две свои пули. Живуч был, живуч покойничек. Эти люди с Лубянки – народец крепкий, ничто их не берет: ни пуля, ни бомба. А вот инфарктик-то стукнул, не избежал его наследничек Сталина. Верно один поэт писал о таких: только на инфаркты у них и нет управы.

И вот враг закопан, засыпан. Теперь уже не встанет. Вокруг могилы никого, на кладбищенских дорожках пусто. Очень хотелось плюнуть на эту хвою, на цветы, на ту физиономию под стеклом, с твердыми скулами, с пронизывающими глазами. Не решился, не смог. Глаза с фотографии проникали в самую душу, они не сдавались, они как бы говорили: «Ну погоди, это еще не все». Лучше бы не глядеть в них, будь они неладны, лучше бы не оставаться наедине с этими глазами, уйти бы с кладбища вместе с другими, и делу бы конец.

Теперь радость затянуло тучей. В самом деле, ведь это еще не все. Еще осталась жена Пшеницына, ребята вот эти остались, балбес здоровенный и белобрысая девка. Может, их папочка рассказывал им о некоем Кондратьеве. Конечно же, он рассказывал о том. кто в него сажал пули из «вальтера». Может, и пули эти сохранил для памяти полковник? А с ними и фотографии, взятые в немецких архивах? И вот валяются теперь в комодах семьи Пшеницыных физиономии, по которым те, кому это надо, узнают в Голубкове Кондратьева.

Мысли шли одна нелепее и фантастичнее другой, и хотя ясно было, что все это нелепости, а вот шли они, и не было им конца.

Когда, выпив по дороге еще граммов триста, Голубков добрался до своего дома в Кунцеве, он застал там Генку Зародова. Генка сидел на табурете перед запертой дверью.

– А я вас, Семен Семенович, полтора часа дожидаюсь. Хотел уже уезжать.

– Ну и уезжал бы,– буркнул Голубков.

– Чего вы такой сумрачный сегодня, Семен Семенович? А я вон чего вам привез!…– Генка вытащил из-за пазухи пальто бутылку виски «Длинный Джон».

Голубков взглянул на бутылку, ничего не ответил, отомкнул дверь.

– Заходи!

Потом они сидели перед бутылкой, принесенной Генкой, пили виски, ничем не разбавляя; это быстро задурманило их головы, особенно у Голубкова, который и так был изрядно нагружен коньяком. Он сказал, все больше хмелея:

– А с чего, собственно, мне быть сумрачным? Не с чего мне, Генка, сумрачничать. Все идет как надо. И он сдох, и эти сдохнут, а я вот буду жить и жить!

– Кто сдох, кто сдохнет, Семен Семенович?

– Да все гады земные. Не мы же с тобой! Мы-то свое еще возьмем. Мы еще попляшем. Ох, как попляшем!

– Вот это верно, Семен Семенович. Вы как что скажете, так в самую точку. У вас, знаете, язык такой образный, слово к слову. Вам бы писать попробовать.

– Писывали-с, – ухмыляясь, ответил Голубков и испугался. Совсем захмелел, значит, язык не держится. Плохо. – Заявленьица в жэк писывали, – добавил он и захохотал. – Хочешь, иконку одну покажу? Редкая. – Он вытащил из-под матраца своей постели небольшую икону.в старинном окладе. Молодое, темного письма лицо, печальные глаза.-Догадайся, кто?

– Трудно сказать, Семен Семенович. Я же не такой специалист, как вы. Это вы все до тонкости знаете.

– Дмитрий! – почему-то понизив голос, сказал Голубков.

– Донской, что ли?

– Какой Донской! Редкая икона, говорю. Убиенный Дмитрий. – В бутылке уже оставалось мало, иноземный непривычный хмель делал свое дело.– Дмитрий Иванович это! – рявкнул, окончательно теряя контроль над собой, Голубков.

– Почему Иванович? – казалось, издалека спросил Генка.

– Потому что – Пшеницын! – тоже очень далеко ответил кто-то. Голубков,

валясь на постель, не узнал своего голоса.

Проснулись оба среди ночи. Лежали на койке тесно, не раздеваясь; поднялись оба жеваные. Голубков принес с кухни из ведра полулитровую банку холодной воды; напились по очереди. Генка пошел, принес еще, и ту выпили.

– Ну и зелье! – Голубков указал глазами на бутылку «Длинного Джона». – Слона с ног свалит. Давай хлебнем по глотку, а то нехорошо как-то, муторно.

– Не, не смогу я, Семен Семенович. Я вообще опохмеляться не умею. С утра даже в рот не взять. А если и возьму – все обратно вылетит.

– Цыпленок ты еще. – Голубков повертел бутылку, запрокинул голову и все, что оставалось в бутылке, вылил в рот, почти не глотая. И действительно, взбодрился после этого.

– Уморили вы меня, Семен Семенович.– Генка засмеялся.

– А что? Чем уморил-то?

– Да про икону… Святой Дмитрий Иванович! Да еще и по фамилии… Забыл как? Вроде Пышкина или Мышкина? Храбрицын? Тупицын?

– Не надрывайся. Пшеницын! – подсказал Голубков, зная, что Генка, если это застряло в его мозгу, все равно вспомнит, и, может быть, вспомнит в самых неподходящих обстоятельствах. – Ты должен знать. – решил объяснить Голубков, – что богомазы, берясь за работу, видели перед собой лицо кого-либо из живущих. Где я рос, там лики всех молодых святых с морды Димки Пшеницына смалевывались. Вот этот мой «Дмитрий» как раз и похож на того Димку, я его и вспомнил. Рафаэль своих мадонн с булочницы списывал, Ренуар с горничной. А Илья Репин для запорожцев… для того утробистого усача, который в бараньей шапке… писателя Гиляровского пригласил в качестве натуры. Ну и мастера-иконописцы так же поступали и поступают. А ты с чем пришел, говори?

– Да у дипломата у одного деньжата зашевелились в кармане. Можем мы ему семнадцатого века чего-нибудь подбросить?

– А хоть шестнадцатого.– Голубков принялся отмыкать замки своего заветного сундука. Он был рад делу. Беспокойство его все-таки не покидало. Нельзя, недопустимо пить эти иностранные пойла, никак нельзя. Контроля над собой не получается. Проболтался. Кто ж его знает, Генку, поверил он объяснениям или не поверил. Молодой парень, но хитрый. Хоть он, конечно, и не полковник Пшеницын, а все же…

16

У Генки Зародова были обширнейшие знакомства. Часть их пошла от отца, от среды, в которой не столько отец вращался, сколько среда вращалась вокруг него. Часть – по всяким иным линиям, поскольку Генка и сам был парнем общительным, легко сходившимся с людьми. Отца не поймешь – то ли он был историком, то ли философом, то ли социологом. Из-под его неутомимого пера выходило множество работ, публиковавшихся и в журналах, и в сборниках, и отдельными книгами. Но, насколько разбирался Генка, в этих папашиных произведениях особо отчетливой мысли не было; для чего они писались, что в

них доказывалось – сказать было невозможно; зато с удивительной гибкостью все они отражали направления переменчивых ветров в науках, которыми занимался отец. В одной работе Зародов-старший мог сослаться на одни имена, привести многострочные цитатищи из одних высказываний, в другой, если в общественной атмосфере данной науки что-то менялось, эти имена отец уже не поминал, из-под его пера сыпались имена другие и шли другие цитаты – иной раз просто противоположные предыдущим.

Лет до сорока своей жизни Александр Максимович Зародов мало был заметен на ученом горизонте; если он и был светилом, то светилом десятой, а то и двадцатой величины. Бойкий, подхватистый, всюду успевающий, но все же не излучающий никакого собственного света, только по мере возможности отражающий чужой, никакими талантами он не отличался, и люди привыкли думать, что их у него и нет. Лет же с десяток назад звезда эта вдруг засияла. В гору Александр Максимович двинулся, учуяв, что может отличиться на фронте разоблачения культа личности. Откуда он черпал свои материалы, никто особенно не проверял, но по его запестревшим в журналах писаниям и изустным выступлениям с разнообразных трибун получалось так, что тот, в кампанию по ниспровержению которого он столь рьяно включился, чуть ли не со школьных лет совершал одну крупнейшую политическую ошибку за другой. После девятьсот пятого года тайно поддерживал ликвидаторов и отзовистов, был на стороне примиренцев, то есть фактически ничем не отличался от троцкистов, в дни Октябрьской революции по многим вопросам не соглашался с Лениным, в гражданскую войну, куда бы его ни направлял Центральный Комитет, всюду самовольничал и в итоге проваливал дело. А уж дальше, после смерти Ленина, и говорить нечего – от него шли одни несчастья. Отечественная война – это же сплошной провал под его руководством…

Отец Генки в своем восторге разоблачителя дописался до того, что старый академик, всему миру известный историк, встретив его в кулуарах одного из заседаний, отозвал в сторону и сказал, разводя руками:

– Ну понимаю, новые веяния и тому подобное. Но нельзя же так, Александр Максимович, нехорошо так. Где же наука, где критерии?

– Вы что же, Пал Палыч, против курса на разоблачение культа личности? – Александр Максимович Зародов был не так прост. Он знал, что лучший способ обороны – нападение. И чем нападение нахальнее, тем успешнее.

– Позвольте, позвольте, – запротестовал старик, – это уже не совсем порядочно с вашей стороны, так истолковывать мои слова… Это…

– Вот-вот, – окончательно овладел положением Зародов, – других аргументов, кроме призывов к некоей порядочности, у вас и нет. А понимаете ли вы, что рутина ваших условностей вредна науке? Науку надо двигать вперед, невзирая на сопротивление дутых, раздутых и застоявшихся авторитетов.

Старик остался протирать платком свои очки, а Александр Максимович, гордо попыхивая вонючей сигаркой, из тех, которые он никогда не выпускал изо рта, проследовал в зал заседаний, где был намерен произнести очередную речь и так умно и ловко ударить по этим, помянутым им, авторитетам, чтобы затем на их пьедесталы был вознесен его собственный авторитет, авторитет

златоуста и бесстрашного ниспровергателя.

В своих стараниях он был кем-то в ученых верхах замечен, отмечен, повышен, из почти рядовых сотрудников отдела продвинут к руководству отделом, со скрипом, с нажимом, с предварительной индивидуальной обработкой возможных оппонентов введен в состав ученого совета и пошел, пошел двигаться дальше. Выяснилось вдруг, что не такой-то уж он и бесталанный. У Зародова проявился талант организатора шумных массовых кампаний – за перевыполнение планов научных работ, за ударный труд в науке, за коллективность в научных открытиях. Грандиозного успеха он добился, подав докладную записку по поводу, как он выразился, «нездоровой борьбы якобы противоположных мнений, которые по сути своей являются двумя сторонами одной и той же медали и в итоге вредят науке». Дело же заключалось в том, что два ученых действительно отстаивали свои точки зрения на одну из острых современных проблем. Проблема была новая, неисследованная, никакой монополии на предпочтительность той или иной точки зрения в изучении ее устанавливать было нельзя, надо было просто продолжать разработку проблемы и не мешать спорящим, если, конечно, быть по-настоящему заинтересованным в науке. Но большой организатор и недюжинный демагог так все подстроил, так проинформировал кого следует, что его серединную позицию одобрили, а на обоих спорящих ученых легла тень сомнения, о них стали поговаривать как о беспринципных склочниках: драчка, мол, меж титанами науки, дать бы им как следует – и тому и другому – по рукам.

Роль Александра Максимовича в этой истории не осталась в секрете. К удачливому коллеге обратились взоры всех тех, кто на жизнь смотрит как на ярмарку с ее извечным ярмарочным принципом: будешь расторопным – выиграешь, зазеваешься – не посетуй. Вокруг Зародова закружилась неуверенная в своих силах научная братия, завсегдатаями за его столом стали работники отраслевых издательств, отделов науки газет, радио, телевидения. Его брошюрки рецензировались в первую очередь, его статьи печатались как руководящие, определяющие в науке верный курс.

Ну и, конечно же, новые эти знакомые и новые приятели Генкиного отца распространяли свои пламенные чувства и на его сынка. Генку снабжали пропусками и билетами на выставки и просмотры, в редакции и в студии, он таскался в Дом ученых, в Дом литераторов, в Дом актеров, в Дом журналистов, в Дом работников искусств… Если бы в Москве был Дом водолазов или Дом альпинистов. Зародов-младший ходил бы и туда. Молодой человек довольно приятной наружности, с добрым веснушчатым лицом, слонялся и по гостиным Дома дружбы, завязывая знакомства с иностранцами. Со временем знакомства эти перенеслись б номера гостиниц, в квартиры иностранных журналистов, дипломатов. Генка старательно изучал английский язык, зная который можно было объясняться и с американцами, и с австралийцами, и с африканцами, и с жителями стран Южной и Юго-Восточной Азии. В трудных случаях он бежал к своей сестре Ие, и та помогала ему в переводах.

С Семеном Семеновичем Голубковым он познакомился сам, без помощи

отца или отцовых друзей, в комиссионном магазине на Арбате. Пожилой, хмурый, весьма заурядно одетый худой человек внимательно разглядывал стеклянное и фарфоровое старье на прилавках, просил показать одно, убрать другое. Генка знал, что вот у таких, у прибедняющихся, в квартирах часто целые музеи. Он заговорил со стариком, тот поначалу отвечал неохотно. Но Генка проявил осведомленность в старом фарфоре, помянул свою сводную сестру, у которой недавно завелось несколько интересных икон. При словах об иконах Голубков оживился: «Нельзя ли взглянуть?» «А чего нельзя? Можно». Вдвоем они тотчас отправились к Ие. Она сидела за машинкой, что-то перепечатывала.

– Иинька, – сказал, входя, Генка, – познакомься. Знаток старины, Семен Семенович. Хочет взглянуть на твои иконки.

– Пожалуйста, пожалуйста. Включи верхний свет, а то у меня очень темно.

Голубков осматривал Иино жилище. Оно было не лучше его собственного, в Кунцеве. А вот девица красива, эффектна, что называется, первый сорт. Как такой жемчужине до такого возраста не нашлось должной оправы? А может быть, жизненные крушения привели ее в вертеп сей? Может быть, все было, да рассыпалось?

Он снимал иконы одну за другой со стен, рассматривал их и на удалении, через сжатый кулак, как в подзорную трубу, и вблизи, и в лупу, которая у него была с собой в кармане.

– Вот это ценная вещь, – сказал наконец, указывая на икону, кото рая состояла из нескольких сюжетов. – Новгородская школа. Вещь подлинная, без обмана, А те, – он с пренебрежением отмахнулся от остальных, – декорация обывательских домов конца прошлого, начала нынешнего века.

Тоже, конечно, выбрасывать не стоит. И за них деньги заплатят. Но эта, эта…– Он вновь остановился перед новгородской иконой.– Хотите тут же отсчитаю пятьсот рублей наличными?

– Что вы, что вы, гражданин! – сказала Ия.– Это подарок. А подарками не торгуют. Нет, нет.

– Пятьсот! Ого! – поразился Генка. Он понял, что уж если Семен Семенович дает пятьсот, то икона его сестры и все полторы тысячи потянет, а то и больше.– Ну и подарочки тебе, Ийка, дарят.

Ия пригласила пожилого гостя присесть, приготовила кофе. Голубков отпивал из чашки маленькими глотками и рассказывал о старых церковных живописцах, о своих блужданиях с экспедициями в тайге и в тундре. Он не мог оторвать глаз от Ии. Вот бы, думалось ему, взять ее в жены, купили бы кооперативную квартиру – деньги есть, или еще лучше – дачу бы за городом. Обставили настоящими, дорогими вещами, не грошовым модерном, плодовый сад бы развели, розарий. Жила бы она у меня, эта жемчужина зеленоглазая, королевой, ни нужды бы не знала, ни этой закопченной комнаты, ни драного дивана и сжираемых жучком стола и стульев.

А Ие было жаль старого человека. Неуютная, неустроенная у него, видимо, жизнь. Деньги, может быть, и имеет, если готов заплатить столько наличными. Но что он может получить за свои деньги? Немощный, старый, говорит –

бессемейный.

Она с детства научилась сочувствовать людям, этому ее научила жизнь.

Да, как ни странно и даже нелепо показалось это Феликсу Самарину, Ия была сестрой Генке: и Генку и ее родила одна мать. Ие не было года, когда погиб ее отец, политрук Красной Армии Георгий Паладьин. Семья его находилась в эвакуации, в Томске. Жить было трудно, одиноко, неуютно, и мать Ии, красивая, совсем еще молодая, недолго оставалась вдовой; очень скоро она вышла замуж за другого, за Александра Максимовича Зародова, молодого научного сотрудника, работавшего в местном университете. Менее чем через год у них родился Генка.

После войны мать Ии и мать ее отца – Инна бабушка – стали думать о возвращении в Москву, где у них была комната. Зародов очень обрадовался возможности покинуть Томск, сибирские дали и оказаться в столице. Его нисколько не испугала комнатуха на Якиманке, которая принадлежала еще родителям Иного отца. Через несколько лет, когда Ия пошла в школу, Зародов получил свою квартиру. Он, Иина мать, Ия и Генка съехали с Якиманки, там осталась одна бабушка. Кроме Ии, она всем была уже никто. Она была матерью Иного отца, а Инной матери была лишь свекровью, и то до тех пор, пока был жив Инн отец. А не стало его, распались и родственные связи с невесткой.

Из трехкомнатной квартиры на улице Горького Ия часто прибегала на Якиманку. Вместе с бабушкой они перебирали старые фотографии, бумаги, письма, записочки. Бабушка берегла все, что осталось от отца Ии, от ее сына. Вот он маленький, трех или четырех лет… Трехлетняя Ия была очень на него похожа лицом. Вот он пионер, в белой рубашке, с галстуком. Вот курсант военной школы. А вот и война, фронт. Последний снимок был сделан одним из его товарищей за месяц до боя, в котором политрук Паладьин погиб.

– Он был очень честный, правдивый, очень смелый мальчик,– рассказывала бабушка. – Хорошо, что ты вся в него, Иинька.

Бабушка не говорила ничего плохого ни о новой семье Иной матери, ни о самой матери, ни о ее новом муже – ни о ком, она только очень хорошо говорила об ее отце, и Ия все понимала. Александр Максимович Зародов был прекрасным отчимом, никогда и ничем не дал он почувствовать Ие, что она ему неродная дочь, никакой разницы в его отношениях к ней и Генке не было. И вместе с тем Ия постоянно чувствовала разницу между родным отцом и отчимом. Отец был смелый. правдивый, сильный. А отчим? Ия навсегда запомнила – она тогда была совсем девчонкой,– как он метался по дому, она так никогда и не узнала, произошло тогда в семье, и кричал матери: «Меня посадят, понимаешь, посадят!» Он падал в обморок, ему делали уколы, он дрожал так, что было слышно, как стучат его зубы. Это все было и страшно и противно, и Ия была убеждена, что ни смелые, ни правдивые, ни сильные люди так вести себя не могли. Рядом с исковерканным страхом лицом отчима она видела спокойное, мужественное лицо отца с фотографии и слышала бабушкин голос: «Он был честный, правдивый, смелый».

Потом бабушка заболела. Она не могла оставаться без помощи другого человека. Ия сказала дома, что должна жить у бабушки, пока бабушка не

поправится. Мать пыталась найти какой-нибудь другой выход пригласить женщину для ухода за бабушкой, устроить бабушку в больницу. Александр Максимович сказал: «Женщину найти не так просто. В больницу же ее не примут: она хроник. Это не болезнь, а старость. Старость не вылечишь. Ия, мне думается, решила правильно. Да, это благородно, девочка, ты права, поживи у бабушки».

В первое время на Якиманку заглядывала мать, потом перестала. Александр Максимович не был там ни разу. Заезжал, случалось, Генка, привозил кое-что из съестного, говорил: «Мама послала». Но при виде тех припасов, какие он привозил – колбаса, икра, сыр, консервы,– Ие думалось, что дело обошлось без всякой мамы, а Генка сам стащил это из холодильника.

Бабушка все болела. Ия поступила в университет на восточное отделение. Жить было очень трудно. Учись, ухаживай за бабушкой, корми бабушку, экономь средства. Бабушкина пенсия да Инна стипендия – деньги невелики. Улица Горького постепенно все реже и реже давала знать о себе. Там, видимо, привыкли к тому, что Ия – «отрезанный ломоть», и не задумывались о том, как же и чем она живет. Александр Максимович как раз в ту пору пошел на подъем. Семья Зародовых еще раз переменила квартиру, тоже на улице Горького, но в еще лучшем доме, и у них были уже не три комнаты, а целых пять,– об этом Ие рассказывал Генка, который по-прежнему изредка ее навещал.

Нина мать, все еще молодящаяся, почуяв деньги, накупала туалетов, шуб, палантинов, драгоценностей. Однажды Ия встретила ее на Кузнецком, всю сверкающую и сияющую. Мать смутилась на минуту, но потом затараторила о том, как она занята, как занята: приемы, гости, посольства, иностранцы. Александр Максимович не знает ни часа отдыха, он всем нужен, везде его ждут.

И тут добрая, мягкая Ия не удержалась.

– Тридцать тысяч курьеров так и скачут, так и скачут! – сказала она неожиданно для себя.

– Что! – охнула мать. – Ты? Так? О нем? Который тебя вырастил, выучил?!

Ия почувствовала, что перестает владеть собой, что сейчас из нее выплеснется все, что копилось в ее душе годами, что она закричит на эту женщину в мехах и в побрякушках, закричит прямо на улице, и она как бы схватила себя за горло, сжалась вся, собрала всю свою волю, повернулась и быстро пошла прочь, в своем стареньком куцем пальтишке, еще школьных времен, в которое уже не вмещалась ее, начинавшая привлекать взоры мужчин, давно не девчоночья фигура.

На этом было все кончено. Бабушка умерла. Ия даже не сообщила о ее смерти Зародовым. Университетские товарищи помогли ей похоронить старушку, и она осталась в запущенной, неуютной комнате одна. Одиночество было таким мучительным, что Ия, не очень понимая, надо ли ей это или не надо, вышла замуж за аспиранта, который засматривался на нее еще, пожалуй, с тех времен, когда она впервые пришла в университет. Но уже назавтра после

свадьбы Ия поняла, что ошиблась, и очень ошиблась. Он не нужен был ей, этот муж, совсем не нужен. Она не хотела с ним говорить, не хотела ничего для него делать, ей невыносимо было видеть, как он сидел вечерами за столом при лампе и занимался. «Зачем он тут, этот чужой человек!» – кричало все в Ие. Она согласилась выйти за него, чтобы избавиться от одиночества, но чувствовала себя при нем еще более одинокой. При нем уже было нельзя – что-то мешало, сковывало – вытащить фотографии отца, его письма к матери, к жене, перебрать членские книжечки загадочных «Осоавиахимов», «МОПРов», свидетельства «Ворошиловского стрелка» и комплекса «ГТО» – «Готов к труду и обороне». Муж никак не понимал ее состояния и только сокрушался: «Какая ты, Иинька, нехозяйственная, а ведь вроде бы не за папенькиной и не за маменькиной спиной выросла».

Кончилось тем, что он ушел. Ия ему не понравилась, он в ней обманулся. Ушел к более хозяйственной. Они развелись официально. С трудом, с унижениями, с объявлением в газете, но все-таки развелись. Ия облегченно вздохнула, она отдыхала от замужества. Ей предлагали руку и сердце другие люди – и молодые и не очень молодые, всякие. «Что вы,– смеялась она в ответ, – я не гожусь в жены. Я бесхозяйственная, со мной будет трудно».

И вот перед ней сидит старый человек, который показался ей немощным, достойным жалости, сочувствия. Но смотрит он на нее, разглядывает ее, оценивает совсем не старческими, не погасшими глазами. «И этот тоже,– подумалось ей.– Все с одним и тем же». Последним претендентом на ее руку был тот, кто притащил эти иконы и упросил принять их от него в подарок и сам развесил на стенах. Это очень милый человек, сын недавно умершего старого букиниста, собирателя редкостей. Это он уверял ее, что старинные иконы украсят ее оригинальное жилище, что она неземная и ее не должны окружать обыденные вещи из мебельных универмагов, пахнущие только вчера срубленной сосной.

Один вот дарил. Теперь же явился некто, чтобы эти иконы купить. И вместе с ними готов, судя по его взглядам, купить бы и ее.

Кофе был допит, ничто больше не удерживало Голубкова, он распрощался и ушел. Генка проводил его до лестничной площадки и вернулся.

– Кто он такой? – спросила Ия.– Откуда ты его взял?

– А кто его знает, кто он,– ответил тогда Генка.– Гмырь какой-то. Иконщик. Их, знаешь, сколько теперь развелось. Зарабатывают, паразиты. Пятьсот готов отвалить, не торгуясь. Ты без меня не вздумай никому отдавать. Это же валюта!

Было это с год назад. С тех пор Генка Зародов вместе с Семеном Семеновичем Голубковым провели не одну торговую операцию, они уже хорошо знали друг друга, нуждались друг в друге. Голубков постоянно при встречах расспрашивал Генку о его сестре. Как, мол, иконки-то она не продала, и сама не вышла ли замуж?

Унося после попойки в Кунцеве то, зачем он приходил к Голубкову, Генка пообещал ему проведать сестру и еще разок спросить, не надумала ли насчет иконы.

Ия встретила брата, как обычно занятая рукописями. Она сказала:

– Ты порядочная дрянь, Генка.

– А в чем дело, Иичка?

– Ты Феликса Самарина ведь знаешь?

– Знаю. Как раз на днях встречались с ним. Но в чем дело?

– В том, что я никогда и ничего для тебя больше переводить не стану. Ты как ему представил то, что западные немцы говорят у себя о своих девицах? Это же тебе перевела я. О немцах в статье шла речь, о немцах. А ты на наших девчонок все оборотил. Были, мол, неуклюжими, потому что культ личности. Картошка, физкультура!

– Он мне уже говорил об этом. Удивляюсь и ему и тебе. Чего нашли тут такого? Если хочешь знать, недавно я смотрел одну хроникальную картину о фашизме. Так там, видела бы ты, как дело представлено! Хитро представлено, я тебе скажу. Вроде бы оно о Гитлере, а намек на нас. И такой эпизодик и другой. В зале, понятно, смех, народ не дурак, понимает эти фокусы. Так что ты думаешь? Этому-то, кто такую картинку склеил, премию отвалили! Вот работают люди! А на меня шипишь, как кошка.

– Генка, это нехорошо. Это подло. Если ты с чем-то не согласен, ты будь честным, выступи, открыто выскажи свое мнение, свое несогласие. Но вот так, из-за угла, все перевертывая с ног на голову, это же очень грязное дело! Мне будет жаль, если ты этого не поймешь.

– Ладно, постараюсь понять. А ты мне вот что скажи взамен: откуда ты Феликса Самарина узнала?

– Попросила познакомить. Меня и познакомили.

– Он тебе нравится?

– Пожалуй, да.

– Он как раз для тебя, Ийка. Он такой же, как ты, идейный. Из вас получилась бы пара-люкс. Выходи за него. Он же снова стал холостым.

Ия молчала. Генка одну за другой пожирал конфеты из вазочки на столе.

– Скажи, Ийка, ты теперь не бедствуешь? – спросил он.– Сколько ты этим зарабатываешь – переводами, машинкой? И почему не поступаешь на службу? Диплом у тебя есть. Учить ребятишек в школе можешь и даже в высших заведениях.

– Учить? Нет, мне это не по душе. Я никого ничему научить не смогу. Я сама ничего не знаю. А сколько я зарабатываю? Мне, Геночка, хватает. И без работы я не сижу. Я же работаю по договору.

– Но когда бы я к тебе ни пришел, ты всегда в этой одной своей юбке, в этой блузке. И пальто все то же. Зимнего нет, что ли?

– Ну тебя, Генка, не люблю я разговаривать на эти темы.

– Тогда прими привет от того гмыря, которого я приводил к тебе в прошлом году смотреть иконы. Все о тебе спрашивает. Старый хрен, а не устоял перед тобой.

– Не водился бы ты с ним, Генка. Он фальшивый. Вид такой, что пожалеть его хочется, а в глазах пакость.

– Преувеличиваешь. Конечно, он не ангел. Но ты уж лишку

перехватываешь. Человек как человек. Сейчас все такие.

17

Чтобы, как выразился один из представителей издательства «New World», не крутить зря колеса, группа Клауберга должна была добраться до Стокгольма самолетом и лишь в Стокгольме занять места в подготовленном ей автофургоне, тщательно осмотренном и опробованном Юджином Россом. Автофургон еще неделю назад пошел в Швецию морем, в трюме теплохода.

Но и самолетом они летели почему-то не прямо до Стокгольма, а с посадкой и ночевкой в Брюсселе. Никто в группе не мог понять, зачем это. Но Клауберг ответил коротко: «Так надо».

В брюссельском аэропорту был обычный людской водоворот. Люди всех цветов кожи, говорящие на самых разнообразных языках мира, одетые порой в самые невероятные одежды – в пестрых бурнусах, с перьями на головах, в юбкоподобных саронгах вместо брюк,– все это шумело, галдело, спешило, куда-то устремлялось.

В одной из стеклянных галерей Клауберг задержался.

– Минутку, господа!…

Группа остановилась. Клауберг смотрел на стоявший близ галереи реактивный самолет с опознавательной надписью: «СССР».

– В Москву,– добавил он.– Туда же, куда, в конце концов, прибудем и мы.

К самолету тянулась вереница пассажиров. Первой шла негритянка могучего сложения, сверкающая улыбкой.

– Я ее знаю,– сказала мисс Браун.– Звезда ночных нью-йоркских кабаков. Эротические песенки, феноменальный секс. В одном из наших журналов писали, что самая бесплодная пара, испробовавшая все виды лечения у наимоднейших врачей и уже окончательно отчаявшаяся, и та после посещения кабачка, где выступает эта черная леди, способна зачать и родить ребенка.

– Разве русским это тоже так необходимо? – спросил Сабуров.

– Очевидно.– Мисс Браун шевельнула плечом.– Они охотно ангажируют подобных ей.

Сабуров удивленно смотрел на то, как пестрая людская вереница, подымаясь по трапу, неторопливо втягивалась в дверцу самолета.

– Тогда, следовательно, – сказал он,– те четыре нестриженых молодца с постными мордами гомосексуалистов и с гитарами на ремнях тоже в Москву?

– Конечно, – ответил Клауберг. – Отсюда до самой Москвы посадок у этого самолета не будет. «Наведение мостов», синьор Карадонна! Свободный диалог Запада с Востоком. Кто кого. Или они нас своими скрипачками и пианистами, или мы их нашими секс-бомбами! Человек всегда останется человеком. Природа в нем сильнее привнесенного идеологической обработкой. Инстинкт самца и инстинкт самки…

– Господин Клауберг!…– Голубые глаза мисс Браун смотрели на него с укоризной.

– Пардон! – сказал Клауберг и двинулся дальше.

Остановилась группа в старом, солидном «Гранд Отеле», с большими комнатами, в меру скрипучими – для колорита – полами, с прекрасным полотняным бельем.

Клауберг сказал, чтобы его не искали, в Брюсселе у него важные дела, пусть каждый как хочет, так собой и располагает. Отлет в Стокгольм завтра в девять пятнадцать утра.

Юджин Росс объявил, что он тоже исчезнет довольно надолго: в бельгийской столице превосходные оружейные магазины, он обожает оружие, это его хобби, и он потолкается возле витрин с пистолетами.

Сабуров в Бельгии бывал проездами, Брюссель видел мельком и решил осмотреть его на этот раз поосновательней. Порция Браун, напротив, бывала здесь много раз, и, если синьор Карадонна не возражает, она готова показать ему все известные ей брюссельские достопримечательности. Сабуров не возражал. Общаясь с этой миловидной и неглупой молодой американкой в Лондоне, он уже стал к ней привыкать, и ее общество – врать тут нечего – доставляло ему удовольствие.

Они походили вдвоем по улицам, заглянули в один-два музея, поговорили об искусстве. Прежде у них уже было немало разных разговоров, |но без особой откровенности, без того, чтобы кто-то из них открыл другому душу. На этот раз, когда к исходу дня они забрели в тихий, уютный ресторанчик в боковой улице и Сабуров заказал бутылочку вина, мисс Браун после нескольких глотков вдруг разошлась.

– Синьор Карадонна,– заговорила она, закуривая сигарету,– я видела, с каким интересом и удивлением вы смотрели на ту толпу, которая отправлялась сегодня в Россию. В известной мере я догадываюсь о ходе ваших мыслей. У наших западных людей, которые не занимаются специально изучением Советской России, о ней самое превратное представление. Через ваши руки прошла уйма печатного материала за эти месяцы. И все же России вы не знаете. Материальчики, виденные вами, до крайности противоречивы и откровенно противоположны. Где правда, где ложь – невозможно определить. Как ни странно, а лжи человек поверит скорее, чем правде. Удивлены? Пожалуйста, объясню. Дети сказкам верят безоговорочно. В том, что возможна девочка в дюйм ростом, не усомнится ни один нормальный ребенок. Но никто из них, из нормальных детишек, не верит в то, что если не мыть руки перед едой, то заболеешь желудком. Хотя в первом случае – абсолютная ложь, во втором – непреложная истина. У большинства западных людей ребячье представление о России, Там-де неслыханные эксперименты, там все не так, как у нас, там власть рабочих и крестьян, там почти как на Марсе из фантастических романов – золотой век, все учатся, все благоденствуют, и так далее, и тому подобное. И в это, с восточными ветрами долетающее до нас, наши люди верят, как дети в сказку, безоговорочно. Усилия западного пропагандистского аппарата противопоставить всему этому подлинную правду часто бывают тщетными. Нам не верят, «А, – говорят, – понятно, антикоммунизм, холодная война!» Капиталисты-де завидуют успехам русских и брешут на них что попало. Даже вот и вы, дорогой синьор, живой пример этому. Слушайте, там все уже не так,

как вам думается. Мы пробили стену! С огромным трудом, неимоверными усилиями, но пробили.

– Кто мы? – спросил Сабуров, глядя в голубые глаза мисс Браун. Клауберг давно сказал ему под строжайшим секретом, что дама эта, в чем нет никакого сомнения, сотрудничает в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов.

– Кто? – Порция Браун покрутила бокальчик с вином в своих кра сивых пальцах.– Весь свободный мир. Общими усилиями. Мы – это и я, и вы, и ваш друг Клауберг.

– Лично я в этом смысле не делал ничего, мисс Браун. Никакой стены не пробивал, жил, как вы знаете, двадцать с лишним лет на тихом берегу теплого моря, и только.

– Жаль, синьор Карадонна. А надо, надо делать. Иначе вашей тихой жизни однажды придет конец.– Она отпила еще несколько глотков.– Я, например, делаю это, пробиваю стену, уже лет семнадцать, с тех пор, как окончила русское отделение университета.

– А для чего вам понадобилось именно русское отделение?

– Да потому, что я сама наполовину русская! Моя мать была русской. Ее подростком увезли из России родители, которые бежали от большевиков. Она была внучкой очень богатого человека, у него в России было несколько сахарных заводов, и еще что-то весьма доходное, а ее отец управлял в Москве банком. Но это к слову, к слову. Я должна завершить свою мысль. Брешь, говорю, пробита, фронт русских ослаблен. Надо развивать успех. Существует весьма стройная программа демонтажа коммунизма, их советского общества. Это прежде всего духовный мир, наше воздействие на него. Мы идем по трем линиям. Первая – старики, старшее поколение. На них воздействуем религией. К концу жизни человек невольно задумывается над тем, что ждет его там, там! – Она указала пальцем в потолок. – Установлено, что даже тот, кто в молодости, в возрасте, когда он полон сил, был отчаянным атеистом, на склоне лет испытывает робость перед грядущей неизвестностью и вполне способен принять идею высшего начала. Число верующих растет. Мне известно, например, что в такой просвещенной области, которая находится под боком и под прямым воздействием столицы, в Московской, по-церковному крестят каждого шестого новорожденного. До войны не крестили и пятидесятого.

Сабуров слушал с большим интересом. Полгода изучал он в Лондоне Советскую Россию, советскую действительность. Много в ней было для него неясного, противоречивого и вместе с тем интересного, привлекающего; Как ни говори – родина! И он готов слушать о ней все новые и новые рассказы, они не наскучивают, не надоедают.

– Второе – среднее поколение,– продолжала мисс Браун,– это так называемые взрослые. В последние годы они стали неплохо зарабатывать благодаря усилиям их правительства. У них завелись свободные деньги. Через все возможные каналы – через наше радио, через обменные иллюстрированные издания и особенно через кино с его картинами велико светской жизни, – мы пробуждаем в них тягу к комфорту, к приобретательству, всячески насаждаем

культ вещей, покупок, накопительства. Мы убеждены, что так они отойдут от общественных проблем и интересов, утратят дух коллективизма, который делает их сильными, неуязвимыми. Их заработков им покажется мало, они захотят иметь больше и встанут на путь хищений. Это есть уже и сейчас. Вы читали их прессу, и вы видели на страницах их газет бесконечные сетования по поводу хищений. Хищники, хищники, хищники! Всюду хищники. А сколько примеров хищничества не попадает в печать. Я вижу, вы заслушались. Интересно?

– Да, очень. Прошу вас. Я только хотел бы, чтобы вы объяснили, почему этого не было раньше.

– Я же сказала вам, наша работа не пропадает напрасно.

– Нет, я хочу знать, почему не было вот этих безудержных хищений.

– Ну, во-первых, скажем, до войны, не было перед глазами таких соблазнительных примеров. Каждый живущий не по средствам вызывал по меньшей мере общественное недоумение. Во-вторых, многое держалось и на драконовских сталинских строгостях. Вы знаете, что за килограмм украденного в поле гороха могли судить и дать человеку десять лет тюрьмы.

– А если человек не крал этого килограмма, то его не судили и не давали ему десяти лет?

– Это их пропагандистский контрвопрос, синьор Карадонна. Я это уже слышала. Пойдем дальше. О молодежи, так сказать, о третьей и самой главной линии, по какой демонтируется их общество. Молодежь! Тут богатейшая почва для нашего посева. Молодой ум так уж устроен, что он протестует против всего, что ограничивает его порывы. И если его поманить возможностью полного освобождения от каких-либо ограничений, от каких-либо обязанностей, скажем, перед обществом, перед взрослыми, перед родителями, от какой-либо морали, он ваш, синьор Карадонна. Так поступил Гитлер, отбросив с дороги молодых мешавшие ему библейские заповеди, например: «Не убий». Так поступил Мао Цзэ-дун, дзинув толпы мальчишек на разгром партии китайских коммунистов, воодушевив ниспровергателей тем, что развенчал авторитеты взрослых, – и мальчишки, дескать, могут теперь плевать в лицо старикам. Такие возможности очень возбуждают и взвинчивают молодых. Кстати, так было и в вашей дорогой Италии, когда к власти шел Муссолини. Молодые парни, освобожденные от ответственности перед моралью, перед обществом, растоптали вашу демократию.

Сабуров согласно кивнул. Он хотел было добавить, что молодые парни в Италии снова бесчинствуют в больших городах. Но мисс Браун положила свою теплую ладонь на его руку – обождите, мол, дайте закончить – и продолжала:

– Хотя это и очень трудно и сфера нашего воздействия ограничивается главным образом Москвой, Ленинградом, еще двумя-тремя городами, но мы, синьор Карадонна, работаем, работаем и работаем. Кое-что удается. Брожение умов в университете, подпольные журналы, листовки. Полное сокрушение прежних кумиров и авторитетов. Доблесть – в дерзости. И эти вот дивы, которых мы видели в здешнем аэропорту, умеющие трясти бедрами на эстраде,– одно из наших оружий. Клауберг груб, но, по существу, он прав. Они

сексуализируют атмосферу у русских, уводят молодых людей от общественных интересов в мир сугубо личный. альковный. А это и требуется. Так ослабнет комсомол, в формальность превратятся их собрания, их политическая учеба. Все будет только для видимости, для декорума, за которым пойдет личная, сексуальная, освобожденная от обязательств жизнь. А тогда в среде равнодушных, безразличных к общественному, которые не будут ничему мешать, возможным станет постепенное продвижение к руководству в различных ведущих организациях таких людей, которым больше по душе строй западный, а не советский, не коммунистический. Это процесс неторопливый, кропотливый, но пока единственно возможный. Имею в виду Россию. С некоторыми другими социалистическими странами будет, думаю, легче. Уже несколько лет в некоторых из них идет экспериментальная работа. Ближайшие годы покажут, что из нее получится. Если успех, то справимся и с Россией. О боже, скорее бы!

– Значит, то, что не удалось Западу в девятнадцатом-двадцатых годах, с опозданием на полвека, но будет осуществлено? Значит, это уже близко?

– О, нет, не так близко. Не обольщайтесь. Россия еще полна фанатиков. Это и старые, и средние, к сожалению, и молодые. Они ничего не уступят. Ни религией, ни накопительством, ничем этим их не взять. Возможно одно: компрометация таких в глазах широкого народа. Со многими удалось покончить тем, что их объявили сталинистами, взяв для этого термин, остроумно придуманный в свое время господином Троцким.

– А на самом-то деле они сталинисты или нет? И что это такое? И в чем тут криминал – быть сталинистом? Разве сам Сталин не был марксистом, революционером, большевиком? Во всей писанине по этому поводу я толком так и не разобрался.

– Какое это имеет значение, синьор Карадонна! Сталинист – не сталинист! Важно, что с помощью этого термина он скомпрометирован.

– Нет, нет. мне важно понять, мисс Браун. Вы специалист, кремленолог, вы должны знать. Что, у сталинистов своя, особая программа? Она противоречит общей программе большевиков?

– Чудак вы, честное слово. Это мы, мы их так назвали. Точнее, повторяю, господин Троцкий. И дело совсем не в сущности слова, а в возможности – в возможности бить их этим словом. Но сейчас сделавший свое дело термин почти не работает, он имел известный, и немалый, успех лишь поначалу, сгоряча. Пока они не полистали труды господина Троцкого. Теперь отыскиваем другое, другое. Очень хорошо действует, скажем, тер мин «прямолинейность». Их. идейных, убежденных людей, мы рекомендуем обвинять в прямолинейности. Не сразу человек поймет, что это такое, а термин тем временем на него воздействует. В наш просвещенный век, век кибернетики, таких умных-разумных физиков, и вдруг некто прямо линейный! Это же ужас! Можете считать, что с общественных счетов прямолинейщик уже сброшен. Хорошо звучит слово «догматик». Оно ассо циируется со средневековыми богословами, которые всякого инакомыслящего могли объявить еретиком и сжечь на костре. «Консерватор», «рутинер»… Все это термины работающие.

Такие термины полезно применять к популярным писателям, художникам, композиторам, ученым, артистам, режиссерам кино и театра, ко всем тем из них, которые, несмотря на то, что они уже зачислены в сталинисты, продолжают упорствовать, продолжают осуществлять то, что у них называется принципом партийности в искусстве, работают по своему знаменитому методу социалистического реализма. Они пока еще властители дум в широком народе, они определяют духовный мир людей, и против них все средства хороши.

Мисс Браун вновь закурила, пустила дым в расписанный веселыми цветочками потолок.

– Как-то я читала произведение одного молодого советского прозаика, – заговорила она вновь, – конечно, издававшегося за рубежом под псевдонимом. Кстати, именно я отыскала его в Москве и я же отвезла его рукопись в Лондон. Так вот, он очень остроумно в своем произведении использовал имена двух из наиболее упорных партийных писателей. Их именами он назвал тайных агентов советской госбезопасности. Представляете, как будут смеяться русские слушатели, когда услышат это по «Би-би-си» или по «Голосу Америки»! Два популярных, партийных, ортодоксальных – и вульгарные филеры! Господин Виктор Зорза из «Гардиан» прекрасно владеет умением поставить под сомнение большевистскую репутацию. Об одном советском писателе, неприятнейшем из неприятных, он написал так, что в сталинские времена его бы после писаний господина Зорзы непременно отправили в Сибирь. Намеками и полунамеками господин Зорза изобразил его таким хитроумным, так тонко маскирующимся контрреволюционером, что второго и найти трудно.

– Ну и что с ним было, с тем писателем?

– Да ничего. Держится. Это значит, что надо еще и еще наносить удары. У вас в Италии есть некто синьор Спада…

– Бенито?

– Да. Вы его знаете?

– Как человека, который каждое лето приезжает купаться на то побережье, где я живу. Но он марксист, говорят.

– Господин Троцкий тоже называл себя марксистом. Так вот, господин Спада – я слежу за мировой прессой – в последние годы стал по писывать по вопросам советской литературы. Очень успешно работает в необходимом нам ключе, хотя личных контактов с ним мы не имеем.

– Он состоит в партии коммунистов.

– Это известно, и это превосходно! Выступления коммуниста, направленные против Советского Союза, – цены нет таким выступлениям.

– А чем же можно объяснить, что коммунист идет против коммунистов?

– Обычно объясняется это тем, что такой коммунист никакой не коммунист, а просто формально состоит в партии коммунистов. Вы не знаете истории революционного движения в России. А я знаю. У социалистов-революционеров был в их Центральном Комитете некто Азеф. Евно Азеф. Не слыхали? Нет, конечно. Понимаю. Так он служил в царской

охранке. А у большевиков в Центральном Комитете был некто Малиновский, из рабочих. Они его в депутаты Государственной думы выставляли, настолько ему верили. Так он тоже служил в охранке. Боже мой, чему вы удивляетесь! А где их нет, предателей. Но синьор Спада может и не быть агентом никаких охранок. Он просто человек другого политического вероисповедания, а забрел в чужую ему среду. Я вас не утомила? Здесь душновато. Не попросить ли нам мороженого?

– Мороженого можно. Но не потому, что вы меня утомили. Я весь внимание. Вы правы, чтение того, что пишут о России и в самой России, способно запутать человека. У меня, например, вот такая голова… – Сабуров показал руками, насколько его голова распухла. – А ясности нет. Все противоречиво, все противоположно. И те правы и эти. И где же истина – кто скажет?

– Она в вине, как говорили древние. За ваше здоровье, синьор Карадонна! Надеюсь, что личное знакомство с Россией, совсем не с той, которую вы знали во время войны, с другой, поможет вам определиться.

Клауберг в этот час пребывал в другом ресторане Брюсселя, вдвоем с таким же, как он сам, плотным, седым человеком, лицо которого было исполосовано складками резких морщин.

– Никакой разведки, никакого шпионажа. Это главное условие, поставленное нам в Лондоне,– говорил ему Клауберг, потягивая пиво.

– Мало ли что они там болтают, Клауберг, мало ли что. – Когда собеседник Клауберга говорил, на скулах его ходили под кожей большие, бугристые желваки. – Может быть, вы думаете, мой друг, что мы вас вытаскивали из Мадрида для увеселительной прогулки в Москву? Никаких разведок и никакого шпионства и не требуется, но и работать вслепую, подобно роботу, на этих англо-американцев настоящий немец не должен, не имеет права. Мы им будем помогать ровно настолько, насколько это выгодно нам, и до тех пор, пока наконец нужда в них для нас отпадет. Раз вы туда едете, Клауберг, вы обязаны установить кое-какие контакты. Контакты, понимаете? И только. Ваше дело убедиться, есть ли там те, на кого мы надеемся. Существуют ли они? Времени с тех пор, когда мы с ними общались, прошло все-таки препорядочно, событий всяческих в мире произошло предостаточно. А люди смертны. и так далее. Словом, посмотрите, есть ли они, а если есть, то надо напомнить им об их долге. И только-то. Не так уж и много, согласитесь, Клауберг, совсем немного.

Клауберг молчал.

– Кстати, – продолжал его собеседник, – настоящий человек в вашей группе вы один. Карадонна – русский, вы это знаете лучше меня. Клауберг кивнул.

– Мисс Браун… Древо ее жизни запутанно. Но есть данные, что наполовину она тоже русская.

– Я подозревал это! Я так и думал.– Клауберг хлопнул ладонью по столу. – Вот змея!

– А Росс, Юджин Росс, русский даже не наполовину, а полностью, как Карадонна. Но скрывает это. Мы, как видите, основательно изучи ли ваших

сотрудников.

– А почему он это скрывает?

– Наивный вопрос, Клауберг! Почему скрывает свою истинную национальность Карадонна?

– Это более чем понятно. Карадонна может оказаться в списке военных преступников. А Росс молод, он в войне не участвовал.

– Значит, участвовал в чем-то другом. Автомобилист, боксер, фотограф… Много разных ценных качеств. Может, еще и джиу-джитсу знает, стрельбу из бесшумных пистолетов. Я не удивлюсь, если эта скотина окажется из каких-нибудь «зеленых беретов». Итак, Клауберг, компанийка у вас вонючая, один настоящий человек вы. И Германия на вас надеется. Вы поняли? Дело пустяковое. Для настоящего немца – сущая мелочь. Зиг хайль! – шепотом произнес собеседник Клауберга. Представляясь при встрече, он назвал свою фамилию, но Клауберг понимал, что она не подлинная, и мысленно называл его просто начальником. Он, конечно же, был начальником. Но каким, откуда – спрашивать не следовало.

– Зиг хайль! – еле слышно ответил и Клауберг. – А это вполне серьезно,– спросил он,– там, в Ганновере?

Собеседник понял.

– Более чем серьезно. Это настоящее. Верьте, Клауберг, мы еще увидим парады в Нюрнберге, еще будут усыпаны цветами и дорогие могилы, еще подымутся над ними грандиозные памятники. Но лучший памятник лучшим сынам немецкого народа – наша с вами неустанная работа на благо фатерланда. Запоминайте адреса, имена, фамилии, друг мой, кого я вам сейчас назову. Жаль, что мы с вами не знаем языка народа майя. В нем до сих пор не разберутся, вы бы это записали на майя. А так надо прочно, очень прочно запоминать, запоминать.

Юджин Росс сидел в третьем месте. В кабачке, который он нашел в грязном районе старых домов. Две полупьяные девки расположились за его столиком. Все трое пили джин и быстро косели.

– Вы стервы, – говорил им Юджин Росс по-английски. – Вам это известно, да? – Они плохо понимали английский и весело смеялись.

Минувшим днем Юджин Росс меньше всего шатался по оружейным магазинам. По указанному ему адресу он отыскал энтээсовцев, молодых и не очень молодых русских парней и девиц, с которыми провел несколько часов. Они орали на него, требовали, чтобы в Москве, поскольку он туда едет, он показал бы себя, показал бы, что свободная Россия живет, хотя и не имеет своего угла; по их мнению, он должен был устраивать в Москве демонстрации на Красной площади; одна дура советовала ему даже взять с собой для этого трехцветный флаг старой царской России, чтобы все сразу увидели, кто он такой. Никто из них не интересовался его подлинным именем: Юджин так Юджин; Росс так Росс. А сами-то они кто? Не Сергеи, а Сержи, не Марии; а Мари и Мэри, не Владимиры, а Вольдемары и не Михаилы, а Мишели.

«Психи,– думал Юджин Росс о них по-русски, – болваны. Насколько же умнее вас американцы. Если и отцы ваши и деды боролись в свое время против

красных, против Советов, вот так, как вы, то понятно, что у них ни черта не получилось!» Это были оголтелые, разъяренные парни и девки. Одни из них хвастались тем, что доверчивым советским туристам понапихивали в чемоданы экземпляры романа «Доктор Живаго» на русском языке, другие,– что маршировали перед гостиницей, в которой проездом остановилась советская футбольная команда, и предъявляли футболистам требование освободить никому не ведомых, осужденных советским судом литераторов, якобы пострадавших за то, что те писали чистую правду. Юджину Россу его умные американские наставники давно внушили, что все это чушь, ни за какую правду русские никого не судят, и пусть он этого не держит в голове. Орать он про это может где угодно и сколько угодно, это нормальная пропаганда, но верить не должен, чтобы не оказаться в дураках. И еще говорили ему, что на всяких правдолюбцев, которые смелы под псевдонимами, лучше всего не надеяться.

Брюссельские русские не нравились Юджину Россу именно тем, что сами верили в выдуманную ими же чепуху да еще и его уверяли в ее истинности. Кому они это говорят?!

Они показывали ему фотографии советских людей, сделанные на улицах иностранных городов. Фотографии были моментальные, неожиданные, позы на них пойманы весьма непривлекательные. Кто стоял разинув рот и смотрел вверх, кто прилип к витрине с ширпотребом и глаза у него светились восторгом, кто утирал нос без платка, кто за столом неуклюже держал нож и вилку…

– А на что это вам? – спросил Юджин Росс.

– Как на что? – удивились русские брюссельцы. Но сколько-нибудь толково ответить ему не смогли, на что. Можно, дескать, подсовывать под двери им самим, этим туристам; можно в газетах помещать; можно целую фотовыставку устроить на тему «Вот вам строители коммунизма, как они есть».

Юджин Росс посмеялся; все они выпили купленной в одном из магазинов Брюсселя советской «Столичной», и Юджин Росс распрощался соотечественниками. Настроение у него было смутное после сумбурной встречи, и вот, чтобы не идти раньше времени в гостиницу, он забрел в этот кабачок.

Девицы, подсевшие к нему без приглашения, болтали по-французски, пытались даже изъясняться с ним по-немецки, но он, выросший в Соединенных Штатах Америки и, кроме русского, основательно знавший лишь английский язык, в свою очередь, плохо понимал их. Они что-то трещали о его папе с мамой; дескать, не папа ли с мамой воспитали его таким задумчивым и скромным; неужели он не может позволить себе позабыть хоть на часок о родительских наставлениях.

Он усмехался. Что ж, да. у него есть папа с мамой, есть.

Родители Юджина Росса до того, как еще перед войной перебраться из Европы в Америку, носили фамилию Росинских, и папаша Юджина названного при крещении Юрием, состоял в организованном подрастающими детьми русских эмигрантов «Национально-трудовом союзе нового поколения». Организация была шумная, критиковавшая бездеятельность старшего

эмигрантского поколения, требовавшая действий и действий. Они разделяли идеи «активизма», пропагандировавшиеся некоторой частью старшего поколения, они охотно становились под знамена генерала Кутепова, который из Парижа пытался наносить удары по Советской России, по большевизму и одну за другой слал в Советский Союз группы террори-стов и диверсантов: они поклонялись Глебу Струве, как своему духовному пастырю.

Когда гитлеризм пришел в Европу и принялся готовить вторую мировую войну, семья Росинских, видя, что из «активизма» ничего не получается, сочла за благо перебраться в Америку, в более безопасное место. Отец служил в крупной американской фирме, получал неплохие деньги, все шло хорошо. Но, когда началась война и немцы стали оккупировать страны Европы, он призадумался. «Нацмальчики», как в эмиграции называли активистов «Национально-трудового союза нового поколения», давно выросли, созрели, и перед ними занималась заря новых надежд на возвращение в Россию, которую от большевиков освободят немцы. Прогадал, значит, Росинский, напрасно удрал за океан! Вон в занятом немцами Париже, по Елисейским полям, расхаживает, разрядившись в форму немецкого полковника – кто бы вы подумали! – племянник генерала Краснова! Вон начищает шпоры, готовясь к походу в Россию, господин Столыпин. Приятели Росинского, оставшиеся в Европе, идут в гору. А он?… Он не решился уже на обратное путешествие через океан. Он довольствовался тем, что пописывал крикливые статейки в эмигрантских газетках и журнальчиках, издававшихся в Соединенных Штатах и в Канаде. Он приветствовал немцев, напавших на Советскую Россию, он кричал им ура!

Зато после войны, когда его мальчик Юрочка стал подрастать, он несколько раз посылал его в Европу – к тем, кто принял в свои руки знамя борьбы с большевиками из рук павших в этой борьбе «национальных трудовиков». Племянник Краснова по советскому суду был повешен вместе с дядей; многих других, напяливших немецкие мундиры, тоже постигла кара. Но росли новые силы. Приказал долго жить «Национально-трудовой союз нового поколения», на его обломках взрастал «Народно-трудовой союз»; сокращенно его называли по первым буквам – НТС. Энтээсовцам казалось, что они часть былой, старой России, но были они на самом деле орудием разных антисоветских организаций и попросту разведок наиболее агрессивных западных стран.

Юджин Росс чуть ли не половину времени пребывал в Европе, среди энтээсовских молодцов и молодиц своего возраста. Так хотел его отец, так хотели те, кто платил ему за это немалые деньги.

В Россию он отправился помимо папиной воли, по воле своих хозяев, своих боссов. Механизмы на длинных, глубоко и тщательно скрытых тягах сделали так, что он оказался включенным в группу Клауберга. Он должен будет фотографировать, делать отличные снимки. И только. И лишь попутно присматриваться ко всему, что увидят его глаза на трудных путях по России. Ничего-то не знают, не ведают об этом жирненькие брюссельские трепушки, весело пристающие к нему с его папой и мамой.

– Пейте, дуры, и ешьте,– говорил он им время от времени, а сам смотрел на маленькую эстрадку, на которой отплясывала, демонстрируя неслыханную страсть, уже не очень молодая женщина-кобра. Кабачок был плохонький, дешевый, пригласить дорогую диву хозяину, видимо, не позволял карман. Когда извивающаяся в танце подержанная «кобра» улыбалась в низкий, задымленный табаком зал, у нее из этого получалось то, что англичане называют «шестидюймовой улыбкой»,– распах рта большой; зубов много, а радости нисколько.

«Кто знает, – думал Юджин Росс, может быть, это на долгие месяцы последнее злачное местечко, которое он видит, последнее, пусть и грошовое, но веселье. Москва – там, как все утверждают, лишь бой Спасской башни, строгие газеты по утрам, труд, труд, труд – днем, лекции и собрания – вечером, добродетельный восьмичасовой сон ночью. Сумеет ли он внести разнообразие в этот полувековой советский порядок? Сможет ли выполнить то, что ему поручили те, кто рекомендовал его издательству „New World“ для поездки в Россию?»

18

После небольшого совещания в Стокгольме решили, что и по шведской земле нет смысла крутить колеса их фургона. До Финляндии надо добраться морем. Знаток истории Советской России, мисс Браун сказала:

– Мы движемся тем же маршрутом, каким в семнадцатом году воз вращался в Россию Ленин. Если мы так же успешно поведем там свои дела, как повел он, то нами будут довольны.

– А вы чьего одобрения ждете? – спросил Клауберг, сидя в вестибюле гостиницы. Лицо его выражало полное безразличие, но Порция Браун уловила нечто обеспокоившее ее в тоне, каким Клауберг сказал это.

– Господин Клауберг. – Она мило улыбнулась. – Мне надо с вами перемолвиться. Конфиденциально, если не возражаете.

– Пожалуйста! – Клауберг встал, и они вышли на весеннюю улицу шведской столицы.

– Всего два слова, господин Клауберг.– Порция Браун взяла его под руку. – Через день-два мы будем в Советском Союзе. Там таких вот вопросов, какой вы мне только что задали, задавать не надо. У вас, я вижу, есть какие-то соображения на мой счет. Это ваше дело, соображайте, что вам вздумается. Но не высказывайте ничего вслух. Вы будете оставаться руководителем нашей группы, почтеннейшим доктором искусств. Вы можете сколько вам угодно командовать этим милым и даже в какой-то мере наивным синьором Карадонна. Но и я и Юджин Росс будем делать то, что сочтем необходимым делать мы. Вы меня поняли?

– Я вас прекрасно понял, прелестная мисс Браун. Делайте что вам вздумается. Но только мы обязаны соблюдать то главное условие, о котором нас в Лондоне не один раз предупреждали: никакого шпионажа, даже намека на шпионаж.

– Надеюсь, и вы это условие будете соблюдать неукоснительно? – Порция Браун улыбнулась все так же мило и очаровательно, и они шли под руку, будто это была пара добрых старых друзей, совершающих прогулку для удовольствия.

Вечером все они сели на теплоход, шедший до финского порта Або; Клауберг проследил, чтобы аккуратненько был погружен и их фургон, и группа на третий день после прилета в Стокгольм покинула шведскую столицу.

Теперь позади остались уже и Або, и другие города и городки Финляндии, и сама столица этой лесной озерной страны с превосходными дорогами, по которым Юджин Росс лихо вел резвый, отлично амортизированный фургончик. Они уже только что пересекли финляндско-советскую границу и стояли за полосатым зелено-красным шлагбаумом, под навесом таможни; советские таможенные чиновники осматривали их багаж, а люди в зеленых фуражках, пограничные офицеры и солдаты, изучали их паспорта.

Все четверо из группы Клауберга сосредоточенно наблюдали за этой процедурой. Молчали все, даже разговорчивая мисс Браун. Советская Россия! Как ни потешайся над ней, над ее порядками там, у себя, в Нью-Йорках, Лондонах, Мадридах, Мюнхенах, а когда вот так оказываешься с нею лицом к лицу, – грозна эта держава, пути ее неисповедимы, ты букашка перед нею, козявка, ничто, и не преодолеть, не перебороть этого чувства. Может быть, только Сабуров чувствовал себя иначе. На первом месте у него было сознание того, что он вступил на землю, где родился, на землю, которую мог бы и теперь называть родиной, если бы… да, если бы… Он был весь во власти воспоминаний, раздумий, он волновался совсем по иному поводу, чем его спутники.

Им вернули документы. Они проехали Выборг, много селений, поселков, скоплений дач, и наконец Юджин Росс неторопливо ввел фургон, сработанный в Англии, в улицы Ленинграда. Была вторая половина апреля, голубого, чистого, весеннего неба солнце проливало на город свое тепло, его лучи слепяще отражались в лужах, в стеклах окон, в очках пешеходов.

Медленно навстречу фургону плыл большой, красивый и великий город. Клауберг и Сабуров не успевали ворочать головами по сторонам. Ленинград! Да, Ленинград. Вот, конечно, Нева, ее мосты, Петропавловская крепость, дворцы на набережных. Сюда, сюда рвались они оба осенью 1941-го и весь 1942-й. Они должны были спасти из-под развалин тысячи полотен лучших мастеров мира, тысячи скульптур, гектары уникальных паркетных полов, настенных росписей, фресок, всяких иных сокровищ. Но где же те развалины? Где хотя бы один разрушенный дом, хоть одна пробитая или исщербленная осколком стена?

Им объяснили, как добраться до гостиницы «Европейская». В «Интуристе» их уже встречали. Сабуров с трудом дождался, когда будут выполнены необходимые формальности, когда каждому из них укажут его комнату, побрился электрической бритвой, помылся, переоделся и тогда вышел на улицу. Воспоминания были смутные, но он не мог не узнать Невский проспект, каланчу Городской думы, Гостиный двор, шпиль Адмиралтейства вдали. Он

бродил, как лунатик, не в силах остановиться и вернуться в гостиницу, где его, может быть, ждали к ужину. На улицах было светло, несмотря на поздний час. Он нашел Казанский собор, за ним – Исаакиевский, посмотрел на Медного всадника. Но где же Английский проспект? Где площадь Покрова, ставшая Тургеневской? Четверть века назад он так рвался дойти до них, увидеть их. Немцы тогда не помогли ему осуществить мечту. Более солидной фирмой оказались вот англичане. Он должен воспользоваться счастливым случаем и во что бы то ни стало найти места, связанные с его детством.

Расспрашивая прохожих, он не без труда установил, что Английский уже не Английский, а проспект Маклина, но кто такой Маклин, сказать ни один человек ему не смог.

На «свой» проспект Сабуров вышел со стороны Мойки и очень скоро отыскал знакомый дом. Он узнал его, сразу узнал. Их фамильный особняк был цел и невредим и даже, видимо, несколько лет назад заново перекрашен. Но он не показался таким огромным, внушительным дворцом, каким виделся в те времена, когда Сабуров был маленьким мальчиком. Обычный дом, каких вокруг не один. И в то же время нет, не обычный. Вот из этого подъезда, сохранившего прежнюю массивную дубовую дверь, выходили его мать, его отец, они садились здесь в автомобиль, отправляясь в театр или на бал. Степенно позади них шествовал швейцар, Степаныч, распахивал дверцу автомобиля и затем осторожно захлопывал ее; оглаживая бороду, он так же степенно возвращался в вестибюль, охранять жилище известного сановника России. Из этой же двери выбегал на улицу и он, Петя Сабуров. Правда, чаще его выпускали через другую дверь, туда, в сад, разросшиеся кроны деревьев которого поднялись высоко над каменной, все скрывающей со стороны улицы стеной.

Сейчас в их доме было какое-то учреждение, и Сабуров не решился войти в вестибюль. Да и зачем входить, что он там хочет увидеть?

Он двинулся в сторону площади Тургенева, бывшей Покрова. Совершенно точно, там не было никакой церкви, а значит, и не было той книги, в которой в 1907 году учинили запись о рождении ребенка мужского пола у тайного советника Сабурова.

В гостиницу он возвратился, уже едва волоча ноги. Взять такси или сесть в троллейбус Сабуров не мог, – у него не было для этого советских денег, в город он выбежал, не поменяв свои доллары и фунты на рубли.

Клауберг его уже давно ждал.

– Лирические всхлипы, синьор Карадонна! А нам надо заниматься делом. С утра придут здешние люди, будут спрашивать, что нам надо, чего мы хотим в Ленинграде. Давайте-ка составим четкий план.

– Но он у нас уже есть. Эрмитаж. Русский музей, город Пушкин…

Когда Сабуров назвал «город Пушкин», оба невольно подняли друг на друга глаза. Город с этим названием им обоим был очень знаком. Они прожили в нем, в двадцати километрах от центра Ленинграда, не один месяц.

– У нас есть лишь общие контуры,– ответил Клауберг.– Необходимо их детализировать.

– Для этого следует…– Сабуров увидел на столе вечернюю ленинградскую газету, взял ее, развернул. Ему в глаза бросился снимок какихто кирпичей и набранное крупным шрифтом слово: «Клад». В заметке под снимком сообщалось, что, разламывая кирпичную стену в одном из помещений Гостиного двора, рабочие нашли несколько пудов золота в слитках. На снимке, товарищи читатели, вы видите эти золотые бруски. Удалось установить, что в указанном помещении до революции располагался ювелирный магазин такого-то. С приходом Советской власти хозяин, очевидно, спрятал свое золото, а обратно взять уже почему-то не смог.

Клауберг тоже пробежал заметку глазами.

– Здесь порыться, в этом бывшем Петербурге,– сказал он.– копи царя Соломона перед ним будут ничто. Все, что было в России ценного, все сюда тащили, в град стольный. А много ли из этого удалось беглецам прихватить с собой за границу? Ну, вот твои родители, тоже, наверно, бросили здесь свое добро? – Он сказал это вполголоса, оглядываясь по сторонам.

– Не знаю,– ответил Сабуров.– Никогда не интересовался. А сами они о таком не говорили. Слушай, составь-ка компанию, сходим, тут недалеко, взглянем на это помещение, где золото нашли.

– Зачем? Какой смысл? Все равно уже оттуда все выгребли. На нашу с тобой долю вряд ли что осталось.

– Без особого смысла. Просто так.

Сабуров не смог бы ответить, почему ему захотелось увидеть место, где случайно нашли золото, спрятанное в годы революции. Возможно, что этот выплывший из далекого прошлого клад как-то возвращал и его, Сабурова, в те времена, когда хозяин магазина спешил упрятать свои ценности от революции; что-то общее и в судьбе этого золота и в своей собственной судьбе почуялось Сабурову.

Клауберг отказался идти, сказал, что лучше он заляжет спать и как следует выспится. Сабуров пошел один. Было уже часов одиннадцать, но Невский кипел народом, сверкал огнями. Сабуров пересек его и, огибая Гостиный двор, стал искать помещение номер такой-то, напротив бывшего Пажеского корпуса. Помещение за номером таким-то он нашел. Но увидеть ничего не смог, и не потому, что уже было сумеречно, а потому, что вся стройка оказалась отгороженной от улицы забором и завалена внутри кирпичным и деревянным хламом. Зато Сабуров отчетливо вспомнил, что именно сюда, напротив Пажеского корпуса, в ювелирный магазин такого-то, он приезжал в автомобиле с отцом и с матерью, когда отец ко дню рождения матери заказывал не то серьги, не то часы на цепочке, не то еще что-то подобное. И вновь Сабурова до боли в сердце охватили мучительно острые воспоминания. Будто бы все было только что, совсем недавно, и вместе с тем от того, что некогда было, не осталось ни песчинки, ни пылинки, которую можно было бы ощутить физически. В самом деле, для памяти о своем детстве, о своих родителях, даже о жизни не только в Петербурге, а и в Кобурге у него не сохранилось ни единого предмета. Это было возмездием за то, что он, русский, поднял руку на Россию, на русский народ, за то, что вместе с немцами пошел против своей

родины. И что получил? Опустошение в сердце, полнейшее опустошение. А русские? Для них как бы ничего и никого и не было – ни каких-то Клаубергов, ни каких-то прислуживавших Клаубергам Сабуровых, ни Гитлеров, ни Розенбергов.

– Господин, вы иностранец? – услышал он голос возле себя. Рядом стоял молодой человек лет двадцати и пытался говорить по-английски.

– Да,– ответил Сабуров по-русски,– иностранец. Но не утруждайте себя, я хорошо знаю ваш чудесный язык.

– Иностранцы редко знают русский. А еще реже говорят о нем, что он чудесный.

– У меня среди предков были русские. От них я и получил такое наследство. Чем могу служить?

– Да нет, я просто так. Вижу, рассматриваете все, интересуетесь. Так, как вы, по Ленинграду обычно бродят лишь иностранцы. Увидел вот и спросил.

Сабуров вспомнил вычитанное в Лондоне из газет. Все иностранные туристы пишут о том, что в Москве и в Ленинграде к ним подходили советские молодые люди и просили продать плащ, кашне, перчатки, все равно что, лишь бы заграничное, с броской этикеткой. Он спросил:

– Что-нибудь хотите у меня купить?

– Нет, что вы! – Молодой человек смутился. – Если вы так поняли, то извините, пожалуйста. Конечно, вы правы, на улицах знакомства не заводят. Нет, я думал, вам что-нибудь объяснить надо, показать. Может быть, вы дороги не знаете.

Теперь неловко почувствовал себя Сабуров.

– Нет, это уж вы меня извините. Не так о вас подумал. Начитался, знаете, в нашей прессе всякого.

– Да, о нас много врут. Ходят, смотрят, мы все показываем, икру нашу едят, а потом к себе приедут и сочиняют всякую нелепицу.

Они медленно шли вдоль Гостиного к Невскому.

– А что фотографируют! – продолжал молодой человек.– Или Неву, Петропавловскую крепость, соборы всякие, или очередь за чем-нибудь, некрасиво одетых женщин, пьяного, завалившегося на садовой скамейке. А настоящая жизнь проходит мимо ваших объективов. Иной раз думаешь – едут к нам, а зачем едут, чего от нас хотят? И не поймешь, зачем и чего.

– Я, например, молодой человек, приехал для того, чтобы одно солидное английское издательство смогло выпустить альбом репродукций древнего русского искусства, – сказал Сабуров.

– Вот это хорошо! – ответил молодой человек.– Это конкретно. Но жаль только, что опять древность. А современную бы жизнь… У нас же много интересного.

Они вышли на Невский.

– В Ленинграде,– продолжал молодой ленинградец,– гидротурбины строят по пятьсот и более тысяч киловатт, корабли какие спускают на воду, оптика замечательная. У нас в Ленинграде есть все. Это город-лаборатория. Вы у нас раньше никогда не бывали?

– Нет, не случалось. А что, вы здесь и родились, в Ленинграде?

– Да, здесь. Вскоре после войны. Мой отец всю войну провел на Ленинградском фронте. В снятии блокады участвовал.

– Кем же он был, интересно?

– До войны лаборантом работал в научно-исследовательском институте. В войну стал артиллеристом. А потом, после войны, я еще не успел родиться, за месяц до моего рождения, умер от инфаркта. Молодой совсем – тридцать три года. У нас здесь было очень трудно. Мама рассказывала, мертвые на улицах так и лежали. Упадет от голода – и конец. Да еще немцы бомбили, из орудий каждый день обстреливали. Такой подлый народ – по госпиталям, по детским яслям, по трамвайным остановкам, когда люди на работу или с работы ехали.

Сабуров знал о том, о чем ему рассказывал молодой человек. Но знал в освещении той, другой стороны-. Он хорошо помнил тогдашние высказывания немцев в офицерских казино Пушкина, Петергофа, Стрельны. «Удачно мы врезали большевикам вчера! Еще одно осиное гнездо разбили в прах». «Они там своих красных не успевают хоронить. Экскаваторами стали могилы рыть, сразу на тысячу мертвяков». «К весне войдем в город. Ко дню рождения фюрера ни одной комиссарской сволочи там уже не останется. Без выстрела войдем». И вот он слышит другой голос, другие слова: мама, папа, город-лаборатория, не надо ли вам показать дорогу, не заблудились ли вы. Значит, каких же большевиков разбивали Клауберги в прах, каких красных, какую «комиссарскую сволочь»? Отцов таких вот милых, добрых, общительных ребятишек.

– Мы пришли, – сказал он, останавливаясь у подъезда гостиницы. – Я живу здесь, в этом отеле. Был рад познакомиться.

– И я,– ответил молодой человек.– Знаете что,– добавил он, поколебавшись мгновение. – У вас, конечно же, есть фотоаппарат. Не тратьте зря пленку, снимайте подлинное, настоящее. Его у нас очень много. А не случайное. Я, знаете, даже письмо писал в наши руководящие организации, предлагал выпустить специальный фотоальбом, в котором были бы собраны все наши недостатки. Наснимали бы пьяных на улицах, всяких очередей, луж на новостройках, помоек, трущобных домов… Все бы подобное.

– Зачем? – удивленно спросил Сабуров.

– А затем, чтобы, когда иностранный турист приезжает, ему бы сразу в гостинице и вручали со словами: «Сэр или леди, не извольте утруждать себя и зря не изводить вашу высокоценную заграничную фотопленку. Вот вам все, обычно и непременно вас интересующее и привлекающее».

– Остроумно! И что же вам ответили? – Еще пока не ответили.

Они распрощались, и Сабуров отправился спать. Лежа на мягкой постели в комнате с очень высоким потолком, он смотрел на прямоугольник окна, освещенный ярким уличным фонарем, и раздумывал об этом молодом человеке. Кто он? Студент ли, бродящий по улицам перед зачетами? Влюбленный ли, к которому не пришла на свидание его девушка? Что он не прожигатель жизни, это совершенно ясно. Серьезный, воспитанный. До крайности неудобно перед ним за дурацкий вопрос: не хотите что-либо купить?

Вот доверься свидетельствам очевидцев!… Значит, против таких вот молодых советских граждан идут войной те, кто послал с группой Клауберга и эту мисс Браун? Значит, секс-бомбы, лохматые, немытые гитаристы, западное кино – все иные элементы «наведения мостов» имеют одну цель: растлить цельные молодые души людей Советской России и так демонтировать коммунизм? А на что это ему, Сабурову? Он однажды уже занимался «демонтажем» – в рядах гитлеровских войск. Он хорошо получил по физиономии. Нет, пусть мисс Браун на него не рассчитывает, он ей не соратник, прозревать в ее понятии он не собирается. Он будет заниматься только своим прямым делом. Вот так.

Наутро, после завтрака, они встретились в гостиничном холле с разбитной девицей, у которой, как у лондонских продавщиц, были густо накрашены синим веки; одета она была в более чем короткую юбчонку, то же дешевого пошиба, как у тех продавщиц, очевидно, являвшихся ее эстетическим идеалом.

– Итак, господа,– заговорила девица на плохом английском. – Я ваш гид, буду сопровождать вас по интересующим вас местам. Вы находитесь в Ленинграде, он занимает площадь… его население составляет… войны здесь было… после войны стало…– Она бойко, очень бойко называла цифры, сравнивая то, что стало после, с тем, что было до, смотрела при этом в угол комнаты под потолок, где ровным счетом ничего не было.

– Хорошо, – остановил ее наконец Клауберг, – просто замечательно все то, что вы нам сообщили. Но вы не сказали, специалист ли вы по русскому искусству и вообще знаете ли искусство?

– Как любой из нас, кто оканчивает институт иностранных языков. Мы обязаны знать все.

– Ясно,– сказал Клауберг Сабурову по-немецки.– «Посмотрите направо», «посмотрите налево». Русский вариант среднеевропейской гидессы.– И отправился в «Интурист» добывать специалиста.

День пропал. Зато назавтра они встретились с почтенным старцем, сотрудником Эрмитажа, специалистом, знатоком. Тут и Клауберг и мисс Браун, не говоря о Юджине Россе, отошли на второй план: все беседы со старцем вел Сабуров. Много ценного показал им старый человек и в Эрмитаже и особенно в Русском музее. Сабуров делал пометки, передавал их Юджину Россу, а тот, имея соответствующие разрешения, выхлопотанные у советских организаций через органы ЮНЕСКО, все, отобранное Сабуровым, фотографировал специальными фотосъемочными аппаратами на специальную пленку. Держать и направлять осветительные приборы ему помогали и Клауберг и мисс Браун. Главным в группе, само собой так получилось, стал на это время Сабуров. Он распоряжался, его распоряжения беспрекословно выполняли.

Старик был знающий. Он знал не только искусство, он знал историю и истории. Он, оказалось, еще в революцию участвовал в национализации ценностей, предметов искусства.

– Вы не представляете,– говорил он, забывая, с кем ведет разговор, – какие богатства накопила к тому времени наша российская знать и наша буржуазия! Юсуповы, Шереметьевы, великие князья из дома Рома новых, сами Романовы – чего только у них не было! Тициан, Рембрандт, Рубенс, даже Леонардо да

Винчи! Но вот русской старины – ее, представьте, было меньше, несравнимо меньше, чем приобретенного на Западе. Все везли из Европы. Этакое дремучее российское низкопоклонство перед вами, западниками, сказывалось. Русской стариной не многие, нет, не многие владели. Вот, помню, пришли мы в один особнячок на Английском проспекте… Не солгать бы, сабуровский, что ли…

– Чей? – переспросил Сабуров, чувствуя, каким жаром охватило все его тело при этих словах.

– Сабурова, помнится, Сабурова,– говорил старик, не замечая волнения своего собеседника.– Вельможа был такой, столыпинский приспешник. А до Петра Аркадьевича Столыпина Сабуровы эти вокруг самого Победоносцева крутились. Так вот, там, в сабуровском особняке, кое-что из нашей старины обнаружилось.

– И цело было?

– Поначалу тряханули разошедшиеся солдатики да всякие погромщики – и такие были в революцию-то. Но вскоре мы все взяли на учет, под надежную охрану. Товарищ Ленин, Владимир Ильич, лично следил за тем, чтобы российские богатства не пошли на ветер. Да, цело было, сохранялось. Оттуда мы передали в музеи препорядочно. Не без толку и не без вкуса собирали Сабуровы русскую нашу старину.

– Очень, очень интересно.– Сабуров изо всех сил скрывал волнение. – А нельзя взглянуть на то, что было найдено у Сабуровых?

– Теперь трудно сказать, которое откуда. Но я наведу справки, постараюсь. Учет был, конечно. Описи надлежащие. В архивах хранятся.

Уже назавтра старик повел Сабурова к двум старым, почти черным иконам, размещенным в Русском музее.

– Вот они, сабуровские. В описи сказано, что обе они принадлежали лично графине Орловой, которая… вы этого не знаете, конечно… с новгородским архимандритом Фотием любовь крутила. У графини этой их каким-то путем и выманили Сабуровы. А графиня, своим чередом, получила драгоценные иконы от обожаемого ею Фотия. А к Фотию, есть свидетельства, длиннейшими путями шли они чуть ли не от самого Аввакума. А уж к тому как пришли, никто не ведает.

Помнил ли Сабуров древние доски, покрытые лаками и, возможно, находившиеся в спальной его родителей? Да, там были иконы. И не одна. Но эти ли? И не легенда ли уж то, что они из особняка Сабуровых? За полвека чего люди не напридумывают по поводу любой вещи, тем более если это касается икон. И все же перед ними было отрадно постоять. На них Сабурову виделись не лики святых, а лица родных и близких и далекая, далекая ушедшая жизнь.

Старик водил зарубежных гостей по церквам. Вместе с ним побывали они в Гатчине, в Петергофе, в Пушкине.

В Пушкине Сабуров и Клауберг оставили его с мисс Браун и Юджином Россом, а сами отправились, как они сказали, осматривать парки. Они ходили по Екатерининскому дворцу, поражаясь, насколько тонко и точно воспроизводилось реставраторами уничтоженное в войну, как тщательно восстанавливались залы дворца советскими мастерами. Могилы эсэсовского

генерала в парке близ мраморной часовни, которую Александра Федоровна строила для надгробья Распутину, они не нашли, как не нашли и ни одной другой немецкой могилы. Все сровнялось со временем и заросло кустарниками и травой. Никаких следов от пребывания чужеземцев на этой цветущей земле не оставалось.

В одной из комнат дворца, в так называемой опочивальне Марии Федоровны. Клауберг тихо ткнул под бок локтем Сабурова и спросил:

– Помнишь?

Сабуров помнил. Он помнил скандал, который разыгрался однажды по поводу этой опочивальни. Шла зима сорок первого – сорок второго годов, первая зима под Ленинградом, студеная, страшная, бесперспективная. Солдаты лежали в траншеях, офицеры мерзли в домах города Пушкина и каждую минуту ждали снаряда в крышу. Дворец тогда был еще цел, хотя многое из его внутреннего убранства русские успели увезти перед отступлением и совсем немалое уже поспешили растащить команды Розенберга, Геринга, Риббентропа и самого Гитлера. В управлении дворца по-прежнему оставалось несколько русских служащих. Среди них была очень старая дама, которая пришла в управление еще во времена графа Фридерикса, министра двора его величества. Она находилась здесь и при Временном правительстве, и Советская власть не лишила ее этого, любимого ею места. Были и еще сотрудницы – и старые, и помоложе, и вовсе молодые. Одна из них приглянулась генералу СС, группенфюреру Гиммельхеберу, и высокий покровитель увез ее не то в Гатчину, не то в Нарву. А среди зимы пришло вдруг распоряжение: натопить покои Марии Федоровны, прибудет какое-то начальство. И прибыл вот этот генерал, с этой молодой русской, старая дама была вне себя. «Нельзя, нельзя, недопустимо, чтобы в нашем дворце, в нашем музее, да, да, в музее, открывался публичный дом! Проститутка в музее! И вообще нельзя валяться в опочивальне Марии Федоровны. Это вам не спальная обывателей. Это – произведение искусства. Сама Мария Федоровна никогда в ней не спала. Во время пребывания двора в Царском Селе она жила в Павловске».

Старая дама бегала даже в гестапо с протестами. Над ней всюду только хохотали. И тогда она надавала по щекам той, которая осквернила музей. Удивительно, но ей это сошло с рук. Генерал СС сказал: «Что ж, мадам, очевидно, права. У них здесь свои порядки со времен русских царей; и вмешиваться в эти порядки я не буду. Еще не хватало мне баб разнимать. У меня своих дел достаточно». Потом он погиб при артиллерийском налете русских, и Клауберг с Сабуровым присутствовали на его похоронах. Где та старая мужественная дама и где та потаскуха, спавшая с Гиммельхебером в постели царицы? И где все те, с кем вместе зимовали тогда суровой, несчастной зимой Сабуров и Клауберг? Все сдуто ветром истории. А русские?… Русскими полны парки, полны залы дворца, улицы вокруг него, кафе, буфеты. Все гуляют, смеются и ведать не ведают, что среди них в этот час ходят двое из тех, кто приходил в эти места с намерением – один вернуть себе утраченное в революцию, другой – чтобы приобрести для фашистской Германии колонию на Востоке, превратить ее народ в рабов.

Когда они вернулись к фургону, старик сказал:

– Весьма сожалею, что не смогу показать вам собрание икон последней царицы, Александры Федоровны. Не знаю даже судьбы этого собрания. Может быть, оно погибло. Александровский дворец был разорен дотла. Немецкие свиньи устроили в нем казарму, да, видно, проспали со своего шнапса и не уследили за печками, устроили пожар, все сожгли. А собрание было богатое. Несколько сотен икон. Они занимали все стены в спальной от потолка до пола. Правда, как всегда, когда дело имеешь со старым искусством, среди них было много и хламу, подлинные ценности в него лишь вкрапливались. Но вот нет ни того хламу, ни тех ценностей – ничего. Немцы, немцы! Господа фашисты! Пишут, что они вновь там бряцают доспехами, в Западной Германии. Съезды, слеты устраивают, неонацистскую партию создали. Нельзя же допускать этого! Как беспечно вы на своем Западе смотрите на это, удивляюсь. Я всю блокаду провел в Ленинграде. Это ужасно, господа. Неужели и вы хотели бы испытать такое? Испытаете, если и дальше будете беспечны. Задумайтесь над этим.

19

Юджин Росс скорым ходом по весьма приличной дороге гнал фургону до Пскова – старинного города, красиво расположенного над рекой Великой. В Пскове пообедали, полюбовались кремлем, его стенами, главами собора, отражавшимися с береговой крутизны в зеркально тихой воде, а дальше, решительно усевшись за руль, повел машину Клауберг. Он никому ничего не сказал, и никто его ни о чем не расспрашивал, но Сабуров понял, что дорога Уве знакома. Да, конечно, она ему знакома: Клауберг бывал здесь, наверно, не раз после того, как перебазировался из-под Ленинграда; его же тогда перебросили, помнится, именно в эти места, ближе к Прибалтике.

Клауберг знал, где следовало свернуть с Рижского шоссе вправо, на менее хорошую дорогу. Он не остановился возле древних осыпавшихся крепостных стен и башен на высоком обрыве над широченной речной поймой.

Никакого интереса останавливаться там у него и быть не могло. Его спутники не знали, а он-то знал, что поблизости от этой Изборской крепости древних россиян немцы, отступая в Прибалтику, оставили свое кладбище, в могилах которого немало знакомых и приятелей Клауберга закопано почти рядом с могилой легендарного скандинава, якобы приглашенного русскими для управления их страной,– некоего Трувора. Когда-то обо всем этом Клаубергу рассказывала молоденькая эстонская учительница, белокурая фройлен Эльга, с которой он проводил приятные ночи в Печорах, как раз там, куда он вел сейчас фургон с его подремывающими спутниками. В Пскове к их группе добавился специалист по истории местного края; но он занят своим, ни на что и ни на кого не обращает внимания. Он только сказал Клаубергу:

– Вы прекрасно ориентируетесь на местности и ведете машину так, будто бы не раз здесь бывали.

– О,– откликнулся Клауберг, поняв, что совершает ошибку, не спрашивая поминутно о дороге, – у вас в Советском Союзе очень четко расставлены

дорожные указатели. Трудно сбиться с пути.

В Печорах он уже поостерегся демонстрировать свою осведомленность. Остановив машину на небольшой площади, он сказал:

– Указатели кончились. Все. Теперь только на вас надеемся.

Псковичпривел их к низким сводчатым воротам, которые, подобно туннелю сквозь крепостной кладки монастырские стены, вели в глубь монастыря. На деревьях парка, там, за стеками, и тут, снаружи, отчаянно кричали грачи, суетясь в своих гнездах, черными гроздьями навитых среди ветвей, пахло теплыми, радостными, весенними запахами.

Монастырь располагался не на возвышенности, как было обычно в старину, дабы поудобней обороняться от врагов, а напротив – в низине. Стены его со склонов спускались на дно глубокого оврага, туда же вели и дороги, и там же, на дне, таинственно, сказочно пестрели синие, в золотых звездах, церковные купола и ярко зеленели железные кровли монастырских строений. Специалист из Пскова рассказывал о том, что в древние времена окрестное население в этот овраг ходило лечиться. Где-то тут лежал да, кажется, и сейчас лежит камень ледникового периода. Он особенный камень. Ему приписывали силу исцеления от болей в животе. Полежи на камне – и все пройдет. Позже, в песчанике, в котором пробил себе дорогу ручей, так и называемый – Каменец, выдолбили пещеры, ходы, переходы, соорудили катакомбы и подземные храмы. А при известном господам иностранцам царе Иоанне Грозном это все обнесли стенами в десять метров высотой, и так образовался поистине неприступный Псково-Печорский монастырь-крепость.

– За все время существования монастыря враги захватывали его один лишь раз. – не без гордости заключил псковича,– И то изменнически. Постучались в ворота заблудившиеся люди, им открыли. А это оказались шведы. Получив пристанище, они перебили ночью охрану у ворот и впустили в монастырь свое войско. Единственный раз! А боем взять никто не мог, никогда. Даже Стефан Баторий с его многотысячным войском. Ну, если не считать, конечно, гитлеровцев в минувшую войну. Но то было иное дело.

Клауберг ничего не сказал. Но он мог бы сказать многое. Он ходил по монастырским дворам, вглядывался в окна церквей, жилых покоев духовной братии, особенно в окна того здания, где, сказал псковича, обитает наместник монастыря, некий пресвятой отец.

Да. Клауберг знал это местечко преотлично. Особенно ему запомнился день 28 августа 1943 года. Это был день той самой Успенской богородицы, икону которой прибыла тогда осмотреть верхушка местной немецкой администрации. На монастырском дворе собралось, помнил Клауберг, большое и представительное общество, от гебитскомиссара Плескаугебит, то есть Псковской области, господина Беккинга с супругой до митрополита Литовского и Виленского. возглавлявшего Балтийский экзархат отделившейся от Московской патриархии самостоятельной православной церкви отца Сергия Воскресенского. Были в этом обществе и бывшие русские офицеры, которые после гражданской войны в России превратились в монахов. До этого они служили в войсках Юденича, Деникина. Врангеля и всяких других генералов,

боровшихся против большевиков. Тогдашний приятель Клауберга подполковник Шиммель, возглавлявший в этих местах абверкоманду, а до войны в Кенигсбергской школе готовивший немецких шпионов из русских белоэмигрантов, кое-что рассказывал об этих святых отцах. Клауберг узнал от него, что штабс-капитан Рухленко. послужив после изгнания белых из России во французском иностранном легионе, стал тут в двадцатых годах иеромонахом Филаретом. Бывший врангелевский епископ Вениамин был весьма повышен монастырскими пастырями в духовном звании. Он вознесся до ранга митрополита. Вениамину жилось неплохо. Еще при буржуазной Эстонии он притащил в монастырь, для проживания на покое, вовсе не мужчину, а русскую княгиню Обухову, ставшую монахиней Анной.

– Мадам Обухова – не кто иная, как вдова расстрелянного в годы революции киевского генерал-губернатора. Ей добрая сотня лет, – рассказывал псковитч.

– О! – сказала мисс Браун, оживляясь.– Княгиня и сейчас здесь? А проведать ее нельзя?

– Не знаю, надо будет спросить об этом. Да таких обломков прошлого в монастыре немало. Это как музей живых или полуживых экспонатов. Совсем недавно умер, скажем, представитель известного дворянского рода России Семен Яковлевич Сиверс. Сей господин после революции со стоял в антисоветской организации, которая называлась «Союзом спасения родины». Его судили, он отсидел, а будучи выпущенным, прикатил сюда, заделался схимником и пребывал в каменном мешке. До ста с чем-то лет дожил.

– Сидел? – заинтересовалась мисс Браун. – Потом вышел? Из ваших тюрем, господин гид, не очень-то выходили. Как же это случилось?

– Что значит – не очень-то выходили? – удивился псковитч.– Как срок отбыл, так и выходи! Из ваших, видимо, тоже так. Вы из какой страны?

– Я живу в Соединенных Штатах Америки.

– А! Сакко и Ванцетти! Супруги Розенберг!… И так далее и тому подобное. Электростул – и на небо! Нет, у нас разно бывало, мисс американка. Вы поговорите с местными святыми отцами. Вот здесь где-то путается… может, вот тот, в черной рясе, долговязый, который идет с ведром… Может, он некто Борис Михайлов, осведомитель гестапо времен оккупации, ставший диверсантом после того, как немцев вышибли из Пскова. Схвачен был, когда старался пустить под откос наш пассажирский поезд. Сидел, уважаемая мисс, отбыл срок, стал иноком Аркадием.

Порция Браун непрерывно расспрашивала всех, кто был вокруг, кто попадался навстречу, пыталась беседовать с проходившими мимо монахами. Сабуров все слушал, на все жадно смотрел и поражался тому, что в Советской России сохраняются, оказывается, такие очаги далекого прошлого, как этот монастырь. Зачем они сохраняются в коммунистической стране, он не понимал.

А Клауберг никого и не расспрашивал и ничего не слушал. Он был в прошлом, он вспоминал свое. И Сиверса-то, помянутого псковичем, он помнил, этого отца Симеона, который пребывал в каменной келье, кажется, вот здесь, в скале, справа от Успенской, врубленной в песчаник церкви. И княгиню

Обухову видывал, высохшую, как мощи, древнюю старуху с бессмысленным взглядом. И не в них для него было дело. Его мысль все возвращалась к дню 28 августа 1943 года. Вот здесь, в Сретенской церкви, расположенной как бы на втором этаже каменного, примыкающего к склону оврага сооружения, были расставлены в тот день длинные банкетные столы, за ними разместилось до сотни гостей – и в церковных одеждах и в мундирах различных войск Германии. Кресты – регалии церковников и кресты – боевые награды райха сверкали и сияли в свете церковных огней. Собравшиеся произносили речи, предлагали тосты, пили, закусывали. Чтобы соблюсти видимость приличия, для святых отцов вперемежку с коньячными бутылками на столах были расставлены кувшины с монастырским квасом. Но отцы путали сосуды. Особенно усердствовал тогдашний наместник монастыря игумен Павел, по мирской фамилии Горшков, лет за пятнадцать – двадцать до войны переодевшийся из военного в монашеское. Бывший царский офицер, он перехватил «кваску» и, щелкая каблуками так, будто на них по-прежнему были шпоры, провозглашал не столько тосты, сколько нечто подобное боевым командам.

Кланяясь немцам, гебитскомиссару Беккингу и его величественной супруге, которая под сенью крыл ангелов, парящих в куполах храма, и под взглядами святых с икон разыгрывала на церковной гулянке радушную хозяйку, отец Сергий говорил:

– Особенно радостно мне, господа, что с разрешения рейхскомиссара мы, епископы Балтийского экзархата, собрались на наше архиепископское совещание в эту древнюю обитель, где под покровом матери божьей должны будем решить насущные вопросы, накопившиеся в течение года, который уже миновал со времен нашей последней конференции.

Он тоже, как наместник, отпил «квасу» и продолжал:

– Нашей задачей является разъяснение необходимости борьбы, общей борьбы русского и германского народов против большевизма. Господин окружной комиссар, – степенный кивок в сторону Беккинга, – может быть уверен в том, что мы, возглавляющие русский народ, понимаем наши задачи. В единении заключается великая сила!

Потом все вместе фотографировались на открытом воздухе; богомольцев, обслюнявивших в этот день икону Успенской божьей матери, вынесенной из церкви на волю, к тому времени уже поразогнали с монастырских дворов. После фотографирования на приволье гости группами гуляли среди цветников. Клауберг слышал рассказ отца Павла, этого знаменитого Горшкова, о том, как в Псково-Печорском монастыре получал благословение изменивший красным генерал Власов. По просьбе Власова духовенство призвало свою паству вступать в так называвшуюся РОА – в «Русскую освободительную армию».

Память Клауберга отказывала, за ненадобностью не все вспоминалось достаточно хорошо. Уже смутно помнилось ему то, что рассказывали монахи о некоем Константине Шаховском. Сабуров должен его знать по их совместной с Клаубергом работе среди эмигрантской молодежи в Баварии, но здесь не стоит затевать разговор с Петером об этом. Шаховской, сын известного русского

эмигранта Якова Шаховского, был тогда активнейшим деятелем белоэмигрантского молодежного движения. Он и здесь, в районе Пскова, в Печорах, организовал во время войны свое формирование под крикливым названием «Молодые русские энтузиасты», так напоминавшим «Авангард молодой советской литературы», о котором печется мисс Браун.

Клауберг в те времена работал в разведывательной школе, располагавшейся в тридцати километрах от монастыря, в деревне Печки. Диверсантов и шпионов, предназначенных для засылки в партизанские отряды и в тылы Красной Армии, он вместе с другими инструкторами учил психологии, умению вести разговор так, чтобы собеседник сам тебе все рассказывал, а не надо бы было тянуть из него слова клещами. Несколько десятков русских дуболомов следовало научить хотя бы внешним, первичным навыкам интеллигентности. Это была чертовски трудная задача. Попутно же по поручению доктора Розенберга Клауберг продолжал заниматься еще и тем, что на всякий случай инвентаризировал ценности монастыря: а еще у него была обязанность – получать от печорских монахов сведения об антинемецкой деятельности местного населения.

Монастырь располагал разветвленной сетью осведомителей в черных рясах. Клаубергу запомнился иеромонах Лин, по настоящей фамилии, не соврать бы, кажется, Никифоров, приходский священник Лядского и Гдовского районов Псковского гебитскомиссариата. По призыву своих пастырей он вступил в «Православную миссию» – организацию, специально созданную для сотрудничества с оккупационными властями. Лин подписал обязательство с текстом, тоже памятным Клаубергу: «Я, священник церкви Каменный погост Никифоров Илья Никитьевич, вступая в члены „Православной миссии“, беру на себя торжественное обещание выполнять все богослужения православной церкви, всемерно помогая германскому командованию по выявлению лиц, враждебно настроенных по отношению к немецким властям и мероприятиям, проводимым ими».

Иеромонах Лин-Никифоров использовал все средства, в том числе, конечно, и тайну исповеди, и поставлял немцам немало ценных сведений. Он вовремя сообщил о партизанах в деревне Заянье. Отправленные туда каратели исправно выполнили свое дело. Он же сообщил о появлении партизан в деревне Вейно. Он составил список тех, кто помогал партизанам, и все, помеченные в списке Никифорова, были ликвидированы. В лицо Клауберг увидел Лина в конце 1943 года, когда тот, опасаясь мести соотечественников. примчался в монастырь и обосновался в нем, за его прочными стенами. Кстати, этот попик не был аскетом, толк в жизни понимал. С собой он привел в монастырь сожительницу, весьма аппетитную бабенку.

Под стать Лину был послушник Ефимий, он же некто Кастенков, он же Петров…

Вспоминая перемены фамилий у русских предателей, Клауберг усмехнулся. Это общий удел, очевидно, тех, кто оказывается без родины. Вот и Сабуров, и эти мисс Браун с Юджином Россом,– Клауберг не сомневался, что и у них фамилии заемные. Да и он-то, он!… Почему так смело бывший эсэсовец

Клауберг расхаживает по этой русской земле, где все, что связано с СС, объявлено вне закона на вечные времена? Да потому только, что после пригородов Ленинграда некий Клауберг исчез, перестал существовать. Для работы в разведшколе он прибыл совсем под другой фамилией. В ту пору народился Вернер Шварцбург, а Уве Клауберг умер. Уве Клауберг вне подозрений у русских, по своим спискам военных преступников они ищут Вернера Шварцбурга. Ну и пусть ищут. А в лицо – если кто увидит – время сделало свое дело: от прежнего Клауберга мало что осталось в лице.

Итак, все они безродны и бесфамильны, и он сам, и Сабуров, и все эти другие. И послушник Ефимий был таким же безродным. В 1919 году он служил красноармейцем. Красным своим изменил. Служил Юденичу. Растворился в небытие вместе со всей Северо-Западной белой армией. Пошел молодец служить белоэстонцам. Служил. Потом, когда Эстония вошла в состав Советского Союза, скрывался в монастыре от русских. С приходом немцев нанялся в полицаи, в эсэсовцы– расстреливал советских граждан, причем был способен на такие жестокости, на какие и немцы-то не все были способны.

Как избежал в те времена он, Клауберг, партизанской пули и петли, трудно даже сказать. Видимо, какое-то везение сопутствовало ему в жизни. Пуля и петля были ведь совсем рядом. Зимой 1944 года, когда русские отбросили немцев от Ленинграда и стали двигаться в направлениях на Нарву и Псков, псковские партизаны совершили нападение на деревню Печки, в которой располагалась школа разведчиков и диверсантов. Они захватили одного из главных руководителей школы. Будь той ночью Клауберг в Печках, и он был бы схвачен и увезен на суд большевиков. Но господь бог милостив: ту ночь Клауберг мирно проспал с белокурой Эльгой, утром же был вызван в Псков, где жгли и упаковывали бумаги, и господин гебитскомиссар в присутствии крупных чинов СС объяснил ему, что отныне его задачей является тщательная упаковка и подготовка к вывозу в Германию ценностей монастыря, которые он столь отлично проинвентаризировал минувшей осенью.

– Надо сделать так, господин штурмбанфюрер Шварцбург, чтобы русские монахи, и этот Горшков, их отец Пауль, и там выше – Серж и прочие, думали бы, что мы спасаем их ценности для них, увозим монастырское добро в безопасное от большевиков место. Чтобы все это они делали сами и еще бы благодарили нас. Ясно?

– Ясно, господин гебитскомиссар. Будет исполнено.

Ну, конечно, Клауберг так именно и сделал. Он напугал наместника, отца Павла Горшкова, красными, большевиками, которые, наступая от Ленинграда, истребят всех, кто сотрудничал с немцами. Горшков засуетился, началась спешная упаковка всего, что казалось настоятелю особо ценным. Но Клауберг умело и твердо отсеивал ненужное Германии: брать надо было только самое значительное, только самое дорогое, только внесенное в его списки и уже известное в Берлине.

– Как, два грузовика подо все? – кричал отец Павел. – Минимум четыре, господа, минимум четыре!

Нет, эту Успенскую божью матерь, которой так гордится монастырь,

которая является его главной святыней, даже и с места не тронули, как ни кипятился Горшков. Хотя ее и выносили из церкви в дни наступления Наполеона и она якобы спасла Псков от французских полчищ, тем не менее ценность ее была не высока – ни как произведения искусств, ни как собрания драгоценностей, которые пошли на ее отделку. Оставили «Богородицу» на месте. Вот она и ныне здесь, и по-прежнему ее слюнявят богомольцы, и ежегодно 28 августа, как рассказывает сопровождающий группу молодой пскович, монахи выносят свою реликвию из сумрачного пещерного храма на волю.

И еще одно воспоминание пришло к Клаубергу, пока их группа бродила по монастырским дворам. Он вспомнил последние свои часы в монастыре. Это было летним днем 1944 года. Немцы поспешно отходили от Пскова, по Рижскому шоссе катились волны их отступления. Русские самолеты бомбили и расстреливали бегущих. Клауберг по поручению командования явился к Горшкову. В Сретенской церкви, как раз там, где некогда стояли пиршественные столы и произносились речи во славу немецкого оружия, собралась вся монастырская братия.

– Господа,– сказал им Клауберг! – никакой паники! Немецкая армия отступает временно, по соображениям высшей стратегии. Мы очень скоро вернемся, мы просим вас оставаться на ваших местах и всем, чем вы только сможете, подрывать за время нашего отсутствия силы большевиков. До новой и очень скорой встречи, господа!

И вот она, новая встреча, не очень, правда, скорая, – спустя почти четверть века! Они-то, братия эта, чем могли, тем, наверно, и вредили Советской власти, выполняя наказ немцев, а немцы?… Из немцев вернулся лишь один он. Клауберг; да и то, может быть, напрасно это сделал. Хотя он ныне и не герр штурмбанфюрер, а уважаемый профессор, тем не менее все может окончиться весьма плачевно. Русские – народ решительный, зря эта мисс Браун рассказывает сказки о том, как они одрябли, как переродились и так далее. Этими россказнями она хочет, конечно, убедить своих боссов в том. что их расходы на нее окупаются сторицей. На самом деле никакой дряблости нигде не видно, как не было ее и раньше. Горшков, Никифоров-Лин, Эльза Грюнверк – сожительница святого отца Павла Горшкова – все они или, во всяком случае, многие из них были в конце войны или по окончании ее схвачены красными и отданы под суд. Наверно, их того – вздернули? А главу Балтийского экзархата, который «слишком много знал», пришлось немцам самим «того»… Один из приятелей Клауберга рассказывал ему о том, как с группой СС он ликвидировал этого, ставшего никому не нужным русского митрополита. Эсэсовцы задержали его машину на дороге возле Вильнюса, когда отец Сергий возвращался домой из женского монастыря, и с удовольствием всадили в него несколько очередей из автоматов. Дескать, напали лесные бандиты. Какая-де жалость! Какой преданный Германии, райху был человек!

Воспоминаниям не было конца. Среди других Клауберг вспомнил и еще одного, казалось бы, совсем незаметного, подобного пылинке в мироздании, крохотного, как мушка, ничтожного, но тем не менее вот не исчезнувшего из

его памяти человечка. Не существуй тогда тот человечек на свете, Клауберг не смог бы вспомнить всего, что так хорошо представлял себе сегодня, расхаживая по монастырским дворам. Человечек работал в Пскове корреспондентом русской газетки «Новое время». Это он описал заседание монахов монастыря и офицеров немецкой армии в Сретенской церкви, он сообщал читателям о всяких иных событиях и встречах на псковской земле, знакомил их с биографиями того или иного русского деятеля, подвизавшегося при немцах. Клауберг частенько встречал пишущего человечка то там, то здесь с блокнотом в руках, с вечным пером. До самых тех дней, когда надо было бросать все и спасать свою шкуру, у Клауберга хранилась подшивка газет с его писаниями. Ну как же его фамилия? Лицо – вот оно, невыразительное, в мелких чертах, бледное, с белесыми прядками над лбом, помнится ясно; помнятся глаза, прическа, улыбка. А фамилия? Да, вот она и фамилия! Кондратьев! Совершенно верно – Кондратьев! Где он теперь? Какова его судьба? Тоже, скорее всего, вздернули. Русские не любят прощать предательство.

Оказалось, что раздумавшийся Клауберг давно сидит на скамеечке возле клумб, среди которых, высаживая цветочную рассаду, тихо копошились пожилые женщины, и на утоптанной дорожке чертит ивовым прутиком фигуру, весьма похожую на виселицу. Он поспешно стер вычерченное и оглянулся по сторонам. К нему приближались его спутники. Они побывали в катакомбах, где бывал в свое время и Клауберг. Мисс Браун с восторгом рассказывала о том, как там интересно, какие снимки при помощи блица сделал Юджин Росс. Хотя в пещерах, кажется, и не разрешают фотографировать, он ухитрился сделать дело – у него такая чудесная портативная аппаратура.

– Там гробов, гробов!… -восклицала американка.– Десять тысяч гробов. И не тлеют. Ветка сирени, не увядая и не теряя цвета, может пролежать на камне под землей целый месяц. Удивительно! Некоторые из монастырских боссов уже позаботились о местах для себя. Они распорядились выдолбить именные ниши для своих гробов. Зря вы, господин Клауберг, от нас отстали. Вы прозевали очень интересное.

Сабуров был сосредоточен. В тот день он услышал много знакомых имен и фамилий. И Константина Шаховского, которого знал по Германии, и этой вдовой княгини Обуховой, и родственников Столыпина, посещавших Псковщину во время войны. Если пребывать здесь, в монастыре, если не выглядывать за его стены, можно подумать, что и вокруг все та же Россия, старая, царская, времен его. Сабурова, отца, его деда; богомольная, пахнущая свечами, ладаном, звучащая хорами певчих. Не зря сюда, за той Россией, на поклон ей, когда Печорами два десятка лет владела буржуазная Эстония, съезжались русские эмигранты со всего света. Эти дали, эти косогоры, это небо в белых четких облаках, суровые цветовые северные контрасты, эти стены, звонницы, купола вдохновляли кисть Николая Рериха. Сколько стихов-рыданий, побывав здесь, оставили своим потомкам беглые русские поэты.

У Сабурова физически, тяжело и тупо болела голова от обилия неожиданных впечатлений, от дум, от всего.

Только Юджин Росс, которому в высшей степени было наплевать на российские штучки в виде монастырей, богородиц, неряшливых, нестриженых и небритых типов в черном, населивших это место, щелкал время от времени аппаратом да жевал резинку. «Сукин сын,– думал о нем Сабуров.– Русский ли он или не русский по происхождению.,– по всей своей сущности он американец. Такие толпами шляются по Италии, на все глазеют, но все, решительно все проходит мимо их глаз, мимо их сознания. Паршивые потребители! Не зря их всюду так не любят, хотя и угодливо пресмыкаются перед ними».

20

Тосно… Любань… Названия были знакомы и Клаубергу и Сабурову, Ни тот, ни другой, правда, здесь не бывали. В местах этих им делать было нечего. Но оба слышали о них многократно. Селения с такими названиями лежали на пути от Новгорода к Ленинграду, и сколько раз для въезда по этой дороге в Ленинград уже готовились войска райха, входившие в группу армий «Норд», которой вначале командовал генерал Лееб, а затем, после того как русские отобрали обратно свой Тихвин, генерал Кюхлер. Намывались автомобили генералов, заново окрашивались боевые машины лучших танковых частей, солдатам выдавали шнапс – и все напрасно: Тосно, Любань были, а Ленинграда группе «Норд» достигнуть так и не удалось. Удивительно точной оказалась в этом случае старая русская пословица: «Близок локоть, да не укусишь».

Не ведая о размышлениях двоих из своих спутников, Юджин Росс лихо вел машину по высушенному апрельским солнцем асфальту. Было тепло, но с дороги виделось, что в тенистых лесных оврагах еще лежали пласты осевшего грязного снега.

Сидя рядом с жующим резинку неразговорчивым малым, Клауберг тихо, лишь для самого себя, насвистывал мотив испанской песенки; дорога однообразно и безвозвратно плыла под колеса, под радиатор фургона. Ленинград остался позади. После возвращения из Пскова группа пробыла в городе на Неве еще несколько дней. Чем в те дни занималась мисс Браун, неведомо: где-то шаталась, окруженная молодыми парнями и девицами, ходила в гости к какому-то местному гению, на которого неведомо кто – то ли в Лондоне, то ли в Нью-Йорке – возлагал надежды. Юджин Росс все дни и вечера просидел в подвальчике на главной ленинградской улице, на Невском, где подавали очень ему понравившиеся кавказские национальные блюда, пожирал чебуреки и пил цинандали и кахетинское – вина столь же кислые, как итальянское кьянти. Сабуров – тот, пожалуй, один из всех занимался прямым делом, определенным группе издательством «New World»– А он, Клауберг, пытался проверить два запомненных адреса, о чем ему было приказано в Брюсселе. Но обе попытки кончились неудачно. В первом случае он даже не нашел необходимой улицы – ее просто не было, район перепланирован, старые дома снесены, и через их бывшие фундаменты провели новые магистрали с новыми направлениями, новыми названиями и новыми домами. По второму

адресу искомый человек года два назад умер.

Что ж, он, Клауберг, ни при чем, не он организовывал эту зыбкую сеть, его ответственности в распадении агентуры не было. Он сделал то, что ему поручили, он проверил, он установил – на эти два адреса можно не надеяться, надо думать о новых. Вот пусть и думают, пусть заботятся о них те, кто обязан это делать, люди из Пуллаха.

Колеса крутились, крутились, и вдруг Клауберг как бы наткнулся грудью на нечто непреодолимое. Нарастая, навстречу вынеслось название селения, показавшегося впереди. Это было одно, недлинное, слово, но от него стало жарко и душно. «Чудово! – закричала дорожная надпись.– Чу-до-во!»

Шоссе шло так, что они должны были оставить это Чудово слева, не заезжая в него.

– Остановитесь! – бросил Клауберг, и Юджин Росс резко затормозил у развилки.

С полминуты длилось молчание. Порция Браун озиралась по сторонам, Юджину Россу все было безразлично. А Сабуров, сидевший за спиной Клауберга рядом с мисс Браун, тот, конечно же,– Клауберг не сомневался в этом – догадывался, по каким причинам остановились они перед дорожной табличкой с надписью «Чудово», о тех воспоминаниях, которые заставили Клауберга это сделать.

– Проедем там, – сказал Клауберг, указывая на левый рукав дороги, уходящий в селение.– Оттуда, наверно, тоже есть выезд на наше шоссе. Сделаем небольшой крюк.

Фургон шел через чудовские улицы, мимо домов и домиков; большинство из них были новыми, из свежего дерева и кирпича, и Клауберг не находил глазами того, во имя чего они сюда свернули.

Что же все-таки погнало Уве Клауберга в улицы заурядного русского селения, в котором нет ни крепостей, ни замков, ни церквей с фресками, ничего, чем могло бы заинтересоваться издательство «New World»?

Клауберг хотел увидеть тот низкий, одноэтажный серый дом с множеством окон по фасаду, выходившему на дорогу Новгород – Ленинград. До войны в том здании располагалась школа. Но за несколько осенних и зимних месяцев первого военного года в нем так все истоптали и загадили немецкие войска, искавшие в бывших классных комнатах ночлега, что, когда февральским или мартовским днем в них остановилось переночевать подразделение эйнзацкоманды Клауберга, в которой был и Сабуров, комнаты те скорее напоминали скотный сарай, чем школу. Клауберг и Сабуров пробирались из Новгорода в Грузино, в усадьбу бывшего сатрапа одного из русских царей, некоего Аракчеева. В инструкциях было сказано, что в этом поместье могли сохраниться ценные произведения искусства.

Перед рассветом, когда все еще спали на деревянных нарах, застланных соломой, загорелся вестибюль дома, или, как русские называют, сени. В них, как выяснилось, в щель между досками, со стороны сада, почему и не уследил

часовой, находившийся на улице, была брошена бутылка с зажигательной смесью. Немедленно подняли тревогу и схватили парнишку, бежавшего через огороды и местные плетенные из хвороста заборы. Парнишке было шестнадцать или семнадцать; конечно же, он все отрицал, от всего отпирался. Но один из солдат тщательно осмотрел его ладони и тогда все стало ясным: не кто иной, как этот щенок, бросил зажигательную бутылку.

Мальчишку затащили в школу, и Клауберг, посчитав, что двигаться дальше, не зная, что же ждет группу впереди, опасно и неразумно, решил допросить его, не партизан ли он и не знает ли, где находятся партизаны, и только после допроса отдать негодяя-поджигателя в руки следственных и карательных органов.

В команде, занимавшейся ограблением русских музеев и церквей, специалистов по таким допросам не было. Поэтому солдаты самым примитивным образом били русского парня по щекам своими увесистыми ладонями, а Клауберг лишь повторял по-русски: «Где партизаны? Где партизаны?» Русский молчал, вместе с кровью выплевывая на пол классной комнаты сломанные зубы. Лицо у него было круглое, под глазами и вокруг носа осыпанное мелкими веснушками (да, да, значит, это уже был март, а не февраль, дело шло к весне: веснушки!); глаза его, желтые, как у зверя, злобно смотрели и на тех, кто бил его, и на Клауберга в черном мундире эсэсовского офицера. Попробуй развяжи руки, отпусти его, он тотчас кинется на своих истязателей, он станет кусаться, вытыкать пальцами глаза.

До того дня Клаубергу еще не приходилось не то что убивать людей, но даже просто бить, вот так по щекам, по щекам. Не считая, конечно, мальчишеских драк – в детстве бывало всякое. Но вот так, безоружного, беспомощного, связанного, полностью зависящего от тебя, – еще нет. Клауберг всегда считал себя в высшей степени культурным человеком, до его понимания не слишком отчетливо доходили теории о высших и низших расах; такое теоретизирование он считал необходимым элементом пропаганды среди простого немецкого народа, но интеллигентных людей оно, по его мнению, не касалось. И он морщился, видя, как старательно хлещут русского парня по физиономии исполнительные солдаты команды. Сабуров – тот просто ушел на улицу. Это и понятно, он русский, у него славянская душа, молодой поджигатель – его соотечественник.

Все шло, словом, так, как и должно было идти, пока Клауберг не вздумал поговорить с парнишкой.

– Глупый мальчик, – сказал он почти отеческим тоном. – Ты напрасно молчишь. Ты совершил глупость – поджег дом, в котором отдыхали усталые люди.

– Вы не люди! – наконец открыл рот все время молчавший русский.

– Кто же мы, по-твоему?

– Фашисты, сволочь! – Парень рвался из веревок, из рук солдат к Клаубергу. Солдаты крепко его держали.

– О, о! – Клауберг еще улыбался, но начинал злиться.– Уж не коммунист ли ты с таких лет, мальчик?

– Не твое дело! – резал словами русский. – Когда вас разобьют, когда тебя будут вешать, собака, тогда узнаешь, кто я такой!

– Молчать! – взорвался Клауберг, забыв о том, что он интеллигент. – Я из тебя сделаю свинячий фарш!

И в этот миг его хлестнуло, ожгло по лицу. Парень плюнул ему прямо в глаза. Клаубергу показалось, что он весь в слюне – в ядовитой, все сжигающей, как та смесь из бутылки. Он не отдавал отчета в своих дальнейших движениях. Рука сама выхватила из кобуры «вальтер» и сама три раза подряд нажала на спуск прямо в эти звериные глаза, в эти веснушки, в эту пасть с распухшими, обкусанными губами…

Да, конечно, это было страшно, это было неожиданно. Клауберг кинулся к своему чемоданчику, за одеколоном, чтобы смыть с лица липкую мерзость – слюну с кровью, от которой было солоно на губах. Солдаты поволокли убитого на улицу. А Клауберг все тер свои щеки, губы, веки, и не было ни малейшего чувства сожаления, раскаяния. Напротив, нарастала жгучая досада на то, что он не смог ответить русскому щенку достойным образом. Ответить же надо было чем-то равновеликим, хотя бы такими же плевками в веснушчатую харю. Клауберга мучило, что по этим конопатым щекам бил не он, а солдаты, что парень ушел от него, ушел торжествующий, последним сказав свое слово, зло, надменно оплевав немецкого интеллигента, немца, представителя высшей расы! Вот где вдруг вспомнилось ему все, что об этих расах говорилось в речах и писалось в газетах. Клауберг не мог найти себе места, он метался в запоздалой ярости. И когда несколько часов спустя Сабуров негромко сказал ему: «Зря ты, Уве, это сделал. Пусть бы этим занимались палачи»,– он заорал на Петера: «Русская кровь заговорила! Все вы такие! Верить вам никому нельзя!» Он, конечно, знал, что неправ, и все равно настаивал на своем, кричал, выходил из всяких рамок достойного поведения.

С тех пор – лиха беда начало – он стал другим. Но другого Сабуров его не знал. Клауберга перевели в район Пскова, туда, где они были несколько дней назад, в Печоры, в деревню Печки. При одной из карательных операций в тех.местах, в которой с учебными целями участвовали и его подопечные диверсанты из разведшколы, он застрелил второго русского. Затем был и третий и четвертый… Клауберг стал получать от этих убийств острое, ни с чем иным не сравнимое удовольствие. Его опьяняло ощущение безграничности власти над человеком. Когда у человека связаны руки, когда человек поставлен перед тобой на колени и ты можешь бить сапогом под его подбородок так, что только станет вскидываться с хрустом в позвонках его голова, – это уже не человек. Кто он там – учитель, врач, советский работник? Окончил институт? Университет? Перед тобой он все равно слизняк. Вот я его… раз, раз, раз… и ничего он не может с тобой поделать. Его можно колоть, резать, жечь. Он будет выть, забыв и о своем университетском дипломе, обо всем ином, чем некогда гордился, – об орденах, званиях, степенях. А ты можешь спокойно сидеть перед ним на стуле, и он будет извиваться у твоих ног с перешибленным хребтом.

Это было как страсть к наркотикам, это было во много раз острее их, острее любого алкоголя. Что там коньяк, шнапс, всякое шампанское! Власть,

власть, власть над другим, полная, абсолютная – вот вершина пирамиды человеческих наслаждений. В такие минуты кровь бросалась в лицо Клаубергу; возможно, что у него даже повышалась температура, потому что в теле он ощущал нечто вроде конвульсий: весь дергался, руки, ноги совершали непроизвольные движения.

После экзекуций Клаубергу нужен был не один день, чтобы отойти от них, как от сильного похмелья. Какое-то время он жил спокойно, затем вновь начинало нарастать желание испытать острое чувство. Он не ждал, а искал случая повторять все это еще, и еще, и еще, и до чего бы дошел, может быть, до сумасшедшего дома, если бы Германия не была разгромлена. А тогда все и кончилось, надо было спасать себя, сидеть тихо, не шевелясь, в глухих зарубежных щелях…

Нет, в отстроенном заново поселке Чудово того здания – одноэтажной длинной школы со множеством окон – не оказалось. Все было в нем на этот раз по-другому, не похоже на прежнее, и Клауберг знакомого места не нашел. Но он ощущал, как приливала кровь к его лицу и каким жаром жгло лицо от воспоминаний. Он видел перед собой глаза молодого русского звереныша, и вновь из-под погасшего душевного пепла выхлестнул пламенный язык ненависти, острой ярости – все оттого, что последнее слово оказалось за русским, что русский ушел победителем, оставив его, немецкого офицера, человека высшей расы, жить на земле оплеванным, униженным.

Юджин Росс вел машину медленно, давая Клаубергу получше рассмотреть ничем не примечательное русское селение. По улице шли люди, посматривали на машину иностранной марки, чему-то смеялись. Среди них мелькали лица точь-в-точь такие, как то,– веснушчатые, круглые. глазастые, дерзкие. Клауберг ненавидел их всех до бешенства, до красного тумана в глазах.

– Нажмите, Росс, на свои педали,– сказал он, стараясь быть спокойным.– Ничего интересного здесь нет.– Он ни разу не оглянулся на Сабурова. Он знал, что Сабуров за ним следит и если не все, то многое из того, что происходит в его душе, понимает.

В Клаубергe еще бушевало, ходило горячими приливами, когда впереди показались купола новгородских церквей. Не «Naugard» было написано при въезде, как помнили Клауберг и Сабуров, а «Новгород», и поселиться им пришлось не в кремлевском тереме с расписными сводами, как было тогда, а в гостинице, в грязноватой, с крикливыми коридорными, но все же вполне приличной, даже с горячей водой, не хуже, пожалуй, чем какое-нибудь привокзальное альберго «Принчипе» в Венеции или «Патрия» в Турине. Только там, в Венеции и в Турине, еще и крыс сколько хочешь, а здесь одни лишь мухи, правда, в изрядных количествах.

Началась работа в Новгороде. Сабуров с Клаубергом отправились в музей, пошли по церквам; мисс Браун бродила по улицам, завязывала знакомства с новгородскими девчонками; Юджин Росс искал кабаки. Того, чего бы он хотел, не было. Нашлись два-три ресторана при гостиницах. Но они ему не понравились своей казенщиной. Кто-то сказал, что пусть мистер иностранец сходит в одну из башен Кремля – там-де открылся ресторан со средневековым

колоритом. Юджин Росс отправился на разведку, а затем затащил в старое здание, которое называлось «Детинцем», и всю компанию.

– Если вам не понравится, – сказал он, – я могу, как делают русские, за всех за вас заплатить. А понравится, каждый пусть сам платит. В башне было холодно, темно и тесно. Мисс Браун сказала об этом.

– Средневековье! – Вместо ответа Клауберг пожал плечами. – А чего вы хотели?

– Комфорта, – ответила мисс Браун.– Обычного, нормального человеческого комфорта. А официанта или официантку – как можно скорее.

Посуда в «Детинце» была деревянная – ложки, кубки, чашки.

– Но это же не гигиенично, – опять заметила мисс Браун.

– Средневековье! – теперь уже сказал и Юджин Росс.

– А кому, простите, в конце двадцатого века нужно ваше средневековье! – Мисс Браун рассмеялась.– Притом организованное всерьез. Я бывала в сотнях ресторанов и кафе мира, которые устроены в таких вот башнях, в подземельях, в крепостных стенах. Там все средневеково – стены, полы, балки потолков, двери, окна. Все, кроме комфорта и того, что кладется в рот и при помощи чего это делается. И порядки там не тех давних веков, а современные – быстро, вкусно, предупредительно А тут – где официант?

– Под Королевским замком в Кенигсберге,– заговорил Клауберг,– был замечательный ресторан «Блютгерихт», «Кровавый суд». Он размещался в подземелье, где была камера пыток. В стенах с тех времен торчали железные кольца, висели цепи…

– Топор и плаха в углу! – с язвительностью подхватила мисс Браун.

– Скелет,– добавил Юджин Росс. – Это чисто по-немецки.

– Нет, топоров и скелетов там не было, – обозлился Клауберг. – А был порядок. Немецкий порядок!

– Новый? – Мисс Браун откровенно смеялась.

– И старый и новый, дорогая мисс. Вот когда вы посидите здесь часок-другой в ожидании пищи, то немецкие порядки вы предпочтете здешним.

Сабуров, как ни странно, испытывал неловкость. Ему было стыдно за все то неумелое, неуклюжее, безвкусное, что окружало их в этой башне, что видели они в ней. Для Сабурова и эта мисс и этот Юджин не были русскими, не говоря уж о Клауберге, Русским, как ему думалось, среди всех них был только он, и вот каким-то странным даже ему самому образом именно он нес перед всей этой компанией и ответственность за скверное обслуживание посетителей и полностью разделял эту ответственность с неумелыми устроителями средневекового ресторана. Права проклятая американка: у них не получилось в этой башне ни средневековья, ни современности. А молчаливый Юджин тем временем разговорился:

– Дали бы мне это дело в руки! Я бы устроил им ресторанчик!… Вот там бы в углу – очаг с вертелами. На них на глазах заказавшего клиента жарили бы – хотите – цыпленка, а хотите – целого барана. В эту бы стену,– он похлопал ладонью по камню,– вмонтировал аквариум с живой рыбой. Желаете, сэр? Рыба вылавливается для вас сачком и тут же под жаривается.

– О, это уже есть в отеле «Хилтон» в Афинах! – сказала мисс Браун.

– Что ж, было бы и в Новгороде, – ответил Юджин Росс. – Этих неповоротливых, злобных женщин я бы, конечно, заменил другими, приветливыми, хорошо воспитанными. – Он расписывал и расписывал, и действительно ресторан в старинной башне обретал в его описаниях весьма привлекательные черты.

В последующие дни Сабуров больше не искал развлечений. Вместе с Клаубергом они составили для Юджина Росса список объектов для съемки. В главном куполе Софийского собора Сабуров старался рассмотреть Вседержителя и его сжатую в кулак руку – то, о чем когда-то ему рассказывал доктор Розенберг, как шпаргалкой, пользуясь книгой русского князя Трубецкого, и что не раз видел и сам Сабуров в военные годы. Но фреска сильно пострадала после того, как специальная команда эсэсовцев содрала с куполов собора золотую обшивку, и трудно различались там, в высоте, ее остатки.

– Существует предание…– начал он, обращаясь к сопровождавшему их сотруднику музея.

– Да, – понял тот, – существует. Вернее, есть два предания. Одно, о котором вы хотите сказать, – о том, что как ни старались древние живописцы написать благословляющую руку Пантократора, она все равно складывалась в кулак. Дескать, Русь сильна своей сплоченностью. А второе предание… Вы видели, на кресте главного купола сидит голубь? Он громадных размеров. Это снизу он такой маленький. Так вот, по преданию, стоит лишь голубю покинуть свое место – и Новгороду конец. Но голубь по милости господ гитлеровцев в минувшую войну покидал свое место, а Новгород-то!… Какой город стал! Вам нравится наш Новгород?

– В целом – да, конечно,– ответил Клауберг. – Красивый город.

– Если бы вы видели, что натворили здесь гитлеровцы! Выйдемте на волю.

Вместе с сотрудником музея они вышли из собора. Во дворе Сабуров увидел знакомое крыльцо, знакомые двери, которые вели в Грановитую палату, где некогда было казино немецких офицеров.

– Что в этом здании? – спросил он.

– Если вам захочется, мы потом можем зайти и туда,– сказал сотрудник музея. – Там Грановитая палата, в ней хранятся ценности Новгорода. Евангелия в серебре и золоте, предметы церковного культа из драгоценных металлов и камней. Прекрасные вещи. Видите, милиционер у входа? Охраняет палату, как Госбанк. Так пойдемте на площадь! Вот перед вами памятник Тысячелетия России! Сколько фигур из бронзы! Ценность какая! И все это было разломано, разобрано. Когда наши вступали в Новгород в сорок четвертом, фигуры эти валялись вот тут, тут, вокруг, в снегу. Их готовили к отправке в Германию…

Он мог бы об этом и не рассказывать. Те, кому он рассказывал, как раз и занимались разборкой дорогого русскому народу сооружения. Точнее – один из них, Сабуров, поскольку Клауберг в те дни был в Пскове и готовил к отправке в Германию ценности Псково-Печорского монастыря. Сотрудник музея прав: памятник Тысячелетия России было решено отправить в Германию. Одного

боялся тогда Сабуров, – что там его расплавят на металл. Для немцев русский памятник иной ценности составить не мог. Лишь медь да бронза, а никакое не тысячелетие великой Руси. Для него же, Сабурова?… Он еще полсотни лет назад слышал рассказы отца, который вместе со своими родителями приезжал в Новгород из Петербурга на торжественное открытие этого замечательного творения скульптора Микешина. Торжества, по словам отца, были пышные, шумные. Подумать только – тысяча лет России! Пусть это не два с лишним тысячелетия Древнего Рима или Древней Греции, чем там, на Западе, так хвастаются, но и тысяча лет – это не две недели. У России была славная история, была своя удивительная культура, был свой чрезвычайно ценный вклад в мировую культуру. Бот здесь, в Новгороде, советские археологи откопали мостовые и водопровод, канализацию шести-семисотлетней давности. И письменность древние новгородцы имели. Пусть не на папирусах – на бересте, но имели. Нет, нет, Россия щи хлебала совсем не лаптем. И очень жаль, что неуклюжие люди там, в старой кремлевской башне, весьма неумно поддерживают западные басни об обратном и подсовывают именно лапоть.

Да, ломали, разбирали, демонтировали памятник, а он снова целехонек. Как был, так и есть.

Весенний день угасал, вечерело. Распрощались с любезным сотрудником музея, договорились с ним весь следующий день посвятить осмотру коллекции икон в музее, и в гостиницу возвращались окружным путем, по берегу Волхова.

– Помнишь, тут водолазы работали? – Клауберг кивнул в сторону реки. – Колокола искали. И не нашли. Того информатора, кажется, вздернули за ложное сообщение. А он говорил правду, утверждая, что колокола затоплены в реке. Теперь, видишь, их оттуда достали!

В Летнем саду, на горке, слышался веселый шум, звучал смех, раздавались крики. Они поднялись. На горке была устроена танцевальная площадка. И на ней… Трудно было даже глазам своим поверить… Задрав юбку, на площадке откалывала наипоследнейший американский танец – кто? Мисс Браун! Партнером у нее был старательно повторявший за нею все ее дрыгания пучеглазый парень с челкой до бровей, в красном свитере и выцветших джинсах. Зверская музыка гремела в портативном магнитофоне, который всюду таскала с собой мисс Браун.

Вокруг танцующих теснилась толпа молодежи, особенно много было девушек. Все они старались повторять и запоминать то, что показывала иностранка. При этом мисс Браун, отлично владевшая русским языком, делала вид, будто бы говорит на нем очень скверно, с ужаснейшим акцентом.

– Милии мои,– коверкала она,– это самий модни данц. Он ишшо толка ин Америка. Бат я вас любит, бикоз показывай, шоу, шоу!

– Идиотка, – сказал Сабуров. – Она все провалит. На нас обратят внимание. Надо ее остановить и увести отсюда.

– Не надо.– Клауберг удержал его за локоть.– Она много о себе думает. Америка превыше всего! Она дала мне понять, что у нее свои дела и чтобы я в них не вмешивался. На здоровье! Пусть русские даже ее вышлют. Я буду только рад. И этого болвана могут высылать, который пьет и жрет целыми

днями. Машину и мы с тобой знаем. А сделать снимки нам помогут русские. У них есть прекрасные мастера этого дела. Так что пусть, Петер, она идиотничает. Это ее собачье дело.

21

Спада всем своим поведением подчеркивал полнейшее равнодушие к тому, что делает Лера, чем она занята, куда ходит, с кем встречается. Он тоже стал возвращаться домой не как прежде – после службы, а когда придется, иной раз и далеко за полночь.

– Тебе же все равно,– ответил он ей на одно из ее замечаний по этому поводу. – Ты завела себе свою компанию, тебе круг моих друзей не интересен. Ну, а мне он интересен, мне он необходим.

– Не поступишь ли ты так,– сказала Лера, усмехаясь, – как поступил один тип не то из Йемена, не то из Кувейта, который нашу, вышедшую за него замуж в Москве студентку-комсомолку продал одному из местных князьков в гарем? Ты человек расчетливый – все лишние деньги в дом.

– На вас, русских, таким путем не заработаешь,– зло ответил Спада.– Вы слишком неквалифицированны как женщины.

Это было уже обидно хотя бы потому, что он старался обидеть. А зачем? Почему?

Все чаще и чаще приходили к Лере мысли о том, что она оказалась глупой девчонкой, что она ошиблась, грубо, нелепо ошиблась, поддавшись поверхностному, налетному чувству, дав увлечь себя этому, в сущности, мелкому, пустому человеку. Если задуматься, то не он, не его личность увлекли ее тогда. Нет, конечно. Хотя, по правде говоря, своими мягкими манерами Спада выгодно отличался от ее сверстников: он умел продемонстрировать и подать свою воспитанность так, что это производило впечатление. Что там ни говори, а на фоне готтентотских, студенческих выкриков типа «железно», «до лампочки», «элементарно», «хохма» и всяких подобных речь Бенито Спады, его разговоры привлекали своей содержательностью, интеллектуальностью. Это теперь она стала понимать, что содержательности в нем никакой и нет – все из книг, и ничего своего, а его интеллектуальность – одна видимость интеллектуальности. Но тогда, в Москве… Что ж, она увлеклась, да. Но все равно, все равно, говорила себе Лера теперь, это увлечение не было любовью, оно и было только увлечением; был интерес, было девчоночье любопытство, влекла возможность увидеть иную, новую, непохожую жизнь; причем нисколько в то время не думалось о том, что иную жизнь не просто посмотришь, не просто увидишь, а получишь ее навсегда. И вот она, эта иная жизнь, была увидена, посмотрена и сегодня исчерпывалась, приходила к концу.

Родители Спады хранили строгий нейтралитет. Они видели, что у их сына с невесткой что-то неладно, но ни во что не вмешивались, даже ни о чем не расспрашивали ни его, ни ее.

Напряженность в семье нарастала еще и потому, что в городе, как, впрочем, и во всей Италии, было неспокойно. Из буржуазных газет узнать

что-либо определенное было трудно, они пестрели самыми противоречивыми сообщениями. Но Чезаре Аквароне хорошо разъяснил Лере обстановку. Дело в том, что итальянцы – имеется в виду трудовой народ страны – остро недовольны тем, как их правительство все глубже и глубже втягивает Италию в натовские планы. «Французы вырвались из этой паутины, генерал де Голль оказался достаточно прочной личностью. У нас таких личностей нет, наши правители непатриотичны и покорно, как кролики в пасть к удаву, идут навстречу планам американцев, стремящихся место строптивой Франции заполнить в НАТО услужливой Италией. А мы, между прочим, тоже не пешки, мы не желаем этой темной игры».

Все лучшие гостиницы Турина были заняты в эти дни летчиками НАТО – американцами, моряками НАТО – тоже американцами, связистами НАТО – и те носили форму армии США. Они толпами шлялись по улицам, сидели в кафе и в барах. Военная организация Атлантического пакта проводила на севере Италии свои массовые мероприятия.

Рабочие, часть служащих и интеллигентов стали появляться у гостиниц с плакатами, надписи на которых с полной ясностью свидетельствовали о том, что итальянский трудящиеся были бы рады, если бы натовские гости соблаговолили как можно быстрее вернуться к себе домой, туда, откуда приехали. На улицах усилились наряды полиции, карабинеров; говорили, что уже и армейские части подтянуты к окрестностям Турина.

– Бенито, ты чувствуешь, что происходит? – спросила Лера в один из таких дней.

– Ничего особенного. У нас в Италии любят подымать шум. Это у вас считают, что чем тише, тем лучше. А у нас чем больше шуму, тем демократичнее. Ничего особенного.

– Но натовцы-то съехались, это факт!

– Как съехались, так и разъедутся. Туринцы на них только заработают. У господ американцев достаточно зеленых бумажек, оставят их в гостиницах, в барах, ресторанах, в магазинах.

– Тогда почему же народ волнуется, ваши рабочие?

– Это твои закадычные друзья, сама у них и спрашивай.

– А тебе они разве не друзья?

– Блестящая советская демагогия, мадам! – воскликнул Спада. – Вы все мерите интересами рабочих и колхозников. Надоело! Человечество идет вперед. Времена марксовых изысканий и теорий миновали. Это было сто и более ста лет назад. Сейчас в науке и в технике никто не обращается к Архимеду и Галилею, к Джеймсу Уатту и Маркони при всем почтении к тому, что они некогда совершили. Даже Резерфорд позади, даже ваш Курчатов. А в науках об обществе вы застыли на Марксе, на Энгельсе, на Ленине… Рабочие, о которых вы кричите, давно пере стали быть единственным революционным классом. Революции сегодня происходят всюду: в странах Африки, Азии, даже Америки,– и что, может быть, их там совершают рабочие? Ерунда! Там…

– Если социалистические революции, то да: и рабочие и крестьяне… А если это дворцовые и военные перевороты, где хунты, генералы и полковники,

то таких «революций» по десятку в год можно совершать. Это не социалистические революции…

– …о которых Ленин говорил, что они да здравствуют! Да, да, знаем. Дико, слышишь, дико представить себе, что у нас в Италии, в стране тонкого художественного вкуса, в стране передовой науки и техники, власть может оказаться в руках рабочих, в руках батраков Сицилии и Сардинии. Это же некультурные, темные люди, которых долгими годами надо просвещать. Могу ли я, окончивший два высших учебных заведения, подчиняться таким правителям? Вы же сами ощутили, что это нонсенс: с ростом культуры даже у вас поняли, что так называемая диктатура пролетариата свое отжила. Вы ее отменили, дорогая. А мы и устанавливать не будем. Как-нибудь обойдемся без нее.

В дверь позвонили. Отворить пошел Спада. На лестничной площадке перед ним стояло трое попыхивающих сигаретами людей.

– Компаньо Спада, – сказал один из них.– Мы из партийного комитета. Завтра решено всем выйти на улицу. Надо показать этим натовцам, да и правительству тоже, всю нашу силу. Мы приглашаем и вас.

– Начнем в десять утра,– добавил второй.

– Хорошо, хорошо! -поспешно закивал Спада, – Спасибо, что сказали. Но…– Он замялся.– Могут быть неприятности.

– Ничего. У русских в семнадцатом году неприятностей было больше, да они их не испугались.– Все трое рассмеялись и, так смеясь, стали спускаться по лестнице.

– Вот видишь,– сказала Лера, когда дверь за ними была закрыта,– и не обойтись без рабочего класса. Это же были рабочие, я вижу.

– Положим, тот маленький, который ничего не говорил, совсем не рабочий, он официант из ресторана, я их всех здесь знаю. А что касается «не обойтись», так обойдемся, дорогая.

– Как же?

– Очень просто. Я с ними завтра никуда не пойду.

– Но ведь это же, наверно, партия так решила – выйти на улицы, устроить антинатовскую демонстрацию?

– Ну и что же? Кто решал, тот пусть и идет, а я не решал. Ты что, смеешься! Там голову могут дубинкой проломить. А то и пулю в лоб всадят. Это не для меня. Я против таких методов. Я не руки и не ноги. Я голова, мысль, интеллект.

– Но ты же состоишь в партии! Зачем ты в нее тогда вступал?

– А я в любую минуту могу пойти и заявить о выходе из нее.

Лера годами изучала историю партии у себя на родине. Необыкновенно далекими казались в ту пору события, о которых шла речь в книгах,– непредметными, незапоминающимися. Особенно расплывчато для нее было время после поражения революции 1905 года: какие-то отзовисты, ликвидаторы, примиренцы, газета Троцкого, почему-то тоже называвшаяся «Правдой». Августовский блок – блок кого, почему? Пражская конференция – историческая, положившая конец разброду и шатаниям. Как положившая?

Какому разброду?

И вот перед нею будто бы овеществилось далекое и, думалось, абстрактное. Перед нею воочию сидит ликвидатор, типичный ликвидатор, который разуверился в революционной силе рабочего класса. Он жаждет только легальных, только парламентских форм революционного движения. А революционное ли оно тогда? Нет, нет и нет. Потому-то Ленин с такой пылкостью, яростью, убежденностью и сражался против ликвидаторов, против троцкизма, против Троцкого, вокруг которого роились все они – и ликвидаторы и примиренцы по отношению к ликвидаторам. Сколачивая августовские и иные блоки, они чуть не погубили партию. Потому и оказалась Пражская конференция на самом деле исторической, что большевики порвали тогда со всей этой псевдореволюционной братией, отстояли, спасли чистоту революционных идей.

– Нет, друг мой, ни Маркс, ни Ленин нисколько не устарели и сегодня,– сказала Лера спокойно.– Я вижу это на живых примерах Италии. На твоем примере вижу.

– Да, конечно. Я понимаю,– догадываюсь! – закричал Спада. – По твоей терминологии я ликвидатор, да, да? Оппортунист, ревизионист?

– Ты сам это сказал. Сам почувствовал.

Назавтра Спада не встал с постели. У него болела голова, была температура тридцать семь и две.

Лера сказала, чтобы он накормил Толика, оделась и ушла. День был солнечный, весенний, солнце грело, а ветер с гор нес утреннюю свежесть. По вымытым весенними дождями камням и асфальту улиц шагалось удивительно легко. Лера шла к тому пункту сбора, который вчера назвали посланцы партийного комитета. Очевидно, направляясь туда же, то ее обгоняя, то равняясь с нею, то отставая, шли и другие люди, и чем ближе к месту, тем гуще, внушительней становилась толпа.

На большой площади с памятником посредине Лера растерялась. Она не знала, к кому обратиться. Но обращаться, видимо, ни к кому и не надо было. Разве в этом дело! Важно, что в такой день она с ними всеми, с рабочим классом Турина, с итальянскими коммунистами.

Было еще минут сорок десятого. Люди развертывали транспаранты с надписями против натовских сборищ, против морских американских баз е Италии, против ракетного оружия. Среди этих надписей можно было прочесть и надписи против агрессии во Вьетнаме. В огромном скоплении народа шли всякие разговоры, раздавался смех, слышались шутки. Лере даже показалось, что она в Москве перед первомайской демонстрацией.

И плакаты такие же, и люди такие же, и солнце, и ветер. Но только вот группы полицейских и карабинеров по краям площади нисколько не напоминали московских милиционеров, сдерживавших мальчишек, которые пытались прорваться к Красной площади. Нет, у полицейских тут были винтовки и пистолеты с заложенными боевыми патронами. Поглядывая на них, Лера ощущала тревожный и вместе с тем радостный холодок в спине. Такое ей всегда казалось ушедшим в далекое прошлое, оно досталось дедам, отцам,

матерям. Дети могли им только завидовать. И вот она сама, как в сказке, перенеслась в годы развернутых красных знамен, демонстраций протеста, массовых выступлений народа, заряженных винтовок и пистолетов полиции. Злобный Спада, это Маркс, это Ленин вывели тысячи туринцев на улицу сегодня, а не ты, вообразивший себя чьей-то мыслью, чьим-то интеллектом!

Появились люди с повязками на рукавах, стали организовывать колонны, началось движение колонн по улицам. Взвились флаги над ними. Лера увидела десятки дорогих ее сердцу эмблем на транспарантах – скрещенных молотов и серпов.

Демонстрация текла по Corso Unione Sovetica, по проспекту Советского Союза, до главного вокзала железной дороги, до пересечения с проспектом Виктора-Эммануила II. Колонны проходили мимо гостиниц, занятых натовцами, люди скандировали свои требования, слитным криком повторяя то, что было по-итальянски и по-английски написано на транспарантах. И всюду их сопровождали полицейские и карабинеры, пешие и конные, особенно густо расположенные как раз возле тех гостиниц.

Шествие туринцев длилось несколько часов. Все эти часы Леру несло как на широких, сильных, легких крыльях. В этот день она как бы получала полную компенсацию за все годы бескрылой жизни, тусклого существования рядом с бескрылым, тусклым Спадой. Она разговаривала с соседями по шеренге в колонне. Те были настроены оптимистично, по-боевому, решительно. Если полиция полезет в драку, она свое получит, – в разных вариантах высказывались они, держа в карманах гаечные ключи, внушительные отвертки и всякие иные железины. Замечая ее не очень хорошую итальянскую речь, Леру спрашивали, откуда она, из какой страны. Ей не хотелось, чтобы люди узнали, что она русская, советская: вдруг в такой горячей атмосфере они начнут выражать свои симпатии к ее родине; провокаторы обрадуются возможности раздуть очередную истерию с «рукой Москвы», которая-де вмешивается в итальянские внутренние дела. И Лера кое-как выкручивалась, лишь бы не сказать правду. Неожиданно к ней подскочил человек, в котором она узнала остроносого социалиста Луиджи.

– Синьора Васильева!-закричал он радостно.– Как замечательно, что вы с нами! Сегодня идут решительно все. И коммунисты и те социалисты, которые не пожелали изменить рабочему классу во имя грязных интриг своих боссов. И партизаны Сопротивления. И беспартийные. Такой день, такой день! Эммануэле! Пеппо! Пьетро! – орал он до тех пор, пока наконец Леру со всех сторон не окружили ее знакомые. Даже Чезаре Аквароне появился. Восторженный Луиджи объяснял всем желающим:

– Это же русская, советская синьора! Товарищ Васильева из Моск вы. Она с нами, понимаете!

Леру обнимали, жали ей руку, хлопали по плечам, угощали грецкими орехами, с хрустом раздавливая их в железных ладонях, несли в бутылках апельсиновую воду, дарили значки, шариковые ручки, перочинные ножи и брелоки для ключей к автомобилям.

– Куда же я это все дену! Ну зачем, зачем, товарищи!… О мамма миа!

Кто-то сбегал в соседнюю лавчонку и купил мешок из нейлоновой сетки. Все подарки повпихивали туда. Кто-то понес за Лерой этот мешок.

Начали петь «Катюшу». Потом «Подмосковные вечера», и, наконец, сминая все остальное, разрозненное, над колоннами вспыхнуло и поплыло, нарастая, «Смело, товарищи, в ногу!».

Перед Пьяцца Кастелло демонстрантов встретил плотный строй полиции.

– Господа! – прокричал полицейский офицер, сидя на танцующей лошади. – Прошу повернуть обратно, и на сегодня вашего марширования достаточно. О ваших требованиях, кому надлежит, уже известно, и теперь дело властей, внять этим требованиям или нет. Идите по домам, выпейте по стаканчику вина и успокойте нервы.

На него засвистели, зашикали. Конь еще горячее заплясал, защелкал копытами о камни. Демонстранты нажали на строй полицейских, и он распался. Лера уже была готова принять удары дубинок, услышать выстрелы. Но ей нисколько не было страшно, ею владел всепобеждающий и всезаслоняющий азарт коллективной, общей борьбы. Теперь-то она понимала, что за сила организованные массы, если их возглавляют и ведут смелые и решительные вожаки.

То там, то здесь возникали митинги. Выступали коммунисты, социалисты, люди других партий и организаций. Лера не во всех из них разбиралась. Но ей было ясно, что все говорили об одном и том же – о том, что Италия не должна плестись в хвосте натовского блока, что итальянский народ и без американской указки способен найти верную дорогу для своего развития и процветания. Долой тех, кто играет с огнем новой мировой войны!

Расходиться стали только под вечер.

– Это очень ответственный момент, – сказал коммунист Эммануэле.– Никому нельзя оставаться в одиночестве. Не рассеивайтесь, товарищи, не разбегайтесь все сразу. Могут перехватать поодиночке.

Уходили по своим районам, по домам большими группами, завертывая по дороге в траттории, пиццерии, буфеты – подкрепить силы после более чем восьмичасового марша. Все были довольны проведенным днем.

Компания Эммануэле затащила Леру в пиццерию. Заказали на всех пицци – народное, очень распространенное кушанье, напоминающее открытый пирог с начинкой из разной разности. Можно заказать пицци с помидорами и другими овощами, можно – с острым сыром, можно – с «плодами моря»: креветками и ракушками. Потребовали и несколько кувшинов вина, к нему сыру, маслин.

– Когда вот так пройдешься среди тысяч твоих товарищей, начинаешь и себя уважать,– сказал Эммануэле, разливая вино по стаканам.

– Поэтому-то нам так старательно и навязывают всем телевизоры в рассрочку, – сказал Луиджи. – Чтобы сидели перед ними каждый в своей берлоге по отдельности и позабыли бы друг о друге.

– Совершенно верно, Луиджи! Ты даже не знаешь, как ты прав. – Старый Пьетро отпил вина.– Мне один швед рассказывал, что они там – он профсоюзный деятель у себя в Швеции – дошли до того, что даже общие профсоюзные собрания проводят по телевидению. Лежат по домам на диванах

и слушают доклады своих лидеров. На улицу уже и ходить боятся: а вдруг там могут выстрелить!

– А мне один из Африки говорил… Там уже даже и не подумаешь, на что идут капиталисты,– вступил в разговор Пеппо. – Как шумиха среди рабочих на плантации, так сразу хозяева им бесплатные талончики в публичный дом выдают. Извините, синьора Васильева!

– Поодиночке-то многих купить можно. А вот когда массой, тут уж нет, рабочего человека не купишь. – Эммануэле еще подлил вина в стаканы. – А между прочим, синьора Васильева, ваш супруг, синьор Спада, был сегодня на улице?

– Он болен,– ответила Лера, чувствуя, что краснеет.– Температура…

Все замолчали и стали собираться по домам. Пожимали ей руки, предупреждали, чтобы не позабыла сумку с подарками, которую за нею так все время и таскали попеременке.

К себе домой она поднималась по лестничным ступеням, как на Голгофу. Видеть Спаду было уже совершенно невозможно. Он стал чужим не только ей, но даже своему итальянскому народу. Вот с кем связала она свою жизнь! Как подшутила над нею, московской комсомолкой, судьба!

Спада встретил ее буквально брызжа слюной, она чувствовала это на своем лице и отстранялась от него.

– Как ты смела, как смела лезть не в свои дела! В чужой стране, при чужих порядках! Мне уже звонили. Это же скандал, скандал! Ты там агитировала, провоцировала петь советские песни.

– «Рука Москвы»! – сказала она.

– Да, да, да! Именно. У меня могут быть неприятности из-за тебя.

– Сделаю официальное заявление, опубликую в газетах, что ты ни чего общего со мной уже не имеешь, что мы разводимся, и все. Это у вас, в Италии, развод «по-итальянски» – обременительное дело: жену надо непременно прикончить. А мы с тобой регистрировались в Москве, там разведут без убийств.

Назавтра было воскресенье. Спада сидел у себя в комнате, делал выписки из Достоевского. Лера возилась с Толиком, обдумывая положение. Надо было уезжать в Москву. Денег у нее для этого не было, а Спада своих, несомненно, не даст. Продать что-нибудь? Но у нее нет ничего такого, что стоило бы хороших денег. Один ширпотреб, чепуха.

Пришла синьора Мария Антониони.

– О синьора Спада! – заговорила она по-русски. – Можете себе представить, я провела два дня в Вариготте, на вилле «Аркадия». Осматривала комнаты, которые синьора Карадонна и на этот раз оставит для меня и Сальваторе. Я накупила там превосходной рыбы. Если хотите, уступлю немного, придите взглянуть на нее. Это прелесть, а не рыба. И еще я вам скажу, так вы не поверите! Вы знаете, конечно, синьора Карадонну, Умберто Карадонну?

– Да, да, как же! Он очень приятный собеседник, начитанный, много знающий.

– И куда бы, вы думали, эти обширные знания завели вашего приятного собеседника? Прямо в Москву, в Советский Союз! Он прислал письмо своей Делии, хозяйке «Аркадии». Его, оказывается, пригласили в Лондон. А оттуда он отправился в Советский Союз. Что-то связано с искусством. Он ведь знает и искусство. Откуда только, не пойму. Он приехал в Москву и сразу написал жене, чтобы не волновалась. Видите, какой заботливый и внимательный. А то ходит, молчит, чертовски серьезный. По думаешь, не человек, а сухарь. Делия читала мне это письмо вслух. Он в восторге от России. Он уже был в Ленинграде, еще где-то. Это, говорит, не страна, а учебник жизни.

– Ну что вы болтаете, синьора Мария! – На пороге своей комнаты стоял Спада с авторучкой в руке.– Какой учебник! Учебник того, как не надо жить.

– Глупости, синьор Спада! Я на целую треть русская, я прекрасно понимаю синьора Карадонну, да, понимаю, у него тоже кто-то в роду был связан с русскими. И напрасно вы так думаете, будто бы, кроме Италии, других стран на свете и нет. И, между прочим, я сегодня прочла в коммунистической газете, что итальянцы недовольны порядками в своей стране потому, что им надоело жить под американским сапогом.

– Это вы городите чушь, синьора Мария!

– Возьмите газету и убедитесь сами, синьор Спада. Тысячи людей вышли вчера на улицу. Полиция перед ними отступила. Люди очень недовольны жизнью. Так что не нам с вами, синьор Спада, учить русских чему-либо. А может быть, прав он, синьор Карадонна, и нам бы следовало поучиться у них.

– Вы просто старая дура, старая…– Спада выругался по-русски и хлопнул дверью своей комнаты.

– Вы слышали, как этот вахлак меня обозвал? – закричала синьора Антониони. – Это же, если перевести на итальянский… это же хуже, чем проститутка.

– Успокойтесь! – крикнул Спада из-за двери.– Это совершенно одно и то же.

– Синьора Спада, он что у вас сегодня?… – Синьора Антониони смотрела на Леру с удивлением и испугом.– Он, может быть, съел что-нибудь дурное? Или стал употреблять модный героин? От этой дряни, говорят, люди совсем шалеют.

– Простите, синьора Мария,– ответила растерянная Лера.– Я очень перед вами виновата за то, что так вот получилось. Если позволите, я к вам позже зайду.

22

Вот уже несколько дней в доме Зародовых стоит небывалая суета. Сама Алевтина Григорьевна, пять родственниц ее супруга, Александра Максимовича, даже Генка, и тот – все они с утра, вооруженные тряпками, щетками, пылесосом, приводят захламленную, неряшливую квартиру в порядок.

Квартира немалая, не столько, может быть, по числу комнат – их пять,

сколько по квадратуре площади – более ста двадцати метров, с холлом, с громадным, длинным и широким, как изрядный переулок, коридором. Комнаты поделены по своему значению в жизни семьи так: большая, с фонарем, – столовая; почти такого же размера – кабинет Александра Максимовича; затем общая спальня супругов, затем комната Генки; и, наконец, поскольку что делать с пятой комнатой Зародовы не знали, они устроили в ней «телевизионную».

«В Англии это в порядке вещей,– разъяснил Александр Максимович.– В каждом порядочном доме там есть так называемая „ситингрум“– комната для сидения, в ней топится камин или включается, если камин электрический, и в ней же смотрят телевизор. Итак, здесь будет ситингрум!» «По-русски это гостиная»,– сказал кто-то из родственников, когда обсуждался вопрос о распределении комнат в новой квартире. «У англичан такого понятия нет,– ответил Александр Максимович.– Гостей там звать не очень принято. Ситингрум существует для своей семьи. Ну, а если гости все же забредут, тоже там сидят».

Так все комнаты в квартире Зародовых с тех пор и назывались: вот эта – «ситингрум», спальня – «слипингрум», столовая – «дайнингрум», кабинет – «райтингрум». Только Генкиной комнате Александр Максимович не смог подыскать английского названия. «Сансрум» – комната сына – звучало не очень хорошо. «Чилдренрум» – детская? Какие же дети? Генка у них один. Да и не ребеночек он уже давно. Поэтому комната его наименовалась просто «Генкиной».

Александр Максимович чрезвычайно гордился тем, что мог изъясняться по-английски. Правда, из-за неясности произношения окончаний слов, когда он путал «з» и «с», «д» и «т», некоторые его высказывания приобретали совсем противоположный смысл тому, на какой Александр Максимович рассчитывал, а иной раз у него получались и вовсе неприличности и даже ругательства. Тем не менее он любил сказать: «Английский у нас в доме – это, если хотите, второй государственный язык нашей семьи». Он имел в виду то, что в последние годы даже Генка освоил кое-что из английского, а Алевтина Григорьевна по английским надписям на этикетках могла отличить банку с быстрорастворимым кофе от кольдкрема или стирального порошка.

Шумиха, поднятая в доме, объяснялась тем, что в Москву прибыли очень важные иностранцы: они работают в рамках ЮНЕСКО, их надо принять в домашней московской обстановке. Иностранцы нацелились на Александра Максимовича потому, что за год до их приезда он был назначен редактором одного из «Вестников», который часть своих страниц уделял и истории искусства, и некоторые его статьи об этом приобрели известность за рубежом.

– Папец, – сказал Генка,– для такого дела, как прием иностранцев, надо бы Ийку позвать. Очень будет полезно. Приехал, ты говоришь, целый интернационал: немец, итальянец, двое американцев. Ийкино знание разных языков может здорово пригодиться.

– Да, ты прав. Может быть,– не очень охотно согласился Александр Максимович. Он до самозабвения любил встречаться с иностранцами, но

совершенно не терпел делить это удовольствие с кем-либо еще. Он был счастлив как бы мимоходом сказать среди коллег назавтра после встречи: «Голова побаливает. Устал вчера дьявольски. Иностранцы были. Засиделись чуть ли не до утра».

Но на этот раз дело было особое: прибыла весьма представительная группа, с четкой программой – древнее русское искусство, в котором Александр Максимович не очень-то разбирался, и непременно следовало позвать знающих людей. Ему уже посоветовали пригласить художника Антонина Свешникова, который у иностранцев популярен именно тем, что творчески осваивает русское живописное наследие, поэта Савву Богородицкого – представителя, если так можно выразиться, современного неорусофильства, истинного россиянина, богатыря, былинного гусляра и песенника. Согласился в конце концов Александр Максимович позвать и дочь Алевтины Григорьевны – Ию.

– Она эффектна,– рассуждал он вслух.– Если захочет, может быть весьма экстравагантной, что иностранцам всегда нравилось и нравится.

– Но она и опасна, Саша,– заметила Алевтина Григорьевна.– Может статься так, что все они примутся за ней ухаживать и в центре стола окажешься не ты, а она.

– Глупости! – не согласился Александр Максимович. – Как то есть она, а не я? Им нужен я, я, нужны разговоры со мной, со мной, им интересны мои взгляды, мои воззрения. А не абрисы какой-то московской девчонки. Таких у них у самих косяки.

В условленный день и в условленный час намытая, прибранная квартира Зародовых наполнилась праздничным шумом. Несмотря на то, что на улицах было еще светло, в комнатах горели все огни, включенная радиола, которую Александр Максимович привез из Японии, сама меняла пластинки. Рядом с нею – на смену ей – стоял магнитофон, привезенный Александром Максимовичем из Нью-Йорка. Алевтина Григорьевна непрестанно пролетала по коридору от кухни к столовой и обратно, то заглядывая в кастрюли, то окидывая еще одним взглядом тщательно сервированный стол. У плиты на кухне орудовали две старые тетки Александра Максимовича. Одна из его племянниц в белой наколке и белом передничке готовилась к тому, чтобы ходить среди гостей с подносом, уставленным бокалами и рюмками, и предлагать коньяк, водку, минеральную воду, виноградный сок. Она волновалась.

– Неужели ты, голова садовая,– инструктировал Александр Максимович,– никогда не видела в кино, в заграничных картинах, как это делается? Идешь, улыбаешься, говоришь несколько нараспев и негромко: «Коньяк, ликер, минерал уотер».

– Слегка покачиваешь бедрами,– добавил Генка.

– Это не обязательно,– сказала Алевтина Григорьевна.

– Нет, это необходимо, – настаивал Генка. – Всегда надо стремиться воздействовать на комплекс чувств.

Начали раздаваться звонки у дверей. Отворял Генка, гостей же встречал сам Александр Максимович.

Первой пришла Ия.

– Я подумала, что, может быть, надо в чем-то вам помочь,– сказала она, скидывая легкий плащ, на который уже сменила демисезонное пальтишко, потому что на улице, несмотря на то, что была еще только первая половина мая, установилась очень теплая, приятная погода.

– Нет, нет, тут у всех свои четкие обязанности,– ответил Александр Максимович. – Ты будь в телевизионной. – Он не решился при Ие сказать в «ситингрум». – Как будут приходить, предлагай свои услуги переводчицы.

– Слушаюсь.– Ия сделала книксен.

За нею явились Свешниковы – Антонин и Липочка.

– Ия! – обрадовалась Липочка. – Ты здесь? Как замечательно! А я полагала, что не будет ни одной знакомой души. Приготовилась к скуке. У меня ведь… вернее, у нас с Антониной… этих иностранцев среди знакомых – десятки. В общем, они довольно однообразны. Верно, Антонин?

Свешников, как обычно, изображал из себя гениального чудака. Он втягивал руки в рукава пиджака так, будто рукава ему коротки, отчего плечи у него все время были в странном движении и голова тоже двигалась; он улыбался, ходил вдоль стен, рассматривал разношерстные абстрактные картинки, навезенные Александром Максимовичем со всего света, благо стоили они сущие гроши на толкучках Парижа и Лондона.

Шумно, окая, старательно отирая подошвы башмаков о коврик в передней, вошел поэт Савва Богородицкий. Шубы на хорьках на нем уже не было, бобровой шапки с бархатным верхом тоже. Синтетическое пальтецо с пряжками из металла «под медь» на плечах, на рукавах, на поясе, демократическая кепочка, из-под которой торчали его овсяные кудри, расшитая холщовая косоворотка.

– Здравствуйте, дорогой хозяин! – Он потискал руку Александру Максимовичу.– Не ошибаюсь если, Борис Кондратьевич? Слышал про вас, слышал. Знаю.

– Александр Максимович,– поправил дорогой хозяин.

– И то! – Богородицкий слегка стукнул себя пальцем по лбу. – Известь в извилинах. Не тридцать годков, не двадцать.– Раскинув широко руки, он пошел к Свешникову, обнял. – Брат ты мои любезный, Антонин! И прекрасная муза его, Олимпиадушка!

Пришел крупный знаток старого русского искусства, представляя которого Александр Максимович назвал лишь имя и отчество: «Иван Лаврентьевич», – подчеркивая этим, что знаток искусства настолько всем известен, что называть его фамилию просто даже и неприлично.

Последними, как, собственно, и положено тому быть, прибыли гости. Они пропустили вперед приятно улыбающуюся Порцию Браун. Следом вошел Сабуров, за ним Клауберг, четвертым был Юджин Росс. Замыкала группу сотрудница «Интуриста».

«Ситингрум» наполнилась шумом, восклицаниями, дымом сигарет;

племянница в наколке и переднике понесла свой поднос и, задыхаясь от волнения, почти шептала: «Коньяк, вотер-минер…» Но такого ее состояния никто не замечал, кроме Александра Максимовича, который успел шепнуть:

– Улыбайся, ослиха!

Все брали с ее подноса рюмки и бокалы, толпились, осваивались в новой обстановке. Переводчики были не нужны, вся группа, представляющая лондонское издательство «New World», превосходно говорила по-русски.

Пошушукавшись с Александром Максимовичем, сотрудница «Интуриста» хлопнула в ладони и сказала:

– Господа, хозяин дома хочет вам представить очень известного русского художника господина Свешникова!

– Да, да, господа! – засуетился Александр Максимович, подталкивая вперед упиравшегося Антонина. – Это большой русский мастер. Он еще молод, но он еще…

– Будет старым! – добавил Генка.

Лицо Александра Максимовича дернулось, но, поскольку все засмеялись, он тоже улыбнулся.

– Это мой сын,– сказал он, кивнув на Генку, – Как видите, мои усилия не дали должных плодов – я оказался неважным воспитателем.

– Антонин Свешников, – заокал Богородицкий,– певец России, ее природы, ее красоты, истории. Он самобытен, самоцветен, искрометен.

– Будет, будет вам,– засмущался Свешников.– Господа, вы лучше обратите внимание на господина, говорящего это. Господин Богородицкий – поэт, мыслитель, гражданин. Он…

Липочка незаметно дернула Антонина за пиджак сзади.

– Да что там говорить! – поспешно закончил Свешников и почесал у себя, за ухом.

Александр Максимович еще раз представил Ивана Лаврентьевича, осанистого бородача в несколько старомодном просторном костюме. Иван Лаврентьевич сказал, что он будет рад, если сможет чем-либо услужить людям Запада, так заинтересованным в том, чтобы искусство Советской России стало достоянием человечества.

– А теперь,– сказала представительница «Интуриста»,– свою группу хочет представить господин Клауберг, профессор, доктор искусств.

– Да, да, – сказал Клауберг, приняв солидный, профессорский вид.– Господин Умберто Карадонна – итальянец, представитель страны, подарившей миру чудеса живописи, скульптуры, архитектуры. Он с детства увлекался Россией, ее искусством. Среди нас он самый большой специалист в этой области. Поэтому, господа, несколько нарушив этикет, я и называю его раньше мисс Браун. Она да и вы все любезно простите мне это. Мисс Браун со школьной скамьи изучает Россию. Она, как видите, молода, но ее знания ценят самые маститые русоведы. Дальше – господин Юджин Росс. Это. смею вас заверить, один из выдающихся мастеров художественного репродуцирования. Надеюсь, господа, мы будем с вами друзьями.

Сабуров чувствовал себя скверно. Отправляясь в Россию, он даже и

подумать не мог, что таким тяжким окажется это раздвоение: раздвоение на того, кем он был на самом деле, и на того, кого же он должен изображать из себя по договору с издательством «New World». То, что он не участвует ни в какой вредной советскому народу деятельности, это еще не утешало, Достаточно, что он приехал в Советский Союз под чужим именем,– одно это уже уголовщина. Достаточно, что из него строят, а он не протестует против этого, некоего другого человека.

Сабуров поражался поведению Клауберга. Тот вошел в роль профессора, доктора, будто бы он и на самом деле профессор и доктор. Он перевоплотился, он бодр, весел, он полностью в своей тарелке. Почему? И почему совсем иначе чувствует себя Сабуров?

– Мне очень приятно.– услышал он рядом с собой негромкий голос и увидел молодую женщину с зелеными глазами, которая приветливо ему улыбалась,– Мне очень приятно, – повторила она, – что вы так любите наше русское, советское, господин Карадонна. Если вам трудно говорить по-русски, пожалуйста, я могу на ином, если хотите. На немецком, английском, французском…

– Нет, нет, не трудно! – запротестовал он.– Это легкий язык, напрасно на него клевещут. Красивый, музыкальный. Я с удовольствием говорю на нем. А вы, госпожа… Простите…

– Ия. Меня зовут Ией. Несколько необычно, да?

– Нет, нет, почему же! Красивое имя. Я спрашиваю вас, госпожа Ия : вы владеете несколькими языками?

– Они мне легко даются.

– Господа! – провозгласил Александр Максимович.– Хозяйка зовет к столу. Прошу вас, господа!

Двинулись в столовую. Рассаживаться предстояло согласно записочкам, разложенным возле приборов. Но Сабуров сказал:

– Если можно, я бы хотел быть по соседству с госпожой Ией. У нас только что начался интересный разговор.

– Пожалуйста! – согласился Александр Максимович.– План не догма, а руководство к действию. Мы не догматики, мы сообразуемся с обстановкой.

– А это уже основа прагматизма! – сказала мисс Браун.– Что, господин Зародов, и сближает вас с нами, американцами.

– Избави бог! – шутливо отмахнулся от нее Александр Максимович. – Неужели, по-вашему, нет третьего? Или догматизм, или прагматизм.

– Есть марксизм-ленинизм, – вдруг сказал Иван Лаврентьевич.

– Пропаганда! – закричала, смеясь, мисс Браун.

– Нет, госпожа Браун, не пропаганда, – строго сказал бородач. – А констатация факта. Марксизм-ленинизм имеет в виду диалектический метод рассмотрения явлений природы и общественной жизни. И он отрицает и догматизм, и прагматизм, и всякий иной застывший «изм». Он – свободное, широкое творчество, основанное на прочном теоретическом фундаменте.

– Иван Лаврентьевич,– остановил его Зародов,– оставим эту дискуссию за порогом столовой. Здесь у нас иная задача. Так прошу рассаживаться! Что же

вы остановились?!

Были наконец заняты места, наполнялись рюмки и бокалы. Застучали вилки и ножи. Гостям предлагали икру, копченую и соленую рыбу, грибочки, капусту, холодец.

– Русское искусство начинается с русской кухни, – сказал Савва Богородицкий. – И знакомство с ним надо начинать со знакомства с нашим русским гостеприимством. Если скуп народ, скупо и его искусство. Если народ щедр, и искусство у него щедрое.

– Браво! – воскликнула Порция Браун. – Это очень остроумно.

Я это запомню, господин Богородицкий.

Ия предлагала Сабурову то одно блюдо, то другое, объясняя, как они называются по-русски и почему так называются, как их готовят. Его дурное настроение от этого еще более усугублялось. Вот он лжет и этой милой молодой женщине. Он сам прекрасно знает все об этих блюдах, об этих кушаньях, а притворяется, будто бы она делает для него открытия. Но он все же старался сопротивляться своему дурному настроению. Он рассказывал Ие об Италии, о Милане. Венеции, Флоренции, где время от времени бывает, постоянно-то живя на Лигурийском побережье. Потом он спросил:

– Вы тоже увлекаетесь древним искусством России?

– Я знаю, что оно есть, в какой-то мере оно мне знакомо,– ответила Ия.– Но увлекаться?… Нет. Не буду вам лгать. В нашей жизни и сегодня достаточно интересного. Мне кажется, что увлечение древностью происходит неспроста. Оно начинается тогда, когда люди почему-либо стремятся уйти от современности.

– А когда это, по-вашему, бывает?

– Когда? Ну, скажем, когда современность очень неспокойна, тревожна. Тогда от изнуряющих их тревог люди уходят отдыхать в прошлое. Или когда все неясно, они уходят в обретшую классические формы ясность минувших времен. Но есть, мне думается, и еще одна причина или, вернее, цель увода людей от проблем современности к далекому прошлому: когда кто-то не хочет, чтобы люди занимались проблемами современности, задумывались над ними. Очень хорошо, что вы приехали к нам с целью показать людям Запада наши древности. Но зачем им эти древности? Советское общество интересно не тем, что было в России пятьсот или семьсот лет назад, а тем, что происходит у нас сегодня, как мы сегодня ищем дорогу в новое, как, иной раз оступаясь, все же находим верный путь, идем по нему. Если бы вы приехали за этим, о, это было бы замечательно!

– Послушайте, дорогие гости! – окал на весь стол Богородицкий. – Мы давно перестали выдавать себя за неких безгрешных, за никогда не ошибающихся. Мы не стесняемся выносить свои язвы на суд человечества. Уважаемые гости, можете отметить в своих записных книжках, что мы возмущаемся разорением храмов – соборов и церквей. Мы восстаем против этого. В моем родном селе была церковь…

– Ее строили его прадеды, – потирая ладони рук, зажатых в коленях, шепнул Ивану Лаврентьевичу Свешников.– Он сам мне рассказывал.

– Замечательная была церковь. Мало того, что это было произведение искусства, а еще она служила и очагом культуры, очагом нравственности, – продолжал Богородицкий. – Два врача вышли из села нашего еще в дореволюционные годы, трое военные учебные заведения окончили, в офицеры старой русской армии были произведены… И я еще вам насчитаю того, да другого, и третьего. И что вы думаете, без влияния церкви это обошлось? Нет уж, не уверяйте, сударь и сударыни!

– Занятно,– сказал Иван Лаврентьевич.– Прелюбопытно! И что с той вашей церковью сталось?

– А сначала клуб в ней был, потом он переехал в другое помещение, церковь под склад заняли, когда МТС организовали. А позже и вовсе она сгорела. Разорили, словом.

– Но ведь, дорогой товарищ Богородицкий! – Иван Лаврентьевич смотрел на него с интересом.– Я тоже произошел из российского села. И у нас тоже церковь была. И из паствы ее до революции выходили торговцы сеном, скотом, лесом. Тоже, кажется, кто-то в унтер-офицеры выбился, прослужив в солдатах десятка два лет. Все было. После революции – я тогда мальчишкой бегал – церковь нашу, как и у вас, превратили в клуб. И что же? Из тех, кто посещал его, кто играл там в любительских спектаклях, кто занимался в кружках рисования, пения, в струнном оркестре, знаете, кто вышел? Один маршалом Советского Союза ныне стал, один сельскохозяйственный академик, еще один – дипломат, он сейчас послом где-то в Европе. Не считано, сколько агрономов, учителей, партийных работников! И ваш покорный слуга, грешным делом, тоже пришел в жизнь, в науку через этот замечательный сельский клуб.

– Браво! – и на этот раз воскликнула мисс Браун.– Господин Богородицкий, вы потерпели поражение.

– Нет, я его не потерпел, мадам.– Богородицкий краснел и злил ся.– Нужен был вам клуб, ну и строили бы его! – Он размахивал рука ми в сторону Ивана Лаврентьевича. – А чужое-то что ж прикарманивать… Да еще храм!

– Простите,– сказал Сабуров,– а вы убеждены, господин, что каждый храм заслуживает того, чтобы его сохраняли?

– Да, истинно убежден! Это – зодчество, народное творчество, душа народа.

– Опиум народа! – под сурдинку сказал Генка, не рассчитывая, что его услышат. Но Богородицкий услышал.

– Опиум! Повторяете, молодой человек, как попугай. Это религия имелась в виду, ее содержание, а не храмы. И то еще можно поспорить, опиум ли. И к тому же опиум – одно из лекарственных средств при сильных, стойких болях. Учтите.

– А вы знаете, господин,– продолжал Сабуров,– на Западе, в частности, у нас, в нашей католической Италии, за религиозностью которой так неусыпно следит Ватикан, многие храмы были бы давно заброшены, если бы они не приносили дохода церковникам. А доход они часто приносят лишь потому, что в них, в этих церквах, похоронены знаменитые люди и туда идут отнюдь не богомольцы и отнюдь не во имя этих, часто безвкусных, не представляющих

собою никакой художественной ценности сооружений, а во имя знаменитых могил. Храм храму рознь, как и всякое произведение рук человеческих. Одни – это подлинные свидетельства мастерства…

– И такие мы бережно сохраняем,– откликнулся Иван Лаврентьевич. – Вы еще не побывали в Кремле?

– А другие – ремесленная дань времени или плод чьей-то прихоти, – закончил Сабуров.

– Я согласен с синьором Карадонна, – сказал Свешников.

– Ты? Антонин? – изумился Богородицкий.– Человек тонкого вкуса!

– Вот именно поэтому. – Свешников втягивал голову в плечи, как бы ждал по ней удара.

– Господа, товарищи, друзья! – воскликнул Александр Максимович.– Наш разговор слишком серьезен. Прошу вас наполнить бокалы, я хотел бы предложить тост. Господа, товарищи, друзья! – заговорил он, когда в рюмки было долито, и встал.– Я рад, что у нас завязался такой оживленный и откровенный разговор. Пусть наши дорогие гости знают, что мы вопреки недоброжелательной буржуазной пропаганде на самом-то деле откровенны, мы свободны в своих суждениях, мы отнюдь не одна некая ударная бригада, как нас хотят представить на Западе. Мы люди. И к нам приехали посланцы другого мира. Тоже люди. Земляне, так сказать. Как мы. И мы им рады, мы их приветствуем. Мы готовы им помогать, кто только чем сможет. Мы рады нашим дружеским контактам. За здоровье наших уважаемых гостей! За ваше здоровье, госпожа Браун, за вас, господа Клауберг, Карадонна и Росс! Все встали, чокались, кланялись друг другу, долго держали рюмки в руках.

Потом вновь пошли разговоры. К храмам больше, правда, не возвращались. Богородицкий усиленно звал всю группу издательства «New World» к себе в гости в ближайшее же время. Клауберг благодарил и заверял, что они будут рады возможности познакомиться ближе с замечательным русским поэтом и мыслителем.

Юджин Росс тем временем пересел на стул рядом с Генкой.

– Вы мне нравитесь,– сказал он Генке, положив руку на его колено.– Вы острый, современный юноша. Очень хочется как следует узнать вас, молодых советских людей. О вас пишут, конечно, на Западе. Но, должно быть, немало и врут. В футбол играете?

– Нет.

– А каким видом спорта увлекаетесь?

– Насчет спорта я не очень. – Генка засмеялся.

– Тогда в чем ваше хобби?

– Хобби-то? Трудно сказать. Жизнь во всех ее проявлениях,– не определенно ответил Генка.– Языки изучаю. Английский. Итальянский.

– Английский – это замечательно. Язык, на котором говорит пол мира. А итальянский…– Юджин Росс скривил губы.– Только как хобби. Не больше. У вас есть друзья, товарищи?

– Есть. Сколько угодно. У меня, как пишут в романах, обширные знакомства в различных кругах.

– Вы мне нравитесь,– повторил Юджин Росс и хлопнул Генку по плечу, – Давай выпьем на «ты». Мы с тобой не деды, чтобы на «вы» изъясняться. Тем более, что в английском языке этой разницы и нет. Ну как?

– Давай, – сказал Генка. Они чокнулись и выпили.

– Водка! -_ сказал Юджин Росс.– Я ее недолюбливаю. Слишком резкая жидкость. Виски лучше.

– Виски мне тоже нравится,– согласился Генка.

– Приходи ко мне в отель. У меня хороший запас виски.

– В «Россию», что ли?

– Нет, жить в «России» мы не захотели. Муравейник. Шум. Толкучка. Мы в «Метрополе». Запомни номер комнаты. Утром до десяти, во время обеда и вечером.

– А вы долго пробудете в Советском Союзе?

– Сколько надо. Может быть, полгода. А может быть, и год. Пока не сделаем дело.

– Ну, красота! – обрадовался Генка. Юджин Росс ему тоже нравился. Замечательный американский парень. Все-таки эти американцы народ настоящий! Простота. Общительность. С ними можно не церемониться, не раздумывать, в какой руке держать вилку и из какого бокала какое пить вино. Держи, как хочешь, и пей, из чего вздумается, что под рукой.

– Ладно,– пообещал Генка,– приду.

– И друзей своих приводи. На всех хватит. – Юджин Росс приветливо, во весь рот, улыбался.

К неудовольствию Сабурова Порция Браун увела от него Ию. Обе женщины уселись в «ситингрум», в уголке, возле курительного столика. Американская гостья угощала Ию особо пахучими сигаретами новой марки и расспрашивала о том, чем Ия занимается.

Ие не очень нравилась голубоглазая собеседница. Но долг вежливости обязывал, она рассказывала о том, что по договору с одной научной организацией переводит статьи из научных и технических журналов.

– И за это у вас хорошо платят?

– По-моему, нормально, – ответила Ия.

– Но вы так скромно одеты…

– Это не от бедности. – Ия улыбнулась.

– Отчего же?

– Так сложилось. С детства не имела тяги к нарядам.

– Вас больше привлекает интеллектуальная жизнь?

– Может быть.

– В нашем мире тоже есть подобные женщины. Обычно они ученые, общественные деятельницы. Но, как правило, они некрасивы, непривлекательны. А вы очень привлекательны. У вас такое лицо, такая фигура… Странно. У вас, очевидно, очень строгий муж?

– Я не замужем.

– О! Тогда я ничего не понимаю! Какие удивительные у вас мужчины! Если бы я была советским мужчиной…

– Поскольку такая возможность вам не угрожает, дорогая мисс Браун, оставим этот разговор.

– Пожалуйста, пожалуйста,– поспешно согласилась Порция Браун, не желая раздражать Ию. Но мне бы не хотелось, чтобы наше знакомство вот так сегодня и окончилось.

– Если я вам могу быть полезной…

– Нет, не в этом дело. Не в том, что полезной или неполезной. Просто дружба…

Ия протянула ей руку. Порция Браун горячо ее пожала.

23

Сабурову все же удалось отбить у Порции Браун эту интересную молодую русскую с не слишком часто встречающимся именем Ия.

– Пожалуйста, простите мне мою, может быть, назойливость, – сказал он, – но иностранцу в чужой стране хочется знать все, а разговаривая с вами, я некоторые вещи понимаю лучше, чем при разговорах с кем-либо иным.

– Какие же именно?

– Видите ли, отправляясь в Советский Союз, я очень много прочел о вашей жизни, о вас, против вас, за вас. Многое мне было непонятно при этом чтении и после него. К пониманию некоторых явлений я не находил ключа. Собственными глазами в брюссельском аэропорту мне пришлось увидеть, как в самолет, отправляющийся в Москву, садилась скверная кабацкая певица из Соединенных Штатов, лезли крикливые английские гитаристы, которые там, в Англии, бродят и поют под свои гитары по дворам. А вы, великая страна, пригласили их к себе на гастроли! В Россию, мне известно, и до революции стремились гастролеры со всего света: их манил хороший заработок. Но, позвольте, на подмостки императорских театров, под своды знаменитых концертных залов допускались лишь миро вые имена! Сомнительные певички гастролировали в «Буффах» дешевого разбора да в «Луна-Парках». Теперь я начинаю понимать, почему получается так, вы прекрасно объяснили. Уход от действительности? Да? У вас, значит, тоже есть люди, которые устали? Которым все это оказалось не по силам?

– Что «все это»? – спросила Ия, и Сабуров не мог не увидеть, как; она насторожилась.

– Я имею в виду вашу борьбу за создание нового общества. Это ведь очень трудная борьба. Во много раз труднее, чем любые строительства, ракеты, спутники и прочее. Они же есть и в Соединенных Штатах. А вот нового общества там нет. Верно?

– Да, вы правы, – ответила она.– Борьба эта трудная и не каждому по силам. И, действительно, уставшие от нее есть. Но есть и такие, кто и не боролся и не борется ни за что. Это никакие не борцы. Я, например. – Она подняла на него глаза и как бы ждала, что же скажет на это иностранец.

– Вы? – поразился Сабуров.– Вы шутите, конечно. Вы такая идейная! Вы превосходно судите о мировой политике. Скажите, если это вам не трудно, кто

ваши родители?

– Родительницу мою вы можете видеть. Вон она, в кружевном платье! Хозяйка этого дома. А мой отец… Он погиб на войне. Он был политработником, комиссаром.

– О, это грустно. Может быть, не надо об этом…

– Ничего. Иногда надо.

– Я бы хотел встретиться, поговорить с такими людьми, каким был ваш отец. Мне трудно поверить, что такие, как господин Богородицкий, да он, кажется, и молод для этого,– разбили гигантскую военную машину Гитлера. По воле нашего дуче мы, итальянцы, состояли в союзниках Гитлера, и я видел, какова была эта машина. Никто из нас не верил тогда, что возможна сила, которая бы не только выдержала ее натиск, но и покончила бы с ней. А вы это сделали. Почему? Как? Такие, как ваш отец, наверное бы, мне все объяснили. Но я не знаю, где с ними можно встретиться. Вокруг нас, нашей группы, лишь представители фирм, с которыми мы ведем дело, лишь деловые люди. Они смотрят на часы, отвечают «да», «нет» или «подумаем». Их даже неудобно занимать не связанными с делом разговорами. Я рад, что вы так любезны и тратите на меня свое время.

– Если хотите, мы отсюда можем пройтись по улицам? – предложила Ия, которой, неизвестно почему, но стало жаль этого пожилого итальянца. Он не производил впечатления ни крупного преуспевающего ученого, ни того дельца, дела которого идут хорошо и приносят дивиденды. Он был устремлен в себя, у него там, внутри, что-то сидело и мучило его.

– Да, конечно! – откликнулся он.– Я буду рад, если вам это не трудно. Погода мягкая. Ни жарко, ни холодно.

И когда Клауберг после кофе и коньяка, сказав, что их группа более не смеет злоупотреблять гостеприимством радушных хозяев, произнес на прощание громоздкий немецкий тост, Сабуров не пошел в ожидавшую у подъезда машину, а вместе с Ией они, не торопясь, побрели по ночной Москве.

– Меня поражает,– сказал он, – насколько то, что пишут о вас, не соответствует действительности. Например, везде говорится о том, что вам запрещается общение с иностранцами. А мы здесь уже неделю, и я еще не видел человека, который бы от меня шарахнулся. Напротив, вы удивительно общительны.

– А еще что вам о нас известно? – Ия засмеялась.– Дело в том, что я тоже читаю много иностранной литературы и знаю об этой чепухе, о которой вы говорите. До вас туда, в ваши заграницы, и слова правды не доходит.

– В Ленинграде я встречался с людьми, пережившими осаду. Рассказы их интересны, но просты, в них не слышишь никаких трагических нот. Напротив, очень буднично и вместе с тем необыкновенно героично. Я слушал и удивлялся. В моем кармане лежала книга какого-то Анатолия Дарова, купленная в Лондоне по объявлению в газете «Новое русское слово». Она так и называется, эта книга: «Блокада». Объявление оповещало, что это исторический роман об ужасах осады северной русской столицы во вторую мировую войну. Анатолий Даров-де, свидетель и очевидец апокалипсической

осады, дал потрясающую в своей объективности картину, передающую весь ужас пережитого. Я поинтересовался, читал ли кто-нибудь из ленинградцев эту книгу. Нет, оказывается, никто. Знаком ли кому-нибудь из тех, кто пережил там годы войны, этот Анатолий Даров? Нет, ни кому он не известен, никто о нем и слышать не слыхивал. Значит, что же – фальшивка? Или, как делают некоторые, труд под псевдонимом? Кое-кому я пересказывал содержание книги, – люди смеялись. Или еще одна книга. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. В объявлении, по которому я ее приобрел, было сказано, что в ней читателю показывается тюремный и лагерный мир, что Евгения Гинзбург рисует портреты следователей, надзирателей и заключенных, что она была арестована, как там выражено, в «тысяча девятьсот проклятом» и подчеркнуто в скобках «1937 году», и описывает все ужасы…

– Там, значит, ужасы блокады! Здесь – ужасы Сибири?

– Да, да, вот именно! Все, что о вас,– это одни ужасы. Литература ужасов.

– Смотрите, дорогой господин Карадонна, внимательно осматривайтесь вокруг, ищите эти наши ужасы.

– Да в том-то весь и ужас, – сказал он горячо, – что не вижу их, ужасов-то. Так называемые свидетельства очевидцев меня уже поставили в глупое положение в Ленинграде. До сих пор стыдно. Однажды вечером ко мне на улице подошел молодой человек. Из наших западных газет я знал, конечно, что к иностранцам советские молодые люди подходят лишь за тем, чтобы купить плащ или галстук, продать икону, получить валюту. Я и скажи ему: купить что-нибудь хотите? Нет, говорит, что вы, я думал, вы заблудились, хотел помочь. Чудесный был молодой человек, интересный. Ах, до чего же стыдно!

– Такие, которые купить-продать, у нас тоже есть, дорогой синьор Карадонна. Не пугайтесь, если встретите. Гоните в шею. Это как раз производное от того, зачем к нам и таскаются певички, о которых вы говорили, и те нестриженые гитаристы. Между прочим, к нам ездят не только такие, нет. Мировое искусство представлено у нас вашей итальянской «Ла Скала», французской «Комеди франсез», лучшими театрами Англии, ансамблями Индии, Японии. Но вот подсовывают нам и таких – певичек и гитаристов. Нас пытаются разлагать «дарами Запада», испытанным библейским запретным плодом. Бывает, что наши молодые люди под таким воздействием убегают туда, на Запад, в «свободный мир». Недавно мне показывали одну нашу областную газету, в которой был опубликован судебный отчет. При большом стечении народа судили техника одного из уральских заводов. С группой туристов он поехал в Западную Германию, не выстоял перед соблазнами, остался. Из него вытянули необходимый для антисоветской пропаганды материал, а потом и бросили. Человек мыкался, слонялся без работы, без квартиры и, естественно, без денег. И в конце концов кое-как прорвался на восток, вернулся. Его, видите, судили и ничего интересного для вас в этом нет. Интересно последнее слово этого человека. Он сказал: «Сколько бы,– говорит,– мне вы, граждане судьи, ни припаяли, какой бы срок ни определили,– все вытерплю, все переживу, снова стану потом человеком. А ведь там-то остаться – это же бессрочно!»

Весной вечерняя Москва многолюдна. Сабуров с Ией шли в толпе шумного, веселого народа. Ия рассказывала о разных случаях, которые неизменно заканчивались конфузом для иностранцев, если те к советской действительности подходили с готовой меркой, предложенной им западной пропагандой.

– У нас далеко не все гладко, – говорила она. – Но и далеко не так шероховато, как думаете вы там, у себя. И природа наших шероховатостей иная. Мы хотим, чтобы у нас было лучше. Но мы вовсе не хотим, чтобы у нас было, как у вас. Вы можете, конечно, встретить людей, думающих и по-другому, услышать и другие мнения. Я говорю о большинстве, о народе.

Сабуров слушал и ловил себя на том, что по временам забывает, что он итальянец Умберто Карадонна, что ничего общего он не имеет и не имел с Россией, что родной его дом в далекой от Москвы Вариготте, в Италии. Он чувствовал себя не Карадонной, не Умберто, а Петром Сабуровым, русским человеком, дом которого здесь, среди этих шумных и светлых улиц, полных веселого русского народа, говорящего и даже, если хотите, смеющегося на русском языке. Все, о чем рассказывала молодая женщина Ия, было ему близко, оно волновало его, он сам был готов говорить об этом часами. Черт побери, это же не только ее, а и его родина – Россия! Она могуча, и пусть мощь ее растет, нарастает; ослаблять ее, подрывать нельзя! Странны рассуждения поэта Богородицкого о храмах, о церквах… Церкви России ушли в прошлое – как же Богородицкий не видит этого? Они уходят в прошлое во всем мире. Даже в Италии под крыльями самого Ватикана религиозность народа – одна видимость. В бога верят по привычке. А скажи завтра, что всему этому церковничеству конец, никто же в петлю не полезет. В Советской России скорбеть о церквах и вовсе смешно. Почему окающий человек так рьяно стоит за свои церкви и соборы? Сабуров спросил об этом Ию.

– Почему? – Она задумалась.– В данном случае я не знаю, почему. Говорят, что этот человек якобы русофил. Но русофил на очень западный манер. С одной стороны, он печется о храмах, об иконах, о благолепии, с другой же – пишет, как пишут западные экспериментаторы, не только без знаков препинания, а даже тем особым способом, каким писали на острове Пасхи. Так называемым перевернутым бустрофедоном, когда каждая следующая строка перевернута вверх ногами по отношению к предыдущей. Словом, в данном случае, повторяю, судить не могу, плохо знаю его и как поэта и как человека. Но у нас есть люди, вы их еще можете встретить, которым рамки нашего общества кажутся тесными. С одной стороны, это те, у кого много денег. С другой – те, которые вместе с революцией потеряли возможность иметь много денег. Те, у кого много денег, в какой-то момент упираются головой в потолок наших возможностей применения таких денег. Автомобиль, дача, магнитофон, холодильники, вазы и ларцы, ковры и норковые шубы – и стоп! Остров в Тихом океане не купишь, гарем не заведешь, бой быков не устроишь, акции компании «И. Г. Фарбениндустри» не скупишь. Тоска по возможностям. А где они. эти возможности? На Западе. А вторые – те любую напряженность в мире воспринимают как надежду на то, что, авось, все

еще переменится, Советская власть, авось, либерализируется настолько, что и вовсе перестанет существовать, настанет эра парламентаризма, а там и до буржуазной республики рукой подать. А значит, и законные права на наследство папенек и маменек, дедушек и бабушек можно будет предъявлять. Именьице под Воронежем, универсальный магазин в Пскове, трактир на Вологодчине… Ну, вот вы бы, синьор Карадонна… У вас есть недвижимость в Италии?

– Да, пансион на берегу моря.

– Вот как!. И доходный?

– Жить можно.

– Скажите, пожалуйста! – Ия рассмеялась.– Так вы, оказывается, капиталист. А я так запросто с вами. Ну, вам тем более сейчас будет понятно. Вот бы у вас образовалась Советская власть, ваш пансиончик национализировали бы, и в нем бы итальянские трудящиеся устроили для своих детей санаторий. А вас бы заставили служить в государственном учреждении. Вы бы разве не лелеяли мечту рано или поздно да вернуть свой пансиончик обратно?

– Логично,– согласился Сабуров. – Лелеял бы.

– В войсках у немцев, я читала, служили сотни и тысячи наших русских эмигрантов, – продолжала Ия, – и что вы думаете, кто бы это был? Простые русские, неимущие люди? Совсем нет! Царская знать, вельможи или их сынки, то есть те, которые в революцию многое потеряли и ничего не приобрели. И шли они с немцами, угодничали перед ними затем, чтобы с их помощью вернуть утраченное.

– А может быть, они хотели вернуть себе родину? – хмурясь, сказал Сабуров. – Не земли, не поместья, а родину. Вы не допускаете этой мысли?

– Допускаю. Но путем порабощения своего народа чужеземцами родину, господин Карадонна, не возвращают. Кто тосковал по родине, он без помощи немцев вернулся в Советский Союз. Тысячи эмигрантов возвращались и в двадцатых годах, и в войну, и особенно после войны. Словом, деньги, деньги, всему они виной. – Ия смеялась. – Я против них. Мне их много не надо. Лишь бы, лишь бы … Не больше.

– А что вы хотите сказать этим «лишь бы, лишь бы»? Это сколько?

– Ровно столько, чтобы я не стала их рабой. Я люблю свободу. Свободу действий, свободу мысли.

– Но ведь как раз именно деньги-то и дают такую свободу! – возразил Сабуров.

– Одно из роковых заблуждений человечества! – ответила Ия. – Если вы служите у капиталиста на очень денежном месте – управляющим завода, например, то вы в дугу будете гнуть свою спину, лишь бы угодить хозяину и не потерять денежного места. Деньги, полученные за такой труд, дадут вам лишь свободу пить вино не за сто лир кувшин, а за две тысячи лир бутылка, жить не в одной комнатке, а в квартире из десяти комнат, иметь не один костюм, а пятнадцать. Вы разве так понимаете свободу? Я иначе. Я не хочу никому кланяться, и я не кланяюсь. Я не хочу никому угождать, и я не угождаю. Я хочу

говорить то, что думаю, и я говорю это.

– Позвольте, – не согласился Сабуров. – Вы все время говорите о капиталисте, о хозяине, от которых-де мы зависим. Ну, а если самому стать хозяином, капиталистом?

– Этому нет конца, господин Карадонна.

– Чему?

– Этажам хозяев над хозяевами. Вы хозяин предприятия. Но над вами есть тот, кто может вас разорить, сожрать – банк какой-нибудь, трест. концерн, консорциум. С миллиардами лир, с триллионами. С ними не считаться вы не сможете.

– Но есть же и самый верх!

– Да, конечно. Но тот верх уже не вас, мелких хозяйчиков, боится, а нас. Он боится своих трудящихся – рабочих и крестьян, боится Советского Союза. И тоже не спит, ждет беды для себя, А я сплю спокойно и крепко. И ничего ниоткуда не жду. Я свободна.

– Трудно это понять, – б раздумье ответил Сабуров. – Но в этом есть что-то притягивающее, привлекающее. А это не аскетизм, кстати? Коммунисты ведь против аскетизма.

– Ну, нет, ко мне это не относится! – Ия засмеялась.– Я не очень требовательна к материальным благам. Но совсем не аскетка.

Петляя по Москве, они дошли до «Метрополя».

– Вот вы и дома, – сказала Ия и подала руку. – Желаю вам спокойной ночи.

– Одну минуту, – удержал ее руку Сабуров. – На этом здании какие-то интересные фризы из майолики. Вы не знаете их истории? Кто автор хотя бы?

Они отошли к скверу, среди которого стоял памятник Карлу Марксу, и взглянули на фасад гостиницы оттуда.

– Это Врубель, синьор Карадонна. С помощью майолики воспроизведены его знаменитые холсты под названием «Принцесса Греза».

– Что вы говорите?! Очень интересно. Расскажите подробней, пожалуйста, если можно.

– О, это длинная история. Я сама знаю ее не очень хорошо. Знаю только, что художник получил заказ на панно для всероссийской ярмарки в Нижнем Новгороде, ныне городе Горьком. Работал, писал, избрал для сюжета ростановскую Грезу, появляющуюся перед умирающим рыцарем на палубе корабля. Вы это видите сами. Правда, надо пойти посмотреть то, что есть на фасаде со стороны проспекта.

Они огибали здание. Ия рассказывала:

– Холсты были уже там, на выставке, но кто-то из тогдашней Академии художеств их забраковал. А кто-то поместил их в отдельный павильон, выстроенный на собственные средства. Затем кто-то облюбовал «Грезу» для этих фасадов строящейся тогда гостиницы «Метрополь». И вот она в майолике.

– Чудесно, чудесно! – повторял Сабуров, всматриваясь в панно, растянувшееся по фризам здания.– Но позвольте, а что там за надпись? – спросил он и прочел вслух, не сразу разбирая буквы и слова, скрытые в керамической пестроте: – «Только диктатура пролетариата в состоянии

освободить человечество от гнета капитала»! На здании гостиницы «Интурист»? Такие слова? Врубель?… Нижегородская ярмарка?…

Ия рассмеялась.

– Вот это уже не Врубель. Там же сказано: «В. И. Ленин». В годы революции здесь был Дом Советов. Осталось с тех пор.

– Но очень, очень символично, что каждого из нас, приезжающих из мира капитала, вы встречаете этими словами, этим утверждением.

– Не пугайтесь, синьор Карадонна. Вам персонально это не угрожает. Можете быть спокойны. Между прочим, если говорить правду, вы по чему-то не воспринимаетесь мною не только как представитель мира капитала, но даже как итальянец. Может быть, потому, что уж очень хорошо говорите по-русски. Мне вы кажетесь русским.

Он развел руками, поклонился.

– Я польщен, – ответил шутливо.– Вы очень проницательны, Ия. Утверждают, что моя прапрапрабабушка была при дворе одного из очень давних русских царей то ли нянькой, то ли камеристкой или кормилицей, – не знаю, кем, и на родину вернулась с не совсем законными детьми, и кто-то из этих детей был моим прапрадедушкой или что-то в этом роде.

– Вот видите, я сразу почувствовала! Меня обмануть трудно. Итак, успеха вам и приятного сна!

Сабуров поднялся на свой этаж и по рассеянности чуть было не отворил дверь в комнату Клауберга. «Это плохо,– думалось ему, пока он расхаживал по комнате, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстегивая пуговицы сорочки,– плохо, что потянуло не на деловые, а на праздные разговоры». Разболтался настолько, что в нем уже угадывают русского и он охотно это подтверждает, вместо того, чтобы решительно опровергать. Чего доброго, начнет изливать душу перед этой зеленоглазой Ией и во всем ей признается. Нет, это не то, не за этим он ехал в Россию, не за этим.

«А за чем же?» – спросил он самого себя. Подзаработать английских фунтов или американских долларов? Не так уж велик заработок, чтобы тащиться за ним в этакую даль. Не в заработке, очевидно, дело. На родину потянуло, на родину, в ту Советскую страну, над которой он лет сорок назад изо всех сил потешался в своих юношеских романах. Тогда многие вокруг – и старые и молодые – сочиняли подобное. И в Париже, и в Берлине, и в Праге, и в Риге. Он слушал рассказы «очевидцев», читал написанное и напечатанное другими и сочинял свое, но подобное прочитанному. Однажды в руки к нему попал роман генерала Краснова, называвшийся «За чертополохом». Содержание его Сабуров помнил до сих пор. Это было сочинение о будущем России. Конец двадцатого столетия. Два американских журналиста сидят над картой мира. На месте старой царской России они видят сплошное пятно, через которое идет надпись: «Неизвестно что». Они знают, что в конце двадцатых годов государства Западной Европы установили глухой кордон перед границей СССР, граница заросла стеной чертополоха, и, что творится за нею, никто в мире не ведает. Журналисты решили проникнуть в «неизвестно что», рискуя головами. С ними отправился туда и потомок русских князей, некий набожный,

высокоталантливый юноша, проживавший во Франции. Кое-как преодолев стоверстную полосу чертополоха, они добрались до границы. Их встретил там пограничник в старинной одежде стрельца, в высокой боярской шапке. После проверки паспортов всех троих усадили в дирижабль, в котором над спальными местами теплились лампады. В коридоре дирижабля журналисты и высокоталантливый юноша видят генерала, который курит папиросу марки Месаксуди. «Ваше превосходительство! Значит, Россия жива?» – вскрикивает растроганный до слез потомок русских князей. Генерал словоохотлив. Оказывается, в 1930 году, когда в Советской России еще существовала грозная ЧК, со стороны Памира, с диких, глухих гор, весь в белых царских мехах, спустился царевич из дома Романовых Игорь Владимирович. Он привел с собой превеликое войско в белоснежных одеждах. Солдаты Игоря Владимировича громили большевиков и двигались на север, к Москве. Заняв Москву, они тотчас начали строить новую, небольшевистскую Россию. Созван был всероссийский собор, появились царь, двор, генералы, сановники. Народ стал жить не классами, не партиями, а семьями, родами. Все везде стало благостно, задушевно, празднично звонили колокола в церквах, люди под их музыку возлюбили друг друга; если где-нибудь вдруг нарождался большевик, царская полиция в тюрьму его не заключала, не казнила. Только отрезали такому молодцу язык, дабы не распространял яд большевизма.

Сабуров не казался себе чудаком, какими были те, красновские, отправившиеся в российское «неизвестно что». Он еще со времен войны знал, что в Советской России нет ни царя, ни сановников, ни колокольных звонов, ни чертополоха. Но вот поэт Богородицкий, живущий в Советском Союзе, в своих воззрениях возвращается, кажется, к тем временам, когда генералы Красновы еще проектировали такую Россию, такой строй для нее, при котором бы вера в господа бога сочеталась с верностью некоему монархического толка правителю, просвещенному и на свой манер демократичному. Откуда этот бред, с каких Памиров?

У своих ворот Ия застала Генку. – Два часа дожидаюсь! – заговорил он.– Ты, кажется, с итальянцем смоталась. Старый он хрен, унылый какой-то. Этот Юджин потолковей. Вообще американцы – народ живой. У них есть что-то общее с нами.

– Развязность, очевидно, Геночка.

– Ты скажешь, как пулю в лоб всадишь. Из крупнокалиберного. Так вот, слушай, я тебя, знаешь, зачем жду?… Да слушай!… Родители мои кудахчут там, спасу нет. Такие, мол, ученые, мировые имена! И куда пожаловали? Первый визит в Москве – и прямо к товарищу Зародову! Отец вопит: «Клауберг – это же выдающийся знаток, профессор, доктор. Кто его в мире не знает? Порция Браун! Нет номера журнала – он там какие-то названия перечислял, – чтобы не оказалось ее проблемной статьи о нашем искусстве, о нашей литературе! Юджин Росс! Это его выставка фоторабот нашумела в Рейкьявике на острове Исландия. А Умберто Карадонна! Ого-го! Кто такой синьор Карадонна? Галерея Уффици во Флоренции, галерея Питти – там же, Брера в Милане, музеи Турина – это все он, он, Карадонна, их хранитель и радетель. И

умножатель.

– Карадонна – владелец пансиона на берегу одного из итальянских морей, Генка,– спокойно ответила Ия.

– Он врет тебе. Они любят выдавать себя не за тех, кем являются на деле. А к тому же пансиончик еще ни о чем не говорит. Купил по случаю доходный домик. Там у него управитель управляется и хозяину валюту в лирах исправно переводит по почте. Пансион на морском берегу, где-нибудь в Ривьере, – это же чистейшая монета.

– Да, может быть, и так,– согласилась Ия.– Ну что же, пойдем ко мне. Рассказывай, что тебе надо.

– Ййка, выручай! – говорил он, входя во двор.– Этот Юджин… во парень! Надо бы с ним встретиться. Но где? У нас дома? Родители не волят. Одно дело – они сами. Другое дело, если я ребят да девок захочу позвать.

– Так ты хочешь ко мне? Чудило! Мою комнату показывать иностранцам? Да ты знаешь, что и как они по этому поводу нарасписывают! Я просматриваю такую писанину. Нет, мой дорогой братец, не выйдет.

– Я берусь отремонтировать ее так, что ахнешь.

– Вот даже как!

– Ей-ей. Расходы за мой счет. Ты не истратишь ни копейки.

– Дело же не в копейках.

– Ты не истратишь и ни минуты своего драгоценного времени. Три дня, всего-то. Поживешь пока у кого-нибудь. У тебя же есть знакомые тетки. А потом вернешься и ахнешь.

В комнате он разошелся.

– Это все, твои занудные обои, сдираем. Обоев вообще не надо. Клеевой краской или гуашью. Свет организуем по-другому. Вот только мебель… Эх, ну и мебель же у тебя! Дрова! Утиль! И пол… Ну что это за пол! Плахи с Лобного места. Да, не больно ты культурно живешь.

Он сел в дряхлое кресло, сидел, смотрел в пол, обдумывал.

– И все-таки – три дня. В крайнем случае – неделя. Зато, Иинька, всю жизнь потом будешь меня вспоминать. Не сопротивляйся, очень тебя прошу. Хотят же люди окунуться в нашу жизнь, в нашу действительность.

– Ладно, действуй, – согласилась в конце концов Ия. – Я попрошусь в мастерскую к Олимпиадиному мужу, к ее Антонину. Ночью-то мастерская у них пустует. А днем в библиотеках посижу. Но чтобы ничего не поломать, не разорить, слышишь?

24

Писать Василий Петрович Булатов начал еще до войны, когда был совсем молодым парнишкой и работал монтажником на авиационном заводе. Тогда, под стеклянными кровлями цеха, он сочинял стихи о летчиках, парашютистах, сам мечтал быть и летчиком и парашютистом, но ни в парашютисты, ни в

летчики так и не попал – в военкомате его категорически забраковали по состоянию здоровья. Пришлось утешиться учением в вечернем техникуме при заводе, после чего он стал хорошим техником; а дальше ударила война, и техник Булатов все ее годы провел на военных аэродромах: летать, верно, не летал, но в боях участвовал, не раз отстаивал аэродром и от воздушных атак, и от прорвавшихся вражеских танков, и от парашютных десантов. Писать при этом, начав однажды, он продолжал. Не стихи, правда, а рассказы о своих боевых товарищах, обо всем том, что они. а вместе с ними и он переживали, испытывали на полевых боевых аэродромах. Рассказы его печатали в армейской и фронтовой газетах. А к концу войны имя Василия Булатова стало появляться и в центральной печати – и не только в газетах, но и в журналах.

Года два спустя после победы вышел его первый роман, это был роман о летчиках, назывался он «Широкие крылья», и с него-то и началась по-настоящему писательская жизнь Булатова. Писал Василий Булатов остро, на самые горячие темы современности. Военным у него был, пожалуй, только один этот первый роман, но молодого писателя критики упорно числили среди авторов военных произведений, не желая замечать ни его следующих романов, ни его повестей, в которых действовали и врачи, и партийные работники, и лесоводы, обводнители среднеазиатских пустынь. Вначале Булатов огорчался этим, со временем прошло. Первый урок понимания происходящего вокруг него ему преподал седовласый, полный сил и бодрости поэт, начавший свой литературный путь еще в годы революции. «Дорогой мой младший товарищ, – сказал он, дружески взяв Булатова за плечи. – Вы слишком отчетливо заняли партийные позиции в литературе, слишком отчетливо обнародовали свое кредо. Значит, добровольно встали в передовой отряд борьбы за коммунистическое будущее. Чего же удивляться тому, что пули летят прежде всего в вас и в таких, как вы? Сидели б в заветрии, за омшаником, расписывали красоты природы, всякие омуты и заводи, сельские идиллии с буренками и жеребенками, от которых пахнет молоком и навозом, с мудрыми дедами Михеичами, с боевыми молодайками, лихими на тряску подолами,– исполать бы вам тогда, батюшка! А то вот все до главного докапываетесь: как, мол, то да се да третье-четвертое, с точки зрения интересов рабочих и крестьян, да какую роль в том да сем да в третьем-четвертом играют акулы мирового империализма. Ну, и коль без этого не можете и коль Михеичи да буренушки вас не вдохновляют, – терпите, дорогой мой, ко всему будьте готовы, ко всему. В меня барон Врангель стрелял… В вас… Вот уж разбирайтесь сами, кто в вас стреляет».

С годами с каждой новой книгой, с каждой новой статьей в газете, с выступлением по радио Булатов и те, с кем он вместе шел по путям литературы, все сильнее мешали тем другим, кто пытался хоронить коммунистические идеалы, развенчивать героев революции и первых пятилеток, ставить под сомнение даже самое революцию – ее правомерность и неизбежность. Молодой писатель уже стал не молодым, и он давно разобрался, кто же в него стрелял, и отчетливо видел, что оружие это отнюдь не отечественного, а иностранного производства. Жить и работать под постоянным огнем было не легко, не просто, но в то же время интересно и

по-своему радостно. Противник был хитер, ловок, находчив, он умел использовать любые возможности для нанесения удара. Если Булатов писал о людях труда так, что показывал и сам их труд, поэзию этого труда, о таком его произведении отзывались с пренебрежением: «производственный роман»; если он сосредоточивал внимание на семейной жизни героев, приклеивали табличку: «бытовщинка», да еще и «дурная»; если брался за общественные проблемы, говорилось тогда: «публицистика», – с добавлением эпитета «голая»; если был «рассказ», требовали: «где же показ?!»; если был «показ», кричали: «где же рассказ?»

Критиков, овладевших такого рода методом, была едва ли пятерка, но зато какие-то скрытые в общественной тени силы всячески раздували авторитет их суждений, что называется, поднимали их, растили, лелеяли, поминали в газетах, в журналах, по радио, в докладах. И эти мастера литературной игры краплеными картами все распухали, разрастаясь чуть ли не до вселенских масштабов. Булатов был для них одной из мишеней. «Великолепная пятерка» рубила направо и налево всю ту советскую литературу, которая открыто и честно служила делу народа, партии, делу рабочих и крестьян, – литературу социалистического реализма. Методы ее «работы» удивительно совпадали и по форме и по существу с теми методами, которыми в борьбе против советской литературы пользовались буржуазные зарубежные поносители. Насмешка, фельетонность, передергивание, подтасовка цитат, намеки и догадки, полное игнорирование существа произведения, того главного, во имя чего оно написано. Лишь бы посмешнее, лишь бы побольнее, лишь бы покомпрометационней.

Возможно, что в таких условиях жизнь Булатова была бы невыносимой, если бы не его разъезды по стране, не его встречи с читателями и героями написанных и ненаписанных книг. Среди них он отдыхал от наскоков и уколов, набирался уверенности в том, что делает полезное и нужное людям дело, сверял свое творчество с жизнью.

Время от времени, раз в два-три года, бывал он и на том заводе, где после школы начинал свой трудовой путь, на родном ему авиационном. Именно там встретился он однажды с инженером инструментального цеха Феликсом Самариным.

Булатов был в тот день в цехе, в котором работал лет тридцать назад и где еще оставались люди, знавшие его по тем, довоенным, временам… У них шел спор о судьбах рабочего класса.

– Видишь ли, Василий Петрович, – говорил ему один из старых монтажников, – мы утверждаем одно, а нам в ответ преподносят другое. И не скажу, что глупое. От него не отмахнешься вот так, как корова хвостом от овода. На примере событий новейшей истории мы сейчас все больше и больше убеждаемся в том, что никакие настоящие революционные преобразования в мире невозможны без ведущей роли рабочего класса. На какую страну ни взгляни – если там забыли о рабочем классе, ничего хорошего не получается. А нам говорят: не в этом дело, совсем оно не в рабочем классе. А в том, дескать, что классовая борьба вообще затухает и самих классов-то уже не становится.

Мол, вы все о рабочих да о рабочих талдычите. А пройдет с десяток-другой лет, ваших рабочих и вовсе не будет. Кибернетика, электроника! Всеми процессами на заводах – в доменных печах, в мартеновских, в прокатных, на любых конвейерных линиях – управлять будут счетные машины. Включил их утречком, они сами примутся следить за действием агрегатов, за соблюдением технологического процесса.

– Заманчивая штука! – сказал Булатов. – Хорошо бы, если бы было так. Но это, конечно, ерунда. Не знаю, как будет обстоять дело через сотню-другую лет, но что человеческая рука, вот эта самая лапа, еще очень долго будет нужна на нашей земле, в этом нисколько не сомневаюсь. С нее начался человек – с того часа, как научился держать в руке палку, камень – орудие. Было это, по одним данным, пятьсот тысяч лет назад, по новым, последним – миллион и более. Миллион лет рука кормила человека! Думаю, что и еще покормит.

– Слова ты говоришь красивые, но факты о другом напоминают, Василий Петрович. Рабочий класс, и верно, уже не тот, что был хотя бы четверть века назад, в войну, скажем.

– Ясное дело, не тот! А по сравнению с тем, как было во времена Демидовых, сегодня и вовсе не найдешь ничего похожего. Эко ты рассуждаешь как!

– Нет, не понял ты меня, Василий Петрович. Не тот, говорю, вот в каком смысле. Все хотят учиться и стать кто техником, кто инженером. Все рвутся только мозгой действовать. А руками-то кто же станет шевелить? Получается ведь как. Окончил малый десятилетку, куда идти? Не к станку же. В вуз, понятно. А если все в вуз попрут, кто в цехе дело станет делать? Вот я о чем.

– Не все так рассуждают! – крикнул кто-то. – В инструментальном есть немало ребят, которые пришли туда после десятилетки. Хорошие ребята,

– Не способны к учению, что ли? – поинтересовался Булатов.

– Почему не способны! Очень способны. Из интереса к рабочему труду идут на производство. Да вы проведайте их, сами поинтересуйтесь.

Так Булатов попал в инструментальный цех и так встретился с Феликсом.

Феликс хорошо знал своих молодых товарищей. Он водил Булатова от одного к другому. Одни из ребят говорили писателю, что, конечно, не на всю жизнь приковали они себя к верстаку, рано или поздно пойдут учиться,– только вот жизненного опыта поднакопят. Другие уверяли, что работа у них интересная, творческая, никакой другой им и не надо. На ней не только руками, а и мозгами шевелишь.

Наконец, устав от хождения, чтобы дать отдохнуть ногам, Булатов зашел в красный уголок. Феликс не решался оставить его одного, считая это невежливым. Они разговорились.

– Значит, и вы предпочли завод ученой карьере? – спросил Булатов.

– Так получилось, – уклончиво ответил Феликс. Он с интересом рас сматривал писателя, почти все книги которого у него были дома.– Потом, может быть, и что-то другое найду. Вы ведь тоже ушли с завода, Василий Петрович.

– Да, ушел. Но куда? На фронт. Правда, не будь войны, все равно бы

писать стал. Меня эта страстишка с детства мучила.

– А вот у меня такой отчетливой страстишки пока нет.– Феликс усмехнулся.– Меня всему учили, хотели Леонардо да Винчи из меня сделать.

– Это очень спорное положение, – серьезно сказал Булатов. – Чему-нибудь одному учить человека или многому. Учить одному – получится узкий специалист, может быть, очень полезный народному хозяйству. Но за этим таится опасность, что он будет невеждой во всем остальном, и что же тогда сам-то получит от жизни? Учить многому – может человек нахвататься всего помаленьку, стать превосходным рассуждателем и никудышным делателем. Нет, надо как-то очень разумно сочетать широкое общее образование с узким специальным.

– Есть старая формула,– сказал Феликс– Многое обо всем и все об одном.

– О, вы это знаете?

– Да я много что знаю, Василий Петрович. Я же сказал, что меня всему учили.

Смена давно закончилась, народу в красном уголке прибывало, домой не уходили, все прислушивались к разговору писателя с инженером.

– Товарищ писатель, – сказал электрик Никитин. – Можно мне слово?

– Пожалуйста! – Булатов засмеялся. – У нас не собрание, и я не председатель. Говорите, я слушаю. Хозяева здесь вы.

– Я считаю, что Самарин поступил правильно, по-настоящему, – начал горячо Никитин. – Если у него нет призвания, страсти к науке – и нечего туда было идти, как другие делают. Он говорит, что и к технике не очень способен. Но мы видим другое. Инженер он умный, рабочего понимает, потому что и сам походил в рабочей спецовочке. И вообще голова! И еще главное что? Сумел трезво о себе рассудить. Это же ценить надо! Таких ребят много ли, которые бы, увидев, что идут не по той дорожке, взяли бы да и остановились на ней, осмотрелись и выбрали более правильную дорогу. Пока что только родители своим детям дорожки указывают. Сообразуются не с их способностями, а со своими собственными взглядами и интересами. У нас в доме тетка одна проживает, в утильпалатке сидит, пузырьки из-под лекарств скупает у населения. Так она свою девчонку просто даже палкой лупила, чтобы та после десятилетки в медицинский институт шла. «Доктором,– орет,– должна стать! Зря я тебя, такую-растакую, без отца-то до семнадцати годов растила, надрывалась!» «Мама,– отвечает дочка,– дай в швейный техникум пойду, видишь, как у меня шитье получается». «Доктором будешь, доктором!…» Приговаривает так да и лупит девчонку. Ну та и поступила в медицинский и теперь уже первый курс прошла. Вот и лечись потом у этой центрально-шпульной докторши. Будет людей гробить. А кто виноват? Вот скажите, кто тут виноват, товарищ писатель?

– Все по малости, – рассудительно сказал мастер участка Рыжи ков. – И девка сама виновата, и матка ее тоже, и школа, и…

– Бросьте, Иван Захарович! – крикнул один из молодых.– Это в старые времена мужики в деревне укокошат конокрада и давай вопить перед следователем: все, батюшка, виноватые, все руку прикладывали. А все

виноваты не бывают.

– Пример не очень удачен, – сказал Булатов. – Те мужички хитрый народ были. Стараясь всех связать общей виной, они заставляли каждого подойти да хотя бы разок вдарить, чтобы ни одного среди них не было такого, который смог бы сказать потом: а я ни при чем, я рук не прикладывал.

– А я считаю, что пример как раз удачный,– подхватил Никитин. С девчонкой тоже ведь так получается. Все руку приложили. Школа? Там хоть и утверждают в общих словах, что все профессии почетны, а героями-то перед ребятишками кого выставляют? Ученых, космонавтов, артистов, изобретателей… Комсомол? Та же картина. Газеты, журналы?… Словом, одним профессиям все внимание, другим никакого. И получается, что на одну-то мать всю вину валить нельзя, несправедливо.

– Что ж, может быть,– согласился Булатов.– Логика в этом есть. Сегодня в цехе, в котором я когда-то работал, тоже шел подобный разговор. О судьбах рабочего класса. Неправильной пропагандой можно все искри вить. Предав рабочий класс забвению в литературе, в искусстве, можно добиться того, что люди начнут судить о рабочем классе неверно. Начнут теоретизировать в том смысле, что, а не исчезает ли этот класс вообще, превращаясь в класс техников и инженеров, то есть переставая быть классом. Я вам расскажу невеселую историю. Несколько лет назад я побывал в Уэльсе, в Великобритании. Ездил в угольный район, который называется Ронда Валли. Ущелье реки Ронды – так, кажется, это можно перевести. Шахты там старые, традиции горняков тоже. Случались в тех местах когда-то большие забастовки, крупные волнения. О них писали, они во шли в историю мирового рабочего движения. И что вы скажете? У тамошних горняков есть неплохой рабочий клуб, созданный и существующий на профсоюзные средства. Так, говорят, клуб этот прогорает, не идут в него молодые горняки. Почему? А потому, чтобы кто-то не подумал, что они рабочие. Идут в любые кафе, в пивные, в клубы к служащим, лишь бы не в свой. Рабочие хотят казаться клерками, конторщиками, кем угодно, лишь бы не рабочими. Грустно? Да, грустно. Кто виноват? Кто добился этого? Тот, кто боится рабочего класса, зная, что рабочий класс – могильщик капитала. Всей мощью своей пропагандистской машины, изо дня в день влияя на молодые умы, капиталисты долбят, долбят и долбят одно: марксово учение об эксплуататорах и эксплуатируемых устарело, эксплуататоров и эксплуатируемых уже нет, есть партнеры в общем процессе производства. Некоторые хозяева идут даже на то, что известное число акций продают рабочим, и те как бы становятся совладельцами, тоже хозяевами предприятий, следовательно, уже не рабочими. Ловко? В нынешнем мире это один из главнейших вопросов: роль рабочего класса. В повседневной суете, шумя и политиканствуя, о нем начали было позабывать, и в итоге многое оказалось оторванным от почвы, повисло в воздухе, болтая беспомощно ногами. Некоторые революционные партии утратили чувство реальности и перспективы, позабыв, что и создавались-то они как партии рабочего класса, а вот, растворившись в обывательских массах, незаметно, исподволь превратились в партии мелкобуржуазные, с идеологией мелкой буржуазии. Нет,

друзья, без рабочего класса, без ведущей его роли никакие революционные деяния и преобразования невозможны.

– Значит, да здравствуют наши ребята? – воскликнул кто-то.

– Значит, да. Да здравствуют! Желаю вам всем успеха!

– Одну минутку,– сказал Никитин, видя, что Булатов собрался уходить. – Товарищ писатель! Мы тоже каждый день до хрипоты спорим по разным вопросам. И о политике и об искусстве. Феликса Самарина, к примеру, просили устроить нам встречу с одним из его родственников, с художником Свешниковым. Так тот, Свешников, отказался. Как вы считаете, почему?

– Свешников? Свешников?…– глядя в потолок, вспоминал Булатов.-Какой же это Свешников? А! Может быть, этот: церкви, богородицы, Русь?… Значит, он ваш родственник, товарищ Самарин?

– Седьмая вода на киселе,– ответил Феликс– Через мою двоюродную тетку.

– Трудно даже представить себе подобную степень родства! Я в этих делах не особенный знаток. Ну, а что касается вашего вопроса, друзья мои, то я на него ответить не могу. Не я же отказался. И кстати, с какой целью вы хотели с ним встретиться?

– Видите ли,– стал объяснять Никитин.– Вы только что сами сказали: церкви, богородицы, Русь! Вроде бы наше, внутреннее, русское. Тогда почему же о нем так шумят за рубежом? Вот хотели прийти к нему и разобраться, что у него хорошего, что плохого, чтобы или согласиться с теми, кто его хвалит, или согласиться с теми, кто его критикует. С чужих слов трудно же судить – то ли он страдалец, то ли от него страдают.

– Желание законное. И, значит, не согласился?

– Нет,– сказал Феликс– Я, говорит, работаю для тех, кто способен меня понять. С такими я готов встречаться. А ваши, заводские, меня не поймут, и будет у нас разговор двух глухих. Ни к чему это.

– Значит, он уже заранее убежден в том, что заводские его не поймут? – заговорил Булатов.– Так, кстати, не часто бывает. Обычно творцы прекрасного, – он усмехнулся, – рассчитывают не на снобов, а на широкое понимание их творчества. Если, конечно, они сами не снобы.

Булатов ехал в машине по весенней Москве, вспоминал и обдумывал разговоры на заводе. Вот этот Свешников… Да, да, он вспомнил теперь этого художника. О нем ходят разные толки. Одни клеймят его клеймом халтурщика и приспособленца. Другие утверждают, что это невиданный талант. Булатову однажды пришлось выслушать мнение старого, уважаемого живописца. «Паренек способный, – сказал старый мастер.– Но недоучка. Ему об этом говорили, он вместо того, чтобы учиться, обиделся. Нашла коса на камень. Ощетинился малый против стариков: дескать, зажимщики, человеконенавистники, все до единого зла ему желают. А старики тоже иглы навострили: строптивец, дескать. Вот глупость и получается. На произвол судьбы молодца бросили. А брошенного-то его наши заклятые друзья и подбирают. Нехорошо получается, нехорошо».

И в самом же деле нехорошо, и в самом же деле Свешникова подбирают не

те, кто бы должен был. Булатов вспомнил писания Спады, мужа той милой русской, с которой осенью прошлого года ему пришлось встречаться в Турине. Как раз Спада расписывает Свешникова страдающим от таких вот типов, как он, Булатов. Хитрым образом бойкий сочинитель сумел переплести все так, что и не расплетешь. Уж чем он, Булатов, не понравился желчному туринцу, но вот не понравился, и тот поистине не пожалел яду на характеристики ему.

Возвратись из Италии, Булатов опубликовал в газетах несколько очерков об этой своей поездке. Спада немедленно откликнулся на них в своей печати. Очерки, дескать, не содержат в себе ничего живого, они не отражают итальянской действительности, это голая социология, только черное и белое, и никаких иных красок. Хорошо, что в Италии не дают ходу таким Булатовым, которые, конечно, и в ней есть; дай им ход, дай им волю, они задавят все свежее, свободное, все явления жизни примутся рассматривать с догматических классовых позиций, и тогда конец свободной мысли, ограниченной этой схемой, конец подлинному искусству, наступит царство и господство так называемого социалистического реализма. Спада прямо не говорил, но и без прямых слов, по всему духу его статьи было видно, что для сокрушения своих противников он готов сомкнуться в единый критический фронт с белоэмигрантской зарубежной прессой, выступить в едином хоре с Би-би-си, с «Голосом Америки», с «Немецкой волной», с брехунами из канадского радио и со всеми прочими, предающими анафеме Булатова, его товарищей, его единомышленников, героев его книг, его страну, те идеи, которым он служит своими книгами.

Показать бы Спаде рабочих ребят, с которыми Булатов встретился в этот день. Интересно, что бы получилось. Отказался бы, поди, от встречи, как Свешников. Ах ты, Свешников, Свешников!… Надо бы поговорить с ним. Ребята рабочие, и те хотят созданное им увидеть своими глазами. А уж писателю-то стыдно пробавляться чужими отзывами и мнениями о творчестве человека, который вызывает столько пересудов. Надо, надо будет ему позвонить и напроситься в мастерскую.

Когда он вернулся домой, жена сказала ему:

– Какая-то девка тебе звонила. Из Италии. Из Турина, кажется. И еще будет звонить. Вечером. Вот человек! Куда бы ни поехал, непременно баб заведет!

Булатов ушел в свою комнату, лег на диван. Это становилось невыносимым. Жену надо было принудительно лечить от патологической ревности, от подозрительности, злобности характера. Думалось ли двадцать пять лет назад, что она станет когда-нибудь такой, что так изменится ее характер, все ее поведение! Тогда шел второй год войны. Она только-только окончила медицинский институт и так самоотверженно лечила в госпитале раненого при бомбежке аэродрома столь же молодого авиатехника Булатова, что вскоре они поженились. Жена оказалась песенницей, плясуньей, веселой жизнелюбкой. С ней – в гости, в бессонные компании, хоть до утра. В дни войны это было хорошо – развлекало, отвлекало. Все проявления жизни противостояли в те годы постоянно подкарауливающей тебя смерти, и

незабвенная слава им. Но когда Василий Петрович брался за чтение, а еще пуще – за бумагу, положение осложнялось. Ушедшего в иную жизнь, где места ей, очевидно, не было, а были там иные люди, иные женщины – такого его она терпеть не могла. Пусть после войны он стал носить пиджаки и галстуки, ничего, она любила его, как и того молоденького авиатехника в хлопчатобумажной гимнастерке, и хотела бы всю жизнь, какие бы он ни надевал одежды, видеть его тем прежним авиатехником. Зачем ему какая-то изнуряющая писанина? Она злилась на него за эту «писанину», старалась оторвать от бумаги, тащила в привычные компании. Он, не желая скандалов, отправлялся за нею, как кандальник по Владимирке.

Еще хуже пошло после того, как Булатов стал профессиональным писателем. Он начал разъезжать по Советскому Союзу, по зарубежным странам, стал то и дело где-то заседать, пропадать. Нина Александровна возненавидела его отлучки. Когда его не было дома, она беспокоилась, волновалась, бросалась к телефонам. Вначале ей думалось: не случилось ли с ним что? Но бомбежек давно не было, штурмовок тоже. Что же могло случиться? Вот тогда-то и пришли мысли о других женщинах. Мучительные, изматывающие мысли, «Где был? У кого? Это правда? А я звонила – мне не ответили». Стыдясь, но не в силах совладать с собой, она стала за ним следить, проверять, правду ли сказал. Всю радость ее прежней любви сжирала невероятных размеров ревность. Булатов даже советовался с врачами, с невропатологами, с психиатрами, не болезнь ли это, не навязчивая ли идея, и нельзя ли это лечить. Увы, говорили ему, даже если это болезнь, так называемая идея фикс, то, когда она выражается в ревности, ничто такого больного не вылечит, даже время.

Жить становилось все труднее. Иной раз Нина Александровна ставила совсем немыслимые условия: «Или ты возвращайся домой до темноты, или же, возвратясь позже, найдешь не меня, а мой труп: я отравлюсь газом или выброшусь из окна. Ты мой характер знаешь, знаешь, что я не шучу». Он знал: какие шутки, когда в глазах говорившей это – черный, грозный пламень.

И вот даже звонок из Италии – и то: баба!

Вечером его еще раз предупредили, что разговор с ним заказан из Турина. Ему и в голову не могло прийти, что позвонит Лера, именно жена Спады, которого он в тот день несколько раз вспоминал.

– Василий Петрович,– торопливо заговорила она в трубку, когда дали соединение и Булатов знал, что Нина Александровна в это время держит в руках вторую трубку и тоже слушает разговор. – Василий Петрович, извините меня, пожалуйста, но вы так хорошо отнеслись ко мне, когда бы ли у нас, в Турине, что я вот решилась позвонить вам. Мне очень, очень нужна ваша помощь, нужен ваш совет. Я должна как можно скорее уехать. Но у меня нет для этого средств.

– Куда уехать? – спросил удивленный Булатов.

– В Москву, в Москву. Домой. Помогите, одна надежда на вас. Вы такой человек, вы все сможете, если захотите. Я буду вам всегда благодарна. Да и не в этом дело. Я глупости говорю. Главное, мне надо, надо уехать. Иначе все будет

совсем плохо.– Она заплакала.

– Не волнуйтесь, – говорил он, уже обдумывая, как быть с этой не обыкновенной просьбой, как помочь человеку, что можно для нее сделать.– Только не волнуйтесь. Постараюсь что-нибудь. Но я не бог, я…

– Нет, нет, если только согласитесь, вы все, все можете.

Когда разговор окончился, вошла Нина Александровна.

– Ну что, Саваоф, думаешь, я не понимаю, в чем дело? Наверное, эта мадам забеременела. И вот…

– Нина!…

– Не надо криков. Твои благородные возмущения мне осточертели.

Не то, совсем не то хотела бы она сказать. Оскорблять мужа подозрениями – она понимала – скверно, пошло, низко. Но ничего не могла поделать с собой. Она же слышала рыдающий голос туринки, и ей нет никакого интереса выяснять подлинные причины этих рыданий. Кто-то – кто? – подсовывал ей под руку готовые, удобные, все объясняющие версии.

25

Савва Богородицкий принимал гостей радушно.

– По-русски, по-русски у нас,– повторял он, сразу приглашая всех к столу. Никаких племянниц с подносиками, никаких предварительных рюмочек с коньяком и стаканчиков с минеральной водой в его доме не было. На длинном столе стояли батареи бутылок, графины с квасом, штофы времен Александра III, наполненные водкой.– Супруга моя сама всю снедь изготовляла, собственноручно. Мастерица она по таким делам,– окал хозяин.– Мария Гавриловна! Покажись. Добрые люди видеть тебя хотят.

К поэту прибыла не вся группа – только Сабуров да мисс Браун. Клауберг тот день был занят, Юджин Росс возился с фотоаппаратурой, готовя ее к работе. «А кроме того,– сказал он,– такой скуки, какая была у мистера Зародова, достаточно и одного раза. Для экзотики. На второй раз уже начнешь терять гемоглобин в крови». «Мне помнится, Юджин, что вас сюда послали не веселиться»,– холодно сказала ему Порция Браун. «Но и не подыхать от русского занудства»,– огрызнулся он.

Сабуров был усажен подле хозяина, улыбавшегося во все розовое лицо. Кресло, в котором восседал сам Богородицкий. представляло собой нечто музейное. Ножки у него были устроены наподобие лошадиных ног – с копытами и подковами; подлокотниками служили деревянные топоры, как бы врубленные в круглые чурбачки; а спинка – это же расписная дуга из русских сказок, пестрая, яркая, с поддужным медным колокольцем. Сабурову смутно припоминались такие устройства для сидения, виденные им то ли в трактирах, где, бывало, по дороге в деревню его родители останавливались попить чайку, то ли у купцов в старом Петербурге.

В комнате, в которой был накрыт стол, вся мебель, вся обстановка поражали разностильем. Если в доме Зародова все было выдержано в современном западном духе, то здесь дешевый модерн смешивался по

принципу седла на корове со всевозможными стилизованными поделками. Дубовые сундуки и кленовые лари, черного лака ларцы, немецкие серванты и польские торшеры; на стенах – иконы и репродукции томных толстух Ренуара, натюрморты с разрезанными кроваво-красными арбузами и абстрактные штучки. На одной из стен, окруженные аркой будто полотняным полотенцем с петухами, висели лапти.

Заметив взгляд Сабурова, хозяин сказал:

– Выбился в люди-то и вот, чтоб не забывал, не забывал, откуда вы шел. О народе чтоб помнил, болел за него. Щуры-то мои, пращуры в такой обутке по земле хаживали.

Приговаривая, радушно улыбаясь, Богородицкий наливал гостям в рюмки из бутылок и штофов.

– Для знакомства у нас пьют водочку да икоркой, грибками закусывают. Госпожа дорогая, бутербродик, бутербродик себе изготовьте. Извините, что так вот называю вас. Нет у нас, у советских, должного слова для душевного, уважительного обращения друг к другу. Гражданин – звучит холодно, сухо. Официальное это слово. Для бумаг годно, а не для живой речи. Товарищ – оно и вовсе в людском обиходе неподходяще. Партийное слово, политическое. Вот было встарь «сударь», скажем, или «сударыня»!…

За столом размещалось человек двенадцать – пятнадцать. Видимо, как думалось Сабурову, все приятели Богородицкого, давние единомышленники хозяина; они дружно улыбались его высказываниям, согласно кивали, подхватывали вслух: «Правильно, правильно!» Один, правда, отважился сказать:

– Саввушка! От «сударя» да от «сударыни» до «вашего благородия» один шажок, да и до «вашего сиятельства» так дойти можно.

Богородицкий улыбнулся еще шире.

– Ну и что! -сказал. – «Сиятельство», может, и не того, конечно. А вот когда в Индию-то я ездил, меня там всюду «вашим превосходительством» кликали. На самую крайность-«сагибом», то есть «господином». И ничего, не рассыпался, подобно бесу от крестного знамения. Уважительно было, не по своему адресу принимал – по адресу державы, в ихние края меня пославшей. Господа, господа! Прошу вас, кушайте. Соловья-то не баснями кормят.

Порция Браун принялась расспрашивать хозяина дома о том, что происходит в советской литературе, в советском искусстве. Что нового, кто в моде? Что о ком думает хозяин? Коснулась Булатова.

– Василий-то Петрович?… – Богородицкий улыбаться перестал. – Не приемлю я, госпожа Браун, этого сочинителя. Может, он и неплохой человек, ежели человеческих качеств касаться, и войну прошел и всякое такое. Но прямолинеен до ужаса, догматичен, нетерпимостью болеет.

– А в чем это выражается? – спросил Сабуров.

– Да во всем, господин Карадонна. Во всем, что он делает, что пишет, что говорит.

– Слушайте, хватит вам этих литературных разговоров! – крикнул кто-то.– За рубеж приедешь, сидишь с людьми, интересных историй на слушаешься. А у

нас только «Булатов», «Петров», «Сидоров». Кто что сказал, кто что мазал.

– Господин Богородицкий. – Сабуров отложил вилку. – Еще в прошлый раз я заметил у вас в руках вот эту интересную шкатулочку. Не старинная ли табакерка? Не будете любезны… Взглянуть бы на нее, а?

– У вас глаз верный, господин Карадонна. Табакерочка, точно. И при том замечательнейшая, вы не ошиблись.– Богородицкий подал Сабурову покрытую эмалью крошечную шкатулочку, которую он лишь вертел в руках, не решаясь при иностранцах запускать табак в ноздри.

Сабуров долго рассматривал искусно выполненную на крышке табакерки старинную миниатюру.

– Маруся! Дай-кось лупу! – крикнул Богородицкий. И когда увеличительное стекло было принесено, посоветовал: – Через это взгляните, через это!

Сабуров рассматривал поясной портрет знатной дамы в богатых, пышных одеждах. Разглядев корону на ее голове, он воскликнул с удивлением:

– Неужели Екатерина?

– Она, она, Екатерина Алексеевна!– самодовольно ответил Богородицкий. – Великая женщина, друг Вольтера и Дидерота. Самодержица всероссийская.

– Принцесса Августа-София-Фридерика, дочь князя Христиана Ангальтцербского и княгини Иоганны… – Перечисляя эти имена, пораженный Сабуров всматривался сквозь увеличительное стекло в надменные черты немки, которая тридцать пять лет просидела на русском троне и, кое-как говоря по-русски, управляла сорока миллионами русских людей.– По чему вы держите эту вещь, именно с этим портретом? – спросил он.

– Повторяю: великая была женщина. Преклоняюсь перед нею. Для возвеличения России она сделала больше, чем вознесенный до небес Петр Первый. Тот был хам, мужлан, ломал людей, уклад исконной русской жизни корежил. Екатерина же Алексеевна вела дело тонко, благородно, по-теперешнему если сказать,– интеллигентно. Нет, не проста она была, не примитивна, как Петр. С полетом, с великим полетом. И демократка, если хотите знать. Вы, как иностранец, можете многого не ведать из нашей истории… Я и тому удивляюсь, откудова полное имя этой нашей императрицы вам известно… Так вот. Была у Екатерины Алексеевны мечта заветная. Воскресить порабощенную турками Грецию, освободить из-под янычар всех южных славян, истекавших кровью. Константинополь, вновь отворяющий свои врата христианству, крест на Святой Софии вместо осквернявшего ее полумесяца. Ведь вот что великая женщина исподволь-то готовила! Второго сына Павла, внука своего, каким именем нарекли по ее приказу? Константином его нарекли! Не Петром и не Иваном. Со значением так сделали. Туда его прочили, в короли южных славян и греков. Потому и кормилицей у него не русская баба была, а чистопородная гречанка, и слугою грек был. Греческий кадетский корпус Екатерина Алексеевна учредила, греческую епархию в Херсоне возобновила. Медали чеканились: на одной стороне – сама матушка-императрица, на другой – Константинополь в пламени, минарет,

падающий в море, и над ним крест в облаке. Тонко, тонко вела дело, так, чтобы идеи ее глубоко и широко, как бы сами собою, проникали в жизнь, без грубого нажима, без насилия…

– Но в основе-то, – сказал Сабуров, – было все то же, что позже и у менее тонких людей было, вплоть до Гучкова и Милюкова. Проливы, а не кресты над Святой Софией. Босфор, Дарданеллы.

– Этим материализмом можно что хочешь опошлить, – не согласился Богородицкий.– Вот вы спрашивали о Булатове. Он как раз так, в лоб, догматично, схематично, и рассуждает о подобных предметах. Человеческое, происходящее от личности, он отбрасывает. Одни интересы ищет. В чью, дескать, пользу. А что, без пользы-то нельзя разве? И вы вот сразу – немка! Да это же чисто формальное, биология, так сказать. А дух-то, дух Екатерины– русский дух! Ум какой! Широта! Вы не знаете, а я знаю. Святейший Синод пожаловался ей на казанского губернатора за то, что тот, обойдя тогдашние указы, дозволил построить в Казани несколько мечетей. И что же ответила на это Екатерина? – Богородицкий вытащил из кармана записную книжку, полистал, прочел: – «Как господь терпит на земле все вероисповедания, языки, религии, так и императрица, следуя в этом его святой воле и его заповедям, поступает, прося только, чтобы между ее подданными царили всегда любовь и согласие». Одобрила, значит! Вот так. Или по поводу церковных обрядов. Никого ничем не сковывала.– Он еще полистал. – Вот слова ее и по этому поводу: «Тот, кто творит добро ради добра, не нуждается ни в смешных обрядах, ни в костюмах, столь же смешных, как и легкомысленных». Великая женщина! В конце жизни как она писала?! «Мое желание и мое удовольствие были – сделать всех счастливыми».

– Не всех, очевидно, – Сабуров улыбнулся, – а лишь своих фаворитов, несколько дюжин преуспевавших возле нее любовников. В этом смысле она – что да, то да – отличалась, скажем, от Екатерины Английской или от Христины Шведской. Те своих любовников просто-напросто приканчивали, когда надобность в них проходила, а Екатерина щедро награждала их за счет российской казны и ни одного не забыла милостями до конца ее дней. Да, в этом она была велика. Потемкин, всем известно, получил от нее в общей сложности пятьдесят миллионов рублей. Семнадцать миллионов перепало братьям Орловым и так далее.

– Вот это и есть, простите меня, господин Карадонна, чистой воды булатовщина. Опошление всего высокого и светлого.

– Ого!– сказал Сабуров. – Мы с господином Булатовым, которого я не имею чести знать, оказывается, одинаково судим о некоторых вещах. Мне бы хотелось с ним познакомиться.

– Не велико удовольствие вам будет от этого.

– Во всяком случае – я убежден теперь в этом – господин Булатов, как и я, не согласится с тем, что царица Екатерина Вторая стремилась сделать всех счастливыми, что она была такая гуманная и человечная, такая радетельница и благодетельница. А как же Пугачев, господин Богородицкий? Гуманнейшая из гуманнейших приказала разрубить человека живьем на четыре части, каждую

часть отдельно насадить на кол, выставить их в четырех концах Москвы, потом сжечь. Уж до того она старалась истребить память о восстании против ее гуманности, что даже реку Яик велено было ею переименовать в Урал и казачеству яицкому именоваться впредь уральским!

– Так ведь то бунт был, мятеж! А вы бы как на месте Екатерины поступили? – утрачивая добродушную свою улыбку, запротестовал Богородицкий.

– Тогда, значит, и Радищева она правильно репрессировала?

– А защищаться-то ей надо было! Тут своя логика. Нельзя не понять.

– Так хорошо, как вы, господа, я старой истории России не знаю, – вступила в разговор Порция Браун, – но мне кажется, что господин Богородицкий прав. Сегодняшними мерками действия людей прошлого мерить нельзя. Царица Екатерина отвечала за судьбу государства, и она должна была защищать государство от поджигательств.

– Простите, мисс Браун, – упрямо отстаивал свое Сабуров. – Вы мне рассказывали, да я и сам в десятках, в сотнях зарубежных изданий прочел о том, как и вы персонально и авторы многочисленных статей возмущаетесь советским судом, который осудил двух или трех литераторов, печатавших под псевдонимами за рубежом направленные против советского строя сочинения.

– Да, да! – воскликнула Порция Браун. – Этим возмущены все порядочные люди в мире.

– Но государство-то защищать надо! – в тон ей ответил Сабуров. – Почему царей, цариц, сатрапов, угнетавших народ, вы готовы оправдывать: мол, обязаны были защищать государство. А тут, где касается Советской России, вы непреклонны. Слишком избирателен ваш метод. Почему, по-вашему, Радищеву было нельзя выступать против государства Екатерины, государства абсолютистского, уродливого, тиранического, а какие-то злобные критиканы пусть на здоровье вредят своему государству, государству народа, молодому, прогрессирующему, и трогать их нельзя? Концы с концами у вас не вяжутся, мисс Браун.

– Вы не коммунист ли, господин Карадонна? – с деланным смехом спросила Порция Браун.

– Нет, я не коммунист, – ответил Сабуров. – Но я столько наделал в жизни ошибок, что очень многому на них научился.

– Господа, господа! – стучал вилкой о графин хозяин дома. – Мы все горячимся, и это хорошо. Мы хотим истины, а истина рождается только в споре. Почему я так чту память и дела Екатерины Алексеевны? Потому что мне дорог каждый, кто радеет о народе. Не зря тут лапти-то висят. Это совсем не декорация. Я часто, часто бываю среди людей, среди тех, из кого вышел. Многое еще не сделано, чтобы всем жилось на земле хорошо. Еще трудна жизнь народная, ох, трудна! Иной раз глянешь, и вот тут запечет. – Он показал кулаком на свою грудь.

Сабурову показалось, что своей резкостью в споре он обидел поэта, и, чтобы сгладить напряжение за столам, спросил:

– А где, простите, вы бываете, господин Богородицкий? В каких местах

России?

– В разных, в разных, господин Карадонна. Чаще же всего в родных своих, северных. Дом у меня там родительский, гнездо родное. Заботы оно требует. И вот, как приедешь да глянешь, как народ все еще в избушках живет… Запечет, говорю, здесь. Сад у меня там большой, корней двести одних яблонь. Сам с ними справишься ли? Нет. Позовешь в помощь односельчан. Разговоры пойдут. Души изливаются. Трудно народу, ох, не легко! Глухие места, дальние.

– А как же вы добираетесь туда? – любопытствовал Сабуров.

– Я-то? Да машиной. «Волга» моя лесных колдобин не берет. Пришлось еще и вездеход купить, с передачей на обе оси. Приедешь, конечно, доберешься, а душа не на месте. Чуешь, что не можешь ты быть спокойным. Народ-то, народ…

Штрих за штрихом перед Сабуровым раскрывалась натура ханжи, фарисея, лжепечальника за народ. На псковских, новгородских дорогах, по дороге в Москву группа сворачивала не в одно селение, и нигде ничего подобного, о чем печалится Богородицкий, никто из них не заметил. Видели множество сельскохозяйственных машин, в каждом доме телевизор или радиоприемник, видели велосипеды, мотоциклы. Дома, правда, еще не благоустроены, кое-где даже покрыты соломой. Но люди говорили: деньги есть, и руки рабочие есть, строительных материалов не хватает. Словом, у всех перспективы, у всех планы, надежды. А этот развесил лапти над обеденным столом, сидит жует паюсную икру, пьет водку и горюет.

Сабуров знал, что среди русского крестьянства всегда водились такие, которые постоянно хныкали, прибирая тем временем своих односельчан к рукам. В долг давали, под проценты, под отработку и делали при этом вид, будто бы они самые что ни на есть бескорыстные благодетели. В хозяине дома ему увиделся именно такой мужичина. Ведь, поди, не в шутку сказал он это о сударе и сударыне, о вашем превосходительстве и вашем сиятельстве. Окажись такой в поле зрения матушки Екатерины Алексеевны, ох, и лебезил бы перед ней! Ох, и старался бы и днем и ночью за блага, какие сыпались на пригреваемых матушкой хитрецов!

– Мисс Браун, – сказал он, взглянув на часы.– Я должен извинить ся перед хозяевами дома. Мне надо быть в отеле. Работа, господа! – Он встал и поклонился. – У нас, у людей нашего мира, известное вам жизнен ное правило: бизнес есть бизнес.

– Что ж, а я еще побуду,– согласно кивнула Порция Браун. Ей хозяин дома нравился, ей был нужен, полезен такой человек.

Когда Сабуров ушел, она сказала:

– Это хороший специалист своего дела, но очень плохой политик. Простите ему, господа, его прямолинейность. Она – производное от недостаточной информации.

– А мне показалось, – не согласился один из гостей, – что Россию он знает неплохо. Не говорю, правда, о Советском Союзе. А Россию знает, знает.

Порция Браун заговорила о том, что ей очень было интересно узнать об оригинальной табакерке господина Богородицкого, о некоторых фактах из

жизни русской императрицы Екатерины. Вообще весь разговор в этот день ей показался очень содержательным, свободным, глубоким.

– Мне только одно не совсем понятно, господин Богородицкий, – она делала недоумевающие глаза, – как вам позволяют носить при себе такую криминальную вещицу. Вы, мне говорил кто-то, состоите в коммунистической партии.

– Да, состою. Сразу после войны вступил. Сейчас я, может быть, и не сделал бы этого. А тогда… Подъем победы! Все так, и ты так. А если по раздумать, то литератору, работнику искусств, не совсем гоже в партиях быть. Там программа, там устав. Ограничивают они художника. Нельзя, чтобы тебя, пишущего, что бы там ни было, но загоняло в рамки, шоры бы ставило на твои глаза.

– Но ведь можно и выйти из партии?

– Можно. В принципе. На практике неудобно как-то. Вступил, так уж держись. Но я вам скажу, больших ограничений сейчас у нас и в этом смысле нету. На собрания я не хожу – ничего, терпят. Высказываюсь довольно свободно – ежатся, но помалкивают. Сейчас куда свободнее стало. Не то, что лет с десять, с пятнадцать назад. Тогда такая табакерочка разве же мыслима была!

– А что, в Сибирь бы сослали?

– В Сибирь-то, конечно, не в Сибирь бы. А вот из партии, уж это как есть, попросили бы.

– За такой пустяк?

– Да он не такой и пустяк, сударыня. Разобраться если по-настоящему. Это же знак моего несогласия со многим из того, что делается-то у нас. Россия – страна особенная, особого требует к себе подхода во всем.

– Да, да, – охотно соглашалась Порция Браун, – русская душа, русская загадка…

Богородицкого позвали к телефону. Возвратясь, он обрадованно сказал:

– Сейчас приедет один молодой писатель. Хорошие рассказы о сирых людях пишет. Он, верно, не такой уж молодой. Лет под тридцать, поди. Но у нас тридцать – это еще почти младенчество. Вы, думаю, его знаете. Мамонов. Саша Мамонов.

– О, да, конечно! На Западе он становится известным. Один мой друг переводил его книжку.

Явившийся вскоре Мамонов принес две бутылки шампанского.

– Русофилы паршивые! -сказал он с порога. – Водку дуете? Так вот вам хоть по глотку напитка, который не освинячивает, а облагораживает человека.

– Познакомься,– сказал хозяин.– Мисс Браун.

– Я вас знаю,– сказал Мамонов. – Это вы пишете в некоторых известных мне журналах? – Он стал бойко перечислять названия антисоветских и полуантисоветских зарубежных изданий.

– Да, я. Мои несовершенные опыты…

– Отчего же несовершенные? Здорово даете нашим догматикам. Согласен с вами от запятой до запятой.

Его стали просить почитать новенькое. Он немного покочевряжился, потом, выпив бокал шампанского, вынул из кармана сложенные листки, стал читать рассказ. Рассказ имел двойной смысл. Речь шла о далеком прошлом, о Древнем Риме, о средних веках, но за этой декорацией легко угадывалась искусно подогнанная современность. Хозяин понимающе улыбался во все лицо. Глядя на него, улыбались и гости. А Порция Браун то и дело восторженно аплодировала.

– Это, конечно, не напечатано? – спросила она после того, как рассказ был прочитан. И когда Мамонов сказал, что нет, не напечатано, обрадовалась: будет что привезти с собой для очередных номеров журналов, в которых она сотрудничала и под своей фамилией и под псевдонимами.

Потом Мамонов провожал ее до гостиницы. Такси нигде не было, и они долго шли по длинным широким улицам нового, отдаленного района Москвы. У Порции Браун уже отказывали ноги в туфлях на высоких каблуках, которые не были рассчитаны на долгую ходьбу.

– Давайте понесу! – предложил Мамонов и тут же, на улице, благо народу было немного, подхватил ее на руки.

– А что, – сказала она,-довольно мило! Вы, оказывается, сильный.

Он склонился над ее лицом и поцеловал в губы.

– Вам разве это можно, советским литераторам? – Порция Браун засмеялась. – Вас не исключат из Союза писателей?

На стоянке такси он усадил ее в машину; сел рядом, и она ощутила его руку на своем колене. Она не шевельнулась.

Возле «Метрополя», когда Мамонов расплатился с шофером, она сказала:

– Раз уж вы такой бесстрашный, поднимемся ко мне, попросим кофе или вина.

Она видела, как разрывается надвое этот не слишком-то много поживший человек, который только делает вид, что он чертовски опытен. На самом же деле он сущий советский младенец, играющий роль фрондера. Нет, он не был излишне смелым. Одно дело – схватить ее на руки и целовать в темноте безлюдной улицы, другое – стоять с нею перед ярко освещенным подъездом гостиницы среди толпы народа. Ему очень хотелось подняться к ней в комнату, но он боялся сделать это. Она смотрела на него с улыбкой, догадываясь о том, какая в его сердце и в сознании происходит борьба. Он стоял, не выпуская ее руку из своей, не отрывая взгляда от ее голубых, усмехающихся глаз.

– Хорошо, – сказал он, все же решившись. – На одну минутку.

– Да, конечно, – согласилась она. – На одну-единственную.

В своей комнате, защелкнув дверь на замок, она положила руки ему на плечи.

– Вот мы и одни, мой милый. Ты этого хотел, будущий великий писатель.

Не было никакого кофе, никакого вина. Русский парень торопливо расстегивал ее пуговицы, стаскивал одежды. Она смеялась:

– О мой милый Руслан! Так спешить нельзя. Спокойней надо, мой дорогой. А то ничего не почувствуешь, ничего не увидишь. Ты знаешь, как к философу Канту… Тебе знакомо это имя? Иммануил Кант? Это не здесь расстегивается.

У ваших русских дам это по-другому. Так вот, ученики Канта… Он, учти, был девствен… Его ученики решили, что нельзя, чтобы их учитель чего-либо не знал. Пусть он узнает и это… Тьфу, какой ты сумасшедший!…

Потом, когда он лежал с краю постели и сбоку смотрел на нее, она сказала:

– Вот дурной, не дал досказать. Узнал бы, так, может быть, и не спешил бы так. Они, те ученики Канта, все-таки убедили своего учителя, привели к нему девицу, оставили на ночь. А утром спросили: ну как, что было, что он чувствовал? Он ответил: «Масса смешных суетливых движений – не больше».

– Ты змея, – сказал молодой прозаик и начал одеваться. – Я тебе этого не прощу.

– Простишь! -С подчеркнутой фамильярностью она хлопнула его ладонью по голой спине. – Завтра я тебя буду ждать после восьми. И кофе будет, и вино будет. Все будет. Ты мне нравишься.

26

Клауберг очень скоро понял, что подлинная цель группы, которую он привез в Советский Союз, отнюдь не репродуцирование произведений древнего русского искусства, и что по предначертаниям издательства «New World» подлинный руководитель группы совсем не он, а Порция Браун. Разложение, подпиливание идеологических, моральных устоев советского общества – вот на что в Лондоне среди прочих несравнимо более серьезных акций решили потратить нынешним летом несколько десятков тысяч фунтов стерлингов. Причем Клауберг отчетливо видел, что за фунтами – а может быть, в трогательном единении с ними – стояли доллары. Предприятие было явно американское. Он и Сабуров служили маскировочной сеткой, дабы группу, как говорится, не засекли с воздуха и не разбомбили, а по основной программе действовали Порция Браун и Юджин Росс. Несмотря на свои многочисленные бумаги, голубоглазенькая эта была, конечно, никакая не Браун, и фотограф этот не был никаким Россом. Оба они эмигрантская, антисоветская шваль. Видывал на своем веку целые толпы таких Клауберг. Они способны на все, ни совести у них, ни чести, ни родины. Этих подонков охотно подбирают теперь американцы и англичане. Такие на побегушках у хозяев, они провокаторы, они на всех антисоветских радиостанциях, во всех антисоветских газетах.

Надрываться на работе Порции Браун и Юджина Росса, в которую его, кстати, и не очень посвящали, у Клауберга не было охоты. Он решил делать главным образом дело, которое могло быть полезным Германии, его, клаубергoвской, Германии, накапливающей силы для того, чтобы в какой-то день вновь заявить миру о себе в полный голос. Конечно, это – проверка сети – противоречит установкам, которые были даны группе в Лондоне. Но Германия превыше всего! И к тому же, кроме этой проверки, не было ничего больше: он не должен был ни давать заданий агентуре, ни инструктировать ее. Просто зайти, посмотреть, побеседовать. Мало ли от кого, от каких зарубежных знакомых мог уважаемый иностранный профессор привезти приветы в Советский Союз.

По Москве он ходил пешком или ездил в метро. В метро спускался преимущественно в часы пик, когда москвичи ехали на работу или с работы. Тогда была такая толкучка на эскалаторах и в поездах, что, если бы за ним и вздумали следить, ничего бы в этом человеческом водовороте из слежки не получилось. Уж он-то, Клауберг, в подобных делах хоть что-нибудь да понимает.

Беседуя с людьми, он убеждался, что москвичи очень любят свой город. Иной раз они ругательски ругают Моссовет за неурядицы и недостатки, но все равно Москву любят, следят за тем, как идут ее новостройки, знают планы порайонных строительств на несколько пятилеток вперед, могут рассказать, как через пять – десять лет будет вот там-то и там-то, какие и где появятся новые магистрали, какие крупные сооружения украсят районы многоэтажных кварталов. Клаубергу все их заботы и восторги были, естественно, чужды. Москва ему решительно не нравилась, и не потому не нравилась, что неудачей под этим русским городом в сорок первом году началась длинная цепь других неудач, закончившихся полным крахом великой гитлеровской империи. Просто ему не по душе были города, напоминавшие проходные дворы. С его точки зрения, Москва была суетливым городом, городом проезжих с вокзала на вокзал, из аэропорта в аэропорт: жители Москвы не знали своих соседей по дому, даже по лестничной площадке. Не только люди, даже дома-то в Москве долго не задерживались на месте – сегодня дом есть, завтра его сломали. Жить в такой сутолоке Клауберг совсем бы не хотел. Но делать дело, о котором его просили, здесь в связи с толкучкой было весьма удобно. Где-нибудь в милом, родном Кобурге и даже в столичном испанском Мадриде, в котором он провел послевоенные годы, зайди во двор и попробуй спросить такого-то, бог ты мой, что начнется! Набегут доброжелатели, начнут интересоваться, кем вы такому-то приходитесь, да откуда вы сами и так далее и тому подобное. Здесь же буркнут в ответ: «Не знаю» – и понеслись галопом дальше. И никто тобой не заинтересуется, никто не обратит на тебя никакого внимания.

На улице Кропоткина Клауберг нашел старый, облезлый дом – наискось от особняка, занимаемого Советским комитетом защиты мира. Отыскал вход на лестницу со двора, поднялся к квартире, номер которой у него был зафиксирован в памяти. После звонка перед ним в дверях появился старый человек в подтяжках.

– Мне нужен Николай Васильевич Свидерский,– сказал он этому человеку вполголоса.

– Свидерский?… Не знаю. Может быть, тот тип, который жил здесь до меня? – с раздражением ответил человек в подтяжках. – Он получил новую квартиру, а меня вселили вот сюда. Так что вы думаете? Не только замки из дверей, ручки, и те отвинтил, паразит. Медные, видите ли, таких, дескать, нынче не найдешь. Выключатели поснимал, патроны срезал. Не знаю, где он теперь, я его новый адрес не записывал. В гости к нему не собираюсь. На кой леший он мне сдался, скотина!

Новый адрес Николая Васильевича Свидерского Клаубергу выдал прекрасно работавший киоск Мосгорсправки. Оказалось, это на самом краю

Москвы. Клауберг доехал до конечной станции метро, вышел прямо среди поля, на котором стояло несколько домов, и одним из них был именно тот, который назвала Мосгорслравка. Опять вопрос в дверях:

– Мне нужен Свидерский, Николай Васильевич.

– Заходите, пожалуйста! – пригласила, распахивая дверь пошире, девочка лет десяти и крикнула: – Дедушка, к тебе!

«Дедушка! -усмехнулся Клауберг. – Ну и боевые же кадры у моих коллег!»

Старик сидел в кресле и решал кроссворд, помещенный в иллюстрированном журнале.

– Я Свидерский,– сказал он.– Прошу вас! – И указал на стул про тив своего кресла.– Слушаю.

«Нет, этому уже терять нечего, – соображал Клауберг– Скажешь, зачем к нему пришел, непременно в свой КГБ заявит. Доживающий век пенсионер».

– Ошибся я, очевидно, – сказал он. – Один мой знакомый поручил мне найти в Москве своего товарища. Горсправка дала ваш адрес. Да, видимо, не вы это, возраст не тот.

– А тому-то, вашему, сколько? – любопытствовал дедушка-пенсионер.

– Лет сорок – сорок пять.

– Ну, это когда мне было, сорок-то! Хватили, дружище! Явно не я. А знакомого вашего как фамилия?

Клауберг еле ноги унес от старого болтуна, который ни на что, кроме возни с кроссвордами, больше уже не годился. Когда, где подобрали его в агентурную сеть? В лагере ли военнопленных? На оккупированной территории? Во время заграничной поездки, может быть, еще до войны? Сидит вот теперь, пенсию получает, за внуками приглядывает, а где-то там, может быть, в Мюнхене, в том самом Пуллахе – пригороде баварской столицы – все еще хранят в картотеке его карточку с росписью, с обязательством работать в пользу великой Германии. Работничек!

Зато несколькими днями позже на улице Горького, возле Белорусского вокзала, Клауберг испытал минуты истинной радости. Человеку, которого он искал, было не более тридцати. Был тот здоровым, крепким, полным сил.

– Да, я Игнатьев, я Сергей Сергеевич. А в чем дело? – Человек стоял в дверях, загораживая собой переднюю квартиры.

– Я от Ивана Петровича Сидорова. Из Калуги,– негромко сказал Клауберг.

Человек замер на минуту, не то чтобы растерялся, просто замер, обдумывая, вспоминая, соображая. В нетерпении стоял и Клауберг. Мало ли что бывает в таких случаях!

– Ага! – сказал наконец человек. – Заходите. – В комнате он спросил: – Как здоровье Ивана Петровича? У него было повышенное давление?

Это были условные фразы. Клауберг понял, что все правильно, и, успокаиваясь, ответил:

– Да, прыгало. Сейчас отрегулировалось.

– Рад, рад, – говорил молодой хозяин квартиры, доставая из буфета бутылку с коньяком и рюмки. – Отметим встречу. Слушайте, – сказал он, наливая коньяк,– это же безобразие! Который год жду – и ни звука. Ни

инструкций, ни заданий, ни – главное – монеты. Обещали всего воз. И куда подевались? Я же многое могу, чудаки! Я теперь в министерстве работаю. Тогда, в Брюсселе, во время выставки, я наскочил на вашего… Потеха! Он меня здорово выручил. Что ж, ваше здоровье! Как называть, извините?

– Не в том дело, как называть. Никак не называйте. Дело в том, что меня просили напомнить вам…

– Да я-то помню. А вот у вас у самих народ, видимо, забывчивый. Хотя бы сотенку-другую подкинули. Валютой, конечно. Сейчас у нас в Москве на валюту, что пожелаешь, можно купить. Валюта в большом ходу.

– Меня как раз и просили напомнить: будьте готовы к выполнению заданий. Скоро понадобитесь. И валюта тогда будет, все будет.

– Будет! Будет! Одни обещания. А мне сейчас бы аванс. На валюту сигаретки какие американские отламывают, виски прямо из Шотландии, джин, ботинки высшего класса, отрезы на костюм… Зайдешь, руки чешутся. Как за границей. Тогда, в Брюсселе, помню… Вы скажите им, гражданин, я готов. Но только прямо заявляю: по дешевке от меня не получите ничего. Это же риск! А риск должен компенсироваться на полную катушку. У вас есть при себе монета? Вы уполномоченный?

– Нет, и никакой монеты пока нет. Я уполномочен только предупредить вас.

– Как знаете. Была бы монета, завтра бы притащил вам для образчика то, чем располагаю. Наше министерство… заводы… такое сооружают, вы бы пальчики облизали, увидав… Неужели у вас не найдется хотя бы с полсотенки долларов?

Клаубергу надо было уходить. Просьбу коллеги он выполнил, на большее же никем не уполномочен, да это большее уже сопряжено с опасностью. Но он не уходил: молодой русский крепыш его заинтересовал.

– Слушайте, – сказал Клауберг,– мне кажется, что вы не совсем донимаете всю серьезность того, что вы сейчас собой представляете, и судите об этом излишне легко. Вы агент другого государства, вы сознаете это?

– Я вижу, что другое государство этого не сознает, а я-то сознаю. Может быть, вы думаете, что я со всеми так откровенен, как с вами? Ну нет, я язык за зубами держать умею. О том, как меня засыпали тогда, в Брюсселе, ни одна душа не узнала. Я, как говорится, рта не раскрыл по этому поводу. Если бы не ваш человек, погорел бы я тогда крепко. Вы, может быть, знаете, а может быть, и не знаете, я же тогда на девках накололся. Вроде бы русские, завели к себе, такой вечерок закатили. Я гуляю, думаю: вот добрые души! А уходить стал – плати монету! И такую суммочку загнули! У нас на всю группу столько валюты не было, сколько они с меня потребовали. А нет, говорят, полицию позовем, в суд дело пойдет, отрабатывать будешь. И вот ваш тот выручил, ссудил, сколько надо было. По гроб не забуду. И дурень же он, говоря откровенно. «Услуга за услугу!» А услуг никаких и по сей день не требуют. Удивляюсь.

– Ну и радовались бы, – неожиданно для себя сказал Клауберг. – Чего вам в петлю-то лезть, шею-то подставлять?

– Если умненько себя вести, ни в какую петлю не попадешь. Это раз.

Во-вторых, у нас сейчас совсем уже не так, как было. Это при культе – бац и в петлю. А сейчас!… Ну дадут сколько-то лет… Я, видите, не старый – вернусь еще в полных силах. Важно, чтобы оплатили как следует. Чтобы успеть погулять.

– А у вас никаких счетов с Советской властью нет случайно? – спросил Клауберг.

– То есть?

– Ну, может быть, ваши родители были репрессированы? Может быть, они из бывших, как у вас принято говорить? Может быть…

– Обыкновенные у меня родители, – не дал досказать хозяин квартиры. – Отец в обществе слепых работает, он слепой – с войны, щетки делает. Мать его бросила. Сейчас буфетчицей в гостинице. Никто их ни когда не репрессировал, и нет у меня никаких счетов ни с какой властью. А платили бы валютой, я бы лично любую власть – во как! -обожал.

– Так почему же вы…

– Готов шпионить-то? Это хотите спросить, да? Ну ведь я еще не шпионил. И не знаю, как оно пойдет на деле. Как, словом, платить будете.

– Что ж, желаю успеха! Ждите, вот-вот понадобитесь.– Клауберг пожал руку молодому сотруднику заведения в Пуллахе и ушел.

На улице он еще долго раздумывал об этом человеке. Это был особо ценный сотрудник. Вернее, мог бы стать таковым. Очень жаль, что где-то упускают возможность использовать его. Ценность таких людей заключается в том, что они превыше всего любят деньги. Те, которые «имеют счеты», далеко не всегда надежны. Сегодня у них «счеты», завтра что-то произошло – и «счетов» нет. Те импульсивны, неуравновешенны, злобны, недостаточно расчетливы. А вот эти, такие, которые за деньги, они настоящий деловой народ. Ты ему монету – он тебе товар. Братия браунов и россов, пожалуй, находится на верном пути, расшатывая устои советской морали. Здоровенный этот малый – прямой продукт их деятельности. Лет двадцать – тридцать назад в России такого, пожалуй, было бы и не найти. Тогда было предостаточно иных, которые со «счетами» к Советской власти. А вот чтобы за деньги, «за валюту»,– невозможно было и представить. Брауны и россы неплохо поработали.

Что ж, пусть пилят-подпиливают, надо только, чтобы не хозяева браунов и россов в конце-то концов воспользовались результатами, а мы, немцы, обязаны на этот раз снять плоды с нивы всеобщих усилий.

Возвратясь в отель, Клауберг входил в вестибюль в превосходном настроении. Его уже знали и швейцары, и те малые разбойного вида, которые принимали пальто и плащи в гардеробе, и официанты в баре и в ресторане. Не скупясь, он раздавал на чай, и ему почтительно кланялись: господин профессор!

Проходя на этот раз через вестибюль, он скользнул взглядом по лицам людей у киоска сувениров, у справочного бюро, просто толкавшихся в вестибюле и, уже нажав на кнопку лифта, ощутил непроизвольную, беспокоящую работу памяти. В чем дело? Вставляя ключ в дверь своей

комнаты, он вспомнил: там, внизу, мелькнуло лицо… знакомое, очень знакомое лицо!… Оно не из сегодняшних дней – из давних, может быть, даже очень давних, но каким-то странным образом еще совсем на днях возобновлявшееся в памяти. Он стоял среди комнаты и, ударяя ключом по ладони, старался поймать кончик ускользающего воспоминания.

Наконец не выдержал, вернулся к лифту и спустился вниз. Он вглядывался в лица всех, кто был в вестибюле. Но того лица среди них не увидел. Оно должно было быть бесцветным, в мелких чертах, с белесыми прядками над лбом. Память ему это возвратила: мелкие черты, белесые прядки. Вот дьявольщина! Почему такая острая потребность вспомнить этого человека? И когда это могло быть? Война? После войны? Россия? Германия? Испания? Свой? Чужой? Далекий? Близкий?

Появился Юджин Росс, тоже с очень знакомым парнем. Круглое лицо в веснушках, добродушно улыбающееся.

– Добрый вечер, господин Клауберг,– сказал парень по-английски.

«А,– вспомнил Клауберг,– это же сын того ученого редактора „Вестника“, у которого был устроен прием в честь группы. Зародов, кажется…»

– Здравствуйте, – ответил он, вглядываясь в лицо зародовского отпрыска.– Аркадий?…

– Геннадий!

– Мы пробовали новую пленку для вечерних съемок,– сказал Юджин Росс. – Геннадий тоже, оказывается, занимается фотографированием.

– Да нет, я просто так, по-любительски. Фотоматериалы порчу.

Клауберг не слушал, о чем они ему говорили; он раздумывал о своем, продолжая оглядываться на тех, кто был в вестибюле.

– Что? Иконы? Какие иконы? – Он как бы очнулся, услышав слова об иконах, обращенные к нему.

– Геннадий говорит, что знает одного большого специалиста по иконам.

– Да, да,– подтвердил Генка.– Богатое собрание. Может быть, ни у кого в частных руках такого больше и нет.

– Интересно, – согласился Клауберг. – А его нельзя повидать?

Сюда привести, например?

– Можно и сюда. Но лучше съездить к нему домой. Все самое ценное у него в сундуке под замком. Захватить бутылочку виски и махнуть в Кунцево.

– Кунцево? Это за Москвой?

– Нет, в самой Москве. Только на окраине.

– Хорошо,– сказал Клауберг. – Надо будет съездить. – И вновь все это исчезло с его глаз: и Юджин Росс, и Геннадий Зародов, и все иное вокруг, у кого или у чего не было мелких черт на лице и белесых прядок над лбом. Все отчетливее, все яснее вставало перед ним это тревожно знакомое лицо.

К нему в комнату постучалась Порция Браун.

– Господин Клауберг, – сказала она; садясь на диванчик,– ну как у нас идут дела? В каком они сейчас состоянии?

– Домой торопитесь?

– Нет, нисколько не тороплюсь. Просто интересно.

– Мне кажется, что для вас, мисс Браун, в Москве отыскалось кое-что более интересное.

– Что же именно? – Она рассматривала свои ногти.

– Вы сами знаете.

– Я вас предупреждала, Клауберг, давно предупреждала, не в свои дела не соваться. – Она подняла на него голубые холодные глаза. – Я не выслеживаю вас, когда вы целыми днями пропадаете неведомо где. Почему же вы нюхаете возле моих дверей?

– Потому что то, чем вы занимаетесь, уважаемая, русские очень не любят. Они не желают, чтобы их отели превращались в дома свиданий, и, когда ваши похождения обнаружатся, может произойти крупный скандал. Скомпрометировав себя, вы скомпрометируете группу, все наше дело.

– Ах, ах! – сказала она. – Немцы всегда были нацией образцовой нравственности, а кончилось все тем, что вы установили институт высокопородных квартальных жеребцов из войск СС для обслуживания ваших немецких вдов и тех женщин, мужья которых на фронте.

– Враки! – рявкнул Клауберг. – А что касается нравственности, мне на вашу нравственность, сами понимаете, наплевать. Дело не в ней. А в том, что мы обязаны без всяких осложнений и инцидентов выполнить порученное нам дело.

– Вам поручили одно, мне другое, Клауберг. Я и выполняю порученное мне.– Последние слова она произнесла с многозначительным на жимом.

Она ушла. Клауберг, раздосадованный, отправился к Сабурову.

– Умберто! – сказал он.– Как тебе нравится эта сука?

– О ком ты? – удивился Сабуров. Он был в пижаме, в домашних туфлях, готовился лечь в постель.

– Об этой нашей Порции. Она каждый день таскает к себе русских парней.

– Что ты говоришь! – Сабуров удивился еще больше.-Я, знаешь, по горло занят. Времени замечать это у меня нет. В Москве слишком много интересного. Все-таки у них, у советских, есть что-то такое, чего ни у кого другого в мире нет.

– Вздор! – сказал Клауберг. – Люди как люди. Деньги любят – валюту подавай. Баб обожают – к этой стерве нашей бегут так, что искры из-под копыт. Кстати, как бы нам в ней получше разобраться. У меня впечатление, что она в борделе работала, а не в институте по изучению России.– Клауберг прислушался. – Во, слышишь? Впустила к себе в комнату очередного гусенка! Ключом щелкает. Ну и мисс, черт ее задери.

Клауберг вернулся к себе, распахнул окно. Вечер был свежий, с чистым синим небом в крупных звездах, почти как в Мадриде. И так же, как там, далекой зарей на западе светилось небо. Москва затихала, отходя ко сну. Чужой город, чужой мир, чужие заботы. Может быть, не надо было сюда приезжать. Может быть, кончится это плохо. Русские!… Глыбистая, огромная, непонятная сила. По этим улицам однажды прогнали десятки, сотни тысяч пленных немецких солдат, офицеров и генералов. Клауберг видел эту кинохронику. Генералы шли впереди вразброд, а неисчислимые ряды солдат колыхались за

ними в бесконечных колоннах. А вот там, за крышей того здания с башнями – Красная площадь. Мавзолей Ленина. Летом сорок пятого года перед Мавзолеем навалили груду знамен разбитых дивизий и полков немецкой армии. Русские умеют устраивать спектакли, которые потом входят в историю. И все-таки еще не все потеряно, есть надежды, есть. Если существуют люди, для которых дороже всего валюта, есть и надежда.

И вновь перед ним стало выплывать из сумерек лицо со светлыми прядками над лбом.

– Свихнусь,– сказал он сам себе и, перед тем как лечь в постель, принял таблетку снотворного.

27

В Венеции вагон с табличкой «Милан – Москва» прицепили к поезду, который должен был идти на север Европы.

Спада, провожавший Леру, стоял возле окна на перроне и злобно посматривал по сторонам. Очки его коротко поблескивали под жарким летним солнцем. Лицо Спады дергалось. Подергивались руки, ноги. Он как бы приплясывал в ожидании отхода поезда. Говорить было не о чем, оба молчали. Один Толик, поглядывая за окно из-под руки Леры, без умолку болтал, задавая всяческие вопросы то по-итальянски, то по-русски. На него оборачивались проходившие к своим вагонам пассажиры. Провожающих, кроме Спады, на перроне почти не было: кто и кого станет провожать в Венеции, где сплошь одни проезжающие, одни туристы. Разве что представители бюро путешествий да агенты отелей.

Было ли для Спады неприятностью то, что Лера уезжала? Кто его знает. Может быть, он этому даже и рад. Но то, как о нем стали отзываться в среде коммунистов после демонстрации туринцев против пребывания Италии в НАТО, это не могло его не задевать. «Тот,– говорили о Спаде,– кто выступает против Советского Союза, против Коммунистической партии Советского Союза, независимо от его побуждений, не коммунист. Он раскольник, он предатель». Это было категорично, сурово, но верно. «Ну и черт с ними! – злобствовал Спада.– Не гожусь им – не надо! Не пропаду».

Лера уже не пыталась его увещевать. Она вся была занята сборами к отъезду. Писатель Булатов откликнулся на ее отчаянный крик о помощи. Она кинулась тогда к международному телефону, как к последнему средству, и не зря это сделала, не ошиблась. Булатов принял должные меры, снесся, очевидно, с Министерством иностранных дел Советского Союза. Леру вызвали в Рим, в советское консульство, и вот все, что надо, сделано: есть документы, есть билеты, есть немного денег на дорогу. У Спады, хотя он и предлагал, она не взяла ни лиры.

Вагоны шевельнулись, поезд медленно потянулся к длинному мосту через адриатические светло-зеленые волны. Спада стоял, засунув руки в карманы, смотрел вслед. Поблескивали его очки. Он не плакал. Не сделала этого и Лера. Лишь суетился, ничего не зная и не понимая, маленький Бартоломео, лицо

бесконечно страдательное во всей этой путаной, никому не нужной, безрадостной истории.

Стучали, стучали колеса. Поезд убыстрял ход. Мелькали станции – все в олеандрах и жасминах, поблескивали вдали тихие озера.

Вскоре начались горы. Завечерело. В долинах лежали тени, красками заката отсвечивали вершины деревьев, к домам тянулись стада.

Насколько жадно вглядывалась в новую, неведомую для нее жизнь Лера по дороге из Москвы в Турин, настолько же равнодушно смотрела она сквозь оконное стекло теперь. Жизнь – это не горы, не озера, не стада, не храмы или руины храмов, не витрины магазинов, не пестрая суета городов, распухших от обилия товаров. Жизнь – это люди. От них зависит, быть жизни радостной, счастливой, интересной или быть ей тусклой, унылой, тягостной. Жизнь Леры не получилась, не с тем человеком затеяла она ее создавать.

Было и радостно – оттого, что все же вырвалась из болота, и вместе с тем грустно: столько пропало лет, их уже не вернешь, не восполнишь. О Спаде думать не хотелось. С каждым оборотом вагонных колес, с каждым километром, отдалявшим Леру от венецианского перрона, где остался этот человек, засунувший руки в карманы, он становился для нее все неприятнее, ненавистнее.

В купе, кроме Леры с Толиком, была еще одна пассажирка – маленькая, сухонькая старушка, не то немка, не то австрийка. Из разговоров с проводником Лера поняла, что старушка сойдет в Вене.

– Мадам, – заговорила соседка сначала по-немецки, потом, видя, что Лера немецкого не знает, по-английски,– вы, кажется, едете в Москву? Как вы на это решились? Вы привили себе и ребенку оспу? Там даже эпидемии холеры бывают.

– Мадам, – вяло ответила Лера, – я там родилась и прожила чуть ли не тридцать лет и никогда ни разу не видела ни одного холерного больного.

– Вы русская? – Соседка почти испугалась.

– Да.

– Советская?

– Да.

– О! О! О! – Повозившись со своим ридикюльчиком, поперебирав содержимое, соседка сказала со вздохом и уже на русском языке: – Я, знаете, тоже русская.

– Так почему же вы говорите о холере? Такое простительно итальянцам, они меня даже про белых медведей спрашивали: как быть, если встретишь его на московской улице? Им головы позабивали подобной чушью. Но вы русская!

– Увы, я слишком давно из России. Я уехала из нее в таком возрасте, в каком сейчас вы. Немногим старше.

Она замолчала. Молчала и Лера. Ей не хотелось никакого разговора. Ей надо было многое, очень многое обдумать. Интерес к этим бродившим по Европе русским у нее давно пропал. Поначалу, встречая эмигранта или эмигрантку, она ощущала острое желание расспросить их и из первых уст услышать, почему человек покинул родину, когда, при каких обстоятельствах,

что погнало его за тридевять земель. Один советский журналист даже предупреждал ее: «Лерочка, в некоторых городах Европы, в Париже, например, надо быть очень осторожным, изъясняясь по-русски. У меня был случай. Мы с моим другом ехали в парижском метро. Жара была, духотища. Вагон был переполнен, но мы сидели. Вошла крупная, расплывшаяся толстуха немолодых лет. Вся обвешана пакетами, картонками. Стоит, отдувается, пот с нее ручьями. Я и говорю,– извините, Лерочка, молодой был, на язык несдержанный,– я говорю: „Костя, уступим место этой корове“. „Давай, – отвечает. -Садитесь, мадам!“ Та села, утерла лицо платком, отдышалась и на чистейшем нашем русском: „Корова благодарит“.

Поезд мчался, раскачиваясь и ревя перед тоннелями. В купе молчали. Первой вновь заговорила соседка.

– Да, в свое время и я возмущалась подобными вопросами. А теперь сама задаю такие. Но в России случались же вспышки холеры?

– А по Европе чума ходила,– ответила Лера.– Во многих странах памятники стоят – знаки радости избавления от нее.

– Да, да, да,– согласилась старуха.– Видите, как бывает! И я уже заговорила, как все тут: холера, медведи. Время, время!… А жили мы когда-то на Морской в Петербурге. Чудесный дом! Чудесный город! У них во всей Европе такого нет. Но когда мы уезжали, Петербург был до ужаса страшным: голод, холод, мрак, сугробы грязного снега, распоясавшиеся мужики, солдаты… На чужбине мы, я и муж, очень тосковали, очень.

– Почему же не вернулись в Россию? Кто вам мешал?

– Кто? Сами. Он был генералом, мой муж. Генералов у вас расстреливали.

– Очень многие царские генералы служили в Красной Армии. Брусилов, например…

– Да, мы знаем это. Но мой муж… Ему уже было поздно. Он уже связал свою судьбу с генералом Алексеевым, уже выступил против большевиков. Потом, в Белграде, в Казанлыке, в Софии, в Праге и, на конец, в Баварии, в крохотном немецком городке, он часто горевал по поводу этого. «Не на ту лошадку мы поставили,– говорил он с грустью. Были бы дома теперь, ездили бы на Острова кататься». Он обожал Острова, Каменноостровский проспект…

– Он жив? – спросила Лера.

– Нет.– Старушка приложила платок к глазам.– Когда началась война Германии с Россией, немцы заключили его в лагерь. Он умер там. Я не знаю даже, где его могила. Возможно, что зарыт он вместе с вашими советскими солдатами и офицерами.

– За что же с ним так? – Леру заинтересовала эта не совсем обычная эмигрантская история.

– Во-первых, он отказался пойти служить к немцам. У них ведь была армия из русских. А во-вторых, еще до начала войны с Россией наш старший сын, Коленька, сбежал во Францию и вместе с французами воевал там против немцев. Вот за это за все – за свое нежелание, за сына… Нелояльный элемент! И я, знаете ли, сидела в лагере. В Австрии. Землю копала. Нас там было много, русских. Одна дама, помню, говорит: «Лучше бы я большевикам копала землю,

каналы бы какие-нибудь строила им, чем проклятым бошам. Все-таки большевики-то – русские». Так что вы меня извините, пожалуйста, за глупые слова об оспе и прочем. Я не думала, что вы из Советского Союза, нет. Что бы там ни было и как бы ни было, я люблю Россию. И муж мой любил ее до последнего своего часа, и детей учил этой любви, и внуки эту любовь восприняли. Мальчик второго сына, ему сейчас восемнадцать, он, знаете, какой номер отколол? – Старуха оживилась. – Из Советского Союза к нам приезжал очень модный литератор. О нем в немецких газетах писали, шумели, кричали. То ли он пел, то ли стихи читал или на вопросы отвечал… Не скажу точно… Стара стала, память уже не та. Одно помню: он призывал к миру, к дружбе, к братству. Мы сидели и думали: смешной какой! Кому он это говорит? Перед ним в зале наполовину бывшие гитлеровцы, эсэсовцы, гестаповцы. С ними он хочет дружбы, что ли? Мы-то знаем, какая с ними дружба! Овчарки, колючая проволока, палки и плетки. И вот мой внук, Юрик, подходит потом к этому вашему человеку, тоже молодому, и говорит: «Мне вас было стыдно слушать. Я русский, я за Россию в огонь пойду, я за нее землю есть буду. А вы там живете, вы счастливец, и вместо того, чтобы гордо держать голову перед этими баварскими колбасниками, юлите перед ними». Тот, наверно, ничего не понял, потому что Юрик горячился. А может быть, и понял, да сделал вид, что не понимает. Уехал восвояси. Потом, как писали в газетах, он уже и какому-то американскому генералу предлагал свою дружбу, хотя не мог не знать об атомных ракетах, которые тот генерал нацеливает на Москву.

Лера слушала и думала: почему, почему некто Бенито Спада, называющий себя марксистом, дня не может прожить, чтобы не выплеснуть ушат грязи на Советский Союз, на его людей, а потомок белогвардейцев готов горло перегрызть тому, кто не защищает, а, следовательно, предает родную страну? И как это сложно переплелось.

Старуха сошла в Вене, ей там надо было пересаживаться. Она долго гладила руки Леры, желала ей счастья.

– Поклон Москве и Петербургу. России нашей. Милой, милой России.

Назавтра долго ехали Польшей. Наконец, польско-советская граница, советские пограничники в зеленых фуражках возле вагонов. Советский город Брест. Позади осталось все сумрачное, тяжелое, каменное – туринское. Неважно, как там будет впереди. Все равно оно будет несравнимо лучшим, чем то, что осталось за границами. И поезд шел теперь, казалось, веселее, и небо было чище, и солнце ласковее. Оно было свое, родное, советское!

Июльским утром поезд медленно подходил к перрону Белорусского вокзала. Первое лицо, какое Лера увидела за окном, было лицо матери. За нею шагал отец. А третьим был он, Булатов Василий Петрович, который так огромно много сделал для Леры. Обняв родителей, передав матери Толика, Лера сказала

– Мама и папа, познакомьтесь, пожалуйста, это Василий Петрович, без которого я бы, наверное, никогда больше не увидела вас.

– Преувеличиваете, до чего же вы преувеличиваете! – Булатов поклонился родителям Леры.

– Что ж, поедем к нам, завтракать будем, – засуетилась мать Леры.

– Прошу прощения, спасибо, но не могу,– отказался Булатов. – Дела, дела. Встретить вот только приехал, так сказать, удостовериться в том, что все в порядке. А дальше… Если понадоблюсь… Валерия…

– Алексеевна,– подсказала Лера.

– Если понадоблюсь, телефон знаете. Желаю всего-всего наилучшего.

Дома, за столом, за чаем, мать Леры сказала ей:

– А он симпатичный, этот Булатов. Только уже немолодой – под пятьдесят, наверно.

– Ох, мама! – Лера засмеялась.– Совсем ты не дипломат, нисколько не умеешь хитрить. Я же отлично понимаю, к чему и куда ты клонишь. Нет, мамочка, ничего подобного. Просто хороший человек. Вот тот случай, когда человек человеку друг, товарищ и брат.

Лера бегала по комнатам родного дома. Ничто в нем не изменилось, все было по-прежнему. Даже ее постель родители не тронули. Почему?

– Отец не верил, что ты там насовсем.

– А ты разве в это верила? – сказал отец.

– Значит, только одна я, дурочка, ни над чем не задумывалась. – Лера вздохнула.– А вы, оказывается, наперед все знали, что и как будет.

– Знали, доченька, знали.– Отец погладил ее по спине.– Ничего, не отчаивайся, начнем все сначала.

Вечером нагрянула толпа подруг и приятелей. Пошли расспросы, рассказы. Лера увидела, что только в родительском доме все осталось на местах, а вообще-то в жизни за время ее пребывания на чужбине произошло множество изменений. У одной из подруг родилась двойня, другая разошлась с мужем. Кто-то на несколько лет уехал в, Африку что-то строить. Один из приятелей блестяще выполнил какую-то работу и в двадцать девять лет стал доктором наук. Тот, кто с нею вместе оканчивал университет, перековался из историков в археологи, ведет раскопки близ Баку, там у него сенсационные открытия. Жизнь кипела, бурлила, захватывала людей. Лишь ее, Лерина, жизнь несколько долгих лет напоминала стоячее болото, в котором с ходом дней не изменялось ничто. Даже у родителей от прежнего осталась, пожалуй, только обстановка в доме. А отец уже был руководителем крупной московской клиники, мать к своему пятидесятилетию получила орден и заседает в ученом совете.

– Чтобы я когда-нибудь да снова уехала от вас – не будет этого! – Лера была по-настоящему счастлива. Она ездила, ходила по Москве. Она как бы летала на крыльях. Затруднения происходили с Толиком. Всюду его не потаскаешь. Синьоры Марии Антониони во дворе не было. Отец обещал устроить мальчонку в детский сад, когда Лера -найдет себе работу. Пока же его можно было оставлять у старшей сестры отца, пенсионерки. Но и то не всегда: тетка была слаба здоровьем.

Москва казалась Лере прекрасной. Просторной, светлой, живой. Нет, это не Турин, тяжелая и помпезная столица Савойского дома. В магазинах всюду было полно народа, не протолкаешься. Ничего особенного, думалось. Зато свои. А будет магазинов побольше, прибавится товаров – и это рассосется.

Продавщицы в большинстве были злобные, как болонки у старых барынь, эка беда! С возрастом у них это, может быть и пройдет. На улицах толкнут и не извинятся: ничего не поделаешь – разный народ в Москве, из глухомани сколько наезжает летом. Это они, наезжие, толкаются, а не москвичи. Зимой потише будет. Всему она находила оправдание, от всего было у нее утешение. Зато все говорят по-русски, зато ты здесь не чужой, не посторонний, а свой, и все, что тут есть, твое. И оно замечательное. Строят, красят, улучшают, пробивают новые улицы, новые дороги.

Однажды она зашла в будку телефона-автомата и позвонила Булатову.

– Василий Петрович, это я, Лера. Хожу по Москве, всему радуюсь и от всей, от всей души вас благодарю. Спасибо вам! Это просто так, Василий Петрович, от полноты чувств.

– Исключительно трогательно! – услышала она вдруг женский голос. – И исключительно оригинально таким способом…

Послышались гудки, трубка была повешена. Лера недоумевала. Откуда ей было знать, что Нина Александровна, бдительная супруга Булатова, слушала ее восторженные излияния по параллельному аппарату, а когда Нине Александровне вздумалось тоже заговорить, Булатов поспешил положить трубку, чтобы оградить Леру от неприятности.

Она не знала, повторять ли звонок, прерванный кем-то, или не надо. Решила, что не надо, уж очень там было что-то странное. Булатов сам позвонил ей вечером домой.

– Извините, – сказал он,– у нас это случается с аппаратом, где-то на станции что-то замкнется, и то нас слушают посторонние, то мы посторонних. Ну не в этом дело. Нет ли у вас желания пойти со мной в театр? Прислали билеты. Две штуки.

– Если это удобно… Почему же… Буду очень рада. Но…

– «Но» всегда находятся. Не надо перед ними пасовать. Иначе они прикончат все на земле. Жизни не будет.

Так они оказались в четвертом ряду одного из московских театров, труппа которого не уехала на летние гастроли. Шла пьеса, в которой рассказывалось о том, как в годы войны встретились и полюбили друг друга советский офицер и польская актриса. Они любили друг друга, очень, любили. Но жениться им не позволял жестокий советский закон, воспрещавший брак советских людей с подданными других стран.

В ряду перед ними, наискось от них, сидела пара – красивая молодая женщина и тоже заметный молодой человек. Молодой человек оборачивался, смотрел по временам на Булатова. В антракте он подошел к Булатову, поздоровался, кивнул и ей, Лере.

– Самарин?! – воскликнул Булатов.– Это, Лерочка, представитель нашей индустрии. Бывший слесарь-инструментальщик, ныне инженер энского завода. Энского, Самарин?

– Так точно, Василий Петрович, энского.– Представляясь Лере, он назвал свое имя: – Феликс. А это Ия! – Феликс подвел к Булатову и свою эффектную спутницу.

Та стояла, осматривая зелеными, чуть раскосыми по-восточному глазами Леру и Булатова, горделивая, немного ироничная, одетая очень просто, но держась так, будто на плечах у нее драгоценные редкие меха.

– Тоже рабочий класс? – спросил Булатов, пожимая ее руку.– По руке это, скажу откровенно, не чувствуется.

– Ия аристократка, – ответил Феликс, улыбаясь. – Ученая. Индолог, синолог, орнитолог…

Ия тоже улыбнулась.

– Только не орнитолог.

– Ну, ориенталист, какая разница! – поправился Феликс.

– Некоторая все же есть.– Смеялся и Булатов.– Как вам, молодые товарищи, спектакль?

– Судить еще рано. Надо досмотреть.

– Хорошо. Когда досмотрим, прошу не убегать за галошами. Обсудим вместе.

Дело на сцене закончилось тем, что закон так и не дал любящим сердцам соединиться. А когда минуло лет пятнадцать и они встретились вновь, то закона того не было, но не было уже и любви. Закон ее убил.

– Как жаль, что этот закон отменили, – сказала Лера.

Ия и Феликс взглянули на нее с любопытством. Только Булатов знал, в чем тут дело.

– Неверная эта пьеса. Частный случай. А частный случай, частная проблема и решаться должны в каждом случае индивидуально. Закон же, о котором речь, обобщал опыт жизни.

– Какой, простите, опыт? – спросила Ия, видя, что Лера умолкла.

– Может быть, зайдем в кафе да посидим там, поговорим? – предложил Булатов.

В кафе, и в одном, и во втором, и в третьем, было переполнено, даже в дверях стояли, дожидаясь, когда освободится столик.

– Мой дом рядом,– предложил Феликс.– Зайдемте к нам.

– Если это не слишком поздно…– сказал Булатов,

– Нет, нет, у меня свой ключ, своя комната. Даже если и поздно, это ничего. Я взрослый.

Родители еще бодрствовали, смотрели по телевизору спортивные соревнования. Сергей Антропович тотчас выключил передачу. Раиса Алексеевна поставила чай. Они были рады тому, что к ним зашел такой известный писатель. Все пили чай, разговаривали обо всем понемножку. Но Ия вернулась к своему вопросу.

– Все-таки, Лера, – повторила она, – какой опыт обобщал закон? Давайте рассказывайте.

– Закон обобщил вот какой опыт,– заговорила Лера.– Молодые люди, граждане двух разных стран, вступая в брак, действуют под влиянием минуты. Они ничего не учитывают, и прежде всего не учитывают то, что кому-то из них придется покинуть свою родную страну и пере селиться в чужую, неведомую. Там все иное – язык, уклад жизни, круг людей. Каждодневные удары

непривычного приведут к несовместимости субъекта и объективной действительности, и под этими ударами падет…

– Любовь падет? – Ия слушала Леру с интересом.

– Видите ли, если великая любовь – это одно, – ответила ей Лера. – Но в молодые годы за любовь часто принимают суматоху чувств, временную увлеченность. Закон как раз и стоял на страже – он не позволял поддаваться суматохе, он в нее не верил. Человек верил, а закон не верил. И правильно делал. Оттого, что людям вовремя не помешали, трагедий несравнимо больше, чем оттого, что помешали. Если бы продолжал действовать закон, против которого эта пьеса, со мной бы не случилось то, что случилось.

Все деликатно молчали. Лера с улыбкой сказала:

– Я понимаю вас – расспрашивать о моем личном вы считаете неудобным. Но Василий Петрович в основном все уже знает. Я вышла замуж за итальянца, уехала с ним, а вот теперь готова молиться во всех московских церквах – и действующих и недействующих – по поводу избавления от цепей этой заграничной жизни, жизни среди чужих, среди бездушных, жадных, расчетливых.

– Но, может быть, вам просто попались плохие люди? Вы не за того вышли замуж? – Ия с любопытством рассматривала Леру.

– Может быть. – Лера развела руками.

– И там все это проявилось резче, отчетливей.– сказал Булатов. – Выросло в острый конфликт.

– Нет, это все очень спорно. – Ия качала головой. – Это ваш личный опыт, а не обобщенный. Я никуда не уезжала, ни в какую Италию, а тоже выходила замуж, и тоже неудачно. Ну и что? Мораль, значит, такова, что счастье не вдвоем, а в одиночестве? И вообще, это чушь – разговоры о счастье, чушь! Вот уж если о чем и говорить, что оно сугубо индивидуально, так это счастье. Один видит счастье в том, чтобы выиграть по лотерее автомобиль «Москвич», другой в том, чтобы найти кошелек с деньгами, третий – чтобы жениться, четвертый – чтобы развестись. Уж очень это противоположно. Вы человеку будете внушать, что счастье заключается в том, чтобы иметь двухкомнатную квартиру с совмещенным санузлом, а он будет завидовать имеющему трехкомнатную с несовмещенным. И будет несчастлив. А тот, в трехкомнатной, увидит у кого-нибудь пятикомнатную и тоже станет обмирать от зависти. И даже, если вы над ними повесите плакат с надписью «Счастье», снабженный тремя восклицательными знаками, они все будут чувствовать себя несчастными, и об обществе, в котором они живут, можно будет говорить, что оно никуда не годно, так как не сделало всех людей счастливыми. Ерунда! Критерии должны быть научными, материальными, зримыми.

– Ия, вы философ! – воскликнул Булатов.

– Нет, я в данном случае политэконом. На плакатах надо писать не «Счастье», а совсем другое. Во-первых: каждый получает такую-то зарплату. Во-вторых: каждый получает столько-то квадратных метров жилой площади. В-третьих: каждому гарантированный отпуск столько-то дней. Каждый… и так далее. А уж он, получая все это, пусть сам судит, есть у него счастье или нет.

Долго спорили и встали из-за стола поздно. Феликс пошел провожать своих неожиданных гостей. На улице получилось так, что Булатов взял под руку Ию, и они продолжали спор об объективных законах жизни. Феликс пошел с Лерой, расспрашивая ее об Италии. Она охотно рассказывала. На одном из углов пары потеряли друг друга из виду и не заметили этого.

– Мечтаю путешествовать,– сказал Феликс Лере.– Завидую вам, столько всего увидели.

– Не завидуйте,– ответила Лера.– Я так счастлива, что эт кончилось, что я снова дома, в Москве. Знаете, иной раз пишут: готов был целовать землю. Когда мы пересекли свою границу, когда я увидела наших пограничников, наши поля, луга, то вот как раз так – готова была выскочить из вагона, убежать в березы, в елки, упасть среди них на землю и целовать ее.

Они попрощались возле дома, в котором жила Лера.

– Вот он, мой родной дом, – показывала она рукой. – Вот моя парадная. Вон те окна, на третьем этаже, те, те… Это мои, наши окна. У меня своя комната, родители ничего в ней не трогали, не переставляли, сохранили, как было. Как ушла, так пришла. Одно изменилось. У меня теперь ребенок. Мальчик. Толька. Опыт жизни! Если будет желание, звоните, заходите. Всегда буду вам рада.

28

Савва Богородицкий расхаживал по мастерской Свешникова.

– Антонин,– заговорил он, останавливаясь грудь к груди перед художником, – ты получил письмо группы русских людей, подписанное видными деятелями русской культуры за рубежом?

– Белоэмигрантами?

– Ну уж так и «бело»! Эмигранты – да. Но почему «бело»?

– По белой линии бежали они, или сами, или их родители, из России-то, Савва Миронович,– сказала Липочка,– письмо это получила я. Я его распечатала, я и прочла. Антонин даже в руках такую пакость не держал.

– То есть как же пакость?! – Богородицкий всем корпусом повернулся к Липочке. – Это честное обращение к интеллигенции России.

– А с чем те заграничные честняги обращаются к нашей интеллигенции? – Липочка выжидающе прищурила свои синие глаза. – Скорбят люди, скорбят, Олимпиада, по поводу того, что много у нас отклонений от ленинской линии.

– От ленинской? – Липочка засмеялась. – Там, в их листовке, об этом и помину нет. Скорбят – верно. Но скорбят оттого, что Советской власти вот уже пятьдесят лет, а они в Россию так и не вернулись. Поместья их папочек все не возвращены владельцам, буржуазный строй не восстановлен. Жаль, я ту бумаженцию в мусоропровод отправила, я бы процитировала вам избранные местечки из этого «труда».

– Коллективного труда! – воскликнул Богородицкий. – Это объединенный

голос.

– Коллективный! Объединенный! У них приписка там была. По смыслу такая…

– Не надо воспоминаний. – Богородицкий извлек из кармана лист бумаги, сложенный вчетверо, развернул. – Приписано так: «Эмиграция давно не имеет возможности созывать съезды или совещания, на которых могли бы вырабатываться подобные обращения, и оно было составлено одним лицом. Затем, по переписке, к нему присоединились другие подписавшие его лица, одобрившие основные положения обращения». Это вы хотели процитировать?

– Хотя бы. Это же стряпня, Савва Миронович, а не объединенный голос. И вообще они в своем «обращении» ноют о том, что у нас надо что-то менять, менять, менять… А нам с Антониной ничего менять не надо, нас вполне устраивает то, что есть. Чего к нам со всех сторон лезут?! Чего от нас хотят? – Да, да,– подтвердил все время молчавший Свешников – Пошли-ка они, эти американские русские или русские американцы…

– Не понимаю тебя, Свешников. – Богородицкий тяжело плюхнулся в кресло. – Ты русский человек?

– Я, Савва Миронович, советский человек.

– До чего увертлив. Тьфу! – Богородицкий сделал вид, будто он плюнул на пол.– Допустим, хорошо, советский. Хотя такой нации нет на свете. Но советский-то ты не по рождению, не по крови, а по обстоятельствам – родился в Советской стране, вот и советский. По паспорту с гербом «серпастым и молоткастым». И только. Нет, дорогой мой, национальная принадлежность выше государственных устройств. Была царская власть, а русские оставались русскими. Было Временное, как в учебниках пишут, буржуазное правительство. А русские оставались русскими. Пришла Советская власть. Но русские-то от этого какими-нибудь эсперантскими не стали. Не крути, Антонин, не крути. Поглядите, какой большевик! А что же ты, советский-рассоветский, вокруг иностранцев волчком вращаешься? Почему ты заграничными бумажками за портретики берешь? Это что: доярка, ударница коммунистического труда? – Не вставая с кресла, носком ботинка Богородицкий указал на прислоненный к стене большой портрет сухой, румянощекой старухи в мехах. – Теща какого-нибудь секретаря или советника посольства энской державы, поди?

– А что, я голодный сидеть должен, да? – засуетился по мастерской Свешников.– Верно, теща. Верно, энская. Верно, хорошо заплатят за эту рожу. Не я виноват. Меня даже в Союз художников не принимают.

– Не прикидывайся ягненочком! Ты и не подавал в Союз-то. Все это знают, что ждешь, когда тебя под ручки, с почетом введут в братство советских художников. Горд, высокомерен в душе. А юродствуешь, дурачка из себя строишь.

– Савва Миронович! – сказала Липочка.– Мне бы не хотелось, что бы вы с Антонином Иоакимовичем разговаривали в таком тоне.

– Простите великодушно, простите. Но уж очень я не люблю, когда люди петляют, будто зайцы. Или уж одно, или уж другое.

– А я не желаю,– выкрикнул Свешников,– чтобы от меня еще какое-то

другое требовали! Не желаю!

Богородицкий вытащил из кармана платок, утер им лицо, хотя в мастерской было прохладно, северный ветерок свободно проникал сквозь распахнутые окна.

– Погорячились и будя, – сказал он примиряюще.– Давай поговорим спокойно. Не все же у этих эмигрантов в их письме несусветица. Вот, к примеру, о свободе творчества. Сам же чувствуешь на себе…

– Ничего я не чувствую! – Свешников стукнул по столу тяжелой бронзовой пепельницей.– Что хочу, то и делаю. Никто меня ничем не ограничивает, и защитников мне никаких не надо!

– Темный ты человек, Антонин, темный. – Богородицкий сокрушен но качал головой.– Ладно, допустим, что письмо ихнее – бред, допустим, что его и вовсе нету. Свое мы должны написать, обратиться с ним…

– Куда же это, интересно?

– К руководству, в верха. Напишем про тех, кто тебя зажимает…

– Никто меня не зажимает! – Свешников еще сильнее стукнул пепельницей по столу.

– О тех, кто у нас, в творческой среде, создает нездоровую обстановку,– продолжал, как бы не услыхав этого, Богородицкий.– Выведем их на чистую воду. Открыть надо фортки, проветрить наш дом.

– Савва Миронович! – сказала Липочка. – Извините, но вы с этими предложениями обращаетесь явно не по адресу. Вас кто-то ввел в заблуждение.

– Почтеннейшая! – Богородицкий вытащил зеленую книжку. – Никто меня в заблуждение не вводил. И адрес у меня верный. Свешникова, вашего отца,– глаза Богородицкого смотрели в странички его книжечки,– звали Иоакимом Филипповичем?

– Ну и что?

– Мамашу вашу, его супругу, звали Елизаветой Степановной?

– Это все есть в моей метрике, в свидетельстве о рождении.

– Верно, верно, там есть. Но не все. – Богородицкий усмехнулся. – А где они, ваши папаша и мамаша, ныне? Ну-ка ответствуйте!

Свешников молчал. Молчала и Липочка, с трудом сдерживая волнение.

– А не расстреляны ли они, Антонин Иоакимович? – с улыбочкой продолжал допрос Богородицкий.

Свешников молчал. Липочка ответила:

– Их повесили, Савва Миронович. Зачем вы об этом? И какое это имеет отношение?

– Вешать, положим, тогда не вешали, это уж вы прибавляете. А что вышку дали, это факт. Так что почтеннейший враг народа и почтеннейшая его супружница были того…– Богородицкий сделал жест рукой, будто нажимает на невидимый спусковой крючок пистолета.

– О чем вы? – Свешников, недоумевая, поднял на него глаза.

– Да, о чем? – вся напряглась и Липочка.

– О том, что правы люди, о которых, вы так недоброжелательно отозвались. – Богородицкий похлопал себя по карману, где сложенное вчетверо

лежало подметное обращение белоэмигрантов. – Нас тут трое, в этой зале, и все трое мы на себе испытали несправедливость…

– Вы что-то путаете,– сказала Липочка.– Мы не улавливаем вашу мысль. Савва Миронович. Какие враги народа? Какие дети врагов народа? Антонин, скажи же ты наконец человеку! Пусть знает.

– Савва Миронович, – тихо заговорил Свешников. – Зачеркните то, что у вас там, в вашей книжечке, о моих родителях. Они погибли – это верно, и Липа правду сказала: их повесили, а не расстреляли. Но не те, не те вешали, кто вы думаете, нет. Не трое тут пострадавших от, как вы называете, несправедливости. А видимо, только вы один. Мы пострадали от фашистов. Родителей у меня отняли фашисты.

– Позвольте! При чем тут фашисты?

– А при том, Савва Миронович, что родители мои были разведчиками, чекистами. Немцы их зверски замучили. И не сами немцы докопались до того, кто же они на самом деле. Советских разведчиков выдал один из бывших кулаков, которого Советская власть пожалела и в свое время не отправила на Соловки.

– Не может быть!…– Богородицкий, отдуваясь, утирал лицо платком. – Водички у вас не найдется?

Липочка подала ему стакан с водой. Он медленно пил, глоток за глотком, обдумывая положение, в каком оказался.

– Да-а, – сказал он врастяжку. – Неужто так? А уж чего только не наплетут люди! Ну и что же вы теперь обо мне думаете?

– Ничего особенного, Савва Миронович. Как сказано выше: не по адресу обратились, и только-то.

Богородицкий ушел, растерянный. Затворив за ним дверь, Свешниковы подошли к окну, смотрели, как он переходил двор к воротам. Он шел так, будто вот ступит еще шаг и вернется. Без зимней хорьковой шубы, без шапки из бобра он выглядел весьма непредставительно. По летнему времени в пестрой распашонке навыпуск, в узких брючках, отчетливо отразивших кривизну ног, он не был ни внушительным, ни представительным, каким казался зимой, – летний, он был линялым, выцветшим и еще более неприятным.

Свешниковы долго молчали, переглядывались.

– Да, – как бы в тон Богородицкому сказала Липочка.

– Да, – сказал Антонин.

– Нехорошо.

– Что именно нехорошо, Липочка?

– А то, что к тебе ходят с такими предложениями.

– Так это отчего? Оттого, что он меня за жертву принял, за пострадавшего от несправедливости. А он-то ведь кулачина. Он же сам рассказывал зимой о том, как их семья избегла раскулачивания благодаря некой счастливой справке.

В дверь позвонили. Не вернулся ли Богородицкий? Нет, это была Ия.

– Я пришла сказать, дорогие товарищи, – заговорила она с порога, – что освобождаю вас от своей особы. Спасибо за пристанище. Уже сегодня буду

ночевать дома. Там такой шик-модерн! Просто мечта ваших заказчиков, Антонин. А что это вы оба не то расстроенные, не то ненастро енные?

– Нет. ничего, тебе кажется,– ответила Липочка.

– Не хотите говорить, не надо, я никогда никого ни к чему не принуждаю. Вот бутылка вина, вот яблоки, вот конфеты. Мне помнится, у вас был штопор. – Она вытащила пробку из бутылки, достала стаканчики из серванта, наполнила их вином.– Давайте же чокнемся! За избавление от меня. Говорила: на три дня, а проторчала у вас все десять. Зато, если вам понадобится пристанище, мой дом к вашим услугам. Спасибо, Антонин! Спасибо, Липочка! Особенно, конечно, я ценю твое бесстрашие. Потому что давным-давно замечено, что подруг в семейный дом пускать нельзя. Змеи они, эти подружки.

Как Ия ни старалась, расшевелить Свешниковых было невозможно.

– Ну вас, – сказала она наконец. – Я пойду. А вы тут доругивайтесь. Очевидно, выясняли отношения?

– Обожди, – сказала Липочка. – Посиди минутку. Антонин, давай скажем ей. Ийке можно.

– Как хочешь,– сказал Свешников.– Секретов во всем этом не вижу, в общем-то,

– Иинька,– заговорила Липочка,– можешь себе представить: при ходит один тип и предлагает Антонину сочинить какое-то коллективное письмо…

– Куда, кому? О чем?

– В верха. О том, что надо демократичней, свободней…

– Не вздумайте, Антонин, связываться, – сказала Ия. – Это только разговор, что в верха. А его, это письмо, немедленно в зарубежное радио, в газеты, в журналы!… Обычная антисоветчина. А что это за тип?

– Просто удивительно! Ты его, между прочим, знаешь. Богородицкий.

– А, великий русофил! У Зародовых тогда был, у моей мамочки и приемного папочки. Не связывайтесь.

– Да ведь сам пришел. Мы его не звали. – Липочка пожала плечами.

– Звать не звали. А повод все-таки дали, и ему и всяким подобным.

– Какой же? – спросил Свешников.

– Не сердитесь на меня, Антонин, – ответила Ия, – но я вам скажу правду. Вы мне, несмотря на все ваши чудачества, очень симпатичны, и поэтому я скажу правду. Я, например, если бы была в чем-то недовольна Советской властью, обратилась бы именно к вам, ища единомышленников.

.– Ну, уж это слишком!

– Нет, не слишком. Зачем вы так демонстративно путаетесь с зарубежной камарильей? Я тут, оставаясь поздними вечерами, отвечала на десятки звонков всяких говорящих с акцентом. «Господин Свешников» да «мадам Свешникова».

– Но ведь, кроме работы и платы за нее, меня с ними ничто не связывает! – загорячился Свешников.– Ничто!

– Верю. Но почему же тогда это же самое, работа и плата за нее, не связывает вас с вашими соотечественниками? Обиделись на них за что?

Надулись? Вот по логике вещей к вам и обращаются за единомыслием другие.

– И представь, Ийка, представь! – Липочка даже вскочила с дивана. – Вы же ведь, говорит, сын врагов народа! Расстрелянных! Услышал звон и вписал в свою книжечку.

– Я не хочу быть советчицей, прорицательницей, потому что нет на свете более безответственного дела, чем дача советов. Но все же скажу: Антонину надо поотчетливей заявить себя. Вы, Антонин, талантливый человек, вы не должны ходить кривыми дорогами, нельзя, чтобы на вас делали ставку темные типы. У них свое, у вас свое. Не позволяйте связывать ваше имя с их именами.

– И представь, Иичка, он еще ссылался на антисоветское «обращение» эмигрантов «К интеллигенции России», которое минувшей зимой из Мюнхена рассылали по нашим советским адресам. – И Антонину, конечно, прислали?

– Прислали. Я его в мусоропровод сунула.

– А кто подписал то сочинение?

– Человек двадцать. Некоторых запомнила.

– Ну-ка!

– Какой-то Вейнбаум…

– Редактор газетенки на русском языке! – подхватила Ия. – Роман Гуль, поди? Редактор «Нового журнала».

– Верно, верно!

– Всякие там Александры Шики, Борисы Зайцевы, Глебы Струве… Все ясно, друзья мои. Одно не ясно, почему Мюнхен. Эти братья в основном проживают на американской земле. Почему же Мюнхен? Надо будет спросить Булатова. Он эти штучки знает.

– Кого, кого? – переспросила Липочка. – Какого Булатова?

– Василия. Василия Петровича Булатова. Писателя.

– Ты с ним знакома?

– Немного да.

– Но говорят, что это жуткий человек!

Ия засмеялась.

– Желчный, злобный, – продолжала Липочка. – Догматик до мозга костей. Сталинист!

С каждым новым эпитетом, выдаваемым Булатову, Ия смеялась все веселее.

– Но ты же убедилась, что это такое – «говорят», Липа. Говорят даже, что родители Антонина репрессированы как враги народа.

– Это объяснимо. В этом сам Антонин виноват. Он так думал когда-то и так о них высказывался. Ты же эту историю знаешь.

– Ну, а Булатов ничего о себе не выдумывал. Все о нем выдумали другие. Вот такие, как этот! – Ия постучала пальцем о стол, полагая, что Богородицкий сидел именно за ним.– Нет, с Булатовым вас надо, надо познакомить.

– Избави бог, избави бог! – Липочка даже руками замахала, открещиваясь от подобной возможности. – Этого еще нам не хватало!

– Да, этого вам не хватало и не хватает. Как не хватало и мне.

– Ия, ты очень странно говоришь о Булатове, очень странно. Так, будто ты

в него влюблена.

– Ну, а если?… Так что? Запрещается?

– А Феликс? Я тебя зря с ним знакомила?

– Феликс – чудесный человек. Очень приятный, хороший. Но я с ним не смогу.

– Может быть, мне выйти? – сказал Свешников. – У вас начинается профессиональный бабий разговор. Не хотелось бы стать совладетелем ваших тайн.

– А это не тайны, – ответила Ия. – Просто надо иметь элементарную порядочность. Феликс во многом еще мальчишка, хотя уже успел и жениться и разойтись. А я… Я сильно попорчена моей трудной жизнью. Не Булатов, а вот я действительно злая, желчная, нетерпимая.

– Все ты сочиняешь! – сказала Липочка.

– Нет, правда. Я чувствую, что характером сильнее Феликса. И что же это будет? Ужас будет. Это же очень плохо, когда мужчина подчинен женщине.

– Как я, например, – сказал Свешников, ухмыляясь.

– Да, – согласилась Ия.– Но у вас это не потому, что Липа уж очень сильна. А просто потому, что вы, Антонин, еще слабее ее.

– Хорошо,– сказала Липочка.– В твоих рассуждениях есть правда. Мне, например, часто невмоготу решать вопросы жизни в одиночку. Злюсь на Антонина за то, что он все на меня переваливает. Хотелось бы побыть за крепкой мужской спинищей.

– Выходи за Богородицкого,– сказал Свешников.– У него спинища двухметровой ширины.

– Когда в зимней шубе, – ответила Липочка. – А в рубашечке-то он не столь могуч. И не нужна мне его спина. Обойдусь твоей. Но по временам все-таки бывает досадно. Видимо, женщине свойственно искать заслон от житейских невзгод. Когда-то мужчина заслонял ее собой от динозавров…

– Во времена динозавров человека еще не было,– сказал Свешников.

– Хорошо, не от динозавров, так от саблезубых тигров и мамонтов. А теперь…

– А теперь,– подхватила Ия, – мужчина должен защищать и жену и себя от Богородицких.

– Богородицкий что! – сказала Липочка. – А вот от монтеров, от водопроводчиков, от кровельщиков, от всех этих ужасных обдирал, у которых цены менее чем десятка ни на что не существует. Кран не завинчивается – десятка, пробки перегорели – десятка, крыша потекла, залезть на нее взглянуть – десятка. А починять – тут целую охапку десяток гони. Вот от кого надо бы меня защищать. Да, так вернемся к Феликсу. Он, значит, негож. А Булатов гож? Булатов сильнее тебя?

– Липа, в таком тоне мы говорить о нем не будем. Хорошо? – мягко сказала Ия.

– Хорошо. Но у него же, наверно, жена, дети.

– Наверно. Но какое это имеет значение! И вообще это все досужая болтовня. А вот что реальность, так это то, что вас с ним надо будет непременно познакомить. Если он согласится. Он ведь тоже может воскликнуть: «Избави бог!» О Свешникове тоже болтают немало. Булатов – догматик, прямолинеен, а Свешников продался за доллары и всякие иные пиастры. И сочиняют это, вполне возможно, одни и те же сочинители. Между прочим, Липа, ты сказала слово «сталинист». Не могла бы ты мне сообщить, откуда к тебе пришло это слово? Ты слышала его в речах наших руководителей? Ты прочла его в нашей партийной печати? Где ты его подцепила?

– Странно, – удивилась Липочка. – Где, где? Откуда я знаю, где услышала! Очень распространенное слово.

– Так вот, Липочка, ни в одном выступлении, ни в одной статье ты его услышать и прочесть не могла. Его там не было и быть не могло. Лишь в обывательской среде употребляли. Потому что это не наше слово. Его Троцкий придумал, еще до войны, когда боролся против партии, против Сталина. Повторяя это, ты повторяешь Троцкого, Липочка.

– Что ты говоришь! Откуда это тебе известно?

– Переводила кое-что. Рецензию на шикарную книгу о Троцком, вышедшую в Лондоне. Там и нашла.

Когда Ия ушла, Липочка сказала:

– Она говорит много правильного. Нам с тобой надо задуматься, Тоник, над тем, что вокруг нас происходит. Сын чекистов, таких замечательных людей, настоящих большевиков, а о нем распространяют слухи, будто бы он чуть ли не антисоветчик. Что-то мы с тобой делаем такое… Не совсем, наверное, правильное.

– Я не знаю, Липочка. Мне кажется, что ничего неправильного мы не делаем. Портреты этих старых дур?… Ну и что? Сам великий Пикассо на потребу дураков наработал уйму дряни. Раз платят…

– «Раз платят!» Это, Тоник, не доказательство. А мне бы, скажем, хорошо платили за мое тело, ты и тогда так же бы рассуждал: раз платят?

– Как можно сравнивать! – возмутился Свешников.

– А почему нельзя? В данном случае ты тоже торгуешь. Кистью торгуешь, своим искусством, талантом. Тебе разве доставляет удовольствие малевать эти хари?

– Мне доставляет удовольствие то, что я получаю монету и таким образом доставляю тебе удовольствие.

– Значит, в этой торговле виновата я? – Липочка принялась ходить по мастерской. – Какой-то, извини, заколдованный круг получается. Ох, права Ия, права! Ни у тебя, ни у меня нет настоящего характера.

– А не всем он, Липочка, и нужен,– сказал Свешников. – Не всем и не для всего. Если бы я был хозяйственником, это – да, это – верно, без характера я и не достал бы ничего, и не обеспечил бы, и не справился.

Они смотрели друг на друга и мучились мыслью, так ли они живут, верно ли поступают и нужен ли или не нужен им тот характер, который так помогает

некоторым в жизни. Ни у него, ни у нее характера вообще не было. У него был талант, у нее была любовь и преданность ему, и они оба мало задумывались над тем, а что же еще надобно человеку в жизни.

29

Такого, что произошло на этот раз с Феликсом, с ним еще не бывало. Чувства к Нонне, которые и он и Нонна называли любовью, настолько отличались от его чувств к Лере, что их даже рядом ставить было невозможно. Хотел ли он когда-нибудь, чтобы Нонна каждый час, каждую минуту, секунду была возле него? Хотел ли в свою бытность с Нонной, чтобы неотрывно смотреть в ее глаза, на ее лицо, на то, как она держит руки, как движется, как сидит, как улыбается, как поднимает ресницы, чтобы тоже ответно взглянуть на него? Было уютно, что Нонна рядом, было приятно, что она есть, что в ту минуту, когда тебе хочется ее обнять, протяни руку – и она под рукой. Но и совершенно необходимыми были такие часы, когда бы Нонна ничем и никак не давала знать о своем существовании, и если в такие часы она чем-то себя обнаруживала, это раздражало Феликса: он уходил из дому, придумывая всевозможные поводы. Живя с Нонной, Феликс время от времени испытывал непреодолимое желание побыть не просто наедине с собой, а лишь бы без нее, – можно и с кем-нибудь, но другим.

С Лерой он бродил по Москве длинными летними вечерами и только и думал о том, чтобы вечеров этих было как можно больше, чтобы ими завершался каждый день его жизни. Он хотел бы носить эту маленькую, легкую женщину на руках, не отпускать бы ее от себя ни на минуту.

А началось все с того, что в тот раз, когда они встретились в театре и когда получилось так, что Ия ушла с Булатовым, а он, Феликс, оказался с Лерой, она подробно рассказала ему всю свою невеселую историю, толкнула ее на это пьеса, по которой игрался только что просмотренный ими сентиментальный спектакль. Лера шла тогда рядом с Феликсом по улицам, едва доставая головой до его плеча, совсем еще, казалось, девочка; если бы не всматриваться в ее лицо, в ее глаза, то и трудно было бы поверить, что на долю этого хрупкого существа уже успели выпасть такие тягостные жизненные испытания и что она смогла вынести их на своих плечах, обтянутых шелковистой тканью короткого девчоночьего платья.

Феликсу, с его доброй, мягкой душой, думалось, что он жалеет Леру и что все. чего бы ему хотелось, – это сделать так, чтобы для нее поскорее позабылись годы жизни в Италии. На самом же деле он ее полюбил той любовью, которая приходит к человеку, может быть, один-единственный раз в жизни. Ничто для него, кроме Леры, в эти дни на свете не существовало. Закончив работу, он уже и минуты лишней не просиживал в бытовке, он мчался к проходной, к автобусам, к троллейбусам, к станции метро. По двадцать раз на день звонил он Лере по телефону, он ждал ее на улицах «под часами», у разных памятников, на таких-то и таких-то скамейках, у подъезда ее дома. Но беда заключалась в том, что далеко не каждый раз, когда бы ему хотелось, была

свободна Лера.

– Феликс, пойми, пожалуйста,– говорила она ему в ответ на упреки и сетования, – я так поспешно умчалась в Москву из Турина совсем не для того, чтобы гулять с утра до ночи. У меня очень много дел. Я должна оформить развод со Спадой, я должна поместить в детский сад Толика, я должна, наконец, самой себе найти работу. Не могу же я снова усаживаться на шею родителям.

– Это все второстепенное, это все устроится. Не в нем дело. – Феликс нервничал, волновался.

– А что же, по-твоему, главное? – Лера хитрила. Она и сама все прекрасно понимала, она видела, что Феликс Самарин любит ее, и любит по-настоящему, но он ей об этом не говорил, все требовал, чтобы догадалась. И, кроме того, ей очень мешала поспешность, с которой она из одного состояния перешла в другое. Ей думалось, что после тяжких послед них месяцев в Турине она не может вот так легко и просто броситься в объятия другого. И еще было немаловажное обстоятельство, осложняв шее отношение Леры к Феликсу. Она была на три года старше его, и это ее тяготило.

Однажды они сидели на обрыве над Москвой-рекой. За их спинами высились строгих, прекрасных пропорций университетские башни, а перед глазами, уходя в дымку, лежала Москва. Внизу по реке бежали теплоходики, на них гремело радио.

– Странный, ох, ты и странный же, Феликс! – Лера сидела на его куртке, брошенной на траву, и подкидывала на ладони плоский камешек так, чтобы он попеременно ложился то одной стороной кверху, то другой.

– Если любить человека – это странность, то да, я странный, очень странный. Я же люблю тебя, Лера. И если ты этого не поймешь, мне не жить. Я не смогу без тебя. Слышишь? – В его голосе была даже злость.

– Пожалуйста, не думай, что ты мне безразличен, Феликс, нет. Но скажи честно: что может получиться из наших добрых отношений?

– Не понимаю.

– Чего ж не понять. У меня ребенок.

– Ну и что?

– Я старше тебя.

– Если бы я был тебе нужен, ты бы не перечисляла все это.

Она провела рукой по его щеке.

– И страшно как-то.

– Чего страшно? – Он схватил ее руку.

– У меня еще не было счастья. И любви не было. Ничего не было. Что, если и на этот раз мы и сами обманываемся и друг друга обманываем? Второй раз такого не перенести.

Она говорила эти рассудительные, так называемые благоразумные слова, а у самой было одно желание: кинуться к нему на грудь, чтобы он обнял ее, прижал, заслонил, защитил от всего, что с ней было, чтобы оно ушло навсегда в преисподнюю, а был бы на свете только он один, этот добрый, ласковый, хороший человек, который так ее любит и которого она тоже любит не меньше,

а может быть, и больше, но вот в душе у нее еще сумбур после жизненных разрушений, там натоптано, намусорено и нет той чистоты, безоглядности, с какой навстречу своим чувствам, навстречу ей идет Феликс. Вдруг действительно Толик помешает, вдруг действительно разница в несколько лет окажется роковой – и тогда снова все прахом, снова черные дни, черные годы…

– Хорошо,– сказал он.– Может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, я слишком назойлив…

– Нет, нет! – крикнула она. – Не в этом дело. Ты не так…

– Неважно как. Может быть. Если угодно, можешь сделать мне проверку. Предположим, год. Мы не будем встречаться год. А потом встретимся и спросим друг друга…

Лера почувствовала, что холодеет от этого высказанного так спокойно предложения.

– Год мало,– сказала она, собрав силы, – Три, пять…

– Пожалуйста,– согласился он.– Три, пять…

На глазах Леры выступили слезы. Феликс их не увидел. Напрягая скулы, он смотрел на Москву в летней вечерней голубизне. Поблизости внезапно заблямкал церковный колокол, а радио на очередном проходящем внизу теплоходике пело нестареющую песню: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет».

Они поднялись с земли как потерянные. Солнце было тусклым, воздух был мутным, все вокруг слышалось глухо, ветер был резким, неприятным. Они не понимали, как же все это случилось, как пришли они к такой безысходности. Много было перечитано о любви, и все же ни одна, даже самая гениальная книга не могла послужить им учебником. Много было читано о любовных муках, о том, что настоящей любви без них не бывает, и все-таки, когда эти муки возникли, они не показались неизбежными спутниками любви, ее продолжением и развитием, нет, от них повеяло крушением всего светлого, радостного, разгоревшегося, распылавшегося в молодых сердцах Феликса и Леры за несколько коротких недель после их первой встречи в театре.

Они шли к автобусу молчаливые, отчужденные. И в автобусе ехали молча. Феликс проводил Леру до ее дома, там они пожали друг другу руки и разошлись.

Дома Феликс, сказав родителям, что у него зверски болит голова, лег не раздеваясь на свою постель. Да, размышлял он, кто же он такой в ее глазах? Ничего особенного против того счастливого итальянца. Там автомобиль, там шикарная квартира в Турине, дачные выезды на берег теплого моря… Он говорил себе так, понимая, что не должен этого делать, понимая, что неправ, понимая, что дело не в автомобилях и теплых морях, И все-таки не мог не представлять мысленно во всевозможнейших ракурсах жизнь Леры с ее итальянцем. Картины и мысли были мучительные.

Не выдержал их натиска, встал, подошел к телефону: к кому бы пойти, с кем бы поговорить, посоветоваться? В памяти проносилось множество лиц и имен. Зацепился за одно. Ия Паладьина! Но у Ии не было телефона.

Сказал Раисе Алексеевне, что, видимо, воротится поздно, и бросился вниз

по лестнице, не дожидаясь лифта.

Иной комнаты он не узнал. Куда подевались грязные обои, где теперь та ветхая, жуткая мебель, где все, что здесь было прежде? Две стены били по глазам оранжевым цветом, две другие умеривали впечатление – они светились небесно-голубым. Мебель была до того легкой и сверхсовременной, что садиться на нее было страшно. Свет взамен прежнего полусвета давали торшеры, расположенные по углам. Из прошлого Феликс увидел лишь груды бумаг на столе, да все те же две пишущие машинки, да, конечно, иконы, так не гармонировавшие с нелепой, смешной, ультрамодной раскраской стен.

– Вы ошарашены, мой друг, озадачены, ошеломлены. Вас мучает мысль: не свихнулась ли окончательно и без того странноватая ваша знакомая? Не так ли? – Ия была довольна приходом Феликса, она радостно улыбалась ему своим большим подвижным ртом. – Не пугайтесь. Это не я натворила. Это мой братец хозяйничал. Известный вам Геннадий, А я только, по обыкновению, не противилась.

– А зачем… именно так? – Феликс поразводил руками, указывая сразу на все, что произошло в комнате.

– У него весьма загадочные планы. Понадобился вертеп для приема знатных иностранцев.– Ия бросала короткие, но внимательные взгляды на Феликса. – Вы чем-то расстроены, – сказала она, – Не любовная ли лодка наскочила на быт?

Феликс смутился. Насколько он уже знал Ию, с ней невозможно было хитрить. Он, видимо, ошибся, прибежав к ней со своим душевным смятением. В его состоянии у нее просто так не посидишь. Надо было или рассказывать, что там такое с ним произошло, или уходить.

– Может быть, вы хотите, чтобы я была вашей посланницей? – говорила Ия со своей открытой улыбкой.– Чтобы отнести записочку?

– Ну вот, выдумаете! В краску вгоняете человека.

– В детстве я это делала, – продолжала Ия. – Старшие девчонки постоянно меня эксплуатировали в качестве почтальона. Несешь прыщавому балбесу чьи-либо излияния в чувствах к сама вся преисполняешься чувствами величайшей ответственности, своей значительности. Так отнести письмецо? Ну, ладно, не буду. Может быть, приготовить кофе? Или вот что теперь у меня завелось. Смотрите! – Она подошла к ящику на ножках, откинула крышку. – Тут есть музыка. – Нажала белые кнопки. – Теперь можно танцевать. Видите, Генка даже пол исправил, покрыл этой блестящей дрянью. Приглашайте же меня!

Игралось что-то неторопливое, приятное. Феликс, не больно мастер танцевать, под эту музыку вполне успешно водил продолжавшую улыбаться Ию.

– А я вам не кажусь страннее? Точнее сказать, более странной, чем обычно? – спросила она.

– Вы для меня всегда загадка, всегда сфинкс.

– А вы знаете, Феликс, я влюбилась. Пойдемте сядем. Я вам кое-что расскажу.– Подобрав под себя свои длинные ноги на просевшем под нею

диванчике, она продолжала: – Вам я оказалась ни к чему. Но не все же такие. Ну, ну, не протестуйте, я шучу, шучу. А всерьез… Всерьез – да, влюбилась. И знаете, в кого?

– Нет, конечно.

– В Булатова! – Она сказала и ждала реакции на свои слова.

– Что? – изумился Феликс.– В того, в писателя?

– Да. С ума схожу, понимаете. Места не могу найти. Мечусь. Я рада, что вы пришли. Чудовищная история. Я себе казалась такой рассудительной, такой разумной, такой обремененной опытом. И вот все кверху дном. Не сплю, не ем. Смешно даже! Хочу к нему, хочу быть с ним. Но как? Один разок мне удалось после того вечера в театре увязаться за ним на художественную выставку. А больше не знаю, что и придумать. Может быть, отнесете записочку? – Ия как-то неестественно засмеялась. – У него нет времени. Вы понимаете: времени нет! На все оно есть. На Дальний Восток таскаться, на Иссык-Куль, за границу, книги писать, выступать с речами – на это есть, есть, есть. А на живого человека его нет, нет.

Феликс видел, что Ия не шутит и все, что она говорит, правда. Он ее понимал. Она всей душой влюбилась в человека и мучается оттого, что он-то о ее чувствах не ведает.

– Вот видите, какие мы, женщины, несчастные,– сказала она почти серьезно.– Вам, мужчинам, проще: пошел и объяснился. А нам как? Жди и молчи, молчи и жди? А если так ничего и не дождешься?

– И нам не очень просто, Ия. Объясниться объяснишься, а в ответ ни чего хорошего не получишь. Тогда что?

– Но все-таки объяснишься, скажешь!– Ия раздражалась.– А тут и сказать невозможно. Я позвонила ему по телефону. Взяла трубку жена. Второй раз позвонила – опять жена. Чу-до-вищ-но!

– А вы не считаете, Ия, что это не совсем хорошо?

– Что именно?

– Ну там жена… семья… дети, наверно.

– Ерунда! Из евангелия! Не пожелай чужую жену или чужого мужа?! Когда приходит любовь, все летит в геенну огненную. Она, она, она – любовь диктует все и всем на земном шаре.

– Зигмунд Фрейд, Ия! Это его объяснение всему, что происходит с человеком и с обществом. Начинается, мол, с взаимоотношения полов…

– Я не о полах говорю! – почти крикнула Ия.– Не об этих взаимоотношениях. Они и у коз с козлами существуют. Я о любви, о любви! Человека к человеку! Мыслящего существа к мыслящему существу. У меня были отношения полов. И у вас они были. Ну и что? Что они вам и мне принесли? Какие богатства оставили в душе? А любовь!…

– Но это тоже невелико богатство – вот так мучиться,– сказал Фе ликс, чтобы услышать, что ответит на это Ия. Он чувствовал, что его со стояние близко к ее состоянию, они были товарищами по несчастью или по счастью – установить еще не удалось.

– А что, по-вашему, лучше составить так называемую счастливую парочку

двух накопителей, которые в полном согласии, как два муравейника, как две трогательные хрестоматийные пчелки, все в домик, в домик, в домик тащат, руководствуясь тем, что курица, и та к себе гребет? И чем больше нагребли этак, тем счастливее?

– Это крайность, Ия.

– Настоящее только крайности. Все, что посерединке,– позорное благоразумие.

– Вы боевой полемист. Но вы неправы. Одно дело – «третьего не дано», другое дело – за настоящее считать только крайности.

– Ах, мне не до теоретических тонкостей, Феликс! Жизнь моя погибает, поймите, жизнь.

– Хорошо, я схожу к Булатову, попрошу выкроить часок-другой.

– С ума сошли! Ничего нелепей придумать не смогли?

– И это вам, значит, не годится. Так что же делать?

– Не знаю. – Она пригорюнилась на диванчике, затихла, подперев щеку рукой, смотрела в одну точку.– Совсем не знаю,– говорила еле слышно, не отводя глаз от той точки. – Ваша тетка Олимпиада, моя подруга, знакомя нас, хотела нам добра. Очень жаль, что из этого ничего не получилось. Выло бы все хорошо, спокойно, мирно.

– Вы меня за муравейника считаете, за хрестоматийную пчелку? – Феликс обиделся и встал.

Вскочила с диванчика и Ия.

– Простите, дорогой мой, простите меня! – Она схватила его за плечи.– Не знаю, что говорю. Это прекрасно, что она привела нас друг к другу. И прекрасно то, что вы настоящий человек, что вы не согласились на то, на что я-то уже была согласна. Было бы все испорчено, и я бы, может быть, никогда не испытала того, что испытываю сейчас.

Был двенадцатый час. В такое время в дома, где тебя не считают старым другом, обычно не ходят, не звонят, не стучатся. Распрощавшись с Ией, Феликс все же отправился к дому, в котором жила Лера. Дом ее стоял в глубине двора, когда-то обнесенного заборами. Теперь заборы снесли, насадили молодых деревьев, разбили цветники, понаставили скамеек.

Феликс знал только подъезд, в котором после их совместных прогулок исчезала Лера. Но он не запомнил ни этаж, на котором была квартира ее родителей, ни окон их квартиры, хотя Лера указывала ему на них в первый вечер. Он сел на скамейку возле клумбы с ноготками и в сумраке летней ночи стал рассматривать все пять этажей Лериного дома, стараясь угадать, которое же из этих темных окон окно ее комнаты.

Лера не спала. Она лежала на постели, устремив взгляд в потолок Там, на потолке, перед нею медленно, как длинная кинолента, развертывалась вся ее жизнь. С девчонок, с первых классов школы, с девчоночьими радостями и обидами. В подробностях виделось и полное жизнерадостных забот университетское время. Лишь жизнь со Спадой проскакивала вкривь и вкось, будто бы в этом месте лента рвалась по вине нерадивого киномеханика. Дальше же возникал он, Феликс Самарин, которым за слонилось все горькое, обидное,

тяжкое, чем заполнялись эти рваные куски ее жизни. Только невыносимо было думать, что она рассталась с ним навсегда. Нет, не может же этого быть, не может, хотя, прощаясь, они не условились, как делали обычно, ни о месте, ни о времени следующей встречи. Это ни о чем еще не свидетельствует, – есть же телефон. И вместе с тем это было тревожным, пугающим. Лера старалась представить себе все, что могло обидеть Феликса, оттолкнуть его, заставить думать о ней как-то иначе. Может быть, так случилось потому, что она мямлит, не отвечает ему ничем определенным? Но как можно ответить определенно, если она еще не разведена со Спадой, если по документам она еще чужая жена, если у нее ребенок и притом наполовину принадлежащий чужому человеку, если… Да ведь неисчислима бездна этих «если». В конце концов что скажут его родители и что скажут ее родители?

Она думала, думала и постепенно стала понимать, что именно это все, вместе взятое, опутало ее с головы до ног отвратительной нерешительностью, и Феликс, конечно же, вправе думать, что она на его чувства не отвечает такими же чувствами, что она его не любит: если бы любила, так бы не мямлила; известно, что настоящая, подлинная любовь все побеждает, все перебарывает.

Теперь все дело в том, чтобы разобраться как следует в своих чувствах. Любит ли она Феликса? О да, да, да! Она любит его хотя бы уже за то, что он вернул ее к жизни после мрака заграничного прозябания.

Значит, все ясно, все ясно. Она и только она одна виновата в том, что произошло сегодня там, над Москвой-рекой. Но что же делать, как быть? Можно ли исправить испорченное? И как? Чем? Ничего умного верного Лера придумать не могла.

В коридоре зазвонил телефон. Она кинулась к аппарату, схватила трубку.

– Алло! – сказала тихим голосом, почти шепча, чтобы не проснулись родители.

– Извините, пожалуйста, но мне совершенно необходимо переговорить с Лерой, – услышала она голос Феликса.

– Это я, я! – чуть не закричала она.– Я!

– Оденься и выйди во двор,– сказал Феликс решительно.– Я тут неподалеку, в автомате.

Пять минут спустя Лера уже была во дворе. С улицы навстречу ей шел Феликс. Они шли друг другу навстречу, не зная, что сейчас произойдет, как все будет, но чувствуя, что именно сейчас, вот здесь все и решится: или так, или по-другому, но уже не будет никакой неопределенности.

Феликс схватил ее за плечи: «Лерка, милая!»,– прижал к себе. Она уткнулась лицом в его грудь, как бы став еще меньше, чем была на самом деле. Они так стояли, боясь шелохнуться, и слушали, как гулко у него и у нее стучали сердца, как туго пульсировала под руками, под пальцами кровь в артериях.

Вот этого, только этого и не хватало обоим для того, чтобы всему определиться. Все сомнения, все отговорки, все «если» отпали в эту минуту сами собой.

30

На столе были расставлены бутылки виски, джина, содовой воды, экспортные коньяки и водки. Все это в пестрых пакетах магазина, в котором торгуют на валюту, натащили в комнату Ии Генка с Юджином Россом.

– Будет дружеская, мужская вечеринка,– сказал Юджин Росс несколько дней назад. – Собери, Геннадий, самых лучших своих друзей. Повеселимся. У вас в Советском Союзе все хорошо. Только вот время проводить по-настоящему вы не умеете, хотя получили для этого два выходных дня в неделю.

Генка насобирал семерых. Один был сыном заместителя министра по столовым и ресторанам, другой – пасынком крупного генерала, родители третьего постоянно делали что-то за границей и в Советском Союзе почти не жили, отец четвертого заведовал швейным ателье, мать пятого ведала чем-то в гастрольном эстрадном бюро, родители шестого ничего особенного собой не представляли, зато дед у него был очень знаменитым: он стал знаменитым после процесса вредителей из Промпартии, тогда его осудили, посадили, со временем он умер, дети о нем никогда не поминали, но внук им очень гордился и даже сочинил стихи, которые так и назывались: «Стихи о моем деде». О седьмом ничего особенного сказать было нельзя, его родители работали и жили, как живут и работают миллионы людей: отец – инженер, мать – домохозяйка. Зато сам он, по словам его приятелей, делал головокружительную карьеру. Перед окончанием института он проходил практику в одном из учреждений, осуществляющих связи с заграницей, приглянулся руководству и, получив диплом, был распределен именно в это учреждение и стал не кем-либо, а одним из помощников председателя. Пожалуй, только он один, этот Виталий Огурцов, был в собравшейся компании на год-два старше Геннадия, остальные все младше, они еще учились на разных курсах разных высших учебных заведений и в знакомстве с Геннадием состояли не по студенческой, не по молодежной среде, а по однодневным домам отдыха, где их родители, в том числе и родители Генки, обычно проводили выходные дни, а летом и вообще поселялись на месяц, на два, на три.

Все эти парни были не дураки выпить, все имели магнитофоны – от фундаментальных, пудовых, до карманных, размерами с коробку папирос. У двоих из них, у Виталия Огурцова и Никиты Полузудова, сочинившего стихи о своем деде, были собственные автомобили: у Огурцова – «Волга», у Полузудова– «Москвич». Все у них у всех было, кроме денег в тех суммах, в каких бы ребятки эти хотели их иметь. Мальцы давным-давно поняли силу «презренного металла». Сын организатора швейных дел Шурка Базанов потому только и оказался в институте, что Шуркин отец не пожалел «бумажек» на подарки и подношения кому следовало. Все они, когда Генка сказал им о желании одного иностранца встретиться с советской молодежью, обрадовались подобной возможности. Ии дома не было, Генка упросил ее погулять часиков до двух, до трех ночи. Она поморщилась, но все же ушла еще до начала предполагаемой встречи.

Квартира для таких дел была удобная. Старинный дом с почти метровыми наружными стенами, с кирпичными же толстыми стенками между комнатами, изолирующими от всяких звуков, с двойными межэтажными перекрытиями. Пляши, пой, ходи на головах – никто не прибежит с угрозами заявить в ЖЭК или в милицию. В самой этой четырехкомнатной квартире тоже все обстояло благополучно. В двух комнатах жил старый пенсионер, во время войны потерявший всех родственников и сам оглохший при бомбежке поезда, в котором они эвакуировались из Минска. Он ни во что не вмешивался, ни на что не реагировал потому, видимо, что ничего не слышал. В третьей комнате жила старушка. Ей полагалось в таких случаях презентовать трешницу «за беспокойство», тогда она тоже ничего не видела и не слышала.

У старушки был холодильник, и Генка еще за одну трешницу поручил ей наготовить кубиков льда, о необходимости чего предупредил Юджин Росс.

Теперь груда этого льда стояла в миске среди бутылок.

Гости пришли все сразу, видимо, договорились где-то встретиться. Генка и американец уже были на месте. Комната Ии, преобразованная по Генкиным проектам, была ярко освещена всеми торшерами и плафонами, стол привлекал пестротой и нездешностью наклеек на бутылках, да и сами бутылки, их формы были не здешние, привлекающие.

Юджин Росс гоготал, встряхивая руки пришедших, выслушивая их «Виталий», «Эдуард», «Никита», «Спартак»… Куда только и подевался обычно молчаливый, всегда жующий резинку малый! Он наливал кому виски, кому джина. К виски советовал добавлять содовой воды и непременно бросать в стакан парочку кубиков льда, джин же хорошо смешать с тоником, вот с этой тонизирующей индийской водой, которую вырабатывает фирма «Швипс» в Лондоне: в смесь джина с тоником можно выдавить несколько капель лимонного сока, но можно и без него, а вот лед, как и для виски, обязателен.

Все получили по стакану непривычного питья. Кто хвалил его, смакуя, кто кривил губы: дескать, русские напитки, коньяк и водка, вкуснее.

– Может быть,– отвечал таким Юджин Росс.– Не спорю. Но употребление их связано с наступающим затем упадком сил. Их действие резко: взлет!…– Юджин размахнулся чуть ли не до потолка.– И через ка кое-то время – фьють! – Он опустил руку к самому полу. – И тогда почтенные советские граждане спят на скамейках московских парков, как безработные в капиталистических странах. От виски или джина этого не произойдет. Эти напитки тонизируют, поднимают силы. Они совершенно незаменимы в жарких странах. Там они еще и дезинфицируют, там они освежают, там…

– А у нас страна холодная,– сказал Полузудов.– Мы поэтому водочники и коньяковисты. Нам не надо освежаться, нам надо разогреваться. Водка и коньяк – превосходнейший материал для разогрева.

– А мне эта штука нравится! – Огурцов протянул Юджину Россу свой опустевший стакан.– Нельзя ли прибавки?

– У нас обычно никто никого не приневоливает пить и никто никому не мешает это делать. Каждый пьет столько, сколько ему хочется. Потому и прибавка – дело самих пьющих. Вот вам бутылки, их у нас вполне достаточно.

Вон там в углу чемодан, это наш винный погреб. Не стесняйтесь, господа, будьте свободны, веселы. У меня, кстати, есть новые записи на лентах. Геннадий, включи машину!

Генка включил магнитофон с лентами Юджина Росса. Пошла та музыка, под воздействием которой человек постепенно начинает дергаться. Сначала он отбивает такт одной ногой, затем включается в это и вторая нога, позже в ход идут уже и руки, плечи, голова, бедра, спина. Все тело ходит ходуном.

Виски, джин, музыка делали свое дело. Компания дрыгала ногами, размахивала руками, широкие безмятежные улыбки – от уха до уха – освещали лица захмелевших парней.

Юджин пустился в пляс. Несмотря на тесноту в комнате Ии, он ухитрялся выписывать такие фигуры, что все ахали от восхищения. «Вот это артист!»

– Мою бы мамочку столбняк хватил от такого виртуозного исполнения! – сказал сын дамы из гастрольного бюро, Ленька Пришибей. – Договор на пять лет по высшим ставкам!

Кое-кто попробовал повторить дьявольский танец за американцем. В какой-то мере получилось это лишь у Огурцова.

– Не огорчайтесь,– утешал Юджин Росс – Без девчонок всегда идет хуже. Будут девчонки – пойдет как надо. Как-нибудь устроим вече ринку с ними, если вы не против.

Юджин Росс оказался подлинной душой общества. Вот бы увидели его такого Клауберг и Сабуров! Глазам бы не поверили. Он танцевал, он пел, он рассказывал анекдоты. Наконец, выдвинув на середину комнаты, раскрыл тот чемодан, который назвал винным погребом. Кроме бутылок, в чемодане были сложены пачками какие-то журналы. Он выбросил их на стол. Одни их обложки, яркие, красочные, уже захватывали воображение. Все на них было представлено натурально, все было голо, дразнило, волновало молодых парней. А когда они принялись листать страницы, то на первых минутах онемели, всем стало стыдно друг перед другом за то, что Они делают, что видят. Но постепенно освоились, отошли от столбняка, начали перебрасываться словами.

– У вас странные порядки, – заговорил Юджин Росс, внимательно понаблюдав за тем действием, какое на советских парней производит полиграфическая продукция такого рода. – С одной стороны, вы за материализм, а с другой – делаете вид, будто родителям вас действительно аисты приносят. У вас много говорят и пишут об эстетическом воспитании молодежи. Но как оно осуществляется? Древние греки чувство красоты воспитывали материально. Что может быть прекраснее женского тела, если оно совершенно в своих формах! Греки не стеснялись показывать женщину такой, какая она есть. Отсюда и результаты! Любой знаменитый музей мира – Лувр, Британский, ваш Эрмитаж в Ленинграде – как великую драгоценность готов хранить хотя бы обломок тех древних мраморных женщин. Мало того, красота, начинаясь с понимания красоты женского тела, порождала органическое чувство красоты вообще. Все лучшее, прекраснейшее в истории человечества создано теми, кто был воспитан на красоте женского тела.

– Это все верно,– сказал пасынок генерала Володька Решкин. – Тела тут, в

ваших журнальчиках, будь здоров! Но школьникам их ведь не покажешь.

– Почему же?

– Позы-то какие! Не древнегреческие!

Все захохотали.

– Да, ребятишечки, наглядевшись на это, и сколько будет дважды два позабудут.

– А ребятишечкам,– сказал Юджин Росс,– этого никто и не собирается показывать. Это для взрослых, для вас, друзья мои, для тех, кто уже знает, откуда и как происходят дети. Ну что ж, стаканы у всех пустые. Геннадий, шевельни нашими запасами, продолжим заседание, как говорят у вас.

Стаканы не так уж и пустовали, но Юджину Россу хотелось, чтобы советские парни все больше бы развязывались, все больше бы теряли контроль над собой. Непривычные им напитки хорошо помогали ему в этом.

– У вас много хвастают, – рассуждал он со стаканом в руке. – С первой строки любой газеты и до подписи редактора только и читаешь: чугуна выплавили в сто раз больше, чем в тринадцатом году, электроэнергии выработали в двести раз больше, чем в двадцать седьмом, медведей убили в эн-эн раз больше, чем в пятьдесят третьем, и те де и те пе. Я понимаю, что это не вы расписываете такие достижения. Я понимаю, что делают это сталинисты, те старые обломки, которых еще немало осталось на руководящих постах в вашей стране. Этими цифрами они сушат вашу жизнь. Они кричат о романтике, а сами эту романтику у вас отнимают. Таковы последствия культа личности, неискорененные, неликвидированные. Замечательно сказал один ваш поэт: надо так основательно завалить камнями могилу Сталина, чтобы вместе с ним вновь не вылезли на свет эти последствия. Только, видимо, надо не могилу Сталина заваливать, а кое-кого из все еще живущих поскорее провожать в могилы. Не один Сталин олицетворял в себе сталинизм, а вот и эти делали и делают то же, которые вам про чугун и электроэнергию каждый день дудят.

– Да, это у нас случается, дудят,– согласился Огурцов.– Но по степенно оно пройдет. У меня естъ товарищ, Юшков Томас. После университета он пошел работать на радио. Нам, говорит, одно предписывают делать, а мы свое гнем. Про чугун там, про всякое такое поболтаем для вида, а между чугуном и зяблевой вспашкой твист, шейк вставим, осмеем что-нибудь. Старым хренам уже и сейчас за нами не углядеть, а еще пройдет немножечко годочков, они и вовсе на нет сойдут, на пенсиончик, будем жить без них, по-своему.

– Это, конечно, чудесная программа, – сказал Юджин Росс.– Но не активная, а пассивная. Расчет на биологию. Не только будущее, но и настоящее должно принадлежать молодежи, вам, вам, друзья мои!

– Может быть, вы хотите, чтобы мы поубивали их, этих старых хренов?– сказал Огурцов.– Это же, как ни крути, наши родители. Это у вас запросто можно кокнуть хоть президента. Уплатил монету – его и кокнут. Нам вы таких советов лучше не давайте.

– Упаси господь! – воскликнул Юджин Росс, чувствуя, что он со вершил ошибку, излишне поспешив с нажимом на педали. – Вы меня не верно поняли. Зачем кого-то убивать? Просто везде и по любому поводу надо иметь свое

собственное мнение. И оно восторжествует.

– А у нас оно и есть свое. Я, например, совершенно согласен с тем своим другом, который на радио, с Томасом Юшковым. Процесс нелегкий – добиться, чтобы твое мнение восторжествовало, особенно если это мнение, может быть, целого поколения или даже нескольких поколений. Не надо раздражать стариков, пусть доживают свое, пусть думают, что дело идет так, как им хотелось бы, чтобы оно шло, пусть думают, что мы следуем по их основополагающим стопам. У меня вот начальничек, председатель, так сказать. Он старой формации. Любит почет, уважение, из вестный подхалимаж. А мне что, жалко, что ли? Я ему: «Сан Саныч» да «Сан Саныч», да «какие будут ваши указания, Сан Саныч», да «все, что вы приказали, Сан Саныч, я неукоснительно выполняю». Он доволен, он тает. А на самом-то деле не его указания выполняются, скажу вам честно, а мои, мои! Мне двадцать шесть лет. В эти годы люди армиями командовали, государствами управляли. Неужто Виталий Огурцов в двадцать шесть лет не может некоторое учрежденьице возглавить? Может! И возглавляет. Конфликтов, учтите, у меня с начальством никаких нет. Но для этого с ним надо работать, и много работать. Надо сделать так. чтобы оно, начальство, на все смотрело не своими и не чьими-либо еще. а твоими, только твоими глазами. Надо самому докладывать, надо самому комментировать, надо самому сообщать, составлять проекты бумаг всяких, статей, тексты его речей, выступлений.

– Теперь понятно,– сказал Володька Решкин,– почему некоторые начальники говорят такие речи, какие и я запросто могу говорить. Это ты их, оказывается, сочиняешь! – Что же, признаться, я. И мои коллеги – помощники, референты тех начальников. А как же! Все сам, только сам ты должен делать. Сам брать трубки телефонов и сам решать, с кем соединить, а с кем нет. Сам должен решать, кого допустить на прием, а кого нет. Он у нас тут вес ной, недавно, не желал пригласить на гастроли одну девицу… Кстати, из вашей Америки, господин Росс!

– Негритянку? Лили Пуппс? – сказал Росс, вспомнив брюссельский аэропорт и очередь пассажиров к советскому самолету.

– Ну да! У нас, говорит, своих халтурщиц подобного рода хоть от бавляй, только, может быть, не такие черные после сочинских пляжей. Пришлось поработать. Составил ему справочку о том, что она участвует в движении борцов за мир… На каком-то благотворительном концерте она и верно выступила однажды в числе «многих других»… Нажал на то, что она еще и негритянка, так сказать, чуть ли не сестра Поля Робсона, гонимая нация в США. Парочку звонков организовал. Поскрипел, поскрипел мой босс – сдался. Сейчас она в Сочи. Поет. Вот секс-бомба, это да! Не хуже ваших этих картинок, мистер Росс!

– Вы очень интересно рассказываете, господин Огурцов, очень. Вы настоящий человек. Я хотел бы выпить с вами за ваше здоровье! – Юджин Росс потянулся к Огурцову со стаканом.

– То-то! – сказал, чокаясь, Огурцов. – А вы нам насчет убийств стали говорить!

– Нет, нет, я же сказал, вы не так меня поняли!

– Ладно, допустим. Еще раз говорю вам: подлинные хозяева мы. Уже сейчас. А что будет через пять – десять лет – это уже время покажет. За свое учреждение отвечаю полностью. Старичок наш идейный, конечно, неподкупный. Но притомился, связь с жизнью утратил. Он дачку обожает, цветочки выращивает, рыбку ездит ловить. Я у него был раз в воскресенье на даче. Потеха! Такой Саваоф среди внучат. Я их по головам погладил, пару баек рассказал, хохочут: «Дядя Витя, дядя Витя, еще!» Я им еще. Дед цветет. «Любят вас, Виталий Дмитриевич, – рассуждает. А дети, они чутки к человеку, сразу определят, хорош он или плох». Ну, я скромненько потупился. А он мне целую полсотню прибавки с нового года выхлопотал. Вот так!

Генка с интересом слушал Виталия Огурцова. Он знал давно этого Витальку, еще со школы. Но понятия не имел о том, какой же это ловкий, хитрый и умный малый. У Виталия были общие черты с его, Генкиным, отцом. Генке приходилось слышать, как отец – не так, конечно, хвастливо и не так широковещательно, как Виталий Огурцов,– рассказывал матери о своих взаимоотношениях с начальством. Отец тоже уверял, что не вышестоящее начальство, а он решает многие вопросы. Он тоже говорил о том, как важно правильно и своевременно «доложить вопрос» начальству, как надо уметь информировать начальство, как вовремя оказаться на виду у начальства. Отец был большим ловкачом. У них в передней на столике перед зеркалом на медном индийском подносе каждый праздник раскладывались полученные поздравительные телеграммы. Среди них постоянно бывают две-три на бланках с красным грифом и с надписью: «Правительственная». Генка давно понял механику получения таких телеграмм. Отец заблаговременно рассылал соответствующим людям свои поздравления. Некоторые из его адресатов, кто повежливее, естественно, отвечали на приветы Зародова. И вот вам бросающиеся в глаза бланки. Когда взоры отцовских приятелей падали на них, он небрежно пояснял:

– А Петр Ильич уже пятнадцать лет подряд меня поздравляет. Иван Данилович, правда, только в третий раз. А Матвей Григорьевич впервые. Что-то прочел, видимо, мое. А звонков сколько!…

Да, схожее есть. Но в том, что и как делает отец, много показного, много пустопорожнего звона. У Виталия Огурцова все основательней, продуманней. С годами он будет несравнимо сильнее Александра Максимовича Зародова. Это растет настоящий орел!

А может быть, коршун? Стервятник? Генка прохладно относился к своему отцу и, пожалуй, даже с некоторой иронией, и поэтому то, что Виталий Огурцов показался ему похожим на отца, сильно снизило Виталия в Генкиных глазах, так снизило, что Генка готов вот назвать его даже стервятником. Расчетлив больно и оборотист для орла. И слишком удачлив.

Раздумывая об отце и о Виталии Огурцове, Генка упустил нить общего разговора. Он услышал вдруг слова Юджина Росса:

– Нет, не надо ни пистолета, ни кинжала, ни кастета. Достаточно хорошего кулака. Удар сюда… – Юджин Росс показал на переносье Леньки Пришибея. –

Косточка носа входит в мозг – и мгновенная смерть. И никто не сможет вам сказать, что вы убили человека преднамеренно. Обычная кулачная драка. Он-де ударил, я – в ответ. Легкий шум. А дело сделано. Если вам не обязательно уничтожить противника насмерть, хорош удар сюда, в печень… Шок, потеря памяти. Вы тем временем делаете свое дело.

Пьяные ребята размахивали кулаками, стараясь угодить друг другу то в переносье, то в печень. Никита Полузудов увертывался от ударов.

– Ребята, ребята, вы взбесились! Я больной, меня нельзя бить. У меня инфекционная желтуха была в детстве.

– В самом деле,– сказал Генка.– Ну, что вы разошлись! Драка – это последнее дело.

– Нет; мой друг, не последнее,– ответил Юджин Росс.– Для настоящего мужчины она первое дело. Конечно, для хлюпиков, для маменькиных соплячков получить хороший удар да ответить еще лучшим – это страшнее страшного. Но без ударов и жизни нет. Я говорил о романтике. Какая же романтика без радости победы?

– Драться не обязательно,– настаивал Генка.– И кстати, у кого руки чешутся, может самбо изучать. Есть такой комплекс…

– Знаю! – Юджин Росс махнул рукой. «Самооборона без оружия». Само название компрометирует ваш комплекс. Самооборона! А почему, собственно, только оборона? Еще древние говорили: лучший вид обороны – нападение. А где в этой вашей самбе начала нападения? Нет их. И почему без оружия? Почему такая боязнь оружия? Человек стал человеком только тогда, когда взял в руки палку и камень, то есть оружие. От казавшись от него, он перестает быть человеком. Я художник, но я стреляю из пистолетов, из винтовок, из пулеметов и получаю от этого удовольствие. Я художник, но я могу метнуть нож… – Юджин Росс выхватил из кармана кожаный футляр, достал из него большой складной нож с костяной ручкой, раскрыл его и коротким движением, почти не целясь, пустил в дверь. Нож впился лезвием в самую середину верхней филенки. – Я художник, но пощупайте мои мышцы!… – Он согнул а локте правую руку и все по очереди подходили потрогать его вспухшие мускулы.

– Вот это да!

– Штука!

Юджин вытащил нож из двери, сложил его, спрятал в карман.

– Ваши родители в смысле физического развития превосходили вас. Вы излишне интеллектуализировались, так, что ли, сказать. Ну. впрочем, все это очень серьезные разговоры. Возможно, оттого, что собрались од ни мужчины. Было бы неплохо повторить нашу встречу, но уже с девушками. На, так сказать, расширенной основе. Тогда и танцы пошли бы и песни. Говорят, что в России ни одно застолье не обходится без песен. А вы сегодня даже попытки что-нибудь спеть не совершили. Хотите, я вам спою?

Он не стал дожидаться приглашения, запел:

Я был батальонный разведчик,
А он был наш писарь штабной.

Ответ я держал за Россию,
Он спал же с моею женой…
Жена моя, бедная Шура,
Неужто тебе все равно?
Чего же ты, бедная дура.
Сменила орла на дерьмо?

С первых слов песни Володька Решкин стал морщиться, как от боли. Когда дошло до этих слов, он, прерывая певца, сказал:

– Не надо, мистер Росс, прошу вас!

– А в чем дело? – Юджин Росс удивленно развел руками. – Русская народная песня.

– Дело в том, мистер Росс, что вас ввели в заблуждение. Никакая она не народная. Сочинил ее, видимо, изрядный сукин сын. Я знаю ее тоже. Ее время от времени публикуют в эмигрантских газетках и журнальчиках. Мы не хотим, чтобы над тем, что совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны, кто-нибудь смеялся. А это насмешка. Извините, но вас обманули. Если хотите песню о войне… Как, ребята, знает кто из вас слова «Войны народной»?

– Я знаю,– сказал Генка.– Но не все слова. У моей сестры есть пластинка…

– Не надо пластинок. Затягивай, что знаешь. Коллективно вспомним.

Сначала не в лад, сбиваясь с мелодии, путаясь в словах, к великому удивлению Юджина Росса, эти парни, которые только что глушили виски и джин, которые только что рассказывали о целых системах одурачивания начальства, дальше все стройнее и стройнее пели грозную песню военных лет, все воодушевляясь, все сливаясь в единый поющий организм:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!

Юджин Росс сидел, посматривал на них исподлобья и недоумевал, в чем же он ошибся, чего не учел, что сделал не так, почему налаженное было взаимопонимание вдруг разладилось, расстроилось. Ответа он не находил. А песня все гремела, сотрясая нелепо раскрашенные стены Иной комнатки. Песне было в этих стенах тесно, она рвалась за окна, за двери, на улицу.

31

День Сабурова строился так. Обычно он вставал одновременно с Клаубергом, часа на полтора, на два раньше, чем мисс Браун и Юджин Росс. Те шлялись далёко заполночь, иной раз даже до утра, во всяком случае, до рассвета, до розового, тихого, прозрачного московского рассвета, и, конечно же, дрыхали после этого, опаздывая на завтрак. Сабуров и Клауберг завтракали за отведенным им столиком на четверых, на котором в специальной подставке

были укреплены маленькие флажки: советский – красный, с серпом и молотом, и британский – весь в пестрых скрещениях.

Однажды, оглянувшись по сторонам, хотя в ресторане никого в тот ранний час, кроме них двоих, не было, Клауберг сказал:

– Какие представительные флаги нас осеняют, Пе… тьфу!…Умберто! Не забавно ли, что никто из нашей группы ни к тому, ни к другому флагу не имеет никакого отношения?

– Особенно ты, конечно,– ответил Сабуров, доедая яичницу.

– Ты полагаешь, что эти ублюдки,– Клауберг указал глазами на потолок, имея в виду мисс Браун и Юджина Росса, еще спавших там, на своем этаже,– что они имеют право называться англичанами? – и щелкнул пальцем по британскому флагу. – Или быть причастными к этому, красному, лишь потому, что в них русская кровь?

– Я говорю не о них.

– Значит, о себе?

– А что, разве это не так?

Клауберг долго и изучающе смотрел на Сабурова. Тот уже пил кофе. А Клауберг раскуривал третью сигарету.

– Что ж, ты прав,– сказал он,– стоит тебе пойти в милейший домик на площади Дзержинского, такой, многоэтажный, на весь квартал, и ты вернешься на родину, станешь советским гражданином. Но…– Он поднял палец, как учительскую указку,– тебя сделают советским гражданином только для того, чтобы повесить в полном соответствии с советскими законами. Ни твоя Делия, ни твои ребятки даже и знать не узнают, куда подевался их папочка.

– А меня, Уве, вовсе и не повесят. Тебе известно это?

– С чего бы такое персональное милосердие?

– Когда мне пришлось рыться в советских газетах, особенно в провинциальных, я находил в них отчеты о судебных процессах над так называемыми военными преступниками. Совершенно верно: многих приговаривают к расстрелу. Но это как раз те, кто сам расстреливал и вешал. А так называемым пособникам, к которым отношусь я, дают различные сроки заключения. Лет пять, восемь, десять…

– Двадцать пять!

– Таких сроков у них уже нет. А и были бы, мне бы столько не дали: я никого не убивал.

– Но грабил. Советское государство грабил.

– Я могу чистосердечно раскаяться. Меня не изловят, а я сам приду. Нюанс. И весьма значительный.

– И ты с удовольствием станешь «простым советским заключенным», как поется в одной песне? Обретешь «дом родной»? Осиротеет «Аркадия» в благословенной Вариготте?

Сабуров не ответил, и оба они понимали, что ведут совершенно праздный разговор и что если у Клауберга еще есть возможность вернуться в свою Германию, которая даже усиливается по мере того, как неонацисты набирают силу и, по словам Клауберга, идут к тому, чтобы рано или поздно покончить с

этим идиотским преследованием истинных патриотов, то у Сабурова нет никаких надежд вернуть себе родину. Она его никогда не признает. Да, собственно, и к чему это все теперь, когда жизнь-то позади, когда ее так мало осталось?…

После разговоров за завтраком, не всегда, понятно, на такие острые темы, оба отправлялись по своим делам. Клауберг в различные комитеты и управления, Сабуров в музеи, хранилища, архивы. Кроме репродукций, надо было подготовить и текст к ним о русском искусстве. Этот текст не должен быть простым повторением ранее сказанного другими. Сабуров хотел дать свое собственное толкование искусству древней Руси, поэтому он глубоко вкапывался в старые книги и рукописи, добираясь до самых истоков русской художественной мысли. История России была многострадальна и героична. Русь складывалась в непрерывной, непрекращающейся борьбе за право на существование. Со всех сторон на нее шли и шли из века в век желающие поживиться богатствами ее природы, богатствами, создаваемыми искусными руками ее народа, и добрый, гостеприимный народ с широкой, ласковой, тонкой душой не имел возможности ни на час отложить в сторону оружие. Чего же удивляться, что и на иконах в его церквах многие святые вооружены мечами, копьями, одеты в кольчуги и шеломы!

После обеда Сабуров к работе уже не возвращался. Он отдыхал в своей комнате, не отвечая ни на звонки по телефону, ни на стуки в дверь. Все-таки далеко от дома, в непривычных условиях надо было беречь силы: возраст уже не позволял тратить их без учета и расчета.

А вечером у него стало привычкой ходить в театр и на концерты. Он попытался было смотреть советские фильмы. Но ему не повезло. Ничего заметного по летнему времени в Москве не показывали. Шла так называемая «средняя» продукция. При внешней, заданной многозначительности большинство фильмов этих по сути своей было ни о чем. Они были мелки, бесцветны, бесталанны.

В театрах и особенно в концертах было совсем другое дело. На летнее время московские театры или ушли в отпуск, или отправились на гастроли, одни по стране, другие за рубеж. А в Москву съехались театры из других городов Советского Союза, из других республик. В их спектаклях было много живого, острого, волнующего, по ним Сабуров составлял представление о текущей жизни страны. Концертные же программы его просто приводили в восторг. Это были концерты ансамблей из национальных республик, из больших и из таких малых, как республики Северного Кавказа, Забайкалья, Поволжья. Их искусство было оптимистично, глубоко народно, красочно, умно. Конечно, его породил новый строй, революция. До семнадцатого года этого в России не было. Сила новой России, раздумывал Сабуров, в том, что новая власть дала всем народам страны возможность свободно развиваться. Таких примеров, такой власти, такого государственного устройства в истории человечества еще не было. Были могучие империи, но основанные на порабощении одних другими, что и приводило в конце концов к их распаду, крушению. Их сила была их же и слабостью.

В этом широком разливе народного творчества как-то без всякого следа растворились и те, «наводящие мосты», сексуальные певицы из Соединенных Штатов и нестриженые английские олухи, на которых с таким умилением и надеждой взирала в брюссельском аэропорту Порция Браун.

На концертах, в театрах Сабуров заводил разговоры с людьми. Русские, оказывается, как и встарь, любили поговорить, порассуждать на любые темы. Он не признавался в том, что иностранец. Одежды в Москве были пестры и ничем особенно-то не отличались от одежд в других городах Европы; его, Сабурова, по одежде никак нельзя было отделить от коренного советского гражданина; не выделялся он и говором, разве что язык его был несколько старомоден; но ему и в новой Москве встречались старики, которые говорили отнюдь не менее старомодно: «извольте», «батенька мой», «смею ли вас просить»… Акцент некоторый у него был, конечно, ничего не поделаешь: долгие десятилетия жизни за рубежом сказались, особенно после войны, когда русских он уже почти не встречал и говорил лишь по-итальянски. Но в Москву съезжались жители прибалтийских республик, украинцы, люди из Закавказья, из Средней Азии. У многих из них был такой отчаянный акцент, что на их фоне Сабуров говорил чистейшим русским языком. Беседы поэтому со случайными собеседниками были откровенные, с их стороны – откровенные, а не со стороны Сабурова: он-то в откровенность пускаться, само собой, не мог. Люди рассказывали ему о жизни то на Сахалине, то там, где добывают алмазы, то в местах недавно открытых огромных нефтяных залежей. Одни всю жизнь провели в Москве, другие всю жизнь плавают на кораблях по различным странам земли, одни занимаются техникой, другие наукой, одни рабочие, другие люди умственного труда. По их рассказам Сабуров видел, что жизнь обеспечена не у всех одинаково: одни живут в большем достатке, другие в меньшем, но не только нищенства, но и просто острой нужды в стране нет. Если увидишь нищего, попрошайку, то так и знай, что это жулик, аферист, что у него, в одном случае, есть собственный дом где-нибудь недалеко от Москвы, в другом – свой личный автомобиль, в третьем – это гуляка и пропойца. Нет никакой безработицы, неслыханно низка плата за квартиры, просто гроши по сравнению с заработками. А главное – у людей самые просторные горизонты. Все куда-то непрерывно движутся, развиваются, и пределов этому развитию, движению нет. И если люди высказывали тревоги, то их тревоги были совсем не личного порядка. Люди тревожились о том, что молодежь растет несколько легкодумней, чем надо бы, что не вся она понимает опасность, которая постоянно грозит лагерю стран социализма со стороны империалистического лагеря. Беспечность молодых была причиной тревоги очень многих собеседников Сабурова.

– Я вам скажу так, гражданин хороший, – сказал ему, сидя рядом садовой скамейке, пожилой человек в очках с тонким золоченым ободком.– Если напустили полную Москву разных заграничных типов, то за ними надо и присматривать. Ходит этакий при галстучке, в пестром пиджачке. А может быть, он шпионит тут, вынюхивает, а? Бывает, таким другом, демократом прикидывается. А сам аппаратиком щелкает направо и налево. Или эти

полуголые девки, которые не поют, а, как молодые волчицы, на луну воют, все на один мотив, они, может, только выдают себя за певиц, потому и поют так скверно, на самом же деле разлагать наших ребят ездят. Ляжками трясут, задами крутят – вот и все их искусство. А девчонки наши насмотрятся на это и тоже ляжками трясут, задами крутят…

– А что вам видится в этом плохого? – спросил Сабуров.

Пожилой человек задумался.

– Особенно-то, если по-обывательски рассуждать, ничего. Все мы люди, все мы человеки. Все из плоти, у всех кровь с температурой тридцать шесть и шесть. Верно. Но обидно же – полсотни лет бились, бились, тяготы какие претерпевали, добровольно претерпевали, с радостью, с восторгом даже… На войнах гибли, руки в кровь ранили на стройках, облик нового человека уже узрели, облик замечательного, советского человека, который не волк другу другу, а брат, товарищ… И вот на тебе – снова, как полсотни лет назад в разных «Луна-парках» и в садах «Буфф», крутеж задами с эстрад и всяческие эти «смотрите здесь, смотрите там»… Гришка Распутин такое обожал, купчики вторых да третьих гильдий. А за ними и мы, значит? А главное-то, роль женщины опять та же? Для услады мужчины, и только? Вся катушка обратно пошла?

– И что, это явление массовое?

– Массовое не массовое. За всё не скажу. А есть. Очагами так… Вокруг чего-нибудь припахивающего. А кому положено препятствовать этому, всяким управлениям культуры, молодежным организациям, те ушами хлопают. Вот и говорю: беспечность страшна. В вихрях вальса, а по-современному говоря, в толкучке твиста, выстрелов на границе не услышишь. А вы как считаете?

– Да, знаете, в ваших словах есть правда. Но во всем нужна разумная мера. Нельзя, чтобы страна превратилась в сплошной публичный дом – а такие страны есть,– но и нельзя, чтобы это был сплошной монастырь. Жизнь-то в Советском Союзе хорошая. Не пользоваться ею – грех.

– Все в меру, все в меру, сами же говорите. А если через меру, несварение желудка получится, такой понос пойдет, не остановишь.

Значит, думалось Сабурову, «наведение мостов» не такая уж безобидная вещь, если вот об этом сам советский человек говорит с искренней тревогой.

В другой раз другой собеседник, лет тридцати пяти – сорока, сказал:

– Вы, папаша, меньше всего ломайте себе голову над мировыми проблемами. Пенсию получили? Нет еще? Ну через год-другой придет срок, получите. И гуляйте себе. Я, как подойдет моя пенсия, и дня лишнего не перехожу. Человеку что надобно? Свобода. А полностью ты свободен только, когда получаешь пенсию. Наша власть – во власть: пенсион ное дело, как часы, у нас заведено. Работу побоку, удочки, ружьишко – и в леса, на озера. В старину только помещик мог себе это позволить, при Советской власти – любой пенсионер!

– Но ведь пенсия не так уж велика,– сказал Сабуров.

– Неважно. На хлеб, на сахар, на квартплату хватает? Хватает. Остальное приложится. Рыба, говорю. Ее насушить, насолить можно на весь год. Охота,

дичь. Тоже приварок. Пушнина! Охотничий домишко построишь, на лето дачникам сдавай. Нет, только бы до пенсии, а там обернемся!

Был разговор с женщиной. Она в Москве проездом. Из Мурманска на Севере в гости к сестре в Иркутск, который близ озера Байкал.

– Теперь это просто,– говорила она.– Сел в самолет – и через не сколько часов где тебе надобно. Я бы уже сегодня была в Иркутске. Да решила задержаться. Москву посмотреть. Билет сколько стоит? Не дороже денег! – Она засмеялась.– Сколько бы ни стоил, какая разница. Муж у меня на рыболовном судне плавает. Получает с выработки. У нас на книжках столько, что у самого царя, может быть, не было.

– И что же вы с этими деньгами делаете?

– Чего захотим – купим, куда вздумаем – едем. А что же еще? Живем весело.

Лишь одному собеседнику Сабуров признался в том, что приехал из Италии, и сказал о цели своей поездки. Это было на Пушкинской площади возле памятника Пушкину.

Сабуров сидел там, раздумывая, наблюдая за проходящими, за пробегающими. Вокруг него возилось несколько ребят, они прятались за его скамейкой, они проползали под ногами, хватали за колени, убегая друг от друга с криками: «Дяденька, задержи его!» Досаждали своей возней страшно. Он уже хотел было уйти, как подошел и сел рядом молодой человек с весьма ранним брюшком, с портфелем в руках.

– Брысь! – сказал он ребятам.– Ну, живо!

Те действительно разбежались, ушли на другую сторону площадки.

– Где-то я вас видел? – сказал, всматриваясь в Сабурова, молодой человек.– А! Вы итальянец! Вы в составе группы издательства «New World»?

– Да, да,– вынужден был объявить себя Сабуров.– Из Италии. Да.

– Что ж, вы затеяли хорошее дело. Я вас и ваших коллег видел в Третьяковке, в дирекции. Знаю о ваших планах, слышал разговор. Но за чем вам эта старина? Неужели вас не интересует наше молодое искусство? Обычно оно интересует всех иностранцев. Побывали бы, скажем, в мастерской у Свешникова. Он и старину может, если уж вам без нее никак, и со временность. Он синтетик.

– Да, да, я знаю господина Свешникова. У нас были с ним встречи.

– Свешников тоже, в общем-то, карта битая,– после некоторого раздумья сказал молодой человек. – Настоящего боевого авангарда у нас в живописи нет. Парочка-другая живописцев, два-три скульптора. Небоевиты, уступчивы. В литературе лучше. Жаль, что вам это ни к чему. Познакомил бы с интересными людьми.

– По делам советской литературы специалист мисс Браун.

– Порция? Она здесь? С вами?

– Да. здесь. В тот день, когда мы приезжали в Третьяковскую галерею, ее не было. Но она в Москве, да, с нами.

– Это интересно! Адрес?

– Там же, где все мы, в «Метрополе».

– Вы читали, как она пишет? Нет? Здорово пишет, умно, хитро, ловко. С ее помощью наш литературный авангард вышел на мировую арену. Сборники, альманахи, публикации в журналах – все она! И всегда с ее предисловиями, вводными статьями. Когда с остатками «культовиков» будет покончено, ей у нас памятник поставят, вон там, с той стороны площади. Здесь будет Александр Сергеевич Пушкин, напротив – она, Порция Браун. Она ловко вывозит рукописи за границу.

– Почему вы со мной так откровенно разговариваете? – спросил Сабуров.– А вдруг я не сочувствую тому, что делает в Советском Союзе мисс Браун? Вы неосторожны.

– Как так не сочувствуете?! – Молодой человек удивился.– Вы итальянец?

– Да.

– Из Италии?

– Да.

– Может быть, вы итальянский коммунист?

– Нет.

– Тогда не пугайте зря. Да, собственно, мне пугаться и нечего. Я разделяю точку зрения Порции Браун на советскую литературу, на советское искусство, как она, отрицаю социалистический реализм. Советская литература существовала как подлинная литература лишь до конца двадцатых годов, потом этот знаменитый соцреалистический провал до пятидесятых. И лишь теперь кое-что стало появляться, вновь заслуживающее внимания. Я об этом открыто говорю, открыто пишу. Порция Браун это знает. Недавно она ссылалась на мои статьи в своей новой работе.

– А чего вы этим хотите достигнуть, такими высказываниями? – спросил Сабуров.

– Как чего? Покончить с догматической литературой, которая тридцать лет давила на мозги советских людей, покончить с атмосферой, в которой такая литература возможна.

– А затем?…

– Затем? Расцвет новой литературы!

– А именно? Назовите примеры ее.

Молодой человек стал называть неизвестные Сабурову имена, их было очень мало, перечислять названия произведений, которых тоже было очень мало, еще меньше, чем имен авторов, Сабуров читал два-три из них.

– Да, кое-что читывал,– сказал он.– А вот из той, как вы говорите, догматической литературы мне известны многие. Да, молодой человек, многие.– Сабуров тоже стал перечислять имена и называть книги, которые попадались ему еще до войны, и в войну, и после войны.

Молодой человек, откидываясь на спинку скамьи, всхохатывал при каждом новом имени.

– Макулатура! -сказал он, обобщая в конце концов.– Их давно и в руки никто не берет.

– А вот один из моих знакомых, – сказал Сабуров, – из тех одураченных итальянцев, которые ходили воевать против Советской России в сорок первом,

сорок втором и сорок третьем, рассказывал мне, что именно эти книги находили у пленных советских солдат, что именно с этими книгами они ходили в бой и, надо сказать, в конце концов весьма успешно его выиграли.

– Ничего себе пропагандочка! – воскликнул молодой человек. – На вас она, оказывается, тоже действует. Значит, мы еще слабо разъясняем свои прогрессивные позиции, еще плохо знают в Италии нашу настоящую литературу. Хотите, я вас познакомлю…

– Нет,– резко ответил Сабуров.– Обращайтесь с этим к мисс Браун. Я итальянец, мне в ваши дела лезть незачем. А она дитя белой эмиграции, и для нее все, что порождает надежды, – хлеб насущный.

– Какие надежды? Вы о чем? – Молодой человек насторожился.

– Надежды на то, что Советской власти в России не будет и что все бывшие русские сановники смогут вернуться в свои родовые поместья.

– Глупости, господин итальянец! Вы начинаете приклеивать ярлыки. подобно тому, как их приклеивают некоторые из наших советских сочинителей, к примеру, некий товарищ Булатов! – Молодой человек сделал ударение на слове «товарищ».

– Кстати, я читал его роман о военных летчиках, – сказал Сабуров.– И он мне понравился.

– В переводе все выглядит лучше.

– Зачем же в переводе? Я на русском языке читал. Вы же видите, как хорошо я владею вашим языком.

– Все равно, вам, иностранцу, не ощутить всей силы или слабости книги, написанной на русском.

– Да, конечно.– Сабуров встал.– Желаю вам успеха, молодой человек. У вас, русских, есть прекраснейшая басня Ивана Андреевича Крылова. Название ее: «Свинья под дубом вековым». Почитайте. Советую. – И ушел..

Он с отвращением думал об этом человеке. Кто это такой? Из какого теста? На каких дрожжах взошел? Чего ему надо, чего не хватает? Какая-нибудь бездарность, много о себе мыслящая, завидующая другим, у кого успех, кто талантливее. Во все века будут подобные, и вот даже социалистическое общество не смогло их избежать. Нет, встречая таких, разговаривая с ними, не понять, почему же была разбита гитлеровская Германия, почему железные немецкие дивизии не смогли взять Москву, Ленинград, Сталинград, почему советские армии гнали немцев до самого Берлина. Кто же это делал? Где они? Надо прорваться к ним, увидеть их. Тех, тех, которые сидели в ледяных траншеях под Ленинградом зимой с сорок первого на сорок второй. С Белой башни в городе Пушкине эти траншеи казались черными царапинами на белом снегу. Но через эти тонкие полоски, через эти царапины немецкий сапог так и не смог переступить. В новых книгах, о которых разглагольствовал здесь молодой человек с брюшком и портфелем, о победителях говорят редко, и они в этих книгах совсем не такие, которые смогли бы разбить гитлеровскую армию,– это рефлектирующие хлюпики, боязливые, сомневающиеся, не верящие друг другу.

Все сильнее было желание повидать писателя Булатова, имя которого было

названо и в этот день. Не зря, наверно, с такой ненавистью его поминают некоторые. Немцы с ненавистью говорили в свое время о комиссарах, о политруках, коммунистах, вообще о каждом советском человеке, который не сдавался, противостоял им и отвечал ударом на удар. Булатов не комиссар, не политрук, а писатель, но о нем говорят тоже с ненавистью. И кто говорит? Люди, которые, как правило, неприятны и ему, Сабурову. Не. удивительно ли?

32

В свои предыдущие приезды в Советский Союз Порция Браун была постоянной посетительницей так называемых поэтических вечеров, огромных, порой многотысячных скоплений народа, то во Дворце спорта, то в Политехническом музее, то еще в каком-либо из вместительных помещений Москвы. Она всей душой радовалась тем чудесным вечерам, она с упоением писала о них в американские и английские еженедельники и ежемесячники, она собирала стенографические записи таких вечеров, щедро уплачивая стенографисткам-профессионалкам и любительницам чуть ли не за каждую строку. Однажды она даже сумела устроить так, что специально для нее сфотографировали президиум одного из наиболее шумных вечеров. Весь мир обошла фотография: сцена, на ней длинный стол, за столом – в ряд – три поэта-авангардиста, а над ними, на бархатном заднике, крупный лозунг: «Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым!» Не было в том президиуме никаких отвратительных западному буржуазному миру физиономий, физиономий поэтов, которые десятилетиями действительно звали советский народ к коммунизму, не было и молодежи, в своих поэтических исканиях идущей по дороге поэтов революции. Сидело трое малых в пестрых свитерах, два из них угрюмы и бесцветны, третий – торжествующе сверкая белыми глазами и оскалом крикливого рта. Без всяких комментариев было видно, что же такие строители построят. За это фото Порция получила весьма внушительную премию от нескольких газетно-журнальных компаний.

С виду эта мисс Браун была маленьким солдатиком в большой идеологической войне Запада, то есть антикоммунизма, против Советского Союза и социалистических стран, то есть коммунизма. Ее хозяева ценили Порцию Браун во много раз выше, чем ценили они те обломки русской эмиграции в первых, вторых и уже и в третьих поколениях, которые сидели в различных «институтах» по изучению Советского Союза, во множестве возникших после войны в США, в Англии, в ФРГ. Те обломки в общем-то варились в своем не очень обильном соку, злобствуя против народа, отнявшего у них собственность и высокое положение в обществе. Они питались надеждами на возврат утраченного, в идиллическом духе расписывали жизнь старой России, всячески изощрялись в выдумывании пакостей о Советской стране, о советских людях; издавали сами же для себя журнальчики, газетенки, шумели, гремели; сочинили вот обращение «К русской интеллигенции», убогие, жалкие люди – Глеб Струве, Борис Зайцев, Роман Гуль, всякие Вейнбаумы, Водовы, Франки, Оболенские, Шики…

Порция была боевичкой, можно даже сказать, своего рода бомбисткой. К идиллиям она относилась скептически. Она верила в дело, только в дело. Не они сами, она, она придумала для поэтов-авангардистов так называемый исторический жанр. Ни с того ни с сего советский поэт насочиняет вдруг об Иване Грозном или о Петре, которые, укрепляя Россию, топтали судьбы отдельных людей, и напишет это так, будто бы дело-то не двухсотпятидесятилетней, не четырехсотлетней давности, а свеженькое, сегодняшнее. С помощью хитроумной подтасовки строки «исторического» стихотворения накладываются на битвы революции, на годы кровопролитной гражданской войны, на пятилетки с их трудностями, на еще более кровопролитные и опустошительные сражения Отечественной войны, и получается, что народ – жертва. Чего, кого? Соображай сам.

Сюжеты для подобных сочинений Порция любила излагать, лежа с поэтом в постели. Это было интимно, это было между делом, по снизошедшему наитию, хотя на самом-то деле ей немало приходилось перелистывать книг в поисках и разработках сюжетов. Сами ее подопечные были не слишком перегружены знаниями истории и вообще какими-либо знаниями.

Каждый такой стишок, поскольку его не просто было пробивать в советскую печать, она быстренько публиковала за границей, его передавали по зарубежному радио, поэт читал его на вечерах. Оно приобретало скандальную историю. Обожатели почти на каждом вечере вопили: «Про царей! Про царей!» Поломавшись, поэт читал «про царей». Обожатели неистовствовали.

Порция Браун могла через зарубежную печать и через тамошнее радио пустить любой слух, любую сплетню против литераторов, которые были неугодны ее хозяевам, а ей мешали растить кадры авангардистов. Она делала это самыми разнообразными способами. Вдруг какой-нибудь «Голос» принимался вещать: «Известный, пользовавшийся в годы культа Сталина всеми благами, какими в те годы осыпались подобные люди, писатель (имярек) не избран в правление (сообщалось, в правление чего). В хорошо информированных кругах полагают, что это связано с тем, что в московских верхах к (имярек) отношение изменилось». Естественно, что после этого подымается шумок. В чем дело? А нет ли дыма без огня? В самом деле, что-то (имярек) никуда не приглашается. Неспроста, конечно. И начинает расти ком. В планах издательств книжку (имярек) с текущего года на всякий случай переносят на следующий год, в ту или иную комиссию его не включают – дыма-то без огня не бывает! – поездку его за рубеж задержат. А это, в свою очередь, даст повторный резонанс: «Ого! До этого даже дошло!» И никто не знает, что все это сработала голубоглазая, изящная, модно, но не броско, со вкусом одетая Порция Браун, американка, друг Советского Союза, знаток Советского Союза, специалистка по «наведению мостов» меж Западом и Востоком.

Но в последний приезд – два года назад – для Порции Браун было как-то не все ладно. Она все время ощущала натянутую атмосферу вокруг себя. Следующий свободный ее вояж по Советской стране пришлось бы отложить, но хозяевам мисс Браун ее поездки были очень и очень нужны. Они подумали,

придумали и включили испытанного своего сотрудника в группу по древнему искусству.

Но в Москве вновь было как-то не все ладно. Боевые молодые поэты перестали быть молодыми, в их двусмысленных писаниях редакторы и читатели начали прекрасно разбираться, ниспровергатели облиняли, засели на дачах, на контакт с американской покровительницей и вдохновительницей шли неохотно. Поэтому она с еще большим жаром хваталась за молодых. Поэтому так поспешно притащила к себе и молодого автора рассказов, верность идейных позиций которого критики брали под сомнение. Для Порции Браун подобные сомнения были наилучшей рекомендацией. Она была на пятнадцать лет старше рассказчика, но ее не останавливало ничто. Она его ласкала в постели, она обещала ему толстые сборники в Англии, в Америке, она показывала наброски своей большой статьи о его творчестве, которую она готовила для журнала «Энкаунтер», распространяемого по всему белу свету. Он, еще несколько лет назад печатавшийся только в областной газете, цвел, перед ним раскрывались новые миры. Но для Порции Браун это было не то, не то… Ее кадры в Москве мельчали. Вечеров-демонстраций во Дворце спорта уже не было, молодежь утратила интерес к литературным скандалам, все работали, все были заняты, и бездельников требуемой кондиции находить стало не просто.

Порция Браун еженощно приставала к молодому прозаику, чтобы тот устроил что-нибудь интересное. Неужели это невозможно? Что с вами сталось в последнее время со всеми? Неужели я должна бросить Советский Союз, который изучаю более пятнадцати лет, который знаю, в котором меня знают, и ехать куда-нибудь в Чехословакию, где процесс демократизации нарастает с каждым годом и где перспективы несравнимо определеннее, чем у вас?

Все, что смог устроить ее приятель,– это заказать отдельный кабинет в одном из ресторанов и собрать компанию человек в пятнадцать. Большинство были поэты и поэтессы, несколько прозаиков и будущих прозаиков. Все они быстро напились и стали читать стихи для «заграничной гостьи». Стихи были посредственные. Порция Браун слушала и не находила среди них ничего такого, за что можно было бы ухватиться. Вокруг нее выкрикивались строки о России, патриотические, лирические, героические. «Нет, это не орлы,– раздумывала она, – это мелкие пташки, воробушки». Одна из поэтесс, с плоской грудью и крупными желтыми зубами, запела на английском языке. Произношение у нее было такое, что Порция Браун почти ничего не поняла, но весьма благосклонно улыбнулась певице.

За столом было уныло, скучно. Молодые поэты затеяли спор о том, кто же из них значительнее в советской литературе. Вопрос этот, само собой, быстро разрешить было невозможно. Косясь на «заграничную гостью», они ушли в узкий тесный коридор, долго толпились и шумели там, а затем и вовсе исчезли.

В первом часу ночи ресторан закрывался. Остатки компании вышли на улицу.

– Что ж, уже и расходиться, что ли? – сказал кто-то.– В такую рань? Пошли в ВэТэО. Там еще открыто.

Но и туда уже не впускали.

– Ничего,– сказал все тот же человек.– Сейчас найду одного тут. Они с моим отцом старые друзья.

Действительно, появился какой-то толстяк, он распорядился, и изрядно подвыпившую компанию – теперь в ней было человек шесть или семь – впустили через служебный ход в ресторан театрального общества. В зале было шумно, что называется, дым коромыслом. Кухня уже не работала, блюд не подавали. Приятель Порции Браун заказал шампанского, шоколаду и фруктов. Веселья все равно не получилось. Выпили шампанское, съели шоколад и фрукты, и выяснилось, что от компании осталось уже не семь и не шесть, а только трое. Она, Порция Браун, ее приятель – тот? кто провел их в это место, и совершенно опьяневший, растрепанный тип с университетским значком на лацкане пиджака.

Пьяный сказал вдруг:

– Гражданка, а что вам не сиделось дома, в вашей Америке?

– Брось, Олег! – пытался остановить его молодой прозаик.

– Отстань! – отмахнулся от него значкист. – Я желаю побеседовать. Вот вы, – он придвинулся поближе к Порции Браун, – я, думаете, не заметил этого? – вели с нами сегодня этакие двусмысленные разговорчики: что, да как, да почему? Вам чего хочется? Второй Вьетнам у нас устроить? Маком!

– Олег!

– Отстань, дай я ей все скажу. Не выйдет, гражданочка, у вас ничего. Немцы тоже хотели оставить нам выжженную землю. Во – получи ли! – Он показал кукиш.

Порция Браун встала. Молодой прозаик загородил ее от разбушевавшегося малого с университетским образованием. А тот все шумел:

– Сидели бы дома, милая, деток бы нянчили, возили бы их по Брод вею в американских рессорных колясочках. А то, что вы сейчас делаете, предоставили бы вашим цереушникам. Вы что, «корпус мира»?

Приятель вывел Порцию на улицу.

– Уйдем, – сказала она. – В гостиницу. Скорей!

– А может быть, к кому-нибудь домой заглянем? – не очень решительно предложил он.

– Нет, нет, на сегодня хватит: «Цереушники»! Какие у вас все просвещенные стали. Опять книг про шпионов навыпускали, опять фильмы про разведчиков, да? Раздуваете психоз подозрительности! Однажды уже было. Вам мало этого, мало?

Она зло и звонко щелкала каблуками по асфальту, спускаясь по улице Горького к гостинице «Москва», затем повернув к «Метрополю».

– Меня не впустят,– сказал он перед входом.– Поздний час.

– Да, не впустят, – сказала и она и добавила по-английски: – Вы воробей!

– Что? – переспросил он.

– Ничего. До свидания.

Она была взвинчена, раздосадована, как с ней уже давно не случалось. Спать ложиться в таком состоянии не могла. Позвонила по телефону в номер

Юджину Россу, сказав себе, что если не ответит на второй звонок, то третьего она дожидаться не будет. Но тот ответил с первого.

– Юджин, это вы?

– А вы полагаете, мисс Браун, что я вожу к себе по ночам мужчин и они тут выполняют роль моих секретарей?

– У вас нет выпить, Юджин?

– О, сколько угодно! Принести к вам или вы сами зайдете?

– Лучше я.

– Жду.

– Садитесь,– предложил он, когда впустил ее в свой заваленный хламом номер. Тут были фотоаппараты, фотоматериалы, раскиданные по всюду фотоснимки, коробки и пакеты от магазинных покупок. Он сбросил с кресла какой-то пакет, подвинул кресло к Порции Браун.– У вас чертовски бледное лицо, Порция. Вы устали?

– Устала, Юджин. Очень. Хорошо бы виски.

– О'кэй! – Он налил ей полстакана, она не останавливала его руку. – Льда нет. Содовой тоже.

– Ничего, обойдусь.– Она залпом выпила все.

– О, говаривал в таких случаях мой дедушка, леди пьет, как солдат. Еще?

– Еще. – Через несколько минут она была пьяна. – Юджин, – сказала,– надо уезжать обратно. Ну это все к… к… к… – Из нее бурным потоком хлынула матерщина, да такая, что Юджин Росс, сначала удивив шийся было, повалился затем на постель и хохотал, как сумасшедший.

– Ничего смешного! – кричала, переслаивая это еще более яростной матерщиной, Порция Браун. – Ничего смешного. Вы осел, если вам от этого смешно. От этого плакать, плакать надо! – И она заплакала.

Юджин Росс немного успокоился, встал с постели, начал прикладывать к глазам и к щекам Порции Браун носовой платок.

– Что случилось-то? Из-за чего вы так?

– Дерьмо эти советские парни и девки! – Она стала рассказывать о неудаче своих контактов с молодежью последнего поколения, о том, как великолепно было несколько лет назад и как скверно стало теперь.

– Порция,– сказал Юджин,– вы опытнее меня, не мне вас учить. Но я вас не понимаю. Вы просто нарвались на пустой пласт породы, без золотых вкраплений. А у меня, например, никакого желания немедленно уезжать нет. Я возле золотоносной жилы. Ребята, как губки,– все впитывают. Что нам с вами шеф говорил, чему учил? Самый неблагодарный материал – это работники литературы и искусства. Это перманентные климактерики. У них все неустойчиво, все неверно, сегодня они орлы, завтра чижики.

– Воробьи!

– Ну воробьи, пусть воробьи. Вернее, надежнее – кто? Дети хорошо обеспеченных. Забалованные, распущенные, жаждущие удовольствий.

– И вы их нашли, Юджин?

– Конечно.

– Браво, мальчик! Дайте, я вас поцелую. У вас сравнительно чистая

постель? Может быть, пригласите переночевать с вами? Вы хоть немножко джентльмен? Или и ночью будете жевать резинку?

Юджин Росс пожал плечами, раздел Порцию Браун, разделся сам. Утром она поднялась, держась за голову.

– Чем вы меня вчера напоили, чудовище?

– Виски. Но я предупреждал, что ни содовой, ни льда у меня не было. И вы решили по-солдатски.

– Но можно же было удержать меня, остановить. Ах, как трещит голова!

– Надо снова выпить глоток, и станет легче.

– Налейте. Но только не по-вчерашнему. Один глоток. – Она выпила, посидела, не одеваясь.– Да, пожалуй,– сказала через некоторое время,– легче, вы правы. Да, кстати, вчера вы тоже были хороши. Напились так, что сразу же уснули и забыли, зачем мужчина и женщина вместе залезают под одно одеяло.

– У вас склочный характер, Порция. Не надо врать.

Она оделась, в дверях помахала ему рукой и пошла к себе. Возле дверей ее комнаты стоял Клауберг.

Он, не здороваясь, вошел вслед за нею.

– У меня нет намерений блюсти вашу нравственность, мисс Браун, – сказал он, садясь без приглашения в кресло.– Это дело, очевидно, трудоемкое и не каждому по силам. Администрация гостиницы мне уже сделала весьма деликатное представление на ту тему, что у вас слишком поздно задерживаются мужчины.

– Чтобы опровергнуть эту болтовню и как-то все уравновесить, – мисс Браун очаровательно улыбнулась, – сегодня я сама слишком поздно задержалась. А впрочем,– улыбка сошла с ее лица,– какого черта и вам и этой администрации от меня надо? Я живу и поступаю и буду жить и поступать так, как мне, мне, мне желательно, слышите? А не вам или их паршивой администрации. Я плачу валютой за эту нору, долларами, дол ларами, золотом. И за порогом ее я хозяйка.

– Мисс Браун, не орите, в коридоре слышно, они теперь знают любые языки, так что не нажимайте на голос. Я повторяю, мне ваша нравственность ни к чему. Но вы компрометируете нашу фирму, наше дело. Мы научная экспедиция, мы ученые, а не какие-нибудь французские шансонье или мимы, не тренькалыцики на банджо и не чечеточники из Бразилии.

– О я, я, герр Клауберг! Дакке шён! Киндер, кюхе, кирхе! Дойчланд. Дойчланд юбер аллее! Гот мит унс!

– Вам, очевидно, нужны валерьяновые капли, мисс Браун. Или еще более радикальное средство для успокоения нервной системы: обертывание мокрыми простынями.

– Можно обливание водой на морозе, как вы поступили с одним русским генералом и сделали из него сосульку. Можно подвесить на вывернутых руках. Можно…

– Хватит! – Клауберг хлопнул ладонью по столу. – Иначе я на самом деле заткну вам глотку, идиотка вы этакая! Я позвоню в Лондон, чтобы вас немедленно отсюда убрали.

Порция Браун усмехнулась.

– Если кого и уберут, то им будете вы, герр Клауберг, а не я. Это я вам гарантирую. Ну что еще? Только с этим вы и шли ко мне?

– Да, с этим, потому что, когда тобой начинает интересоваться администрация гостиницы, от этого совсем недалеко, что заинтересуется и площадь Дзержинского.

– Но мы же не делаем ничего, что может заинтересовать эту уважаемую площадь. Или у вас есть тут какие-то свои, особые от группы делишки, герр Клауберг?

– Я понимаю, что вы шутите. Но и шутить так не следовало бы. А вдруг у стен есть уши?

– Но если у вас особых делишек нет, то почему надо опасаться стен?

– До свидания, мисс Браун. Я вас предупредил.– Клауберг встал и вышел.

Порция Браун смотрела ему вслед, в широкую тяжелую спину, и зло щурила глаза.

Клауберг спустился на улицу, принялся ходить в тени лип по тротуару. Он взвинтился в этот день неспроста. Расставшись после завтрака с Сабуровым, который отправился в Музей Пушкина, он вот так же вышел сюда, под липы, рассматривал подъезжающие и отъезжающие автомобили и пытался вспомнить еще один, последний адрес, который был ему назван в Брюсселе. Номер дома помнил, квартиру помнил, фамилию, имя, отчество. А название улицы вылетело. Надо, значит, обращаться в Мосгорсправку, а там дадут длинный список этих повторяющихся имен, отчеств и фамилий, ходи потом и жди, что нарвешься на какого-нибудь бдительного молодца.

И вдруг в толпе снова мелькнуло то самое в мелких чертах лицо под белесыми прядками, которое мучило его уже целый месяц. Он пошел за этим человеком, в двух шагах позади, даже не зная, зачем он это делает. Человек не оборачивался, шел тихо, спокойно, вошел в какую-то дверь и исчез. И опять Клауберг не мог решить, почему это лицо его так тревожит, в чем дело? Встречались? Да, совершенно ясно, что встречались. Но где, где? И когда? Человеческая память – штука капризная. Эта встреча могла быть всего лишь вчера, а память отнесет ее на долгие годы назад. И наоборот – виделся с человеком в незапамятные времена, а память ищет эту встречу во вчерашнем дне. И тогда стало тревожно: может быть, человек этот стал мелькать возле него со дня их прибытия в Москву? Может быть, это «хвост»? И, может быть, «хвост» уже зарегистрировал его разъезды по московским адресам? А тут еще потаскуха из ЦРУ или откуда-то там, из некоего такого подобного! Администрация гостиницы действительно предупредила его в весьма вежливой и деликатной форме, что член их группы госпожа Браун, очевидно, не знает советских порядков и что его, как руководителя группы, просят ей эти порядки разъяснить.

Вот и разъяснил этой скорпионше! Киндер, кюхе, кирхе!… Еще и смеется. А и им бы, в их Америке, не помешало иметь прочные основы в семейной жизни!…

Он ходил и ходил по тротуару. Вокруг, огибая его, катясь навстречу,

двигалась толпа хорошо одетых мужчин и женщин. У каждого были свои дела, свои заботы. Но вряд ли кто-либо еще, кроме Клауберга, мучился здесь такими заботами, какие мучили его.

33

Булатов выступал в клубе подшипникового завода, рассказывал рабочим о том. над чем он работает, о поездках за рубеж, о новых книгах и новых явлениях в советской литературе, об идеологической борьбе в мире. Аудитория была хорошая, внимательная, чувствовалось, что все, о чем он говорит, людям интересно; Булатов разошелся и проговорил ровно два часа. Потом его окружили с разными вопросами, просили надписать его книги. На это ушло еще с полчаса. И когда он, наконец, вышел на улицу, где стояла его машина и где устроители вечера еще раз благодарили его и пожимали ему руки, он вдруг увидел в нескольких шагах от себя Ию.

– Вы? – сказал он и шагнул к ней. – Куда же вы пропали?

– Собственно, пропали-то вы, Василий Петрович, а не я, – ответила Ия, подходя.

Булатов распахнул дверцу своей «Волги».

– Садитесь, Иинька. Или у вас другие планы?

Она молча села на место рядом с местом водителя, на водительское сел Булатов.

– Как вы здесь оказались? – спросил он, когда машина тронулась. – Совершенно неожиданная встреча.

– Это для вас она неожиданная. Василий Петрович. А я ее вот уже сколько жду. Нехорошо так. Приходится в объявлениях вычитывать, где вас можно поймать.

– Занят, Ия. Чертовски занят. Знаете, как занят!

Он легко и ловко управлял машиной. Она шла без рывков, без толчков, без резких торможений.

– Сейчас вот, например, девять, да? Десятый? – Он взглянул на часы.

– Василий Петрович, не говорите, пожалуйста, что и сейчас вы должны куда-то мчаться, что вас там ждут, что это очень важная, почти международная встреча. Не говорите.

– Ладно.– Он усмехнулся весело и вместе с тем озадаченно. – Но, между прочим, дело обстоит почти именно так. Важная встреча. Международная. Просили заехать хотя бы на полчасика, показаться, сказать пару слов. В Дом дружбы. Если вы не против, заедем вместе.

Ия согласилась.

В Доме дружбы на проспекте Калинина принимали итальянцев. Когда Булатов и за ним, стараясь быть понезаметней, Ия вошли в уютный круглый зал с круглым столом, за которым, судя по дыму сигарет и по опустошенным бутылкам боржоми, хозяева и гости сидели, видимо, уже давно, навстречу Булатову раздались голоса:

– О, синьор Булатов!

– Василий Петрович!

Он с кем-то обнимался, жал кому-то руки, что-то говорил на ходу: успел при этом представить Ию, назвав ее известным ориенталистом. Потом были налиты бокалы, чокались с Булатовым, он сказал тост, которому шумно аплодировали.

Среди гостей оказались двое из Турина. Ия слушала их разговор с Булатовым о фиатовских заводах, о каких-то общих знакомых. Один из итальянцев сказал:

– Ваш большой противник, этот желчный Спада, Бенито Спада, потерпел фиаско. От него уехала жена, та милая русская, которая, вы помните?…

– Не только помню, дорогой Витторио! Я помогал ей устроить это: срочный отъезд. Она в Москве. Лера Васильева?

– Да, да, синьора Лера! Бенито рвет на себе волосы. Получилось, что не он, а его бросили, предпочли ему, такому преуспевающему, другого. Но у него это не единственная неприятность. Коммунисты его хорошо отделали за трусость. Он не вышел на улицу, когда туринцы протестовали против натовских баз в Италии, против нахождения Италии в НАТО. С ним поговорили очень строго. Даже более чем строго.– Подумав, итальянец сказал: – Он негодяй. Я не понимаю, как таким удается пролезать в партию коммунистов. И зачем им это?

– Ничего, Витторио, со временем все мы в этом разберемся, – отшутился Булатов. – Давай по глотку за прекрасную синьорину! – Он указал глазами на Ию. – Не правда ли, синьорина заслуживает этого комплимента и этих бокалов?

– О да! – Итальянец даже встал, чтобы коснуться своим бокалом бокала густо раскрасневшейся Ии.

– Василий Петрович!… – сказала она протестующе. – Ну зачем вы!…

Потом итальянец уже все время не отводил взгляда от нее. Она чувствовала, как он осматривает ее лицо, руки, плечи, шею, грудь. Почти физически ощущала скольжение по себе его глаз. «А Василию Петровичу хоть бы что, – усмехнулась она мысленно. – Этот готов слопать, а Василий Петрович будто ничего и не видит». Она прикоснулась плечом к плечу Булатова. Тот, занятый разговором, отодвинулся вместе со стулом, как от чего-то мешающего. Она тоже передвинула свой стул и еще раз коснулась плечом его плеча, делая вид, что ищет что-то на столе среди посуды. И снова он отодвинулся. Это ее обескуражило, она сникла, сидела молчаливая и безучастная.

Пробыли они в Доме дружбы не полчаса, как предполагал Булатов, а целых полтора и в машине оказались только к одиннадцати.

– Ну что, отвезти вас спать? – сказал Булатов, включая мотор.

– А других предложений у вас нет? – грустно отозвалась Ия.

– Покататься хотите?

Она кивнула.

– Что ж, с полчасика можно.

По проспекту Калинина, по Кутузовскому они выехали на Минское шоссе. Там спустились под мост, повернули на какую-то другую дорогу – Ия в темноте не узнавала местности – и остановились среди кустов и деревьев. Не очень далеко, на холмах, был виден университет, многие окна его еще

светились – там, как, бывало, и Ия, еще зубрили свое университетцы. Хотя что же сейчас зубрить? Лето, экзамены окончены. Видимо хвосты добивают.

– Где мы? – спросила она, когда Булатов выключил мотор, а затем и фары.

– Когда-то здесь было весьма примечательное местечко. Но теперь оно утратило свое значение. – Булатов распахнул дверцу.

На воле оказалось не так уж и темно, шли первые дни июля, дни были длинные, ночи короткие и прозрачные. От земли поднималось мягкое тепло, стрекотали кузнечики, пахло травами.

– Как в украинских степях! – сказала Ия. – Удивительно, рядом город – и вот так по-степному.

– Город не рядом, а он тут, мы же в городе, в черте бетонки. Это бывшая дача Сталина, так называемая ближняя. Вот по этой дороге, туда, туда, меж сосен и елок… Пошли!…

Он запер на ключ машину, и они пешком двинулись по дороге меж сосен и елок.

– Говорят, что в свое время не только мы с вами оставляли тут свои машины и дальше шли пешком, но даже и члены Политбюро это делали, – сказал Булатов, – За точность сведений не ручаюсь. Но, во всяком случае, о многом, об очень многом могли бы порассказать эти дорожки и эти места.

Они уперлись в глухие темные ворота, в стороны от которых уходили в молодой сосняк такие же глухие высокие заборы.

– И все? – удивленно сказала Ия.

– Все, – ответил он. – Пошли назад. А вы чего бы еще хотели?

– Туда, за ворота.

– Заперты. Увы!

– Василий Петрович, – заговорила Ия, когда они тихо шли обратно, – о вас знаете что говорят? Что вы сталинист.

– А кто говорит?

– Да так, разные, в воздухе это плавает, как пух с тополей. Другой раз смотришь, где этот тополь, нет его поблизости, а пух летит.

– А что это такое, по-вашему, сталинист, Ия?

– Трудно сказать, Василий Петрович. Из зарубежной печати я кое-что вычитала. Смысл в это слово вкладывается нехороший. Вроде бы это такой человек, который везде и всюду хочет завинчивать гайки, что-то ограничивать, запрещать, наказывать людей, принуждать…

– А не убеждать…

– Да-да.

– И безразлично, какие гайки, что ограничивать, что запрещать, за что наказывать, кого принуждать?

– Да вот какой-нибудь ясности нет…

– Что ж, Ия, в этом известная правда есть. Я за то, чтобы запрещать любую подрывную работу врага в социалистическом обществе и за нее наказывать. Я за то, чтобы запрещать у нас всякое мошенничество, во всех его видах, и за то, чтобы мошенников принуждать к честному труду, если уж за пятьдесят лет их не удалось убедить делать это. Подобные гайки, я убежден, надо закручивать.

Иначе машина разболтается и перестанет тянуть. Но это, Иинька, не сталинизм, а ленинизм. У Троцкого, который до последнего хрипа боролся против Ленина и ленинизма, и у его последователей-троцкистов и слово «ленинец» было ведь бранным словом. Тот же Троцкий и «сталинизм» выдумал все с той же целью: для компрометации тех, кто и после смерти Ленина не дал Троцкому развернуться, продолжал ленинское дело.

Ия слушала и слова Булатова сопоставляла с теми словами, какими она сама объясняла про «сталинистов» Свешниковым. Она объясняла, значит, правильно.

– Это же средство борьбы, – продолжал тем временем Булатов, – придумывать устрашающие термины, спекулировать на словечках «сталинизм» и «сталинисты». Сколько с помощью этого приемчика всякой мрази навыползало на свет божий из клопиных щелей! Если бы вам показать письма, которые я храню! Одно от типа, осужденного на долгий срок от сидки. Он пишет: «Да, не спорю, принимал участие в расстрелах вместе с немцами. Но кого я лично расстреливал? Советских бюрократов, которые притесняли народ, тех, которые насильственно загоняли крестьян в колхозы и раскулачивали их. Пособников Сталина я расстреливал. Я уже тогда боролся против культа. А меня сталинисты-прокуроры и сталинисты-судьи упекли за это на двадцать пять лет. Прошу ходатайствовать…». Другое – это уже не письмо. Я в натуре знаю этого человека. Он был капо в гитлеровском лагере уничтожения. А вы знаете, кто такой капо?

– Да, надсмотрщик, надзиратель.

– Не так просто, Иинька. Они, эти капо, у немцев набирались из убийц, бандитов, насильников, всяких иных уголовников. И если советский человек оказался среди этой компании в роли капо, то можете себе представить, какой же он мерзавец. И что вы думаете, сейчас это кандидат наук, что-то пишет, кого-то поучает. А в те недавние годы, когда крикуны звали к расправам над «сталинистами», он орал больше всех и немало людей уложил в постель с инфарктами, а кого и в гроб вогнал.

– Но это же страшно!

– Да, конечно. Поэтому-то я и воюю против такого рода пакостей и пакостников, и за это пакостники, позаимствовавшие приемчик у иудушки Троцкого, и зачислили меня в «сталинисты». Ясно?

Пройдя в молчании несколько десятков шагов, Ия сказала:

– Василий Петрович, вы извините меня.

– За что, Иинька? Что там у вас такое?

– За то, что бегаю за вами, навязываюсь вам, мешаю, надоедаю.

– Батюшки! Что за речи! – Он остановился и встал против нее.

– Да-да, бегаю. – Ия готова была даже сказать – эти слова уже были на ее языке – «Я вас люблю», но все же заставила себя удержаться и не сказала.

– Вот беда-то! – Он был явно обескуражен. – А я так мало уделяю вам времени. Рад бы побольше, да…– Булатов развел руками, улыбнулся, – А у вас есть друзья, своя компания?

Усмехнулась и она:

– Я вас понимаю, Василий Петрович. Вы думаете, что мне не с кем убивать время и вот я вяжусь к вам. А вы не способны разве допустить такую мысль, что мне с вами с одним интереснее, чем со всеми остальными десятками, сотнями, может быть, тысячами? Можете?

– Боюсь, что это – преувеличение, Ия, – серьезно сказал Булатов. – Несусветнейшее преувеличение.

– Вы когда-нибудь кого-нибудь любили?

– Забавный разговор! Да, было, любил.

– Очень?

– Кажется, да. Впрочем, не кажется, а именно да, очень.

– И разлюбили?

– Нет… Но так как-то… Много времени прошло. Разные обстоятельства. Странный у нас с вами разговор, Ия.

– Нет, Василий Петрович, совсем не странный, просто откровенный. Если вы любили, то вам знакомо такое состояние, когда, кроме того, любимого человека, тебе никого и ничего не надо, когда он заслоняет для тебя всех – пусть их десятки, сотни, тысячи, пусть все человечество!

– О, это возможно только при очень, очень большой любви. И, оче видно, только один раз в жизни. Да, я с вами согласен. Но пардон! – Он засмеялся. – Мы уклонились в сторону от темы. Мы же говорили о…

– …о том, что мне с вами с одним интереснее, чем со всеми остальными десятками, сотнями, тысячами, – с упрямым упорством в третий раз сказала Ия.

– Ия! – Он взял ее за руку.– Так нельзя.

– Почему?

– Не знаю, но нельзя.

– Вы же писатель, инженер человеческих душ. Вы все должны знать. И это тоже. Почему? Вы же что-то такое пишете в своих книгах.

– Да, задали вы мне загадку, мой друг. Пойдемте-ка к машине. Время совсем позднее. Чуть ли уже не утро. Светает, кажется. Вам, не сердитесь за вопрос, сколько лет, Ия?

– Нет, я еще не в бальзаковском возрасте, до тридцати не дотянула. Я в возрасте Анны Карениной.

– Двадцать шесть, двадцать семь, значит?

– Примерно. Была замужем. Неудачно.

– Да-да, я знаю.

– Родители…

– Зачем анкета? Ну что с вами?

– Вы же сами начали. Сами потребовали от меня листок по учету кадров.

Ия твердо наступала каблуками на асфальт дороги. По лицу ее пошли первые блики утренней зари, но было это так, что казалось, будто красивое лицо молодой, сильной женщины разгоралось не то гневом, не то решимостью на что-то. Она шла гордая, совсем не похожая на ту, какой была с минуту назад. В ней что-то произошло, что-то изменилось. Булатов искоса поглядывал на нее. Она молчала, молчал и он.

Так они сели в машину, так доехали до ее дома. Там она сказала:

«Спасибо»,– выскочила из машины и побежала в свой двор. Не оборачиваясь, не посылая рукой никаких приветов.

Да, в Ие произошла явная перемена: она нашла в себе силу остановиться, не идти дальше по дороге, по которой идет лишь один ; а второй не только не делает шага навстречу, но даже пятится, отступает. Как ни странно, но помог ей остановиться вопрос о ее возрасте. Может быть, Булатов совсем и не имел этого в виду, но она в его вопросе услышала намек на то, что, мол, ее терзает возраст, точнее, ее плоть, которая в этом возрасте требует своего. Если он думает именно так, то это ужасно, ужасно. Доказывать что-либо обратное, объяснять – бесполезно, глупо, никчемно.

Она подтянулась, собралась, закаменела в этой своей подтянутости, ушла и решила, что с этой минуты все кончено, больше не будет никакой суеты, никакой беготни.

В постели, под одеялом, железная ее решимость изрядно пообмякла. Нет, она, конечно, больше навязываться Булатову не станет, нет; это верно, но вместе с тем очень и очень жаль, что она его теперь не будет видеть, не будет с ним говорить, не будет смотреть на него. Странный, странный человек!… Какую-то анкету затеял! Еще бы взял да спросил: а почему с ним ей интересно, а с другими нет? Хотя он на это явно уже намекал: есть ли друзья, нет ли друзей? Смешно! Почему же им у нее не быть? Не прокаженная же она. И пошли перед Ией в ночной темени образы ее друзей. Лучшим из них был, конечно, Феликс Самарин, друг недавний, но очень хороший, мужественный, сильный, умный, самостоятельный, хотя и живущий в родительском доме. С ним остро, с ним не пресно. Но и с Феликсом, как со многими иными, у нее не произошло того таинственного совпадения, когда человек делается для тебя всем, когда по отдельности его качества уже не рассматриваются, когда ты уже не станешь говорить о нем: умный, сильный, самостоятельный, красивый. Это такой сплав, в котором и не обязательно, чтобы тот человек был сильным или красивым, просто бы был им, именно им, этим, необходимым – и все. Таким необходимым Феликс Самарин для нее, Ии, не оказался. Хотя очень хорошо, что он появился в ее жизни и что у нее есть теперь такой знакомый, такой друг. Он, несомненно, друг, и верный друг, способный прийти на помощь в трудную минуту.

Ну, а другие, все те, которые… «Знаю, что они прошли как тени, не коснувшись твоего огня»,– вспомнила она строчки Есенина. Кто-то пел их ей однажды, бренча на гитаре… Да, вот так, бездумно, бестрепетно сверстники ее могли бренчать на гитарах, петь про черных или иных мастей котов, про ночные или дневные автобусы и троллейбусы, про шурики и мурики; один любил показывать, как здорово он стоит на голове; кто-то жонглировал тремя тарелками; умели многие из них поспорить о сроках высадки человека на Луне и о его полете к Венере; могли словесно расправиться с теми, кто когда-то недооценивал кибернетику, и знали они множество такого, среди которого было немало ценного, свидетельствующего об основательных знаниях того или иного предмета, но еще больше – всякого мусора, всякой бесполезной чепухи. А из всего вместе получалась грустная легковесность, беззаботность, полное

отсутствие раздумий о завтрашнем дне, не говоря уже о послезавтрашнем.

Ия устала от пустопорожности, маскируемой острословием, за которым якобы стоит еще более острое и содержательное. В своей трудной жизни она успела много прочесть, в том числе и хороших, умных книг, те книги сделали свое дело, и она уже не могла отделаться от убеждения в том, что у жизни должен быть, непременно должен быть смысл, и притом очень высокий смысл. Человек – такое удивительное, совершенное существо, что не может быть, чтобы природа много миллионов лет потратила на его создание, на его совершенствование лишь для того, чтобы это высокоразумное существо, homo sapiens, наделенное сложнейшими органами – мозгом, сердцем, хитрейшими и тончайшими сплетениями нервов, жило лишь для того, чтобы, выпив стакан водки, бренчать на гитаре, петь про кота или про шарик, рассказывать анекдоты и от девяти утра до пяти или шести вечера сидеть в каком-нибудь учреждении за столом и прокалывать дырки в бумагах.

Жизнь Булатова виделась ей иной. Его невозможно было представить с гитарой в руках, поющего бессмысленную чушь. Но и не таким он был в ее представлении, каким увидела она его в минувший вечер. Встреча в клубе, прием в Доме дружбы – это лишь эпизоды. Главное у него другое, другое. Он обдумывает жизнь, обдумывает, как жизнь может превратиться в книгу, как в ней оживут люди, которые и придуманы и вместе с тем взяты из жизней. Хотелось увидеть, понять, проследить этот процесс, проникнуть в него душой. Булатов богаче тысяч других во множество раз. Перед ним открывается не одна жизнь, в которой он живет реально, а много, много жизней, рождаемых его воображением, его мозгом. Вот одно из подлинных предназначений человеческого мозга, а не анекдотики и пошлые песенки. Ах, мозг! Он и ракету может выдумать, и книгу сочинить, и одновременно он же придумывает, как обокрасть квартиру, как вынуть кошелек из кармана.

Трудна, невообразимо трудна жизнь Булатова, но зато не скажешь, что она несодержательна. Интересно, как же в ней участвует его жена? Та, которая так грубо и так зло отвечает по телефону? Слишком часто оправдывается древняя мудрость о том, что «нет пророка в своем отечестве». Может быть, и здесь такой же случай? Может быть, эта женщина и не понимает и не хочет понимать, с кем рядом она находится? Может быть, она посылает его в лавку за солью или спичками, заставляет надевать передник и мыть посуду? Может быть, летом превращает его в дачного мужа, и он таскает авоськи по электричкам? Ах да, у него своя машина! Ну все равно, заставляет его совать эти авоськи в багажник машины. Не может быть, не может быть! Не должно быть! В Ие все протестовало против такой возможности, против того, чтобы Василий Петрович таскал авоськи и ходил в лавочку за солью. Мозг, такой мозг – его нельзя заставлять это делать! Она, Ия, ах, оказаться бы ей возле Василия Петровича, она бы, она бы, она бы!… Но возле него была другая, у той, как виделось Ие, были совсем другие представления о жизни, о ее муже, о назначении его мозга. И что с этим всем могла поделать она, в общем-то несчастная, мятущаяся Ия, хотя и старающаяся всегда быть колючей, но на самом-то деле добрая и отзывчивая!…

34

В номер Сабурова позвонил человек, назвавшийся Сергеем Николаевичем Марковым. Объясняясь на английском, он попросил – так и выразился – «аудиенции», и, если возможно, сугубо конфиденциальной.

Не очень жаждая какой-либо подобного заговорщического рода встречи, Сабуров местом ее предложил скверик возле Румянцевского музея.

– Благодарю вас, благодарю, – сказал звонивший.– Никаких особых примет не надо, я вас видел в лицо на пресс-конференции, я к вам подойду.

Ровно в четыре, как было условлено, к скамейке, на которой, перелистывая купленные в вестибюле гостиницы газеты, дожидался Сабуров, подошел высокий сухой старик; несмотря на жару, одет он был в темный костюм с белой сорочкой при бабочке, в шляпе и с легкой, подобной стеку, палочкой в руках.

Он приподнял шляпу.

– Господин Карадонна? Очень рад, очень. – Присел рядом. – Прошу прощения, что говорю с вами на английском. На вашем родном, на итальянском, не рискую. Уж очень он у меня плох. Мог бы с портье в альберго поговорить да с продавщицей в магазине, а вот так, по делу… увы!

Снисходя к слабости собеседника, Сабуров слегка склонил голову: понимаю, дескать.

– Господин Карадонна, может быть, вам этот разговор покажется странным и даже очень странным, но отказаться от него я не могу. Много дней ходил я со своими мыслями и сомнениями… Вы знаете, я пытался поговорить с руководителем вашей группы, с господином Клаубергом. Но он немец, и мне показалось, что общего языка мы с ним не найдем. Немец! Какой тут разговор! Господин Росс – это типичный боксер полусреднего веса. Он, я понял, у вас на подхвате, вещи перетаскивать, интеллект его невелик.

– Остается мисс Браун, – сказал наконец и Сабуров.

– О нет, она не остается. Остаетесь вы, господин Карадонна. А мисс Порция Браун... Как раз о ней-то и пойдет разговор. Мне пришлось читать в прессе, я слышал это и по радио и на пресс-конференции в комитете, который осуществляет культурные связи с заграницей, что ваша миссия – миссия группы издательства «New World» – весьма благородна, по составу своему группа весьма представительна и состоит из больших, выдающихся специалистов по искусству Древней Руси… И вот тут-то в меня закралось сомнение: не обманул ли и издательство и вас всех кто-то, кто в состав группы порекомендовал эту мисс Браун? Я повторяю, что пытался побеседовать об этом с господином профессором Клаубергом. Но он, еще раз повторяю, немец, а кроме того, он просто отказался. Отговорился большой занятостью. С частными лицами, дескать, он не уполномочен вести переговоры. А я не переговоры собирался вести. Какие переговоры! Я хотел только предупредить вас всех.

Ему было за семьдесят, может быть, уже и все восемьдесят. Но он был сух, жилист, возраст таких не берет, они как бы еще при жизни мумифицируются и

уже до гроба не подвержены внешним изменениям. Он даже курил; причем, достав из кармана портсигар с сигаретами, задал учтивый вопрос: «Вы не против табачного дыма?»

– Я понимаю, что сейчас вас многое интересует: кто такой перед вами, насколько можно ему доверять, достаточно ли честны его побуждения. И вообще не агент ли он гепеу.– Старик весело и хитро рассмеялся. – Нет, господин Карадонна, я не агент гепеу. Хотя с учреждением этим прекрасно знаком. Вы, конечно, уже знаете площадь Дзержинского? Недалеко отсюда, по проспекту Маркса, по бывшему Охотному ряду. По старым святцам она иначе – Лубянкой – называлась. Знаете? Ну вот, там уже с восемнадцатого года засела Чека, грозная, скажу вам, организация. В этой Чеке я провел немало времени. Не в качестве агента – хе-хе! – а сидельца, господин Карадонна, да-с, сидельца, сидельца, то есть заключенного, узника.

Сабуров уже окончательно был не рад, что согласился на эту встречу. Мало ли у кого и какие по сей день были счеты с Советской властью! Во имя счетов своей семьи он в составе гитлеровской армии промаршировал в сорок первом от баварского Кобурга до советского города Пушкина, под самые стены Ленинграда. Эти счеты история к оплате не приняла и совершенно ясно, что не примет; она, это же очевидно, не за тех, кто их все еще пытается предъявлять. И вот перед ним очередной обиженный, еще один, так сказать, его единомышленник. Но он-то, Сабуров, уже не так мыслит, как они, совсем не так, и ему не нужны эти излияния, эти раскрытия Душ!…

Он уже хотел извиниться, сослаться на недостаток времени и уйти. Но старик, не дав раскрыть рта, заговорил снова:

– Я вам уже, кажется, называл себя? Марков. Сергей Николаевич. Не надо путать ни с Марковым-вторым, ни с каким-либо другим. Род наш старый, екатерининских времен, его родоначальник был семилетним мальчиком подвергнут прививке оспы для того, чтобы полученной у него лимфой лечить больных в семье императрицы. Все обошлось тогда хорошо, мальчика взяли в царицыны покои, царица его обласкала и возвысила, возвела в дворянское достоинство и присвоила прозвище Оспинного. Но сегодня я вам представляюсь отнюдь не как дворянин, господин Карадонна, отнюдь нет. Сегодня я советский гражданин, и никакого иного звания не ношу и носить не желаю. Я вам не буду показывать перстней с фамильным гербом, хотя такой герб у нашей семьи, естественно, был. Не стану демонстрировать золотых пятирублевиков с профилем последнего «самодержца», «первого русского интеллигента и великого демократа», не потому, что у меня этих пятирублевиков не сохранилось, может быть, один-два еще и можно отыскать в моем домашнем хламе, а потому, что Николай Второй ни когда и никаким интеллигентом и демократом не был и не мог быть. Он был обывателем, хлюпиком, а хлюпики, обладающие властью, страшны, как ни кто. Он это и доказал и недаром был назван кровавым. Итак, я советский гражданин. Путь мой к этому гражданству был длинным, ох, длинным! Да, господин Карадонна, если бы я обладал сочинительским даром, какие бы романы могли выйти из-под моего пера! Я служил в гвардии, в одном из знаменитейших полков –

детищ великого Петра. После февраля семнадцатого кочевал с полком по фронтам, после октября того же семнадцатого был на Кубани, на Дону, в Крыму. Да, да, сражался против красных. Не удивляйтесь. Потом нас выбросили в Черное море. Буквально в море. Меня из воды на пароход вытаскивали на веревке. Одни тащили, а другие пытались метким ударом сапога сбросить назад в воду. Потом – Константинополь, жуткие турецкие острова, Галиполи, Сербия и наконец Париж.

Старик затянулся сигаретой, посидел с полминуты молча, сказал:

– Вам этого не понять, друг мой, вы тогда уже мирно жили в своей Италии, под вашим античным солнцем, среди олив и виноградных лоз, а нас, русских, все мотало и мотало по Европе. Да что Европа! По всему миру мотало. Но, господин Карадонна, прошу учесть, кто был попорядочней, одного никогда не делал: не шел служить к немцам, нет! Немцы нашу белогвардейскую братию готовы были пригреть и пригревали, пригревали. И Врангель от них кое-что получил, и Краснов, и всякие там Бискупские паслись на лугах Баварии и под липами Берлина. Фашистские отряды создавались из белоэмигрантов, даже детские военизированные организации. Как ни трудно было нам, мы к немцам за куском хлеба не обращались. Бедствовали в Париже.

Каждым своим словом, не зная того, потомок Маркова-Оспинного бил Сабурова по сердцу. Сабуров не сам выбирал себе убежище от большевиков, – отец и те, кто окружал отца, но факт фактом, да, Марков прав: воевали, воевали они, русские, против немцев, императрицу ненавидели за то, что она немка, весь царский двор, все правительство подозревали в игре на руку кайзера. И что же? Бросились в объятия этих самых «исконных врагов матушки России». А сделав один неверный шаг, пошли дальше по ложной, ошибочной, ставшей кровавой дороге. Вот Марков говорит… А Сабуров-то сам состоял в профашистских и фашистских отрядах, сам занимался их организацией. Знал бы этот человек правду о том, с кем он пришел потолковать по душам!

А тот продолжал свое:

– Вот теперь о Париже. Вы такую фамилию – Цандлер – слышали когда-нибудь?

– Вообще-то, конечно, да, слышал,– ответил Сабуров.– Фамилия по меньшей мере не редкостная. Но персонально никого припомнить сейчас не смогу.

– Я так и знал!. Вам, очевидно, и невдомек, что ваша Браун совсем не Браун, а именно Цандлер, Цандлер.– Старик почти обрадовался.

– Что ж, вышла замуж, и вот…– начал было Сабуров.

– Какой замуж! Она же мисс – девица!

– Во-первых, она могла развестись и сохранить фамилию мужа, во-вторых, в Англии и в Америке секретарш и прочих деловых женщин очень часто называют «мисс», независимо от их семейного положения, а в-третьих, Цандлер – так Цандлер. Какое это имеет значение?

– Очень важное. Она нисколько не украшает вашу группу. Она не может выполнить никакой благородной миссии, ее амплуа – только низменные роли. Она внучка управляющего одним из московских банков, не коего Цандлера,

полунемка или австрийка, полу, сатана лишь знает, кто – таких в России со времен Петра было хоть пруд пруди, осели тогда, впились в тело России, сосали ее кровь, наживались. В дни революции ее дед ухитрился хапнуть очень крупные деньги, чьи-то драгоценности, пытался бежать с ними, как один советский литературный персонаж, Остап Бендер. Но в Одессе нарвался на еще более ловких деляг. Они его обобрали. Цандлер оказался там же, где и все мы,– в Константинополе. Сдох от сыпного тифа, от чумы, от оспы – не знаю. Его вдова спала с любым – с нашим вшивым офицером или солдатом, с французом экспедиционных войск, с турком, с курдом… И что там – спала! Ее просто заводили в первую попавшуюся подворотню. Но это все ладно, ладно, я никого не осуждаю. Время было страшное. Своих родителей я с великим трудом сохранил в те времена от нищенства. Я работал кем угодно, даже погрузчиком угля на железной дороге, и еще радовался, что хоть такая-то работа у меня есть. Я не дал им выйти на мостовую с протянутой рукой. Они умерли в теплой квартире, и не от голода, а от немецкой бомбы под Парижем. А вот бабка этой грязной девки Цандлер-Браун… Почему, думаете, ваша Порция носит фамилию Браун? Потому, что мать Порции прижила ее от какого-то Брауна. И только. А мать Порции, дочь той константинопольской шлюхи, Цандлерши, известная в эмиграции Линда Мулине.

– Писательница?! – воскликнул удивленный Сабуров. Этого он не знал.

– Сказать точнее, сочинительница! Линда Мулине! Ох-хо-хо! – хохотнул старик.– Она, эта Мулине, оказалась счастливее мамаши, под росла в эмигрантском далеко и хорошо выскочила замуж… Нет, не за Брауна, Браун был так, между делом, а за социалистического деятеля. Тот пошел в гору, стал депутатом и так далее и тому подобное. А когда при шли немцы. Мулине кинулась им на шею, а вместе с ней на шею к ним кинулась и ее доченька, эта ваша Порция, хотя тогда ей было лет пятнадцать, не больше. После изгнания немцев французы хотели маменьку и доченьку выставить коленом пониже спины за сотрудничество с бошами. Но в Париже уже оказались американцы. Обе дивы – и старая и юная – повисли на их шеях. Покровители отстояли своих подопечных от гнева французов. И вот она с вами. Она не впервые в Советском Союзе. От редакций каких-то журнальчиков она уже два или три раза приезжала сюда. Я слежу за ней. Она подло пишет о Советском Союзе, очень подло. И делает это хитро, не прямо так: долой, мол, Советы, долой большевиков, как делали наши белые вожди. Она насыщает свою грязную писанину медленно действующим ядом. Господин Карадонна! Не грустно ли? Для вашего святого дела вы взяли с собой такую мерзавку, такую политическую шлюху! Конечно, потаскуха потаскухе рознь. Одну из них бог даже вознес телесно на небо. Но то была раскаявшаяся потаскуха. А эта каяться и не думает. Она враг, всего, что есть в этой стране.

– Вы уж очень резко, господин Марков. Что вы, что вы! Мисс Браун – большой специалист.

– Специалист чего? Подрывной деятельности! Я понимаю наши советские органы безопасности – они не могут предъявить ей ничего особенного, впрямую она ничего предосудительного не делает. За руку ее не схватишь. Эта

рука ни стилетом, ни браунингом не вооружена. В ней перо, обычное, мирное, пишущее перо. Но вы-то, вы же должны гнать ее поганой метлой. Она компрометирует ваше дело!

Он все щелкал портсигаром, все курил, пальцы его, в которых он держал сигарету, дрожали. Он волновался. И вдруг в какой-то момент он стал понятен и симпатичен Сабурову. Ведь и он, он, Сабуров, если бы в его жизни не все, а хотя бы часть сложилась иначе, он тоже мог бы оказаться на месте этого человека. Не в Германию бы занесла судьба их семью, а в Париж, не в гитлеровских войсках мог оказаться тогда молодой Сабуров, а в отрядах Сопротивления Франции. А после войны мог бы, как этот человек, вернуться домой, на родину, вот сюда, в Россию. Их же в. ту пору много вернулось, бывших беглецов от революции. Симпатия Сабурова к старику была такой явной, активной, что его подмывало открыться перед ним, сказать, что он тоже русский, тоже эмигрант, тоже тоскует о России и что она ему совсем-совсем не безразлична. Но благоразумие брало свое.

– Скажите, господин Марков,– спросил он, несколько успокоив себя, – а когда и как вы возвратились в Россию, как стали советским гражданином?

– Все удивительно просто. Во время войны, после гибели моих родителей, я был с теми французами, которые боролись против немцев. Это, знаете, еще один роман. Совсем особый. Потом Гитлер сдох в своей берлинской конуре, армия его и вся гитлеровская машина капитулировали. Многие из нас, эмигрантов, были буквально на седьмом небе от восторга. А как же! Кто, кто сломал хребтину этому ящеру фашизма? Россия, наша Россия! Пусть она называется советской-рассоветской, но это Россия, Россия! И многим из нас захотелось, остро, нестерпимо, чтобы она вновь стала нашей, точнее, чтобы мы вновь стали ее гражданами. Пусть с неизбежными унижениями, это ничего, перед такой могучей победительницей унизиться совсем не унизительно. Это же не перед немцами склонять колени, верно? И мы стали ходить в советское посольство толпами. И многих из нас, сначала осторожно – мы же бывшие враги, мы же стреляли когда-то в красных, это. так понятно,– советские дипломаты стали приближать к себе, а позже приняли и в советское подданство. А наконец, не всем, но многим выдали разрешение на въезд в СССР. Увы, я приехал сюда уже без моих дорогих, добрых родителей. Но с семьей, с семьей, господин Карадонна! Старушка жена, женатый сын… Дочь уже здесь вышла замуж. Внуки. И вы, господин Карадонна, должны меня понять, вы поймете меня, непременно поймете… Я однажды терял родину, я мыкался без нее не по белому свету, нет, по серому, темному для меня свету, безродный, ничейный, отребье рода человеческого. Второй раз терять я ее не хочу, нет, не желаю. Я старый, как видите, однако, если эти Цандлеры-Брауны попытаются в открытую напасть на Советский Союз, я еще могу держать винтовку вот в этих руках. Я в таврических степях в полный рост ходил в атаки. Против кого? Против своих русских мужиков. А уж перед лицом новых фашистов тем более не дрогну, господин Карадонна. Но беда вся в том, что Цандлеры-Брауны не в открытую идут, а пытаются точить наше тело как жуки-точильщики, чтобы в какой-то день оказалось, что нет могучего дуба, нет

красавца кедра, а есть лишь одна видимость, стукни слегка – и все древо рассыплется в пыль. Я читаю газеты, я слушаю радио на многих языках. Я ощущаю этот процесс, эту скрытую борьбу. И я ненавижу мерзавцев и мерзавок, которые не с добрым к нам сюда ездят, а с пакостью!

– Скажите,– спросил Сабуров,– вы упомянули учреждение на Лубянке. А как вы оказались там? И когда?

– О да! Совсем забыл. Вот память! Нет, не думайте, не после того, как возвратился из Франции, нет-нет. А в восемнадцатом. Когда качались заговоры против большевиков, они стали хватать нашего брата. Как дворянина, как гвардейского офицера, забрали и меня. Сидел там, сидел. У них тюряга была во дворе, переделанная из гостиницы. Скажу вам честно, сволочи всякой в камерах было предостаточно. Ну что мы, дворяне, офицеры? Примитивный народец. «Матушка Россия! Батюшка царь! Белый крест! Трехцветное знамя!» Очень примитивны мы были. А всякие социал-революционеры из партии госпожи Спиридоновой да господ Савинкова, Керенского, Чернова и других – те оголтелые, те просто бешеные псы. Под стать им меньшевики разные, Даны какие-то и прочие-прочие. Их действительно надо было держать в клетках. До того доходили они в своей оголтелости, что башки себе пытались раскалывать ударами об стену. Слюна с губ падала. И можете себе представить, у большевиков какой-то принцип, однако, был. Одних они с удивительной оперативностью ставили к стенке, других, правда, не так оперативно, но отпускали. Меня мурыжили-муры жили, потом вывели на улицу и сказали: «Мотай, но чтоб ни-ни против Советской власти». А я что? Эх!

Он усмехнулся, закурил новую сигарету, уже, наверно, десятую.

– Обрадовался, словом, свободе. Кинулся в Харьков, там мои родители находились, захватил их да и на Дон, на Дон, к нашим родным генералам!…– Старик не без горечи усмехнулся.– И в итоге прозевал все. Да, все. Это же представить только, как было тут захватывающе интересно после окончания гражданской войны! Голод, холод – а мечты о сплошной электрификации! Вошь, тиф – а всеобщая ликвидация неграмотности.

Огромные людские массы совершали огромные исторические маневры, перестроения, перегруппировки, меняя все в укладе России, меняя тысячелетние принципы существования человека. Дорого бы отдал я за то, чтобы в те времена не официантом бегать в третьеразрядных парижских трактирах, а быть здесь, дома, и участвовать во всем этом. Знаете, сейчас не каждый это понимает, а может быть, даже и никто не понимает, что происходило на русской земле в те годы и как значительна, как грандиозна та эпоха в истории человечества. Когда-нибудь летосчисление пойдет не от мифической даты рождения Иисуса Христа, а с Октября тысяча девятьсот семнадцатого года. Я убежден в этом. Если, конечно, до того времени Цандлеры-Брауны, жуки-точильщики, не подточат это прекрасное социалистическое здание. Я не могу поверить в такую возможность, я не хочу в нее верить и все-таки тревожусь. Поэтому-то мне и хотелось увидеться с вами и все это вам сказать. Нельзя ли вашу мисс обратно отправить? Она компрометирует прекрасное дело. А главное – пакостит здесь. -Я не знаю, как,

но она пакостит, пакостит, не сомневаюсь. Она это умеет, это ее стихия. Империалистический Запад присылал сюда колорадских жуков, – сбрасывал с воздушных шаров всякие книжечки – это ерунда: жуков опрыснули купоросом, книжки собрали и сожгли. А Цандлеров-то да Браунов чем же опрыснешь?

Старик мучился своей заботой. Сабурову она была далека. В подрывную работу мисс Браун ему не верилось, он видел в ней просто потаскуху, авантюристку, которая, может быть, и получает что-то от своих хозяев, но не слишком оправдывает средства, которые на нее отпускаются. Она и хозяев, видимо, надувает. Сабурова заинтересовал сам старик, который, оказавшись полвека назад в положении, сходном с положением его, Сабурова, нашел в конце концов иной исход.

– А у вас, у вашей семьи была собственность до революции? – расспрашивал он.

– Была, конечно, была. Матушка-императрица нашего исходного Маркова щедро наделила добром. Землями, крепостными мужиками, деньгами. Но мои прадеды не умножили полученное. Напротив, они да затем и деды только растрачивали его. Не обладали, видимо, должной жилкой предпринимательства. К революции какое-то поместье значилось за семьей. Да и оно было то ли заложено, то ли сдано в аренду. Я ваш вопрос понимаю, господин Карадонна. Вы так размышляете: у старика ничего не было, Советская власть, следовательно, у него ничего не отняла, у него к ней счетов и нет. Было, оказывается, все было, отняла, счет можно расписать длиннющий. При желании. Но желания – вот чего нет, господин Карадонна. Я стрелял в красных, я боролся против революции, и что вы думаете, несмотря на это. они мне пенсию назначили! Я монархист, я врангелевец, и, вот как получается, они меня в архивариусы определили! Не могу сидеть дома на пенсионном положении. Хожу в должность, и с большим удовольствием хожу. Не каждый день, правда. Иной раз неможется. Ни слова не говорят. А дети? Сын – агроном, его жена с ним там же, в совхозе, дочь – диктор на радио, на французских передачах. Нет, те наши потери не ослепляют меня. Вот кто лавочку потерял, я заметил, тот никак не успокоится, и даже дети, внуки его эту галантерейную лавочку помнят где-нибудь тут, на Кузнецком, или в Питере, на Невском. Ох, за лавочку они готовы посчитаться с Советской властью.

– И в Советском Союзе есть такие?

– А как вы думаете, дорогой мой! Всего полсотни лет прошло! Лавочка, мещанская квартирка, беккеровский рояльчик, подшивка «Нивы» или «Синего журнала»… Это я привожу вам названия обывательских русских журнальчиков, распространенных до революции… Пасхальная служба, христосование… На улицах в этот день незнакомые чмокали друг друга в губы. Разговление. Жратва. Грошовое вольнодумство, так чтобы крамольных речей квартальный не услышал. Обыватель, господин Карадонна, лавочник – он страшнее Врангеля. Это здесь один поэт был. Маяковский. Владимир. Он очень тонко заметил: «Страшнее Врангеля обывательский быт!» Кто за Гитлером в первых рядах пошел? Лавочник. Кто за вашим дуче пошагал? Лавочник. Кто негров линчует в Соединенных Штатах? Лавочники. Кто сейчас вокруг нового

фюрера вертится в Западной Германии, вокруг фон Таддена-то? Все лавочники. Я, честно говоря, людей делю на две категории. Я не марксист, могу и ошибаться. Но у меня вот такой, свой, домашний критерий. Лавочник или не лавочник. Посмотрю на иного. Он ученым себя называет. Верно, сидит, выписки делает, диссертацию или еще что-то стряпает. А гражданской души у него ни на грош. Все в своем индивидуальном мирке видит, все в домик тащит. Ну, я на него свой инвентарный номерок и приколачиваю: «Лавочник». Писателя слушал как-то, был у нас, читательскую конференцию проводили. Все о себе, о себе, о том, как он настрочил гениальный труд, а его не возносят, затирают, ходу не дают, в то время как другие вот идут незаслуженно в гору. Зачем он нам это говорил? Почему? А потому, что лавочник. Директора одного знаю. На моих глазах в два раза толще за семь лет стал. Еле в автомобиль влезает. Ему даже автомобиль дали в два раза больший, чем прежний. От дома отъезжает минута в минуту, возвращается минута в минуту, пакеты какие-то таскает с харчами. Я человек общительный, пытался было здороваться с ним – он в нашем доме живет,– кивнул в ответ, как бонза. А заговорить – и не думай. Знающие люди рассказывали, что до него вообще не дойдешь. Звонить станешь – секретарши тебя отсекут, прийти захочешь – пропуск нужен, а пропуск – опять звони, а там все равно отсекающие секретарши. Мне один сказал про него: сенатор. А какой же это сенатор! Лавочник. Они, лавочники-то, ни на что настоящее не годны. Случись что, власть бы, скажем, – тьфу, тьфу, тьфу! – переменилась,– утром выйди при новой власти на улицу, а они, эти, уже в лавочках сидят, за при лавками торгуют кто чем, за ночь переоборудовались. Так кое-где во вторую мировую войну и было в местах, захваченных гитлеровцами. Бойтесь лавочников, господин Карадонна! Словом, я рад, что побеседовал с вами и все вам сказал. А кстати, с чего это ваш господин Клауберг такой необщительный? Он не из лавочников? Ну, я шучу, шучу. Так обдумайте, как со шлюхой быть. Гнать ее надо, гнать. Дед ее тоже лавочником был. И отец, месье Браун, тоже, если не вру.

Сабуров уже не раскаивался в том, что согласился на встречу с этим человеком. Марков помогал ему проникнуть в сущность явлений, в которую без хорошего, знающего проводника не проникнешь.

– Послушайте, господин Марков,– сказал он.– Я, пожалуй, способен понять вас, так радующегося тому, что вы хотя и поздно, но возвратились на родину и готовы теперь сражаться за нее, если над нею на виснет угроза. Но вот у нас за границей известно, что белые эмигранты, остающиеся там и сегодня, продолжают надеяться на то, что они еще вернутся в Россию, и не в такую, какая она есть, а в такую, какой бы им ее хотелось видеть…

– Знаю,– перебил старик.– Прихвостни. Жалкие прихвостни! Служат врагам России, получают от них подачки, а выдают себя за радетелей русского народа. Вот я вам скажу. Они к пятидесятилетию сочинили обращение к интеллигенции России. Наплели всякого о страданиях, о стенаниях, о том, что… В общем, долой коммунистов, да здравствует хваленая буржуазная демократия. Подписались мастодонты, эмигрантские киты. Увидел я среди них и имечко знакомого мне господина Вейдле, который выдает себя за писателя,

искусствоведа, а в общем-то, если говорить по правде, он публицист, и притом не больно крупный. Ну и что? Разговорился я тут с одним из наших – тоже вернувшийся на родину после войны. Тот сказал мне: «Батенька Сергей Николаевич, не верь ты им, радетелям этим. За кость, за мосол с хозяйского стола тявкают на Советскую власть. Ты же знаешь, что Вейдле этот на мюнхенскую радиостанцию по шел работать, антисоветчину вещать на русском языке. Повстречал его не сколько лет назад в Западной Германии, говорю ему: что ж так, во время войны вроде бы трепыхался, „ура“ покрикивал Красной Армии там, во Франции, а теперь вот – антисоветчина, служба у американцев. Он в ответ: „Платят хорошо. Нащелкаю у них зеленых бумажек, куплю виллу на Лазурном берегу, тогда и удалюсь на покой“. Вот вам, господин Карадонна, и вся идея этих господ, плакальщиков о судьбах России. Вилла под Ниццей! Ну что ж…– Он поднялся со скамейки.– Желаю успеха вашему предприятию. Хорошее дело, хорошее. Только гоните, пожалуйста, свою паршивую мисс долой от него.

Старик пожал руку Сабурову и ушагал, высокий, прямой, преисполненный горделивого достоинства.

Сабуров вновь опустился на скамейку, смотрел ему вслед, пока он не скрылся в уличной толчее, и еще долго раздумывал обо всем, что услышал от старика. Возвратясь в отель, он постучал к Клаубергу. Тот был дома.

– Слушай, Уве, а ты был прав насчет Порции. Видишь ли, русские ее неплохо знают. Кое-что они мне порассказали. Она-то нет, ни в каком, как ты говоришь, борделе не работала. Но ее мамаша – да, потрудилась, это, утверждают, совершенно точно. Линда Мулине! Ты слышал такое имя?

– Она что-то пишет, кажется? Такая кочующая русская стерьвь. То она в Лондоне, то в Нью-Йорке, то в Париже. Эта?

– Видимо, да. В революцию ее родители бежали в Одессу, оттуда в Стамбул вместе с войсками Деникина и Врангеля.

– Верно, верно! – воскликнул Клауберг. – Папаша там умер от по носа. Мамаша, у нее две девчонки были, занялась проституцией. Кормить-то девчонок надо! Неужто наша Порция одна из тех девок?

– Нет, этого не может быть по возрасту. Она дочка одной из тех, как ты говоришь, девок Линды, которая стала Мулине.

– Так она кто же, Мулине? Браун?

– Цандлер!

– Ну не немка же, Умберто!

– Именно немка. Твоя соотечественница. Фольксдойче. Из тех немцев, которые еще при Петре Первом поселились в России.

– Я думаю, что со времен Петра дело так перепуталось, что в ней и единой капли немецкой крови уже нет,– сказал Клауберг.– Только фамилия.

– Меня твои заботы о чистоте немецкой расы не волнуют,– ото звался Сабуров.

– Да, вы, русские, народ неразборчивый. Вы и на японках, и на негритянках, и на черт те ком жениться готовы. Широкие натуры! А пройдет время – и спохватитесь: где русский народ? Нет его. Растворился в разных

других нациях. Посмотри на евреев. Железный закон: жениться только на еврейках, выходить замуж только за евреев.

– Чушь! Давно этого закона нет.

– Нет, есть, но, может быть, неписаный. Иначе они бы давно ассимилировались.

– И тогда вам, немцам, не было бы столько хлопот по спасению от них человечества?

– Ну, начинаешь свои проповеди, Умберто! Пошел ты к свиньям!

Клауберг перекидывался так словами с Сабуровым, а сам раздумывал о мисс Браун. Это было забавным, что она оказалась дочерью Линды Мулине, которая во время войны пописывала при немцах в Париже прогитлеровские статейки и вообще была на хорошем счету у немцев. В качестве кого же лондонские дельцы подсунули ее в группу – в качестве русской, американки или немки? Могли бы ему-то сказать своевременно правду.

35

Поезд шел из Москвы в Псков. В нескольких купе одного из вагонов разместились писатели, живописцы и скульпторы. Среди них были маститые, пожилые, были и средних лет, начавшие свой путь в искусстве и в литературе во время войны или по ее окончании. Одни обладали обширными лысинами во всю голову, другие еле продирали расческами свои превосходные шевелюры; одни пили чай, принесенный проводницей, другие коньяк из прихваченных с собой бутылок; одни шумно рассказывали какие-то истории, другие молча и сосредоточенно смотрели сквозь стекла окон в завагонную темень. Все были разные; объединяло их в этом вагоне лишь то, что во время войны они находились в составе войск, действовавших на северо-западном участке фронта борьбы против гитлеровских армий, в том числе и там, куда спешил скорый ночной поезд.

Время было позднее, пассажиры в других купе давным-давно спали, но в купе, занятых творцами прекрасного, о сне еще никто и не думал. Вспоминали былое – дивизионные и армейские газеты, артиллерийские дивизионы, разведывательные роты, политотделы, в которых они служили, своих фронтовых друзей, смешные и трагические случаи из военной жизни.

Почти все они собрались в конце концов в купе, в котором вместе с тремя своими коллегами расположился Василий Петрович Булатов. Писатель-кубанец, с наголо обритой головой, плотный, неторопливый, больше похожий не на писателя, а на председателя богатого колхоза, подымая стакан, в котором был коньяк, сказал:

– А не выпить ли нам, други мои, за здоровье того псковского редактора, который свел нас в этом вагоне? Годами же не встречались, а тут встретились, и до чего же это хорошо!

Тост одобрили, с кубанцем чокнулись, кто коньяком, а кто и чаем, лимонадом, минеральной миргородской водой, неведомо как оказавшейся в поезде, следовавшем из Москвы через Псков в Таллин.

– Леший его знает, – философствовал кубанец, – живешь, кипятишься, дел всяких по горло, а о друзьях своих, об единомышленниках забываешь. Где они, что с ними? Ну, прочтешь новый роман, ну, репродукцию с новой картины, скажем, в «Огоньке» увидишь, порадуешься: живет наше военное братство, действует, и только. А вот так, посидеть, по душам покалякать,– нету этого. А жаль. Жизнь-то уходит, уходит. Самому молодому среди нас тут, пожалуй, не менее сорока пяти? – Он оглядел до отказа набившихся в купе. – Да, вот так. Не успеешь оглянуться – и уже в газете нечто печатное за подписью: «Группа товарищей».

– Завел, Степан! – сказал густобровый москвич, тоже, как кубанец, писатель-прозаик.– Ты всегда был пессимистом.

– Не пессимист я, а реалист, в облаках не витаю, смотрю всегда в корень.

– И ты, в общем, прав,– поддержал кубанца второй москвич, известный скульптор.– Вы, конечно, знаете, товарищи, моего друга-бородача, с которым мы работали над последним памятником. Талант, широкая натура, чудесная душа. Казалось, могуч здоровьем – дальше некуда. А вот лежит с инфарктом, и врачи говорят, положение угрожающее. Кстати, – скульптор невесело усмехнулся,– инфаркт к нему пришел не сам собою. На фронте пуля миновала, в мирное время не смог уберечься от нее.

– Неужели? – разом воскликнуло несколько человек. – В него стреляли? Кто же? Где?

– Пуля та была особого рода. Вы же знаете его, знаете, какого он общественного темперамента, каких политических убеждений. Выступал, кое-кому портил кровь, не давал безнаказанно штукарствовать, угождать западным ценителям и покровителям. Ну и вот сначала его прокатили на выборах в правление. Пожимал плечами, смеялся. Потом оплевали с помощью наемного пера его новую работу. Выстоял, говорил: «И не такое видывали». Подобрались совсем с другой стороны. Допекли анонимками: в партийный комитет – о том, что избил, пьяный, шофера такси: еще куда-то – что он наркоман и получает наркотики из-за границы; жену поздравили с тем, что он завел себе молодую блондиночку и таскает ее по дачам своих приятелей. Покуда бегал и доказывал, что все это ложь, бред, свинство, инфаркт его и хватил.

– Слушайте, – сказал кубанец, – други мои ридны, тогда я вам вот какую цидулю покажу. – Он порылся в карманах, вытащил конверт и из него листок тетрадочной бумаги в клетку. – Слушайте: «Да будет вам известно, что отец ваш во время войны укрывался от мобилизации в армию Будучи, наконец, разыскан и доставлен в военкомат милицией, сумел устроиться в дивизионной газете. Но и там проявил себя как последний трус. Под обстрелом немецкой артиллерии он бросил редакцию, своих товарищей и прямо из-под Великих Лук бежал в Москву. Вы дочь презренного труса, который ныне в своих писаниях восхваляет героизм, клеймит дезертиров, хотя сам он и есть первый дезертир». Ну и так далее. – Кубанец стал складывать листок в конверт. – Это моей дочери-студентке прислали. Три дня ревела. Как мы с матерью ни объясняли, не помогает. Цидулька все равно ей душу мутит. А потом говорит: «Ну почему

же с такими не борются, которые способны на подобную гадость, вот так писать? Их же надо наказывать». Верно, надо. Но поймай-ка за руку!

В купе заговорили, зашумели. Оказалось, что не было в нем человека, который так или иначе не столкнулся бы с анонимками. Об одном писали, что он, выдавая, видите ли, себя за твердокаменного ленинца, скрыл свое подлинное социальное происхождение: никакой он не крестьянин, а сын казачьего урядника; другому грозились, ни многим ни малым, а повешением на фонарном столбе «в свое время», третьему предлагалось самому, добровольно, своею собственной рукой застрелиться во избежание «суда грозного и беспощадного»…

– А ведь действительно пули свищут, – сказал Булатов, внимательно слушавший рассказы своих товарищей. – Какая-то индустрия клеветы действует.

– Насколько все было проще, когда мы воевали вот здесь,– сказал московский скульптор и указал рукой за темные окна вагона, за которыми пролетали черные болотистые леса.– Вот так враг, вот так ты. Все ясно. Он пулей – ты пулей, он гранатой – ты гранатой. А как быть с этими доводящими до инфарктов письменами?

Всем стало противно, мерзко; стали расходиться по своим купе.

Утром в Пскове их встретил тот самый редактор газеты, за здоровье которого они чокались ночью и который и был подлинным виновником их появления в древнем русском городе. Он был молодой, доброжелательный, всем понравившийся, и встреча, общение с ним в какой-то мере освободили людей от того тяжкого душевного гнета, какой ощутили они после разговора о ядовитых, как мышьяк, злобных анонимках.

Энергичный редактор созвал в свой Псков столько писателей, живописцев и скульпторов для того, чтобы показать им, по его мнению, замечательный памятник в одной из деревень, точнее, на месте одной из бывших деревень, поскольку деревня была сожжена гитлеровцами до основания.

Не откладывая этого на завтра, группа, прибывшая из Москвы, разместилась в специальном автобусе и отправилась по дороге на Порхов. Проплывали по сторонам живописные земли древней Руси – пологие холмы с желтеющими колхозными нивами, задумчивые леса, на опушках которых паслись пестрые степенные коровы, темные глубокие речки с нависшими над ними ивами, куда-то уходящие проселки и тропинки. Трудно было бы представить себе, что по этим местам прошла одна из самых кровопролитных и всесжигающих войн во всей истории человечества, если бы люди, которые ехали в автобусе, сами не принимали участия в борьбе с фашистскими ордами, зверствовавшими в этих местах, и сами не повидали то, что ныне уже скрыто временем от глаз новых поколений.

– Красуха! – сказал с волнением редактор. – Вот она!

Но никакой Красухи нигде не было. Кое-где в траве виделись камни былых фундаментов да свисали над ними ветви одиноких берез и лип. как-то избежавших огня пробушевавшего здесь пожарища. Лента дороги рассекала надвое этот скорбный пустырь. По одну сторону от нее стоял в отдалении

обелиск братской могилы. По другую…

Взгляды всех вышедших из автобуса остановились на поразившей их фигуре женщины, которую скульптор вырубил из серого гранита. Женщина в платке, деревенская, простая женщина, каких в России миллионы, совсем живая, не каменная, сидела на камне и, опустив голову, придерживая ее рукой труженицы, раздумывала над пепелищем. В ее памяти проходило все, что случилось на этом месте двадцать седьмого ноября тысяча девятьсот сорок третьего года. Как здесь стучали немецкие автоматы, как трескуче пылал огонь, в котором сгорали обжитые, уютные особым сельским уютом красухинские дома, как в этом треске и свисте каратели одного за другим, расстреливая, приканчивая штыками и ударами прикладов, кидая живыми в огонь, лишили жизни двести восемьдесят красухинских односельчан – старых, молодых, совсем детишек.

– Послушайте, за что же? – сказал московский скульптор, всматриваясь в прекрасно выполненную фигуру женщины-матери, потерявшей своих детей. – Почему так жестоко?

– Да потому,– ответил редактор,– что среди этих двухсот восьмидесяти не нашлось ни одного, кто бы выдал немцам партизан, кто бы согласился показать места, где они скрываются после успешных нападений на коммуникации Восемнадцатой немецкой армии, на эшелоны с пополнением для ее частей, на штабы.

Все разбрелись по пепелищу, каждый по-своему обдумывал то, что видели его глаза.

«Двести восемьдесят человек! – думал Булатов. – В живых не оставили даже грудных ребятишек. Почему же в мире знают Лидице, знают Орадур, хотя в Лидице ни женщин, ни детей не расстреливали и живьем в огонь никого не кидали, но совсем не знают о псковской, русской Красухе? Почему даже советские публицисты непременно оснастят свои статьи названиями Лидице и Орадур, но о Красухе не вспомнят?» Он думал о том, что вот здесь, на каменистой северной земле, под этим мягко-голубым, светлым, высоким северным небом, где в далекие века рождалось могучее русское государство, должен бы ежегодно исполняться какой-то очень волнующий сердца и чувства народный гимн: что для исполнения его на месте гибели двухсот восьмидесяти верных Родине советских людей должны съезжаться лучшие голоса страны; не по церквам бы, в дыму свечей и ладана, петь иным знаменитым русским тенорам, а вот здесь, над пеплом геройски и мученически павших голубоглазых и русоволосых псковичей и псковитянок.

– Из всех из них,– услышал он голос редактора,– осталась в живых одна Мария Лукинична Павлова. Случайно осталась. Раненная, свалилась под пол, под сырую солому. Но двое ее детей были брошены в огонь. Представляете?

Трудно это было представить во всей жестокой действительности, и потому люди молчали.

– А кто автор памятника? – спросил наконец один из скульпторов.

– Совсем молодой автор,– ответил редактор.– Девушка. Это ее дипломная работа. У нее у самой три брата погибли в боях Отечественной войны, а сестру

немцы угнали в Германию.

– Вот и видно, что тема прошла через сердце человека,– сказал кубанец. – С холодным сердцем такого не создашь. Можно нагромоздить мечей, щитов и прочего реквизита, раздуть в несусветных масштабах, и все равно те груды камня и металла не будут затрагивать душу, не будут волновать. А тут… Да… Спасибо автору, земной ей поклон!

Булатова интересовало, известны ли имена тех, кто учинил расправу над красухинцами, понесли ли палачи наказание. Кое-кого, как рассказал редактор, изловили. Но главные-то преступники скрылись, сидят в ФРГ и лелеют мечту о новых, более успешных походах на Восток по дорогам, облюбованным еще их далекими предками, псами-рыцарями, битыми на Чудском озере, неподалеку от Пскова.

Приезжим захотелось побывать на знаменитых местах Псковщины. Хозяева дали им и такую возможность. К рыбакам? Пожалуйста, к рыбакам. К Вороньему камню? Вот вам Вороний камень, точнее, то место. где он должен бы быть, но не то рассыпался от времени, не то ушел на дно озера. Труворова могила? Вот и она близ обомшелых Изборских стен.

Долго ходили по дворам Псково-Печорского монастыря. Многие о нем кое-что знали. Знали, например, о том, какую неприглядную роль святые отцы сыграли во время войны, истово сотрудничая с немцами.

– Вот кто мог бы порассказать о виновниках трагедии Красухи, – сказал Булатов, указывая глазами на типов, сновавших вокруг в черных монашеских одеждах. – Но они. конечно, немы, как рыбы, и глухи, как булыжники монастырских стен.

36

Порция Браун расхаживала по мастерской Свешникова, Липочка цепко рассматривала ее своими пристальными глазами и в мыслях придиралась к каждому движению гостьи. Все-таки эти иностранцы, засевшие в посольствах, представляющие в Москве разные газеты и телеграфные агентства, наезжающие сюда по чьим-то заданиям, нельзя, конечно, сказать – все, но уж очень многие,– все-таки они большие нахалы. Откуда у них этакое самомнение, этакое воображение о своем превосходстве? Почему они так развязны и самодовольны? Посмотрите, как ходит эта мисс! Даже своей походкой, случайно, на ходу забредшего человека, который сейчас и уйдет отсюда, она демонстрирует не то снисходительность к художнику, что-то малюющему под этой стеклянной крышей, не то поощрение сверху вниз, этакое поощрение босса, хозяина, работнику.

Да, у них, у этих зарубежников, много превосходных вещей. Всяких плащей, шуб, кофточек, туфель, платочков, сумочек, которые так нравятся ей, Липочке. Да, она любит красивые вещи, ей приятно быть хорошо одетой. Но почему за это надо расплачиваться унижением? Да, да, унижением, потому что, принимая услуги иностранцев, причем вот именно такие, связанные с меркантильностью, как ни говори, а унижаешься, делаешься каким-то очень им

обязанным, зависимым, второстепенным. Идешь во всем красивом, броском, а все равно ты второстепенный, потому что раздобыл это не тем путем, каким его приобретают первосортные.

Вот эта Браун – она одета, в общем-то, в дрянцо. А посмотрите, какая самодержавная стать и походка, будто американская мисс вся в соболях, горностаях и бриллиантах!

За ней на вялых ногах ходит ее, Липочкин, Антонин, художник Свешников. Просто обидно, что он такой вялый и бледный перед этой мадамой, нисколько не энергичный.

Обычно Липочку не тяготило то, что все организационные дела в семье лежали полностью на ней. Ничего не поделаешь – художник есть художник, он мыслит образами, цветом, светом, у него глаза другие, чем у иных, и мир его совсем другой. Липочка платила за все, за что надо было платить, приобретала необходимое, распоряжалась ремонтами и перестройками, с кем надо связывалась, с кем надо встречалась. Близким своим друзьям она вполушутку-вполусерьез говаривала: «Главный мужик в нашем доме – я, а главная баба – Антонин». Ия как-то ей сказала: «Ты не права, Липа, ты его держишь под колпаком, он у тебя существует, как коза на веревке вокруг вбитого колышка. Ни ты, ни он поэтому несвободны, это может начать тяготить вас, и тогда будет беда». Но у Ийки понятия свободы своеобразные, на них равняться нельзя. Пусть коза, пусть веревка, пусть она, Липочка, пастушка. Лишь бы ему работалось.

Иногда все же хотелось бы, чтобы Антонин заявил о себе, проявил бы мужскую решительность. Хотелось бы не его заслонять собою, а побыть за его спиной. Вот не таскался бы он сейчас за американской фрей, а что-нибудь бы сказал такое внушительное, веское, отчего фря была бы поставлена на должное место, а он бы возвышался над нею, превосходил ее, торжествовал.

– Да,– сказала, садясь на стул, мисс Браун и вытащила из сумочки пачку сигарет и ронсоновскую газовую зажигалку.– Безусловно, надо устроить выставку. Как же это сделать? – Она наморщила лоб, глубоко затянулась сигаретой. – Совсем не обязательно, чтобы это было в рамках Союза художников, под эгидой всяких управлений и главков. Это могут сделать ваши друзья. Ваша жена. – Порция Браун благосклонно, обласкивая глазами, взглянула на Липочку. – Тут нужна решимость и больше ничего. Фойе любого кинотеатра или клуба. У вас в Москве много дворцов культуры при заводах и крупных учреждениях. Что тут такого – молодой художник развесит по стенам несколько десятков работ! Приходят друзья, знакомые, почитатели. Вернисаж. Пресса. Я не отвечаю за вашу, советскую, а западная, свободная, можете мне поверить, создаст должное паблисити.

Ни сам Свешников, ни Липочка ничего определенного ответить ей не могли, оба мямлили, мялись, улыбались. Она ушла, одарив их еще одной ободряющей и поощряющей царственной улыбкой, сказав на прощание, что посоветуется со своими московскими друзьями. Уже вечером она звонила по телефону о том, что все-все в порядке: поэт Богородицкий и другие известные деятели советской культуры разделяют идею выставки работ Свешникова, что

скорей всего это будет в одном из домов культуры, об этом уже договариваются, что завтра же она снова приедет в мастерскую, надо начать отбор полотен для выставки, составить список, где и у кого они находятся, взять их там на время – дел, как видите, господа, очень много, и с ними нельзя медлить.

– Тоник,– сказала Липочка.– Нам, очевидно, тоже надо посоветоваться с друзьями, и, очевидно, нельзя с этим тянуть. А то нас завертит какой-нибудь водоворот, не скоро из него выплывешь. Эта дама чересчур энергична. Я, пожалуй, съезжу к Ие. Она, ты знаешь, и сама не дура, и у нее знакомства…

Ия при распахнутом во двор окне стучала на машинке. Она была лишь в трусах и в лифчике. Как на пляже.

– В честь чего это ты? – удивилась Липочка, разглядывая завидную фигуру Ии, пока та доставала из-за шкафа легкий халатик.– Неужели тебе так жарко?

– Да, знаешь, жарковато. В Москве нынче, как в Сахаре. По радио сообщали, что такой жары не было восемьдесят с чем-то лет. А главное – посмотри туда. Видишь окно? Вон там, на четвертом этаже…

– Вижу.

– Там один старый идиот сидит с подзорной трубой. Окно, заметь, темное. Он гасит свет и глазеет на меня. Жена в это время на кухне жарит котлеты. У них бывают жуткие побоища, когда она ловит его возле трубы. Он по всем окнам шарит, не я одна в поле его зрения.

– А ты бы задернула занавеску.

– Зачем! Пусть его. Ты не представляешь, какие у них изумительные свары.

– Ия, на тебя это совсем не похоже. Ты же добрая.

– К идиотам? Нет.

Они посидели, поспорили так. В конце концов Ия задернула занавеску. Липочка заговорила о своем.

– Неужели ты ничего не понимаешь, Липа! – ответила, выслушав ее, Ия. – Если они, такие, предлагают помощь, то, значит, это им почему-то выгодно. Им нужен очередной скандальчик, возле которого они погреют руки. Вот и вся механика. А скандал они раздуть сумеют, был бы повод. Уже сколько такого всякого было! Не хватает, чтобы и вы с Антониной впутались. Знаешь, я посоветуюсь с Булатовым. Если удастся.

– С Булатовым? – Липочка ошеломленно смотрела на Ию.

– Да, а что?

– Но он же…

– Ах, сейчас начнутся эпитеты, почерпнутые у «Немецкой волны»! Не будь, Липа, дурой. Вас там всех, в вашем мире искусств, друг на друга ловко натравливают эти зарубежные борцы за советское искусство. Каждый такой эпитет, прилипший к тому или иному писателю, художнику, музыканту,– это их успех, их победа, и они наверняка получают за это по таксе. Если укоренилось мнение о Булатове, что он рутинер, сто долларов, если сталинист, – пятьсот, если еще в юности, проявив каннибальские наклонности, съел отца,– уже целую тысячу. Если будет сформулировано, что молодой

художник Свешников – фрондер, мисс Браун заработает себе на норковую шубу. Сейчас, кстати, от этих норок все ошалели, и, если на тебе ее к зиме не будет, ты, Липочка, не человек, с тобой порядочные здороваться перестанут. И чтобы хоть как-то отделяться от вашей братии порядочных, я сошью себе из барана, из обычного барана, да-да, и выйду на перекрестки улицы Горького.

– Тебе можно.– Липочка вздохнула.– Ты даже и без всего, а вон телескопы на тебя наводят.

– Так вот,– заключила Ия,– завтра посидите дома, а я, если смогу, привезу к вам Булатова. И мы сообща все решим. Так?

– Уж не знаю,– тянула Липочка.

– А я знаю. Так! Пошли! Ты можешь катить домой. А я отправлюсь в телефонную будку. Но только учтите с Антониной: ничего этой змее, если она нас опередит, определенного, никаких согласий и обещаний. Они расстались на углу. Ия вошла в будку автомата.

– Василия Петровича? – ответил ей уже знакомый женский голос. – По весьма приятному контральто я вас, кажется, научилась узнавать, милочка. Увы, его нет дома. Должна вас огорчить. И не льстите себя, пожалуйста, надеждой, что вы единственная, с кем он проводит время. Не льстите. – Трубка была повешена. Звучали короткие гудки.

Чего же тут льстить или не льстить! Не за препровождением времени обращается она на этот раз к писателю Булатову. А за очень и очень важным общественным, а может быть, и государственным делом. Если он способен был заниматься тем. чтобы помочь советской женщине вырваться из Турина, куда ее занесла нелегкая, то судьба художника Свешникова – дело нисколько не менее важное.

Ия решила доехать до дома, где жил Булатов, и самым вульгарным образом, как делают истеричные почитательницы знаменитых теноров, дождаться его у подъезда. Когда бы он ни вернулся оттуда, где он не только с ней проводит свое время.

Улица была вся каменная, без палисадников, без скверików, в которых можно было бы найти скамейку. Ия ходила и ходила по тротуару, постукивая каблуками и чувствуя, как у нее все тяжелеют и тяжелеют ноги. Эта однообразная, размеренная ходьба неимоверно утомительна.

Булатов подъехал, когда у нее уже шумело и стучало в голове. Она как-то странно дернулась навстречу ему, вышедшему из машины, и невольно вспомнила утверждение одного американского профессора: «Усталый человек – безумный человек». Да, усталость делает человека не совсем нормальным. Он вял, недееспособен, раздражителен, даже злобен. Ия чувствовала, что в этот момент она и на самом деле совсем не такая, какой бы ей надо было быть.

– Ия?! – сказал Булатов. Он все еще не отвык удивляться ее неожиданным появлениям.

– Представьте, Василий Петрович, я. Но такая, которая уже не в силах стоять на ногах. Можно сесть в вашу машину?

– Пожалуйста! – Он вновь отомкнул замкнутую было дверцу «Волги».

– Я разгуливаю здесь третий час. По камням. На каблуках.

Она села, выпрямила ноги и почувствовала такое облегчение, такое блаженство, что даже зажмурилась от удовольствия, от радости. «Вот сейчас, скоро, через несколько минут, я уже буду совсем другая, не затасканная кляча».

И в самом деле, посидев под его молчаливо вопрошающим взглядом, она заговорила:

– Не пугайтесь, Василий Петрович, на этот раз ничего личного. И это даже не скрытый повод для того, чтобы побыть с вами. Дело вот в чем… – И она стала пересказывать все, что ей рассказала Липочка. – Понимаете, Василий Петрович, у меня ощущение, что тут хотят погреть руки. А вы как думаете?

– Представьте себе, так же, Ия. Вы правы, и вы правильно сделали, что так остро отреагировали на эту историю. Беда наша в том, что мы ко многому пригляделись и стали спокойно проходить мимо такого, которое бы лет пятнадцать-двадцать назад нас спокойными не оставляло. Кто-то там другой все должен видеть, а только не мы. Там, мол, умнее нас люди есть, им виднее, им карты в руки. Вы молодец. Только не знаю, как сам Свешников к моему участию отнесется. А впрочем, это не важно, как он. Важно, как мы с вами. Ну что же, завтра, считаете, надо поехать.

– Да, завтра, Василий Петрович. И хорошо бы прямо с утра. Та американская баба не дремлет. Она очень деловая дрянь. Я познакомилась с ней у отчима на рауте. Пронзительная. – Видя, что он собирается включать мотор, Ия почти закричала: – Нет, нет, я сама, сама доеду! На метро. Вам и так достанется. Я же звонила вам и кое-что выслушала в порядке назидания.

– Что же именно? – Он все-таки включил мотор и прислушивался к его работе.

– Я не сплетница,– ответила Ия, смиряясь с тем, что ее все же до везут до дому. – Между прочим, – сказала она, стараясь сделать это как можно безразличней,– что-то о вас не слышно в последние дни: ни по радио, ни в газетах – нигде.

– В Псков ездил с товарищами. Несколько чудесных дней.

Ия молча завидовала тем, с кем провел в Пскове эти несколько дней Булатов. До чего бы ей хотелось побывать там вместе с ним!

Назавтра, оставив машину на улице, они через двор шли к мастерской Свешникова.

– А что, если она уже там? – волновалась Ия.

– Ну и что? Объяснимся. Вам она знакома, но и мне тоже.

Порции Браун в мастерской не было. Свешниковы встретили Булатова настороженно. Особенно Липочка. Она смотрела на него исподлобья, сторонилась, держалась на расстоянии. Свешников хотя и подал руку, но растерянно, деланно, неуклюже.

Булатов сел, окинул взглядом стены, улыбнулся той открытой, понимающей улыбкой, которую так любила Ия, и сказал:

– Может быть, мой и ваш молодой друг Ия натворила бед, притащив меня к вам, незваного, и, может быть, вам совершенно ни к чему мое у вас появление, но, дорогие товарищи Свешниковы, в той ситуации, в какую вас хотят втянуть, не стоит отмахиваться ни от кого, протягивающего руку.

– Но мы и сами не дадим себя втянуть.– сказал Свешников. – Ко мне, знаете, приходили – письмо какое-то требовали подписать. Я не стал подписывать. Вы, может быть, не знаете моей биографии?

– Знаю, Антонин Иоакимович, знаю. – Булатов снова улыбнулся. – И если быть честным, в последнее время слежу за вашим творчеством и далеко не все ваши деяния одобряю. У меня о вас даже как-то был разговор с молодыми рабочими на одном московском заводе. Очень они вас ругали за то, что вы позволяете хвалить себя западным радиостанциям.

– Я позволяю! Как это я могу позволять или запрещать? – засуетился Свешников. – Они сами!…

– Но вы разве где-нибудь выразили публично свое отношение к этому? Нет же. Ну, народ и делает выводы: нравятся, значит, эти похвалы товарищу Свешникову. Вы такого молодого человека – Феликса Самари на – знаете?

– Росли с ним вместе!

– Он обращался к вам от имени рабочих своего завода с тем, что бы им прийти к вам в мастерскую?

– Да, было, было такое дело. -Ну и что вы ответили?

– Василий Петрович! – воскликнул Свешников.– Меня и так все у нас ругают. А придут еще они, ничего в искусстве не понимающие, начнутся вопросы в духе передовиц… Одна трепка нервов. Ни к чему это.

– А я бы на вашем месте встретился с ними, попытался раскрыть мир, каким вы живете, попытался убедить их в том, что мир этот прекрасен, если он действительно прекрасен. Но для этого надо быть самому убежденным, полностью убежденным в том, что мир твой прекрасен.

– А ваш каков мир? – вдруг резко сказала Липочка. – Вот на вашем, на своем месте? Не на месте Антонина Свешникова.

– То есть что вы хотите сказать, не совсем вас понимаю? – Булатов смотрел в ее синие глубокие глаза, холодные, но красивые. «Это для меня они такие холодные, – думал он.– Наслушалась, начиталась вся кого».

– Что? Да то! – Липочка была непреклонна в своей резкости. – Вы постоянно взываете: служить рабочим и крестьянам, во имя рабочих и крестьян, с точки зрения рабочих и крестьян! А где же в таком рабочекрестьянском мире место нерабочим и некрестьянам? Вот объясните!

– Постараюсь. Но сначала вы мне ответьте на один анкетный вопрос. Вот видите, Иинька, – он обернулся к Ие, – не могу без анкет, вы правы. Так ответьте, пожалуйста, какого вы, граждане дорогие, происхождения? Вот вы! – Он указал на Липочку.

– Пожалуйста! Дед был крестьянином, отец на рыболовном судне в Архангельске работал. Машинистом.

– Прекрасно! А ваши родители, Антонин Иоакимович? Они, я знаю, были разведчиками во время войны, а происхождение, происхождение?

– Дед – сельский священник, а его сын, мой отец, вот чекист. Бабка – крестьянка.

– О том, как вы с ней пробирались из-под Порхова в Ленинград, мне кто-то рассказывал,– сказал Булатов.– Вернемся к деду. Священник, говорите. А его

отец, то есть ваш прадед?

– Не знаю. Возможно, тоже поп. А может быть, и крестьянин.

– Это, откровенно говоря, затрудняет дальнейшие рассуждения. Все мы, здесь собравшиеся, оказались… Я, кстати, тоже крестьянского корня… Вот, кажется, только Ия из рабочего класса… Точнее, ее отец.

– Дед,– сказала Ия.– Отец после школы пошел прямо в военное училище.

– Да, это осложняет дело. Но все равно, попробуем разобраться. Рабочие и крестьяне производят все материальные ценности на земле, без которых духовная жизнь была бы просто невозможна, ее бы не было. В старые времена… да и сейчас в капиталистическом мире… вопрос решался и решается так: удел одних – производить хлеб и прочее, а другие, пользуясь этим, лишь мыслят, лишь истончают свои чувства, изощряются в искусствах, гурманствуют духовно, живут жизнью обеспеченной за счет труда других. Марксизм и марксисты требуют: долой эту чудовищную несправедливость, тот, кто производит блага жизни, тот ее и хозяин, подлинный хозяин, и отсюда ведется весь счет, от этой отметки.

– Ну так, а мы-то куда? – не выдержала Липочка.

– Вы-то или, вернее, мы-то? – Булатов посмотрел на нее.– А мы, если мы люди порядочные, должны все свои силы приложить к тому, чтобы такая несправедливость, когда одни везут, а другие погоняют, на земле кончилась бы, как кончилась она у нас в стране. Разве не захватывающее дело – служить тому, чтобы и рабочие наши и крестьяне в изобилии получали духовную пищу, пользовались бы всеми духовными благами, накопленными человечеством?

– Вот видите – служить! – сказала Липочка.– Мы, оказывается, должны только служить. Где же тогда равноправие?

– Да, служить, служить! – сказал Булатов. – Ничего не поделаешь. Не мы с вами выращиваем хлеб. А они, труженики. Выращивайте его сами, и никому служить не будете. С головы-то на ноги все встало. Раньше было по-другому. Было и ушло. Можешь – выращивай хлеб, к другому тянет – не забывай, чей хлеб ешь. Когда ты ощутишь всю историческую важность служения классам творцов, то ты будешь делать это с радостью, оно станет делом твоей жизни.

– А если не ощутишь? – Липочка не могла успокоиться.

– Вот тогда возникает конфликт с временем, с классами, с историей, с исторической неизбежностью. Вот тогда вам захочется тех порядков, какие существовали у нас до семнадцатого года, или тех, которые пока еще сохраняются в буржуазном мире. Начинаются вопли о несвободности творчества, вздохи: о том, что нам-де не хватает демократии. А затем появляется Порция Браун. Кстати, она уже идет, вон там, во дворе! – Булатов смотрел в окно.

На звонок отворила Липочка. Войдя, Порция Браун скользнула взглядом по лицу Булатова, еще раз взглянула и еще раз.

– Да, да, мисс Браун,– сказал он. поняв ее взгляды.– Вы не ошиблись. Это я.

– О! – Порция Браун улыбнулась весьма кислой улыбкой. – Какая встреча, господин Булатов!

– Она вас, вижу, не слишком радует.

– Нет, почему же?

– Хотя бы уж потому, что, видимо, всегда неприятно встречаться во второй раз с человеком, которого после первой встречи оболжешь и будешь знать, что ему об этом известно.

– О, господин Булатов, вы имеете в виду ту статью? Но мы же западная, свободная пресса. У нас так принято: мы не только расточаем комплименты, мы говорим все, что думаем. У нас свобода.

– Свобода врать, клеветать, шельмовать? Мне казалось, что свобода тогда свобода, когда ты уверен, что тебя не опакостят, не оболгут. А что за свобода, если ты все время должен ходить с кастетом в кармане и ждать встречи вот с такими, как вы, мисс Браун? Уж простите за прямоту, за свободу открыто выражать свое мнение. Вы не читали этой статейки мисс Браун? – Булатов обратился к Свешниковым.– Поразительная статейка! Мисс несколько лет назад провела в разговорах со мной три или четыре часа. Я полагал, что имею дело с леди…

– Господин Булатов! – Порция Браун вся натянулась, как струна, вскинула голову. – Вы забываетесь!

– Нет, что вы, у меня прекрасная память. Она, товарищи, до того дописалась… Ну, что я каннибал, перекусываю горла и прочее – это само собой, это для нее мелочь. Нет, она дописалась даже до того, что, прощаясь с ней, я, дескать, похлопал ее по некой части организма… До чего, мол, дремуч и почвенен сей догматик. Чтобы, милая мисс, на этот раз вы написали правду, я на самом деле это сделаю. Аванс, как говорится, был даден. – И Булатов слегка хлопнул ее пониже спины. – Вот теперь все на месте: что было, то было.

Мисс Браун размахнулась, стараясь, надо полагать, влепить историческую пощечину, рассказ о которой пошел бы во все западные газеты под аршинными заголовками. Но Булатов ловко поймал ее руку.

– Зачем же так волноваться, мадам? Вас совсем не волновало, когда вы подобную ситуацию изображали с помощью чернил. За описание этого вы спокойненько получили гонорар.

– Я буду жаловаться! Я пойду к нашему послу! Я добьюсь приема в Верховном Совете!

Булатов смеялся. И, как ни странно, не могла удержать восторженной улыбки и Липочка. Ие показалось, что это уже чересчур, то, что сделал Булатов, это ни для его возраста, ни для его положения. А Свешников нервно потирал руки.

Мисс Браун бросилась к дверям, ее не удерживали. Она двинула дверью изо всех сил, дверь выстрелила, как из пушки.

– Что вы на все на это, товарищи, скажете? – спросил Булатов, сам немало смущенный своим неожиданным жестом, сделанным под влиянием минутного импульса. – У вас нет рюмки чего-нибудь?

– Сейчас, сейчас, все будет!

Липочка кинулась накрывать на стол. Бутылки, графины, банки консервов.

Свешников чесал за ухом, ухмыляясь.

– А в общем, вы ее здорово, Василий Петрович! Может быть, так и надо, а? А то мы все как-то благостно… Диалог двух систем… В духе взаимного понимания, сердечности и так далее. А она действительно описала это в своей статье? Ну скажите, пожалуйста!

Ия смотрела на Булатова все более и более строгим взглядом. Ей было обидно, что он сделал так; та шкура недостойна была этого; он не должен был ее касаться, не должен. У нее даже слезы выбились из-под ресниц. Она почувствовала их и незаметно для других стерла пальцем.

– Да. да,– сказал Свешников, – собаки они в общем-то. Заглядишься – сожрут. Я тоже за ваше здоровье. Это хорошо, что Ия нас познакомила.

Напряжение первых минут ослабевало, разговор пошел свободней, перебрасываясь с предмета на предмет, хотя никто не забывал того главного, во имя чего и состоялась эта встреча.

– Не надо вам сейчас никакой выставки, дорогой товарищ Свешников, – сказал вдруг Булатов. – Слетится воронье, – он кивнул в сторону двери, в которую полчаса назад выскочила Порция Браун, – начнутся провокации. К чему вам это?

– Но они жмут, они ходят, бегают ко мне!… Не сидеть же нам с Липой запертыми на ключ!

Подумав, Булатов достал из пиджачного кармана большой конверт и начал извлекать из него одну фотографию за другой.

– Всмотритесь,– говорил он, передавая их Антонину и Липочке. – Как, по-вашему, что это? И где?

На фотографиях были запечатленные с разных направлений камни и одинокие березы деревни Красухи, обелиск над братской могилой и скорбная, поразительно живая и впечатляющая фигура женщины, вырубленная из серого гранита.

Свешников схватил снимок и не мог оторвать от него глаз.

– Где поставлен такой памятник? В связи с чем? Когда? Кто автор?

– Если говорить с полной откровенностью,– ответил Булатов,– то его автором должны быть вы, и только вы, и очень жаль, что это не вы. Памятник стоит в псковской деревне Красухе…

– Красуха?! – выкрикнул Свешников.

– Да, Красуха. Та самая Красуха. откуда вы с вашей бабушкой ушли в Ленинград и где начали свою работу среди немецких войск ваши родители, а двумя годами позже разыгралась кровавая трагедия…

Булатов рассказывал о судьбе Красухи, о двухстах восьмидесяти расстрелянных и сожженных. Свешников сидел, опустив голову на руки, слушал, молчал. Было видно, что он и подавлен тем, что слышали его уши, и взволнован до самых скрытых душевных глубин, и одновременно зажжен еще не ясной, но настойчиво разрастающейся беспокойной мыслью, которая уводила его с московского двора, где располагалась его мастерская, туда, на Псковщину, в его далекое, трудное детство.

– Съездили бы,– сказал Булатов. – Посмотрели бы своими глазами. С людьми бы повстречались. Там есть женщина, которая все это пережила и

оказалась единственной, кто вышел живым из этого ада.

– Да, да, – вдруг согласился Свешников. – Замкнем здесь, Липа, все на ключ и поедем. Жива, говорите? И с ней можно встретиться?

37

Дело с разводом все тянулось. Оно было канительное, и Лера постоянно вспоминала спектакль о польской актрисе и советском офицере, которым закон помешал пожениться. Она с еще большим основанием, чем прежде, считала тот закон мудрейшим из мудрейших, а вот другой, который создавал человеку столько препятствий на пути к разводу с ненавистным, чужим человеком, вот этот, конечно же, был, по ее мнению, чудовищным; он-то действительно заслуживал осуждения в пьесах, в кинофильмах, в романах.

Лера не знала законов, не знала бесчисленных строгих правил и инструкций, да и знать их не хотела, и она бы даже не подумала заниматься всей этой бракоразводной пакостью, если бы не Феликс. Он настаивал на том, чтобы она развелась как можно скорее, и они бы тогда поженились. «Конечно, в так называемый дворец бракосочетаний мы с тобой не пойдем,– говорил он ей.– Насколько я тебя уже знаю, ты тоже против пошлостей с фатой, с автомобилями, на которых изображены обручальные кольца, и прочей мещанской требухой. Кто только надумал вытащить это из нафталина? Никаких демонстраций с плакатами и транспарантами как будто бы не было, никаких выступлений масс с требованиями: „Фаты, фаты! Обручальных колец!“ – тоже. Тихонько, по чьей-то единоличной воле, выползло это, подобно клопам из-за старых обоев». И регистрация-то брака, как считал Феликс, в условиях социалистического общества – простая формальность; желающие могут ее соблюдать, а кто не желает, может обойтись и без нее.

«Ну и обойдемся», – согласилась было с его рассуждениями Лера. «Нет, – сказал он, – у нас с тобой тот случай, когда регистрация просто необходима». Феликс хитрил. Он боялся потерять Леру. Лера была для него так хороша и желанна, он так ее полюбил, такую радость принесло ему чувство к ней, что он понял: вот настоящая-то любовь, которая бывает, может быть, раз в жизни. Но Лера. пока она не развелась там и пока не оформлена должными бумагами здесь, была в его глазах еще несвободной, такой, когда кто-то чужой еще может заявлять на нее свои какие-то права. И, кроме того, Феликсу казалось, что при его необъятной любви к ней она-то все еще недостаточно твердо решила все для себя, что она колеблется, сомневается, раздумывает.

Лера знала эти волнения Феликса, он говорил ей о них то и дело, она бы и рада его успокоить, ни о чем больше не раздумывать, поступать только так, как хочет он. Но как же не раздумывать? Как не считаться с действительностью? Во-первых, она не разведена. Во-вторых, Толик. В-третьих, да, да, она на три года его старше. «Значит, ты меня не любишь,– сказал ей Феликс,– если способна вот так спокойненько взвешивать все эти „во-первых“ и „в-третьих“?» «Нет, напротив, это значит, что я тебя люблю! – ответила она ему.– Если бы не любила, то, пожалуйста, на тебе, получай и чужого сына и старую, пожившую

бабу!» Все их встречи стали заканчиваться мучительными перепалками. В довершение ко всему, вместо того чтобы прислать согласие на развод, Спада прислал письмо.

«Развод получишь, – писал он Лере, – когда пройдешь все семь кругов ада. Нет, не думай, твоего полурусского сыночка я у тебя требовать не стану, возьми его себе на память обо мне, об Италии. Нет, не в нем дело. А в том, что и ты и твой Булатов набегаетесь, как у вас там, в Советском Союзе, называют, по инстанциям. Я уже послал письмо в партийный комитет этого ловеласа о том, как он проводил с тобой время в Турине, как подло и нагло законную жену законного мужа таскал к себе в гостиницу, как переманил тебя в Москву, стоптав в хлопотах об этом все свои каблуки. Вы еще повертитесь, покрутитесь с ним перед своей общественностью. Вот когда тебя вместе с ним все оплюют, катись тогда на все четыре стороны, и еще катись…» – Дальше шли целых четыре строки матерщины, омерзительных слов о ней и обращенных к ней. Звучало это так обнаженно грязно, так страшно, что в первые минуты Лере стало физически скверно, сна почувствовала, как на ее лбу, на висках выступили холодные капли. Ее даже шатнуло. Она села на стул. Затем пришла мысль о том, что гадость эту Спада приписал лишь для того, чтобы Лера никому не смогла показать его письмо. Он раскрывается в этом письме во всей своей отвратительной сущности, но попробуй предъяви письмо с такой припиской в суд или в партийный комитет, о котором, помянул Спада! Это же ужас, ужас! И отрезать грязные строки нельзя – не будет подписи.

Лера взяла спички и сожгла листки письма вместе с конвертом. От того, что в доме не стало этих гадостных слов, сделалось легче. Но все же Спада сумел ввести в ее сознание отнимающий силы яд. Как же гнусен был человек, с которым она провела столько лет! Вот как на самом-то деле думал он о ней, с притворной заботой и регламентированной нежностью целуя ее пальцы; такой считал, обнимая, в качестве такой держал в своем доме. Не потому ли столь официальны и прохладны были всегда к ней его родители? Взял, мол, сынок девку на время, поиграется и отправит обратно, откуда взял. Обойдется это им во столько-то тысяч, или сотен тысяч, или даже миллионов лир. Они, такие расчетливые – и родители и их сынок, – наверняка все это давным-давно подсчитали. Интересно, во сколько же она им обошлась?

Лера окинула мыслью жизнь, прожитую с Бенито Спада, с первых букетиков гвоздики в Москве до ежегодных пансионов в Вариготте, до ее поездок на его машине по Ломбардии, Лигурии, Тоскане. Нет, он не разорился, девка, в общем-то, оказалась недорогой. Ни бриллиантов, ни жемчугов не накупала, ни собольих шуб, ни горностаевых палантинов, даже ни транзисторов и ни магнитофонов – несколько платьишек, да туфель, да каких-то блестящих и пестрых мелочей, которые в Советском Союзе носят обобщенное наименование предметов ширпотреба.

Не разорился, не разорился. За что же такая ядовитая злоба, откуда желание причинить боль, исковеркать жизнь не только ей, но еще и ни в чем не повинному человеку– Василию Петровичу Булатову? В памяти перед ней пошли лица могучего Эммануэле, старого, седенького Пьетро, лохматого

Пеппо, Луиджи, композитора Чезаре Аквароне, мечтавшего побывать в Советском Союзе. Все они или делались каменными при упоминании имени Спады, или усмехались, в лучшем случае кривились и, щадя ее, как-то неопределенно кивали. Даше синьора Мария Антониони не скрывала своей неприязни к человеку, который при рождении получил имя в честь Муссолини.

Стояли теплые, ясные летние дни. Но для Леры и Феликса эти дни были наполнены напряжением, волнениями, любовь их была такой трудной, что не хотелось есть, не было сил спать, невозможно было ни на чем сосредоточиться.

– Феликс, – сказала Раиса Алексеевна, с тревогой наблюдавшая за сыном, за его состоянием. – Напрасно ты молчишь, милый. Я понимаю, может быть, не все, но многое. У тебя есть девушка, и у вас с ней что-то неладно. Я же слышу звонки, ваши переговоры, вижу твою нервозность. Ты бы рассказал нам с отцом. Обдумали бы вместе. Ты похудел, даже мало сказать – похудел, отощал просто. Нельзя же так! Вот – Нонна. Вышла замуж и, кажется, довольна. Ты ее давно не видал?

– Давно. И при чем тут Нонна?!

– Это к слову. К тому, что рано или поздно у человека все устраивается, ни из чего не надо делать трагедий. Жизнь идет, и сопротивляться ей незачем.

Феликс невесело усмехнулся.

– Ты, помню, в пристрастии к философии обвиняла папу. А оказывается, и ты философ.

– Судьба родителей, матерей и отцов – нелегкая судьба, Феликс. Кем только не станешь, будучи матерью-то или отцом! Сам узнаешь со временем и поймешь нас. Давай-ка выкладывай все начистоту! Почему ни разу не привел ее домой? Почему прячешь? Чего стесняешься?

– Замужняя она, понимаешь! – в отчаянии выкрикнул Феликс.

– Еще этого не хватало! – Раиса Алексеевна даже руки выставила ладонями вперед, как бы защищаясь от напасти. – Отбивать чужую жену? Феликс!

– Ушла она от мужа. Уехала. Там все кончено. Развода только нет. Понимаешь? – И он с трудом, как бы отламывая слова от своего тела, с болью, чуть ли не со стоном, стал рассказывать Раисе Алексеевне историю Леры.

С грустью слушала Раиса Алексеевна, глядя печальными, любящими глазами на своего такого хорошего, умного, талантливого, но несчастного, очень несчастного сына. Ничего у него не получалось. Ни к искусствам, ни к наукам, как ни старалась она, не приобщился. В аспирантуру не пошел. Жену, хорошую, спокойную, положительную, потерял. И вот тебе – какая-то крым, рым и медные трубы прошедшая особа, и уже с ребенком, и на три года его старше, забрала мальчика в руки так, что он белого света не видит.

– Не знаю, не знаю, – сказала она, выслушав его рассказ, – что уж и посоветовать тебе, дружок. И ребеночек уже есть, значит?

– Какое это имеет значение? Ты не с того начинаешь, мама. Это же отсталый, старый, мещанский взгляд.

– Ну ведь и я не молоденькая. Мне по-другому думать трудно.

– Жаль, мама.

– Нет, нет, ты из моих слов ничего не заключай, – поспешила сказать Раиса Алексеевна. – Дело очень серьезное, Феликс. Давай отца дождемся. У них отчетно-выборное в главке. Видишь, как поздно, а его все нет. Расскажем отцу. Он нас с тобой умнее. Надеюсь, этого ты оспаривать не станешь.

Отец пришел бодрый и веселый.

– Ух, баня была! Одного бюрократа с таким песком чистили – как жив остался, удивляюсь!

– Уж не тебя ли? – с тревогой спросила Раиса Алексеевна.

– А я что, бюрократ, по-твоему? – Сергей Антропович даже вилку отложил– так удивило его это высказывание Раисы Алексеевны. – За все время, что ты меня знаешь, разве были такие сигналы?

– Да нет. не так ты меня понял. Просто сейчас время такое: как человек пожилой, так его непременно в каких-нибудь грехах обвиняют. Время неосмотрительное.

– Ничего, ничего! Очень осмотрительно сегодня шло дело. Моего зама проработали. Доклад выслушали спокойно, прения шли благополучно, вот-вот и конец уже был виден. Вдруг встает одна наша старая работница, еще с довоенных лет в наркомате была, опытная, справедливая, и как давай по моему заму реактивными бить! Все ему выдала: сотрудников он не принимает, ни с кем не советуется, дурацкие отчетности придумал, шофер у него не шофер, а человек на побегушках. Куйбышева вспомнила. Орджоникидзе вспомнила, с которыми она работала. А вы, говорит, молодой, да ранний. Вам еще только тридцать восемь. Что же к пятидесяти из вас сформируется! Бронзой с головы до ног оплывете! Что поднялось! Давно у нас так откровенно не говорили. Каким-то, знаешь, добрым ветром большевизма потянуло! А то в «великое»-то, пережитое нами, десятилетие на людей, как на кнопки, нажимали. А кнопки, как известно, безголосы. Осуждали понятие «винтики». Но винтики работают – они рабочая часть машины. Кнопки же – они и есть кнопки, управленческая деталь.

– Погоди,– сказала Раиса Алексеевна,– ну, а ты? Ты же начальник. Под твоим руководством твой заместитель работает. Ты вместе с ним в ответе. А тебе?…

– Мне, мать, тоже досталось… Я не возражал. Согласен. Виноват, что не трогал этого гуся. Из самых что ни на есть беспринципных соображений. Чтобы не обвинили в том, что молодых зажимаю. Да, мать, да, дал ему до рогу, хотя видел, кто он, и что он, и как ведет себя. Поначалу говорил ему, пытался внушать что-то. А он этак, знаешь, высокомерненько сказал мне раз: «Знаете, Сергей Антропович, давайте условимся не учить друг друга, как жить, как работать». Я и не стал учить. И обо всем этом честно сказал сегодня коммунистам. Меня за это не одобрили, нет. Но ему-то, ему-то всыпали! – Сергей Антропович искренне был доволен тем, как прошло собрание. Он радовался, не скрывая этого. – Ведь только так, прямыми, честными словами, критикой, не взирающей на лица, мы можем всерьез бороться с нашими недостатками и побороть их. Других путей нет.

– А что же с ним будет, с твоим замом? -спросил Феликс.

– Ну что будет! Ничего особенного. Учить его будем. Такая встряска, как сегодня, слона может заставить призадуматься – не то что человека. Не сделает выводов – новый разговор поведем. Важно, что извлекли его из капсюльки неприкосновенности. Такой, знаешь, модный, «шипром» за версту пахнет, набрильянтиненный. Манекен с витрины – как такого тронешь. И вот на тебе! Тронули. Замечательно! Может быть, получится из него человек. Вообще-то малый не без головы. Петрит. Если вот так пальцем укажешь – то-то и то-то, неплохо сделает. А сам… Сам в плену ложных идей и представлений, а потому постоянно буксует на холостом ходу. Не столько пять рабочих дней у него в голове, сколько два выходных. Едва до пятницы дотягивает. А тогда – магнитофончики, пластиночки, буги-вуги…

– А у нас свои беды, – без всяких предисловий сказала Раиса Алексеевна. – Сынок наш в женщину влюбился, которая старше его, замужняя да еще и с ребенком.

– Ну, мама! – запротестовал Феликс. – Если так объяснять, то лучше уж совсем не надо.

– Вот и объясняй сам.

Снова вынужден был рассказывать свою историю с Лерой Феликс. Теперь он се уже сокращал, выбрасывая подробности и то, что считал необязательным говорить отцу.

– Да, – сказал Сергей Антропович. – Беды, конечно, беды! Но в общем-то ничего особенного, мать. В книжках об этом читаешь – кому сочувствуешь? Вот таким, страдающим. Не так, что ли? А когда своей семьи коснулось – прямо-таки беда, да и только. Жизнь. В ней все бывает. Позаковыристей, чем в книжках. Привел бы ты ее сюда, даму своего сердца, показал бы, потолковали бы…

– Вот и я говорю,– подхватила Раиса Алексеевна.– Чего прячешь!

– «Привел»! – сказал Феликс.– Вы очень странно рассуждаете. Да она, может быть, и не пойдет со мной. Еще ничего не ясно. Может быть, она и не согласится быть со мной. Чудаки! Будто я ее спасаю, да? Как в старину, позор покрываю? Позора нет, спасать не от чего. С ней по-хорошему надо, по-настоящему.

Сергей Антропович ерошил свои седые волосы, пропуская их сквозь пальцы.

– Веди по-хорошему, будем по-настоящему. А кто против? – Он окинул всех взглядом. – Кто воздержался? Нет. Принято единогласно. Скажи, что мы приглашаем ее в гости. Совершенно официально. Хочешь, письмо ей напишу?

– Письма не надо. Так передам. Но у нее же…

– С ним пусть и приходит,– догадался Сергей Антропович.– Уж все сразу. Только без того туринского стрекулиста. Он, видать, вроде моего зама штучка. В плену ложных идей и представлений.

– Он просто сволочь, – сказал Феликс.

Сергей Антропович усмехнулся.

– В делах сердечных соперник всегда сволочь. Ты не оригинален, Феликс. Словом, договорились. На воскресенье, что ли?

В воскресенье Феликс с Лерой и с Толиком приехали на дачу электричкой. Сергей Антропович предлагал вызвать машину. Феликс отказался: «Если уж у вас возрождается критика, невзирая на лица, тебе, отец, могут на очередном собрании вполне справедливо сказать: детишек на казенной машине катаешь! Лучше этого не надо. Душа спокойней, не правда ли?»

Уговорить Леру поехать было нелегко. Она почему-то страшилась встречи с родителями Феликса. Она не могла дать себе ясного отчета, почему. Может быть, потому, что все еще не разведена с одним, а уже завязала отношения с другим или что старше Феликса, да вот и Толик?… Как бы там ни было, но путь от электрички до калитки дачи Самариных показался ей тем самым библейским восхождением на Голгофу, которое всегда в таких случаях вспоминают.

И для Самариных минута встречи была полна напряжения: что такое явится сегодня перед ними, и не оказаться бы неловкими с этим соприкоснувшимся с их жизнью неведомым существом, не вспугнуть бы его незаслуженно какой-нибудь пустяковой мелочью, порой вырастающей до катастрофических размеров.

Одно короткое мгновение стояли друг перед другом в молчании приехавшие и встречающие. У Раисы Алексеевны мелко задергалось под глазом. Спокойными были двое: Сергей Антропович и маленький Лерин парнишка с античным именем Бартоломео. Но если для парнишки его спокойствие было совершенно естественным, то Сергей Антропович прилагал усилия для того, чтобы казаться таким. Как там ни говори, а происходило весьма немаловажное событие, от того или иного исхода которого зависит многое.

Но все это лишь мелькнуло.

– Лера,– назвал ее имя Феликс, взяв Леру за локоть, и побледнел еще сильнее.

– А этого молодца как зовут? – Сергей Антропович присел перед мальчишкой, отчего Раиса Алексеевна испугалась: сможет ли подняться сам? Но он не только легко встал, но поднял на руки и Лериного сына. – Как зовут-то тебя, спрашиваю?

– Толик.

– Превосходно. Пошли чай пить. За стол еще не садились.

Ждем вас.

Страшная минута прошла. Дальше было легче.

Расселись за столом. Масло, сыр, варенье стали передвигать друг другу в вазочках и на тарелках. Наливался чай в стаканы и чашки. С криками изгоняли с веранды осу, которая пока лезла только в варенье, но могла полезть и за шиворот кому-нибудь. Сергей Антропович спросил, кто Лера по образованию.

– Историк,– ответила она.– Именно по образованию. Вы правильно спросили. А по специальности, как говорят обычно, никто. Специальности не получила, потому что еще не работала. Так сложилось.

Сергей Антропович затеял разговор об истории, о том, как неустойчива эта

наука, как ее перекраивают все, кому не лень и кто имеет на то власть. Лера согласилась с ним. сказала, что она убедилась в этом на собственном опыте. У них на отделении преподаватели менялись довольно часто, и вот эти меняющиеся люди одни и те же минувшие и даже современные события ухитрялись освещать и преподносить студентам настолько по-разному, что некоторые из оценок были совершенно противоположными. Там, где у одного плюс, у другого получался категорический минус.

День прошел благополучно. Гуляли в лесу, обедали; вечером приехавших провожали на электричку. Как Раисе Алексеевне ни хотелось поговорить с Лерой «начистоту», она сдержалась, тоже понимая важность очень тонкого соблюдения такта при первой встрече.

Когда электричка умчалась, оставшись вдвоем, родители Феликса посмотрели друг на друга глазами, в которых был один и тот же вопрос: «Ну как?»

– А ничего, ничего она, эта молодая особа. Мне понравилась, – сказал Сергей Антропович.

– Мне тоже, – не так решительно, но согласилась и Раиса Алексеевна.

Они шли по лесной тропинке к своей даче.

– Одно все-таки беспокоит,– вновь начала Раиса Алексеевна.

– Разведут, – сказал Сергей Антропович.– Он там, она здесь – кому такой брак нужен?

– Я о другом. Парнишка-то…

– А это уж дело Феликса. Это дело сверхтонкое. И не нам о нем судить.

– А потом у них свой появится. Как Феликс будет относиться к этому, чужому? Хоть человек человеку друг, товарищ и брат, а сердцу не прикажешь: оно еще по старым порядкам живет.

– Возьмем этого к себе, он нас итальянскому языку учить станет.

– Вот смеешься, а вопрос серьезный.

– А кстати, – сказал Сергей Антропович. – Он, видать, итальянского уже и не помнит. Ни словечка не обронил.

– У детей это быстро. За месяд научатся, за месяц и разучатся.

Дальше они шли молча, каждый по-своему обдумывая минувший лень. Лишь войдя в калитку, Сергей Антропович сказал:

– Во всяком случае, мешать Феликсу не надо. Рая. Пусть все идет своим естественным чередом. Отощал, говоришь, – ничего, когда вся эта история уладится, снова отъестся. Будем терпеливы и благоразумны.

38

Порция Браун сходила с ума от ярости. С нею не спорили, ее не упрекали в том, что она неверно, тенденциозно написала о том-то и о том-то, не втягивались ни в какой диалог – ее просто-напросто с усмешкой и даже с обидным снисходительным сожалением хлопнули пониже спины. Нет, такого случая в литературной жизни, в борьбе идеологий еще не было. Об этом,

конечно же, распространится слух, и она будет осмеяна, скомпрометирована. Конкуренты, ее завистники будут говорить о ней: «А, Порция! Это которая получила в Москве по заду?!» Тогда конец, тогда можно уже ни на что не рассчитывать: ни на какие ответственные задания, ни на визы, ни на сверхмерные гонорары.

Хлопнута она была слегка и символически, отпечатка пятерни Булатова на ней не осталось, никаких, естественно, справок о синяках врачебная экспертиза не выдаст, и вообще не в этом дело.

Она уже и себя винила. Это было, правда, очень лихо – напечатать тогда о том, как один из партийных советских писателей, заканчивая с ней беседу, похлопал ее ниже спины. Ее коллеги по кремленологии отлично поняли свеженький приемчик находчивой Порции Браун. Советский писатель представал после этого перед легковерными западными читателями в качестве грубого малого, едва закончившего несколько классов начальной школы; не лишено возможности, что он даже еще и икает во время еды, норовит вытереть пальцы о скатерть, владеть ножом и вилкой, конечно же, не умеет; кто станет считать такого подлинным писателем, кто возьмется читать его сочинения; несомненно, что они столь же грубы и примитивны, как он сам.

Да, конечно, тогда это было сделано ловко. Она помнит, как радовалась, как улыбалась, когда мысль об этом пришла ей в голову. Но теперь… Повторение приема? Нет, это исключено. Люди не дураки, и, как бы она ни изворачивалась, все поймут, что Порция Браун на этот раз попалась в собственную ловушку. Чудовищно!

Знакомый ей малый из посольства, к которому она кинулась было со своим возмущением, сказал, посасывая сигарету:

– Есть три варианта, мисс Браун. Первый: дать ему хорошую пощечину. Получится скандал, вам, конечно, придется уехать, но моральные преимущества окажутся на вашей стороне. Вариант второй до крайности банален: подать в суд. Но, знаете, это тоже славы вам не принесет: смеяться будут. Третий: купить билет и спокойненько уехать по своему почину, не слишком разбалтывая о происшествии.

– Как так уехать, если мы не завершили работу?! У нас контракт, обязательства, авансы, сроки!…

– Ничем не могу помочь. Не хотите ли выпить чего-нибудь?

Она кидалась ко всем, кого считала своими московскими друзьями.

Поэт Богородицкий возмущенно окал, слушая ее, чесал меж лопаток своей широкой спины и под мышками, говорил, что Булатов – нетонкий человек, что от него и не этого ждать можно, он за пределами духа, он в мире материального, неэластичен, прямолинеен: самым правильным будет подать на него заявление, написать бумагу. В конце концов поэт отвез ее к Зародову, в редакцию «Вестника», сказав, что хотя Зародов препаскудный человечишка, преподлейший и способный на любую пакость, но это ничего, в данном случае это как раз есть благо: где не способен порядочный человек, там полезна такая вот рептилия.

Зародов сидел в пустом кабинете на столе, качал ногой и сквозь, пыльные

стекла окон смотрел на московские крыши.

– Булатов! – сказал он.– Это, кажется, писатель? Мое дело, судари мои,– наука. Я считаю, что в дела литературы лучше не лезть: там черт ногу сломит.

На одной из улиц в районе Чистых Прудов Порция Браун подошла к старому четырехэтажному дому, поблизости от которого стоял дом, где когда-то жил Горький, о чем оповещала мемориальная доска, прикрепленная на фасаде. Постояв минуту в раздумье, вспомнив этих увертливых, только собою занятых людишек – Богородицкого с Зародовым, она энергично толкнула дверь в темный подъезд и поднялась к темной двери на третьем этаже.

На звонок ей отворила нечесаная женщина лет шестидесяти, в грязном халате, в стоптанных шлепанцах, без чулок, с лицом серым и сальным.

– Порция! – сказала она по-французски. – Наконец-то! Читала в «Вечерке», что вы в Москве. Все ждала.

– Ах, Жанна Матвеевна, столько дел, столько дел! Вроде бы и провинция ваша Москва, а попадешь сюда – с ног сбиваешься. Так все суматошно, неорганизованно!

Хозяйка тем временем вела гостью через темный коридор к своей комнате. Комната была завалена хламом, заставлена цветочными горшками, клетками с птицами. Пахло пылью, этими клетками, грязью. Во всех углах виднелись пишущие машинки в футлярах. Их было не менее десятка, и это не удивило гостью; она была здесь не один раз и давно знала, что хозяйкины машинки имеют не только русский шрифт, но и латинский, арабский, еврейский и еще несколько каких-то, вплоть, кажется, до китайского. Среди хлама на столах и столиках можно было обнаружить дыроколы для бумаг, скоросшиватели, флаконы разных – жидких и густых – клеев, чернил и туши любого цвета.

Жанночка, как принято было называть эту старую грязнулю, из дому почти никуда и никогда не выходила – только разве в соседние лавочки за продуктами, но все и всегда знала. Она слушала радио десятков стран, у нее было несколько транзисторных приемников, принимающих и сверхкороткие волны и сверхдлинные: каждый день соседская девчонка за весьма скромную плату бегала для нее по газетным киоскам гостиниц «Интуриста» и приносила свежие номера итальянской «Униты», французской «Юманите», английской «Морнинг стар», различных газет Чехословакии, Югославии и всякие другие зарубежные издания, какие только попадутся. Она стенографировала радиопередачи, она делала вырезки из газет и журналов, все это тщательно, ловко, умело систематизировала, подбирала по темам. Зачем? Не ради простого любопытства, нет. В таких материалах нуждались научные работники, литературоведы, международники. То, что они не могли получить в ТАСС или АПН, они получали у Жанночки. Ее адрес сообщался только самым верным, самым надежным людям и под строгим секретом. У нее можно было найти копии стенограмм, скажем, закрытых секретариатов Союза писателей, на которых обсуждалось что-либо такое, что писатели считали сугубо своим внутренним делом, записи некоторых судебных процессов, даже бесед с кем-либо в руководящих партийных сферах. Как такие материалы попадали к ней, Жанна Матвеевна не рассказывала, да ее об этом и не спрашивали. Она

могла ссудить – для прочтения или насовсем – машинописную копию какого-нибудь скандального произведения, которое все редакции Советского Союза отказались публиковать по причине его идейной и художественной недоброкачественности, размноженный текст скандальной речи то ли литератора, то ли кинорежиссера, то ли научного работника.

А еще Жанночка могла и такое, за чем, собственно, к ней и пожаловала мисс Порция Браун.

– Садитесь, садитесь, голубушка! – приглашала хозяйка гостью в пыльное, обитое разлезшимся, размочаленным штофом кресло. – Похорошели вы, похорошели! Все молодеете. Чего не скажешь обо мне, дорогая. Во – ноги опухли! – Она распахнула полу халата, показывая бревноподобную, страшную ногу.– Еле хожу. Чайку не желаете ли? Можно чайник воткнуть, вон за вашей спиной розетка.

– Нет, нет, спасибо.

– Ну тогда приступим к делу. Без дела-то ко мне, просто посидеть, никто не ходит. Понимаю: старая баба, грязь вокруг, птицы орут. Бедлам. А я привыкла. Убери это все, очисть – и можете в гроб меня укладывать. Так чего надо?

– Булатова знаете, конечно, Жанна Матвеевна?

– Булатова? Хм! – Еще бы ей да не знать Булатова. Полное досье на этого типа заведено у Жанны Матвеевны. Все западные передачи о нем и о его сочинениях, все анекдоты, все сплетни собраны у нее, сняты копии с автобиографии, с анкетных листков, уложены в папку подлинные булатовские письма, не предназначенные никому иному, только адресату, да вот ушедшие из рук адресата; есть разные записочки. Все есть о Булатове, все! Десятки, многие десятки анонимок сочинила Жанна Матвеевна по заказу клиентуры на этого Булатова. И ему самому были писаны письма, и его жене, и в любые высокие инстанции о нем. Жанна Матвеевна владела великим даром так перемешивать факты действительности с ее собственными измышлениями или с измышлениями заказчиков, что письменные Жанночкины «сигналы» приобретали от этого полное правдоподобие, от них нелегко было отмахнуться. В жизни Булатова было немало таких полос, когда его давние и, как ему думалось, добрые знакомые вдруг начинали смотреть на него холодно, здороваться сухо, встреч избегать. Когда вдруг в тех организациях, где он постоянно бывал, где актив но работал, его фамилию начинали вычеркивать из различных списков, и тогда он ощущал вдруг какую-то изолированность от окружавшей его общественной жизни. Никому и в голову не могло прийти, что в немалой мере это было результатом неутомимой деятельности нечесаной, немытой Жанночки, образцово и талантливо выполнившей чей-то заказ.

Жанночка не была бесталанна. Когда-то она окончила университет, защитила диссертацию, стала кандидатом наук. Она слыла тогда ортодоксом, произносила на собраниях самые правильные речи, уж такие правильные, что всех от этих ее речей коробило. Позже она запуталась в общественных ориентирах и сочла за благо устроить свою жизнь на иных началах. Ходьба в должность, как она называла повседневную работу, ее уже не устраивала. Там

ты все время на виду у людей; хочешь не хочешь, а должна с ними считаться, приноравливаться к ним, зависеть от них. Нет ничего выше и сладостней свободы! Жанночка знала множество языков и могла с любого из них стенографировать; она печатала на любых машинках, могла писать любыми почерками – от примитивно-детских до сверх-интеллектуальных, профессорских. Ей не надо было, как это делают анонимщики-кустари, приглашать соседского десятилетнего Ваську или еще более юную Лялечку, дабы сочиненную взрослыми гнусь перенести детской рукой на страничку линованной тетрадной бумаги. При выполнении заказов Жанночка не шла на то, чтобы подписывать анонимки по-старомодному: «Доброжелатель» или «Ваш друг». Сочинялся очень достоверный адрес: Сыктывкар, скажем, Анадырь, Южно-Сахалинск, с улицей, номером дома, квартиры – в расчете, что в такой дали никто не станет проверять подлинность автора письма. Глупо, считала она, бросать письма в ящики тех районов Москвы, где живут возможные анонимщики. Письма должны сходиться в Москву из разных концов страны. У Жанночки было несколько верных помощников, которые могли скатать пригородным поездом до Серпухова или до Клина и бросить письма там. Причем не на вокзалах следовало бросать, а надо было сходить для этого на городскую почту: вокзальные штемпеля все-таки вызывают подозрение. С Анадырем и Южно-Сахалинском было, естественно, сложнее. Для этого существовал старый Жанночкин приятель, которого, несмотря на его шестидесятилетний возраст, все звали Петюней. Аккуратненький, чистенький, благообразный, он служил бухгалтером в одной из всесоюзных снабженческих организаций, в которую со всех концов страны приезжали командировочные. Петюня, выдававший себя за страстного филателиста, вручая им то или иное письмецо, просил: «Штемпелечек вашего города ценно будет получить одному из моих коллег. Опустите там у вас в ящичек». И люди, снисходя к человеческой слабости товарища бухгалтера, к его хобби, опускали. И ядовитое письмецо, расцвеченное красивыми почтовыми марками, шло куда надо было Жанночкиным заказчикам.

Многое могла всесильная Жанна Матвеевна, многое!

– Булатов! – говорила она.– Известная личность. Что у него там новенького?

Обе они, и Жанна Матвеевна и Порция Браун, были негодяйками: они не стеснялись друг друга, и никаких декораций им было не надо.

– Путается с одной молодой особой по имени Ия, по фамилии Паладьина. Образ жизни этой особы весьма сомнителен. Занимается переводами из нелегальной иностранной литературы. – Порция Браун сообщала Жанночке сведения, которые ей удалось выудить у болтливого Иного брата Геннадия.

– Все? – Жанна Матвеевна ждала продолжения. Но его не было. – Жидковато, мисс Браун.

– Да. я понимаю. Но что делать?

– Надо творить. Надо вот что! Надо с болью душевной, с благородным партийным возмущением открыть на него глаза тем, которые наверху. Они его читают, они ему верят. Надо им показать подлинное его лицо.

– То есть?

– Пишет он, скажем, о бюрократах?

– Пишет.

– Это мы должны представить так, будто за, его литературным героем стоит подлинное лицо. И кто именно. Понимаете? Дескать, Булатов пишет как бы и о колхозе, а в виду-то имеет… ну министерство, что ли, или и повыше что. Я не могу вам вот так сразу сейчас все и выложить. Это требует изучения, обдумывания. Но в конце концов может получиться здорово. Этакий, знаете ли, правоверный большевик, и вдруг вульгарный Эзоп, трусливый критикан, наносящий удары из-за угла. Прозвучит, уве ряю вас!

– Но это бы надо быстро, очень быстро.

– Приходите завтра вечером. Вы с какой нынче валюткой прибыли – с долларами, с фунтами, марками? Впрочем, это все равно. Притащите из валютного магазина парочку бутылок джина да парочку виски. Крабов там каких-нибудь, икорки. Посидим завтра, и я надеюсь вам уже продемонстрировать тогда проектец взволнованного, отнюдь не злопыхательского письмеца, этакого с болью в сердце за великое общее дело. – Жанна Матвеевна нагнулась, пошарила рукой под столиком, вытащила из-под него полупорожнюю квадратную бутылку лондонского джина «Биф итер» с яркой наклейкой и проколотую в двух местах на крышке жестянку с лимонным соком. – Тоника нет, приходится разбавлять этой кислятиной. А что делать? Давайте по стопочке, по самой единой, за благополучное исполнение нашего начинания.

Она налила не в слишком чистые стопки, Порции Браун было противно пить в такой обстановке, но все же она пригубила из поданной ей стопки. А Жанночка свою ахнула одним духом.

– Обожаю джин! Недаром в Англии его называют «маминым разорением». Я понимаю английских женщин.– Она налила себе снова, уже нисколько не добавляя соку.

Хмель ее взял быстро.

– Мисс Порция! – Она хлопнула гостью по выставленному из-под короткой юбки колену.– Мы друг друга знаем и понимаем. Но все-таки, думается, вы не слишком верно судите обо мне. То, что я делаю, требует громадных знаний и порядочного-таки интеллекта. Это не стряпня. И училась и учусь я не на заурядном материале. – Она протянула руку к груде книг, сваленных возле ее кресла, взяла одну, раскрыла на бумажной закладке. – Послушайте, пожалуйста: «Вчера был на собрании „среды“. Много было „молодых“. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямотой суждений…» И так далее. Давайте разберем прочитанное. Надо полагать, помянутый здесь Маяковский вел себя, как все, но высказывался с обычной для него убежденностью, то есть Маяковский был Маяковским. А смотрите, как тонко сделано! «В общем, довольно пристойно». В этом многое скрыто. Обычно о человеке так говорить не станут. А если говорят, то это означает, что он уже на подозрении: дескать, мог вести себя и непристойно, он такой, но вот

почему-то в данном случае вел себя ничего, терпимо. «Хотя» – смотрите! – «хотя» «с какой-то хамской независимостью». Просто сказать с «хамской независимостью» пишущий не может, потому что это будет чересчур неверным. А вот добавка с «какой-то» все меняет. Есть независимость, свойственная Маяковскому. Ее можно назвать «какой-то», а тогда и «хамская» проскочит. А прямота, знаменитая прямота Маяковского – она же далеко, очень далеко не всем была свойственна и доступна в литературном мирке того времени, ей завидовали и за эту свою зависть не терпели его. И вот вам – «стоеросовая». А почему? И что это значит? Чем обычная прямота отличается от стоеросовой? А в итоге такого описания перед вами весьма непривлекательный образ. «Ну и Маяковский!» – скажут прочитавшие это. А если и не скажут, то на сознание, помимо воли, отложится такой вот контур: в общем, довольно пристойно, но хамовато и стоеросово.

– Что это за книга? – спросила Порция Браун.

– Она вам известна, дорогая. «Окаянные дни» господина Бунина. Запись от пятого февраля восемнадцатого года. – Жанночка полистала странички. – А вот вам от второго марта: «Новая литературная новость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то „музыкальная табакерка“ – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал „Гаврилиаду“, произнося все, что заменено многоточиями, полностью».– Тоже, как видите, очень ловко. Сажаются Алексей Толстой и Валерий Брюсов, очень неугодные и неприятные автору записи за несколько иное, чем у него, отношение к революции, сажаются среди такой вот компании. Толстой назван при этом «Алешкой», после имени Брюсова идет обобщающее его с какой-то шушерой «и так далее» – и в итоге этих неприятий автора на неприятных ему людях уже налет чего-то явно порочного. А еще и «Гаврилиада» полностью, без многоточий! Страховочное словцо «говорят» проскочит незамеченно. Человек и не читал никакой «Гаврилиады», да получится, что читал. Вот работа классика, увенчанного лаврами Нобелевской премии! Тонкий стилист! Эстет! Филигранщик! Когда надо, мисс Браун, вы же по себе знаете: все мы, кто бы мы там ни были, эстеты-разэстеты, беремся и за черновое дело. Ни революцию, ни обратное ей, что верно, то верно, в белых перчатках не сделаешь. Друг-то перед другом нам прикидываться незачем.

– Жанна Матвеевна, – сказала, вглядываясь в старуху, мисс Браун,– а вы рассчитываете на это «обратное ей»?

– А, чепуха! – отмахнулась та. – К слову просто. Им, тем, тогдашним, – она потрясла книгой, – действительно хотелось чего-то обратного. А мне?… Мне все равно. Совершенно все равно. Вы думаете, что я иначе бы жила в другое время и при другом строе? – Она налила себе третий стаканчик джина.– Или там у вас, на Западе? Нет, так же. Только там у меня были бы заработки хуже, там, подобных мне, не одна бы я была, конкуренция бы меня, пожалуй, задавила. Вот и все. Здесь я почти вне конкуренции. Монополистка, так сказать.

Это мое призвание, скажу я вам. Я люблю это дело, оно меня бодрит, я чувствую вдохновение, когда полу чаю интересный заказ.

Порция Браун никогда не была дурой: она умела оценивать реальную действительность и встреченных людей. Конечно, по тому прейскуранту, которым располагала. По отношению к этой захмелевшей и расхваставшейся неопрятной бабе она ощущала гадливость. Сидит в грязи, среди верещащих птиц, в духоте, в скверном запахе, вокруг нее груды ценных книг, заляпанных маслом, кофе, вареньем, и рассуждает о великих людях, о культуре, мнит невесть что о себе, на одну доску с собой ставит ее, Порцию Браун, тонко, изящно образованную, красивую, выхоленную, всегда обласканную успехом. «Обманываем мы себя,– подумалось мисс Браун, – полагая, что такие люди способны нам помочь сокрушить коммунизм. Они слишком мелки и ничтожны, они делают это за бутылку джина и банку крабов. Значит, если большевики до наших решительных усилий успеют сделать так, что в каждом их магазине будут и крабы и этот джин, то наши здешние помощники отвалятся сами собой. Кто же тогда? На кого мы обопремся? О, боже! Карьерист Зародов? Но он хочет делать карьеру в рамках своего строя, своего. Ему наш не нужен. Он здесь хочет пробиться в министры, в советские, только в советские министры. Хотя бы потому, что понимает полную безнадежность своих шансов на это в западном мире. Богородицкий? Он помешан на величии своей Руси, на царях и императорах-освободителях, просветителях, благодетелях. Его обожаемая матушка Екатерина пуще всего наказывала: не пускать в Россию никаких иностранцев!… Нет, это обломки, это мираж. Только молодые еще чего-то стоят. На них надежды. Верно, очень верно говорили об этом и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Мюнхене. И не пришла бы я к этой грязной бабе ни за что, если бы не скверная история с Булатовым. А в таких случаях любые помощники хороши, лишь бы они помогли достигнуть цели. Черту, дьяволу закладывали свои души люди, когда ничего иного им не оставалось, а тут не черт и не дьявол – просто мелкая дрянь».

– Хотите, я вам еще почитаю из разных книжечек? – предложила Жанночка, тяня руку к груде книг. – Есть очень любопытное…

– Нет, благодарю. – Порция Браун взглянула на часы. – Время мое ограничено. Я же не одна здесь. Бизнес есть бизнес. Не так ли? – Она даже попыталась улыбнуться, хотя это было нелегко. – Итак, до завтра!

Хозяйка, ковыляя, проводила ее по темному коридору до двери, проследила взглядом, как гостья стала спускаться по лестнице. И тогда захлопнула дверь. Заслышав этот звук, Порция Браун вздохнула с облегчением.

Выйдя на улицу, на солнце, на свежий воздух, она уже смогла улыбнуться, не по обязанности, а от прихлынувшей бодрости. Нет, это не конец. Порция Браун так легко никогда не сдавала позиций.

Каблуки ее энергично стучали по асфальту. Люди оборачивались, смотрели ей вслед: какая интересная особа! Артистка, наверно, или стюардесса с зарубежной авиалинии.

Бледное, в мелких чертах лицо человека, где-то когда-то виденное, а теперь вот нет-нет да и мелькавшее в толпе возле гостиницы, до того взвинтило нервную систему Клауберга, что по последнему адресу, названному ему в Брюсселе, хотя его и удалось уточнить через Мосгорсправку. он не пошел. Нет, сказал он себе, рисковать не к чему, он, Клауберг, не шпион, не авантюрист, незачем ему в его возрасте лезть в русскую тюрьму. Причем, несомненно, лезть надолго, может быть, даже на полное дожитие. Никаких сроков давности для так называемых военных преступлений русские не признают, доканываться до корней они умеют, и встреча с их органами безопасности никак не ограничится разговором о нескромности приезжего профессора; они вытащат наружу все: и разграбление культурных и материальных ценностей, и подготовку диверсантов, и карательные действия против партизан, и участие в расстрелах.

Когда он сказал себе это: «Карательные действия против партизан и участие в расстрелах»,– в мозгу у него будто вспыхнул магний, при свете которого ярко осветилась одна из страниц прошлого, казалось бы, уже давно и прочно позабытая. Он увидел перед собой деревню Красуху под Псковом. Всех жителей этой деревни за отказ выдать партизан пришлось уничтожить, а саму деревню стереть с лица земли. Клауберг в том деле не был главным, и вообще он приехал туда лишь затем, чтобы полюбоваться на акцию принципиального, устрашающего значения. Важно, что он присутствовал при осуществлении акции, и именно там, там впервые встретил этого человека, крутившегося среди немецких офицеров с блокнотом в руках. Кондратьев! Тот самый Кондратьев, сотрудник газеты «Новое время», специальный корреспондент, сочиненьица которого Клауберг почитывал из любопытства и которого не раз встречал позже и в Печорском монастыре, и в Пскове, и в окрестных псковских селах; и он же, этот Кондратьев, поднял однажды тревогу, примчавшись в Псков с известием о том, что в лесах под самым городом орудуют партизаны.

Сделав такое неожиданное открытие, Клауберг не знал, куда кинуться, что предпринять. Опасность была страшная. Нет никакого сомнения в том, что Кондратьев за ним следит. Но в каком качестве? Первая мысль была о том, что он делает это по заданию советской госбезопасности. Отбыл, может быть, наказание за свои преступления, совершенные в годы войны, и вот сотрудничает. Вместе с тем казалось странным, почему же Кондратьев действует так неуклюже, то и дело попадаясь на глаза тому, за кем поставлен наблюдать? Может быть, дело совсем и не в госбезопасности? Может быть, этот ничтожный, грязный тип просто собрался его шантажировать, но поскольку он именно ничтожество, то не знает, как подойти к объекту, намеченному для шантажа, не решается начать разговор, попытаться схватить его, Клауберга, за глотку?

Как бы там ни было, оставаться пассивным стало невозможно. Надо было действовать! Или немедленно купить билет на самолет куда угодно – в Лондон, в Париж, Брюссель, Стокгольм и даже Тегеран, – или как-то разобраться с этим Кондратьевым: чего ему надо, от кого он работает, на кого?

Дело облегчилось тем, что Клауберг увидел своего давнего знакомца в

компании с Юджином Россом и тем парнем, сыном доцента Зародова, кажется, по имени Геннадий, с которым Росс разводит какие-то шашни. Клауберг был настолько взвинчен и встревожен, что даже и парень этот, Геннадий, показался ему кем-то другим, а не сыном доцента Зародова; Клауберг явно видел где-то и это лицо, совсем, правда, в ином месте, не в Пскове, но вот точно такое же, круглое, веснушчатое.

Встретив Юджина Росса за обедом, он спросил его о бледнолицем, кто это такой.

– Торгует иконами,– коротко ответил Росс.

– Фамилию знаешь? Имя?

– Голубков, Семен Семенович.

– Голубков?…– Это, конечно, еще ни о чем не свидетельствовало: не так просто, как костюм, но все же и фамилию и имя сменить было можно.– Где он живет, тебе известно?

– Не интересовался. Если надо, спрошу у Геннадия.

– Спроси, Юджин.– Давать этому «зеленому берету», как про себя Клауберг называл Росса, повод для каких-либо домыслов было нельзя; следовательно, и показывать слишком острую свою заинтересованность в Голубкове тоже нельзя. – Они, эти русские, народ прижимистый. Сюда таскает разные отходы, а главное добро хранит дома, за печкой, в сундуке. – Клауберг посмеялся. – Не зря же они такие объемистые печки строят. Русские печки! Чтобы за ними прятать ценности. Может быть, нагрянем к нему домой да там, на месте, товар посмотрим. Карадонна наш, знаток русской старины, постоянно предупреждает, что с рук ничего покупать нельзя. Русские – мастера на подделки.

– Ему бы, господину Карадонна, помалкивать лучше,– ответил Юджин Росс. – Таких мошенников в смысле подделок, да и в любых иных смыслах, как итальянцы, вторых и на свете нет.

– Вообще-то ты прав, Юджин: итальяшки – дрянь порядочная. Ну так ты узнай адрес, не позабудь.

Вместо адреса Голубкова Юджин Росс привел в комнату Клауберга Генку.

– Он знает все, господин профессор. Оставляю его вам. А у меня, прошу прощения, дел по горло. Ответственные съемки идут. Господин Карадонна торопит. Говорит, сроки поджимают. Скоро, говорит, домой.

– Да, да,– кивнул Клауберг, не вслушиваясь в то, что говорил «зеленый берет». Он разглядывал Генку.

Когда Юджин Росс ушел, Клауберг предложил Генке присесть, поставил перед ним бутылку вина, стакан и тоже сел напротив.

– Меня заинтересовал человек, о котором мне рассказал господин Росс. Он что, специалист по искусству?

– Обыкновенный торгаш, господин Клауберг, – напрямик ответил Генка. – Его товар, ваши деньги – вот и все. Но товар у него, надо отдать должное, доброкачественный.

– Он москвич?

– Кто же его знает, господин Клауберг! По рассказам судя, по всей стране

таскался. Где-то с геологами бывал, на севере, с экспедициями.

– На севере? И в Сибири, значит?

– Да, бывал и там, в Сибири. Там такой товар еще сохранился в таежных селениях.

– А вы что, в этом деле тоже понимаете? – поинтересовался Клауберг. – Это ваша специальность? Вы историк? Искусствовед?

– Кое-что понимаю. Вернее, начинаю понимать. Но это попутно. Я же еще учусь. Перерывчик, правда, получился. Сейчас перехожу в другой институт. Знаете, выбрать себе специальность по душе – это совсем не просто.

– Но ведь у вас, в Советском Союзе, все пути человеку открыты. Не так ли?

– Это так, открыты. А что из того? Вот учился я в техническом – там надо знать математику. А у меня способностей к точным наукам ни каких, меня от них воротит. Пошел я в театральный – тоже не лучше. Глупцом себя чувствуешь, как попугай, повторяя чужие слова. В литературный можно бы, конечно. Рассказика два нацарапай – примут. Но кем же ты оттуда выйдешь? Сиди всю жизнь, приклеенный к стулу, и изводи бумагу. Душу вложишь в писанину, а критики тебя, как подушку, распотрошат и по всей улице пустят. Нет, господин Клауберг, нелегко, очень нелегко определиться в жизни. Теперь решил начать все сначала: пойду попробую в медицинский. Гинекологом буду.

– Да, это весьма доходная профессия. Гинекологи – народ богатый. – Клауберг никак не мог понять, всерьез с ним разговаривает этот парень или чудака из себя изображает.– Выходит,– сказал он, помолчав, – что когда слишком много дорог открыто, тоже не очень хорошо?

– Я разве сказал это? – удивился Генка.

– Нет, не сказали. Но по логике оно так. Сюда попробовали, туда, в третье место… А время-то идет, идет. Это, знаете, как в зрительном зале: когда он почти пуст, совершенно немыслимо выбрать подходящее место. А когда есть всего одно свободное – с какой радостью кидаешься к нему и садишься. Ну, это к слову. Так, если вас не затруднит, сообщите мне адрес этого… как вы сказали?

– Голубкова?

– Да, да, господина Голубкова.

В тот же вечер Клауберг приехал в Кунцево на такси. Улицу, название которой было записано у Клауберга, шофер не знал. Ну ничего, решил Клауберг, вышел где пришлось и, расспрашивая прохожих, отправился искать сам. Это был такой московский район, где новые городские дома перемешивались со старыми, почти деревенскими. Соломенных крыш, правда, не было, но дома по-деревенски украшались резными наличниками, крылечками, были обшиты тесом, покрашены. Видимо, совсем еще недавно это считалось пригородом. Может быть, даже дачной местностью. Некоторые улицы были непроезжими, тихими, как бы всеми забытыми.

Одна из них оказалась именно той, которую и разыскивал Клауберг. Дом номер одиннадцать стоял на земле низко, он как бы врос с годами в почву, краска на его дощатой обшивке облиняла, а там, где еще сохранялась, она была

похожа на бурую шелуху. Несколько небольших окон, крыльцо в одну ступеньку. Клауберг подошел к нему – следов ног на досках не было. И ручки у двери не было. Только черное отверстие от нее. Он знал такие дома, он видел их и под Ленинградом, и под Новгородом, и на Псковщине. Он врывался в такие дома, он жег их. Были такие и в Красухе…

Он толкнул калитку ворот рядом с крыльцом.

За калиткой увидел второе крыльцо, второй вход в дом. Дверь открыта. Клауберг вошел, потоптался в сенях, спросил, как обычно спрашивают в таких случаях русские:

– Хозяева! Есть кто дома?

Вышла старуха.

– Семена Семеныча? Да вон в ту дверь, за чуланом которая. Не знаю, дома ли. Погляди сам.

– Ну кто там? – услышал он в ответ на свой стук в дверь за чуланом.

Жилец комнатенки, с одним окном, с низким потолком, сидел за столом перед этим распахнутым в сад окошком и подклеивал что-то в старой книге с пожелтевшими листами, в буром, желто-черном переплете, возможно, из свиной кожи.

Момент был напряженный.

Голубков скользнул раз, другой по лицу, по фигуре гостя, ничто его в нем, видимо, не заинтересовало. Он сказал: «Слушаю» – и продолжал свою работу.

Клауберг сел на вторую табуретку возле стола.

– Я по рекомендации,– сказал он, а сам все вглядывался в лицо человека за столом.

Да, сомнений не было. Время прошло немалое, изменения произошли заметные: и волосы поредели, и кожа в морщинах, и мешки под глазами. Но общая белесость, эти белые, быстрые реснички все те же. Кондратьев, конечно, он, сотрудник «Нового времени».

– По какой такой рекомендации? – спросил тем временем Кондратьев, замаскированный под Голубкова. – От кого?

– От Кондратьева, – тихо сказал Клауберг.

Кондратьев дернулся, будто его хватило током. Но глаз не вскинул, а поднял медленно, тяжело. Вот они, эти два кондратьевских глаза, которые так же смотрели на огонь Красухи, на повешенных, на убитых выстрелами в затылок, заколотых штыками жителей псковской деревни.

– Вы из КГБ? – спросил он сухим горлом, откладывая свою работу в сторону.

И тут Клауберг проклял себя за то, что поддался панике, за то, что засуетился, забегал, вместо того чтобы держаться как ни в чем не бывало и продолжать свое дело. Кондратьев его не узнавал, явно не узнавал, в его глазах не было ни искры воспоминаний. Но теперь… теперь уже просто так не уйдешь: вскочил и исчез. Имя Кондратьева названо. Теперь уже Кондратьев не успокоится, теперь-то он действительно начнет искать, следить, выяснять, с кем имеет дело, кто такой тот, кто знает Кондратьева, о котором, видимо, и сам-то Кондратьев-Голубков постарался уже позабыть.

Клауберг не сумел ответить быстро, он не знал, что отвечать. Он с напряжением думал и смотрел на Кондратьева. А у того в глазах уже забегало, завертелось, память стала оживать.

– Нет,– сказал он,– нет! Не может быть! Как вы сюда попали? – Он вскочил из-за стола. – Штурмбанфюрер!…

Клауберг схватил его за руку. Рывком посадил обратно.

– Не орите. Идиот! Если это еще не из КГБ, то после ваших воплей будут и из КГБ.

Он отпустил руку Кондратьева. Тот сидел, как зашибленный, и не знал, что думать: лучше ли это, чем КГБ, или КГБ было бы лучше, чем вылезший откуда-то эсэсовский офицер. Клауберг же окончательно убедился в том, что его подвели нервы, Кондратьев и ведать не ведал о его пребывании в Москве, и сам он, конечно, живет по чужим документам, пряча от советских властей свое подлинное лицо. Это несло с собой Клаубергу некоторое облегчение. Надо было выпутываться.

– Ну что ж, Кондратьев, будем считать, что Кондратьева нет, есть Голубков. Так? – Кондратьев молчал.– Но нет и штурмбанфюрера… Есть профессор, уважаемый иностранный профессор! – Он даже улыбнулся.

Но Кондратьев как бы окаменел. Страх не только не отпускал его, но забирал все сильнее, отнимая волю, отнимая силы, отнимая способность шевельнуться. Он холодел, медленно застывал. Столько лет, столько лет собачьей, волчьей жизни, односторонней, изнурительной игры в прятки, столько лет страшных снов, страшных мыслей – и все зря! С какой радостью он наблюдал на Ваганьковском за похоронами того чекиста, который, как думалось ему, был последним, кто знал, что Голубков не Голубков, а Кондратьев. А вот есть и еще, и еще живой. Почему этот эсэсовец не сдох? Их же ловили, судили, казнили. Они преступники. Но вот жив, жив, нашелся, пришел. Зачем? С какой бы радостью схватил в эту минуту он, Кондратьев, топор, который стоит там, за дверью в чулане, и рубанул бы по этой круглой, как у сома, башке. Рука бы не дрогнула, нет. Может быть, выскочить в окно, броситься через малину туда, к главной улице, к Минскому шоссе, где милиция, крикнуть – пусть возьмут душителя и вешателя? Да, возьмут… Но возьмут и того, кто на этих вешателей работал. Чекиста нет. Но есть этот штурмбанфюрер. Он же не промолчит, он скажет, начнут искать газеты, листать их, объявят, кто он такой, из псковских лесов выйдут свидетели: выдал, выдал партизан – заорут. И крышка, на старости лет крышка.

– Чего молчите-то, Кондратьев? – сказал Клауберг, наблюдая за его лицом, в котором все было видно, как в зеркале. – Думаете, как бы меня прикончить, как бы выдать так, чтобы самому остаться целым? Увы, не получится. Есть такие тупики, из которых обратного хода нет. Вы в нем, в этом тупике. В подобных случаях спасение одно: сидеть тихо и не трепыхаться. Видите, я вас не забыл, я решил вас проведать. Вспомнил, знаете, о вас в Пскове. Я недавно был в тех местах. С научной экспедицией. Вспомнил партизан, которых мои соотечественники вешали по вашей любезной указке. Красуху, деревню эту сожженную, вспомнил. Вы, кажет ся, там так хорошо фотографировали пожар,

трупы повешенных и расстрелянных? В монастыре был, иконы смотрел, тот зал, где мы, офицеры великой Германии, заседали с русскими попами, о чем вы так красочно расписывали в газете «Новое время». Видите, и название газеты помню. И вот решил проведать вас. Как вам живется? Не надо ли помочь? – Клауберг постепенно овладевал собой. Трудно сказать, что будет дальше; от таких мозгляков, как Кондратьев, ждать можно чего угодно; но пока он раздавлен, он весь у тебя в кулаке, такой он не только не страшен – он жалок, смешон, ничтожен. Над ним можно сколько угодно потешаться. Кондратьев действительно был раздавлен. У него даже постукивали зубы.

– Ну полно, – сказал Клауберг, – возьмите себя в руки. У вас есть водка или что?

– Там…– Кондратьев кивком указал на небольшой шкафик из темного, старого дерева, втиснутый в угол меж столом и кроватью.

Клауберг распахнул дверцу, среди разнокалиберной щербатой посуды увидел бутылку, налил из нее в чашку, подал Кондратьеву.

– Надо это выпить.

Тот, постукивая зубами о край чашки, стал пить, давясь и кашляя. Может быть, ему стало легче, но немного. Он все-таки по-настоящему не приходил в себя, даже захмелев, раскрасневшись до пота.

Положение в общем-то оставалось безвыходным. Уехать в гостиницу, бросив вот такого Кондратьева? А тот отойдет потом и, махнув на все рукой, отправится в КГБ. В отчаянии-то чего только люди не делают! Дать ему какой-нибудь железиной в переносье и уложить на месте – могут несколько дней не хватиться, а тем временем улететь из Москвы? А вдруг это обнаружится быстрее? Зайдет через полчаса та бабка – и тревога. Отпечатки подошв во дворе, на улице, на этой мягкой сельской земле, ищейки, уголовный розыск…

– Эх, Кондратьев, Кондратьев! – сказал Клауберг. – Какого вы черта остались в России! Жили бы в свободном мире, свободным человеком, не тряслись бы от стука в дверь, имени могли бы не менять. Россию вам подавай!

– На черта мне эта Россия! – огрызнулся вдруг Кондратьев. – Но и вас, вас мне не надо!

– А чего вам надо? Денег?

– Есть у меня деньги, есть! – Хмель все-таки действовал на Кондратьева.– Вас с вашими потрохами купить могу. Долларами могу уплатить, кронами, фунтами.

– Все, все купишь, заяц! Только покоя себе не купишь!

Чтобы уйти, не оставалось ничего другого, как посильнее припугнуть Кондратьева.

– Итак, Кондратьев, – сказал Клауберг, вставая с табуретки, – если вы раскроете где-нибудь рот, будете, словом, нескромны, для меня все это обойдется неприятным собеседованием, поскольку я подданный такой страны, с которой ваши власти не захотят ссориться из-за моей персоны, – она не столь велика и заметна. А вот я скромничать уже не стану, и вы предстанете перед вашим судом со всеми, как вы изволили выразиться, вашими

коллаборационистскими потрохами. Изменник родины! Враг народа! Вот так, Кондратьев!

Он ушел. Но шел неторопливо, шел трудно, его тянуло назад, чтобы развязать затянувшийся узел как-то иначе, радикальней, надежней.

Отыскал стоянку такси на одном из перекрестков, попросил довезти до центра. Расплатился у Библиотеки Ленина, к гостинице шел пешком, все раздумывал. Возле гостиницы машинально, как делал постоянно, поднял глаза к фронтону и прочел надпись, указанную ему однажды Сабуровым: «Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала. В. И. Ленин».

Поднявшись на свой этаж, постучался в комнату Сабурова. Был уже одиннадцатый час. При свете сильных ламп Сабуров и Юджин Росс рассматривали превосходно выполненные Россом большие цветные фотоснимки не только с икон или старых картин. Юджин Росс ухитрился сфотографировать и те полотна французов, которые имелись в Москве, – Сезанна, Дега, Ренуара, и много знаменитых ценностей Третьяковской галереи.

– Чудесно, чудесно! – восхищался Сабуров. Юджин Росс, самодовольно ухмыляясь, жевал резинку.– Я надеюсь, Юджин, что вы мне подарите комплект ваших снимков. Мне это будет бесконечно дорого там, в моей далекой Вариготте, на Лигурийском берегу. Такая память о России! О нашем совместном путешествии. Оно мне кажется очень удачным. Не так ли, профессор? – Он взглянул на Клауберга.

Лицо у Клауберга было темное, напряженное.

– Да, безусловно, – ответил он как-то тускло и для него непривычно.– Надо бы выпить по этому поводу. У тебя, конечно, ничего нет.– Он посмотрел на Сабурова. – У меня тоже. Один русский юнец вылакал остатки.

– Да! – сказал Юджин. – Как вы сговорились, профессор, с Геннадием? Он дал вам адрес того торговца?

– Дал.

– Вы были там?

– Нет еще. На днях соберусь, – ответил Клауберг и тотчас подумал: зачем соврал? Кондратьев встретит того юнца или этого Росса, может болтнуть, и пойдет закручиваться клубок. Как все скверно, когда врешь без нужды и не по программе, и как, значит, он, Клауберг, основательно выбит из привычного состояния, если идет на мелкое вранье.– Да, так я говорю, что у меня нет ни глотка. Одна надежда на тебя, Юджин. У тебя всегда в запасе.

– У меня есть, конечно. Принести? Или ко мне зайдете?

– Неси ко мне. Не будем засвинячивать комнату господина Карадонна. А у меня – сам бог велел это делать. Я руководитель группы. Кстати, где мисс Браун? Я ее уже два дня не вижу.

– Ее кто-то хлопнул по ягодицам,– сказал Юджин Росс, уже стоя в дверях. – Разволновалась, бегает по всей Москве, пьет валерьянку. – Он ушел.

– Что за история? – спросил Клауберг у Сабурова, когда они пе реходили

по коридору к комнате Клауберга. – Кто ее хлопнул?

– Он что-то объяснял, этот Росс, я не вник. С кем-то спорила…– Сабуров шагнул в дверь, которую отворил Клауберг. – Нет, кого-то она тут в прошлый приезд оболгала в своем журнальчике… Где она там печатается?… А он, оболганный ею, вновь встретил ее – и вот что-то вышло.

Появился Юджин Росс с охапкой бутылок.

– Батарея, к бою! – воскликнул он, закрыв за собой дверь ногой, и принялся расставлять бутылки на столе.

– Юджин, – сказал Клауберг. – Как это произошло?… С мисс Браун?

– Она написала, что этот человек – кажется, писатель – в тот раз, когда она брала у него интервью, похлопал ее по заду. Ну поднажала на педали, как водится. А он ей на этот раз и сказал: «Я понял ваши слова, как аванс, и дабы ваша брехня была правдой, вот вам, получите!»

– А что, он не дурак, этот русский! – Клауберг рассмеялся. Сама, дура, виновата.

Они сидели до глубокой ночи. Сабуров пил мало: он не любил этих виски и джинов, в Италии привык к сухим виноградным винам, которые у них с Делией бочками стояли в подвале. Там были даже такие, которым уже по двадцать с лишним лет. Он только мочил губы в этих северных питиях. Зато Юджин Росс и почему-то обычно сдержанный на выпивку в Москве Клауберг дали себе волю. Юджин разошелся, хлопал их по коленям и рукам, говорил, что вначале думал о них не. очень одобрительно; старые, мол, сухари и перечницы. Но они, оказывается, ничего ребята. Клауберг в шумном разговоре назвал его «зеленым беретом», Юджин начал было приставать к нему, требуя ответить, что Клауберг имеет в виду, говоря так, но сбился с мысли и понес чепуху уже в другом направлении.

Часа в три ночи Сабуров и Юджин Росс ушли к себе. Росс был вдребезги пьян, держался за стену, когда шел коридором. Клауберг долго сидел, тупо посматривая на тот ералаш, какой остался на столе от компании: на пустые и полупустые бутылки, на огрызки яблок и кожуру бананов, на груды окурков и россыпи пепла. Потом поднялся, подошел к телефонному аппарату и набрал номер Порции Браун.

– Я разбудил вас, – сказал он, когда она откликнулась сонным голосом.– Но у меня важное дело. Отомкните вашу дверь. Сейчас приду.

Она встретила его встревоженная, в одной нижней сорочке. Он замкнул дверь за собой, сгреб ее и плюхнул плашмя на теплую постель. Она пыталась вскочить, но руки у него были из железа. Одной рукой он держал мисс Браун, другой стаскивал с себя одежды. Она не кричала, она боялась кричать,она шипела:

– Бош, бош! Скотина! Ты не посмеешь!

– Брось наконец свою проповедь! – рявкнул он на нее, и она затихла.

40

Телефон зазвонил так рано, как еще не бывало. Подошла мать Леры,

Мария Васильевна, вставшая в доме первой. Но даже и для нее такое время было необычным.

– Я попрошу позвать Валерию Васильеву,– услышала она знакомый ей голос с иностранным акцентом.

– Во-первых, – ответила Мария Васильевна, – вы прекрасно знаете, кто живет в этом доме, вы тоже в нем жили и могли бы, следовательно, поздороваться, Бенито. А во-вторых, нельзя ли позвонить позже, все еще спят.

– Здравствуйте, здравствуйте, – сказал Спада досадливо. – Но все-таки разбудите, пожалуйста, Леру. У меня очень срочный вопрос, очень.

– Прискакал? – сказала Лера, когда Мария Васильевна, разбудив ее, объяснила, кто к ним названивает в такую рань. – Ах, мама, надо было сказать, что меня нет, что я уехала куда-нибудь на полгода. Ну, как ты не сообразила. Чего я с ним буду объясняться.

Она все же поднялась, подошла к аппарату.

– Мне надо с тобой встретиться, – заговорил Спада. – У меня очень мало времени, всего три или четыре дня, и за эти дни надо кое-что решить.

– А разве мы еще не все решили?

– Ты, может быть, и все. А я не все. Так или иначе, я жду тебя возле гостиницы «Националь» ровно в десять.

Он повесил трубку. Лера стояла возле телефонного аппарата и раздумывала о том, что же это значит: зачем он приехал, что ему понадобилось решать, почему позвонил в такую рань? Звонок его был не просто неприятен, даже отвратителен. Она не могла спокойно слышать этот голос, не то что идти куда-то и встречаться с ненавистным ей человеком. Но кто же его знает, что он задумал. Может быть, подготовил новые пакости ей или, еще хуже, Василию Петровичу. Василий Петрович рассказывал по телефону о том, как к ним в партийный комитет пришел то ли второй, то ли третий экземпляр письма Спады, одновременно адресованного в несколько организаций. Спада поносил его, Булатова, обвинял в нарушении морального кодекса строителей коммунизма, но не жалел в своем письмеце и ее, свою еще не разведенную супругу. «Ну и что?» – спросила тогда с волнением Лера. «А ничего,– ответил Булатов.– Люди уже стали привыкать к тому, что подобная литература в наши дни заменяет кольца с ядом, которые в некие века были в большом ходу. Тогда над кубком с вином, предназначенным противнику, нажимали незримый механизм такого колечка и роняли в вино пару капель отравы. Теперь стругают письмецо в партийный комитет, так сказать, сигнализируют».

Обдумав все, Лера решила пойти и ровно в десять была возле «Националя». Подкатывали и отъезжали автомобили с иностранными номерами, из всех стран, всяческих марок, слышалась речь на разных языках. Пестрые дамы – в брюках и брючках, в шортах, в темных очках. Солидные мужчины в дорожных куртках. Они смеялись, болтали, что-то обсуждали. Спады среди них не было. Он явился только в пятнадцать минут одиннадцатого.

– Опоздал,– сказал он сухо.– Прошу прощения. Ну что, пойдем ко мне в номер?

– Чтобы ты потом написал куда-нибудь, что некая Васильева бегает по номерам гостиницы «Националь» в поисках легкого заработка? Спасибо. Если у тебя действительно есть какой-то разговор, пойдем вон туда, в сад, через площадь.

В саду они нашли свободную скамейку.

– Вот что,– заговорил Спада.– У меня, я уже сказал, очень мало времени. Я звонил так рано, чтобы не терять его напрасно и непременно застать тебя дома. Фирма прислала меня с образцами продукции – всего на несколько дней. За это время надо решить, как быть с Бартоломео.

– Ты ведь решил, ты написал мне об этом: он остается на память мне.

– Я написал в раздражении. Я должен его забрать.

– Что ж, попробуй. У нас не Италия. С полицией по такому делу не придешь, судей не подкупишь, гангстеров не наймешь. Действуйте, синьор Спада, действуйте, в добрый час. Это все?

– Нет, это не все! – Спада вскочил. У него вообще никаких дел к Лере не было, и ребенок ему был не нужен. Правдой в его словах было только то, что он приехал по делам фирмы, в сущности, как посыльный. Остальное он выдумал, чтобы только потрепать нервы Лере. – Не все, не все! – восклицал он, не зная, что же сказать еще. Его бесило спокойствие Леры бесило то, что теперь она была неуязвима. Это там, у себя в Турине, он мог издеваться над нею сколько ему было угодно. Здесь она была у себя, ее от него защищал закон ее страны. Ничего не мог он сделать с этой женщиной в этой стране, хотя эта женщина все еще оставалась по документам его законной женой.

Он метался возле скамьи, Лера смотрела на него с усмешкой.

– Что, – сказала она, – не приходит ли тебе на память ваша итальянская кинокартина о разводе по-итальянски, не припоминаешь ли ты того итальянского мужа, который в мечтах видел, как он варит мыло из своей жены? Ах, золотая мечта! Да? – Лера встала. – Учти, – сказала она, – что больше я на твои звонки не отвечу, больше мы не встретимся. Если тебе еще что-то надо, – говори. Нет? Тогда будьте здоровы, синьор Спада! Успехов вам в продвижении по службе!

Как он ни бесился, она ушла, на его глазах спустилась по ступеням в подземный переход и там исчезла.

– Будь ты проклята! – сказал он вслух с такой злобой, что на него оглянулись.– «Будь ты проклята со всей своей страной вместе!» – добавил он уже про себя.

В Москве у Спады были приятели. Днем он делал дела фирмы в соответствующих советских организациях, вечерами таскался к ним, к приятелям, с которыми окончил университет. Один из них состоял в штате какого-то журнала, другой писал в газеты статьи по театру, третий был связан с кино. Собственно, под их воздействием еще тогда, когда учился, он, выбравший себе профессией юриспруденцию, приобщился к делам литературы и искусства.

– Что нового? – интересовался он теперь. – Чем живет литературная Москва?

Сплетен было сколько угодно, хоть отбавляй. За бутылками принесенных Спадой дешевых вермутов «Чинзано» и «Кампари» представители литературного, как в старину называли «демимонда», или «полусвета», наперебой рассказывали ему анекдоты о том, о другом, о третьем; так или иначе были помянуты и художник Свешников, и поэт Богородицкий, и ретроград Булатов, который… и так далее. За это время, пока Спады не было в Москве, кого-то где-то обсуждали, кого-то прорабатывали, кого-то разделали под орех в газете, в журнале. В этой мутной словесной воде он плавал, как болотный линь, упиваясь слухами, кухонными рассказами, и так и этак разваливался на тинистом дне жизни, какой жили его здешние единомышленники-обыватели. В этой тине было привольно, вольготно. Благодать!

– Только бы мне прихватить кое-что с собой! – время от времени повторял он. – Вот эта ненапечатанная статейка есть где-нибудь? А это коллективное письмо? А эту беседу кто-нибудь записал?

– Есть, есть,– говорили ему.– Чего не найдем у себя, у Жанночки получим. Ты Жанну-то Матвеевну не забыл? То-то! Прихватишь своего «Чинзано», и все тебе будет сделано. Ты молодец, Бенито, мы читали твои статьи, твои письма в газеты, заметки. Не только Жанночка, многие теперь насобачились переводить. Здорово пишешь! Как ты Булатова оттаскал за его очерки – одно удовольствие читать.

– Только поспешил, – сказал, второй приятель. – В последнем куске он успел тебе подножку подставить. Не спеши так никогда. Имей выдержку.

– Темперамент! – сказал третий, – Тоже бушевали – итальянец!

Срок пребывания Спады в Москве действительно был мал. Не откладывая дела, его повели к Жанне Матвеевне за стенограммами, записями, письмами и всем тем прочим товаром, каким она славилась.

На стол была выставлена большая бутыль «Чинзано». Жанна Матвеевна при виде ее заболтала по-итальянски.

– Ох, давно, мой дорогой Спада, не приходилось мне говорить на вашем божественном языке! Весь мир сейчас помешался на английском. И ваши и наши. А я его недолюбливаю. Неблагозвучен и, по моим понятиям, примитивен. Он хорош для дикарей. Шестьсот слов выучил и можешь болтать. Культурному человеку нужен более тонкий язык, более развитый. Ваш язык, повторяю, божествен. А это что? «Чинзано»? Изумительно. Прелестный напиток. А до чего пробка хороша! Повернул – и открыто. Об наши капсюли из кровельного железа на коньяке и на водке я только ногти ломаю, а все равно открыть никогда не могу. За ваше здоровье, милый Спада!

Совершенно неожиданно для Спады в берлоге Жанночки появился еще один посетитель, точнее, посетительница, с голубыми, встревожившимися при виде чужих ей людей, холодными глазами.

– Ничего, ничего,– сказала Жанна Матвеевна. – Знакомьтесь. Здесь все только свои, только свои. Мисс Порция, это наш большой итальянский друг – Бенито Спада. А это, синьор Спада, мисс Порция Браун!

– Бенито Спада?! – переспросила пришедшая.

– Порция Браун?! – одновременно и таким же тоном воскликнул он.

Они пожали друг другу руки. Они слышали друг о друге, они знают друг друга, она читала его статьи, он читал ее статьи.

– Рад, очень рад! – сказал он.

– И я рада! – ответила она.

Они печатались в изданиях противоположных друг другу. Спада всюду называл себя марксистом, она всю жизнь боролась против марксизма. И вот они рады друг другу. Приятель Спады, приведший его к Жанночке, весело посмеивался, наблюдая за этой трогательной сценкой.

Они разговорились.

– Сейчас я пишу о Маяковском, – рассыпался Спада. – Он совсем не был тем Маяковским, какого из него пытаются делать большевиствующие литературоведы и маяковисты. Как вы там ни толкуйте, а его свидетельство о том, что он наступал «на горло собственной песне», никуда не денешь. Да, воспевал, да, рекламировал. Но все это против его воли, в железных тисках соцреализма и диктатуры пролетариата. Ха-ха-ха! Когда тебе диктуют, не распоешься. Ты подчиняешься диктату.

– Вы только не облегчайте себе задачу, Бенито, – вмешалась Жанночка.– Рассматривая одну сторону чего-либо, не забывайте о другой. А может быть, он считал, что и он участвует в диктатуре, что и он диктует. А не подчиняется. Нет, нет, я не настаиваю. Но надо иметь в виду и обдумать и подобный поворот явления. Иначе вам преподнесут вот такое, когда у вас уже будет готова концепция и ее одностороннее обоснование. И вас собьют с позиции, вы растерялись, вы перечеркнуты. Не спешите, не спешите, никуда не спешите. Не обгоняйте крота истории. Он копает, вы следуйте за ним. Надо прежде всего узнать, разузнать, взвесить все «за» и «против».

Жанночка ворочалась в своем пыльном кресле, тянулась к бутылке «Чинзано», наливала в стаканчик, отпивала и все говорила:

– Зачем вам, Спада, так расправляться с Маяковским? Это и без вас, другие сделают. У него свои стойкие кадры противников. Вы марксист, вы иное должны делать. Вам, латынянину, должно быть известно латинское Tactica adversa, то есть в переводе – обратная тактика? Ну да, конечно. Вы к тому же еще юрист, древних читали в подлинниках. Так вот вам, марксисту, надо почаще пользоваться этой тактикой. Напротив, не Маяковского отлучать от коммунизма. А тащить в коммунизм, скажем, Мандельштама, Цветаеву, Пастернака… Изучите повнимательней их тексты, проинтерпретируйте, прокомментируйте. Вот, мол, подлинная поэзия революции, вот, мол, поэзия, рожденная Октябрем! Э, други мои, прислушайтесь к Жанниным советам, не суетитесь по младости лет своих. Вы набрасываетесь на всяких Булатовых. А вас не поддерживают. Tactica adversa чего требует? Замените все эти имена другими. Постепенно, пядь за пядью вытесняйте теми другими таких, которых в лоб не взять. Литературный портрет нужен? Портрет Цветаевой! Литературный радиотеатр? Андреева! Стихи на эстраду? Мандельштама! На сцену? Бабель! Все будто бы и на месте. А что, разве Леонид Андреев плох? Разве Цветаева не вернулась на родину и не писала патриотического? Разве

Пастернак не был членом Союза советских писателей? А Бабель?… Тем более! Tactica adversa, друзья мои! Чингисхан ее обожал. Ею пользовались ваши древнеримские полководцы, милый Спада. Да и наш Суворов. «Заманивай, братцы, заманивай!» Вот так!

Порция Браун зааплодировала.

– Замечательно, Жанна Матвеевна! Я не думала, что вы ко всему прочему еще и великий стратег.

– Я не стратег. Я тактик.

– Все равно. Вы очень хорошо сказали. Это очень важно. Да, ино гда много делается глупостей из-за пристрастия к ударам с фронта. Все сейчас так вооружены, что фронтом на фронт, в открытую, воевать нельзя. Тактика адверза? Это замечательно!

– Ergo! – сказала Жанна Матвеевна, наполняя рюмки. – Раз уж мы перешли на латынь. Bibamus! Что значит: выпьем!

Спада уходил из комнаты Жанночки с набитым портфелем. Уплатить за все пришлось по таксе. Порция Браун осталась, но они со Спадой обменялись телефонами и условились завтрашний, предпоследний вечер Спады в Москве провести вместе: им надо было о многом поговорить, они почувствовали друг в друге родственные души.

Но когда назавтра он в своем номере ждал ее звонка о том, что она-де находится в вестибюле, в его дверь постучали. Появился отец Леры, Алексей Михайлович, крупный, внушительный, с клочковатыми черными бровями, с большими, сильными руками хирурга, спасшего на своем веку сотни и тысячи жизней.

– Ну-с,– сказал он, без всякого приглашения садясь на гостиничный диванчик и вытаскивая из кармана просторного пиджака сложенный вчетверо лист. – Ставь вот здесь свою подпись. Хватит мытарить мою дочь. Это заявление о расторжении брака. Ни в чем тебя, господин хороший, не виню, претензий не имею. Ставь подпись – и делу конец.

Спада пробежал глазами заявление в суд, пожал плечами, вынул авторучку и небрежно расписался.

– И еще вот это! – Алексей Михайлович подал вторую бумагу – письмо с просьбой заверить подпись Спады. – Завтра съезжу к вашему консулу, оформим, как полагается.

И эту бумагу Спада подписал беспрекословно. Прекословить отцу Леры он не мог, он не был способен на такое. Он боялся сильного, спокойного, неторопливого человека. Тот как взглянет из-под своих черных густых бровей – Спада сразу сжимается под его убийственным, все понимающим взглядом.

– Ну вот и все, гражданин! Гуд бай! Или как там у вас? Чао!

Он поднялся. Вскочил и Спада и, кланяясь, проводил его до дверей.

Вскоре пришла и раскрасневшаяся мисс Браун.

– Не позвонила, – сказала она, – потому что там, внизу, возле аппарата, много народу, долго ждать. А я и так задержалась. Что ж, каков будет план?

– Может быть, немного выпьем? – Спада засуетился по комнате.

– Я не против. Но у вас, очевидно, только ваши чинзаны. Не сердитесь,

Бенито… Можно, я вас буду называть Беном? Бен.

– Да, да, как угодно.

– Не сердитесь, но это же бурда, а не напиток. От этой дряни голова трещит. Давайте обойдемся без нее. Или же отправимся ко мне в «Метрополь», у меня есть виски, джин. Словом, для начала выйдем на улицу.

Они пошли не к «Метрополю», а в обратную сторону, к Москве-реке.

– Я здесь учился. – Спада указал на старое здание университета.

– Да, да, я слышала о том, что вы учились в Советском Союзе.

– Я, правда, и в Италии учился. В Миланском университете. У меня два высших образования. Московское – это просто так, для забавы. Предложили поехать. Я не отказался.

– Вы говорите это, будто оправдываетесь в чем-то неблаговидном. А это очень же хорошо – учиться в Советском Союзе. Вы знаете страну, ее жизнь, тонкости быта, психологии, идеологии советских людей. У вас чрезвычайно ценный багаж. Им надо только уметь распоряжаться. А вы, по-моему, умеете. Я читала ваши работы. Не все, конечно, некоторые, какие попадались. Я за итальянской прессой не слежу. Сначала ваши позиции были не совсем ясными. В последнее время они стали ясней. Я вижу, как вы заинтересованы в том, чтобы в России была настоящая литература, было бы настоящее искусство.

– Да, да, вот именно! – обрадовался такому повороту разговора Спада. – Они меня винят тут в том, что я что-то искажаю, извращаю, не на то и не на тех ориентируюсь. А у меня один ориентир: литература и искусство должны быть литературой и искусством, а не выполнять заказы департаментов пропаганды. Я отвергаю классовость художественного творчества, я отвергаю социалистический реализм, который, как там они ни крутят, предполагает и определенное мировоззрение.

– Мы можем быть с вами по разные стороны баррикад… Я не марксистка, Бен…– Мисс Браун взяла его под руку, создавая этим как бы атмосферу интимности. – Но мы же люди своего века, мы люди одной культуры и, находясь по разные стороны баррикад, как любят все это называть русские, можем восхищаться одними и теми же произведениями талантливых мастеров. Не правда ли?

– Да, вот именно!

– Мы можем горевать общим горем. Мы можем радоваться общей радостью.

– Вот и я все время говорю и пишу об этом! – Спада нашел единомышленницу, с которой было так легко и свободно. – Вот вы сказали, что вначале мои позиции были якобы не ясны. Конечно, я пишу одно, а меня начинают заставлять делать всякие добавки, убавки, вставки, изъятия, вот и получается нечто неясное, потому, что я тяну в одну сторону, а редакторы в другую. Сейчас редакторы с более широкими взглядами и не мешают высказываться.

Они бродили по набережным Москвы-реки, сидели возле Кремлевской

стены, рассматривая, как за рекой, на противоположной набережной, к зданию посольства Великобритании подкатывали лимузины с дипломатическими флажками.

– Коктейль, наверно, – сказала мисс Браун. – Никаких праздников как будто бы не должно быть. Или чьи-нибудь именины.

Потом в одном из ресторанов новой гостиницы «Россия» они поужинали. Спада рассказывал об Италии, о Турине.

– Никогда не бывала в Турине, – сказала Порция Браун. – В Милане была, а до Турина не добралась. Он где-то в стороне от главных туристских дорог. Там автомобили, аэропланы, заводы?…

– Не только. Это замечательный город. Приезжайте. Мы вас отлично встретим и все вам покажем.

Какими-то улицами они прошли потом до площади Ногина и стали подходить к Старой площади.

– Вот, – сказала Порция, останавливаясь у подъезда с двумя небольшими гранитными колоннами.– Видите? «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза»! – прочла вслух.– Пойдемте дальше, а то там военные на нас строго смотрят. Этот подъезд вам должен быть знаком. Вы тут бываете?

– Нет. Никогда не бывал, скажу вам честно.

– Отсюда начинается все, отсюда идет та лихорадка, которая мешает людям на земле жить в мире. Мне трудно понять, как вы, такой образованный и тонкий человек, могли стать коммунистом. Ведь коммунизм – это разрушение морали, разрушение очагов, гибель культуры. Вы читали, конечно, «Доктора Живаго»? Как там рассказано о революции, о зле, о насилии, о дикости.

– Но можно же без этого, без русских излишеств. Такие, как я, как раз и настаивают на том, что к коммунизму есть иные пути, не обязательно русского, советского образца. Мы хотим прийти к коммунизму мирным путем. Поэтому-то нам не годятся и советская литература и советское искусство. Они воинственны, они пропагандируют один, свой путь. Они без диктатуры пролетариата не мыслят возможности строительства социализма.

Такой коммунист Порции Браун нравился. Она привела его к «Метрополю», взяв за локоть, ввела в вестибюль, и когда они оказались у нее в комнате, она сказала:

– Закрепим нашу дружбу, дорогой синьор Спада, стаканчиком виски. Это не «Чинзано». Это настоящее. Присаживайтесь, вот ваше место. Будьте, как дома, насколько это возможно здесь, в Москве. Снимите свой пиджак.

Из постели голубоглазой мисс Браун Спада выбрался лишь на рассвете, с раскалывающейся от виски головой. Он еле доплелся до «Националя», до своего номера, и там долго, почти до отъезда в аэропорт, сидел в ванной комнате, склонив голову над унитазом.

41

В конце-то концов так и оказалось: никто не отказывал Антонину

Свешникову в приеме в Союз художников, потому что он, наслушавшись советов, туда и не подавал, никто не мешал ему устраивать выставки, потому что никому и в голову не приходило устраивать их; и вообще, многое из того, что происходило вокруг Свешникова и его имени, было результатом неведомо кем и откуда направляемой, темной, потаенной возни. Советники и секретари западных посольств, иностранные журналисты, заезжие дяди и тети… Булатов убедился в том, что два безвольных человека – сам Антонин Свешников и его жена Липочка – были опутаны заманчивой паутиной сладкой лести, всяческих обещаний, щедрых подачек.

Никто нигде не возражал; напротив, все говорили: «Помилуйте, Василий Петрович! Какие разговоры! Конечно же, конечно! Он должен быть в Союзе художников! О чем разговор!»

Один из старых мастеров живописи с охотой откликнулся на просьбу Булатова съездить в мастерскую Свешникова и посмотреть его последние работы. Приехали они не совсем удачно, самого Свешникова в мастерской не было, застали только Липочку, в отсутствие мужа наводившую порядок.

Все осмотрели, и когда покинули мастерскую, Булатов спросил:

– Ваше мнение, без скидок, без дипломатии, Александр Николаевич? Что бы о работе Свешникова вы сказали самому себе, так вот, один на один с самим собой?

– Самому себе-то? – заговорил старик, усевшись в машину. – Ну как вам сказать? История эта, по-видимому, не простая. Но в искусстве – закономерная. Парень способный… Я не хочу бросаться великим словом «талант». Не говорю, значит, что талантливый, я говорю осторожно: способный. Но он без школы, Василий Петрович. Мало и плохо ученый. Припомните, пожалуйста, портретик той бледной девицы, который у окна… Вяло, неуверенно наметил линию ее лица, да еще и на каком мутном фоне его выписал. Лицо сплылось с этим фоном, пятно, мазня получилась. А как бы надо-то, по науке, по здравому живописному смыслу?…– Он стал объяснять Булатову законы и тонкости рисунка, цвета, света. – Ну, я его не во всем виню,– сказал дальше.– От себя он виноват в том, что не доучился, не больно умно обиделся на нас, стариков, которые учиться-то его заставляли. Но есть грех у нас и общий. Краски у нас пока еще неважные. И у Антонина вашего красок должных нет. Однако все на краски тоже не свалишь. И муть только отсутствием должных красок не объяснишь. Идет она, если хотите знать, оттого, что свои тональные искания он производит не в воображении, как делали великие мастера, а по-ремесленнически, тут же, на полотне. Из одного тюбика наляпал, из другого, перемешал все это кистью, вот грязь и получилась. Лицо-то у дипломата сине-лиловое вышло. Кто это?… Будто бы Римский-Корсаков сказал: есть, мол, композиторы без рояля, а есть композиторы у рояля. Что сие значит? Без рояля который, он всем своим существом слышит и творит музыку, она в нем в самом звучит, поет в нем музыка. А который у рояля – тот эмпирическим путем, тренькая и бренькая, сочиняет. Не так, так этак. И краски тоже, подобно музыке, всю гамму их, всю радугу нутром чуять надо, ощущать их с закрытыми, завязанными глазами. А вот этак мешать, что пойло корове в

ведре,– нет, братики, это не художество!

– Значит?…

– Да ничего еще оно не значит! – досадливо отмахнулся старик. – В основе, говорю, парень способный. Рисунок у него есть, удар, как говорится, точный. Не будет лениться, будет работать,– свое возьмет. А история-то, начал я с чего, насчет общего-то нашего греха, она, непростая. Она вот чем непростая. Какие-то суетливые людишки, не пойму уж и кто, ухитрились-таки разъединить нас, старых и молодых. Вот и Свешников ваш страдает из-за этого разъединения. Маракует что-то сам – один, сызнова самовар да велосипед изобретает, А они уже давно есть – и велосипед, и самовар, и что хочешь. Он к старикам не идет – внушили ему предубеждение против них, они к нему тоже не идут, они не любят, когда к ним по-хамски относятся. Ну и в самом деле, Василий Петрович!… Получаю вот на днях письмишко… Вот оно, кстати…– Он достал из кармана пиджака измятый конверт, вытащил из него листок бумаги. – Чего пишет гражданин! «Прочел вашу статейку в газете. Хватит трезвонить, долой с колокольни! Сорок лет давил ты своей преуспевающей тушей наше искусство. Хватит! Или загибайся сам скорее. Или…» А подпись: «Один из молодых». И откуда? Штемпель-то… Из Бобруйска! Кому я там, в Бобруйске, так насолил, что «или» предлагают сделать, диву даешься. Ну как тут быть?

Шум насчет возможностей выставки Свешникова в эти дни все нарастал. В мастерскую наведывались заказчики Антонина, они звонили ему, на что-то намекали, все время как бы подмигивали. Антонин даже стал побаиваться оставаться в мастерской один на один с ними.

Прикатил в своем длинном голубом автомобиле Гарри Соммерс, добродушный корреспондент сразу нескольких газет. Он был из какого-то иного теста, чем многие из его коллег, ничего скандального никогда не писал; он, кажется, даже симпатизировал Советскому Союзу.

Он сказал:

– Мое дело десятое, как говорят у вас в России. Но мне было бы очень жаль, если бы на вас мои коллеги сделали бизнес.

После его отъезда Липочка заволновалась.

– Все это очень странно, Антонин! И от этого делается страшно. Чего от нас хотят?

– Не знаю и знать не хочу, – в раздражении ответил Свешников. – Пошли они все к черту.

– Но они не идут к черту, – возразила Липочка. – Они наседают. Видишь, даже Соммерс сказал, что на тебе делают бизнес.

– Он сказал не «делают», а не хотел бы, чтобы делали. Это разные вещи.

– Он просто так уклончиво выразился. А смысл один: делают, делают, делают! Тебя обрабатывают, Антонин.

– Тебя, если хочешь знать, тоже! – крикнул Свешников. – И еще как! Туфли, кофты, всякое такое. Суетилась, Липа, чего уж там.

– Я баба, мне простительно. Ты, мужчина, должен мыслить, разбираться, что к чему. Так же нельзя, чтобы тобой играли.

В довершение ко всему заехал Феликс Самарин и сказал:

– Заводские слышали совсем уж гнусное иностранное радио. Одна эмигрантская скотина утверждает, что ты их верная опора внутри нашей страны. Неужели промолчишь? Не дашь им сдачи?

– А что, что я могу? Как дать? Где?

– Я не знаю, но несколько лет назад я читал о Серове, о Валентине Александровиче. Ты уважаешь, кажется, его. Ну вот он сказал однажды так: «Каков бы ни был человек, а хоть раз в жизни ему придется показать свой истинный паспорт». Покажи, наконец, Антонин!

– Все, Липынька, – сказал, проснувшись среди ночи, Свешников. – Больше нет сил выдерживать это. Мы завтра же… сегодня же… уезжаем в Псков. Помнишь фотографические снимки, которые приносил Булатов?

И вот все осталось позади: звонки, визиты, намеки, нервотрепка. Антонин и Липочка Свешниковы живут в деревне неподалеку от сожженной Красухи. Они уже в натуре не один раз осмотрели талантливый памятник погибшим здесь осенью 1943 года, все снова и снова ощущая его могучую впечатляющую силу.

– Ты знаешь, о чем я думаю? – сказала однажды Липочка. – О том, что если бы твоя бабушка не увела тебя отсюда в Ленинград, то ведь и она бы и ты лежали сегодня под этими камнями. Страшно представить!

Они бродили пешком по деревням, встречались с людьми, пережившими немецкую оккупацию. Антонин вглядывался в их черты, отыскивая в них складки скорби, отрешенности, чего-то неземного, богодуховенного. Первые его наброски были все в той же, характерной для него манере: лица святых с древних икон, лица нездешних, давних. Но он злился за это на себя, рвал бумагу, картон. Для этого не надо было никуда ездить, можно было сидеть в своей мастерской и, вспоминая фрески Владимира, Суздаля, Ярославля, Ростова-Ярославского, видеть сквозь них лица современников и переносить на холст эти причудливые, создающие видимость новизны сочетания древности с сегодняшней действительностью.

Но чем больше было встреч с людьми окрестных селений, чем больше разговоров с ними, тем все сильнее давало себя знать чувство неудовлетворенности своей работой, тем настойчивее разрасталось желание найти более верную форму для раскрытия внутренней сущности тех, кто жил сегодня и работал на псковской земле.

Никто здесь не мог ответить Антонину на его вопросы о судьбе родителей. Их могли знать, очевидно, только красухинцы, но из красухинцев в живых осталась одна-единственная жительница, и та пережила столько личного горя, что многое улетучилось из ее памяти. Но его родители ходили по этой земле, они боролись тут с врагом, они здесь геройски погибли. И сколько бы Антонин ни старался думать о них, как о мучениках, о жертвах, у него это не получалось. Верх брали иные начала. Он взялся писать портрет старой женщины, лицо которой изрезали морщины; в них, казалось ему, лежала глубокая скорбь. Но в разговоре с нею он выяснил, что она была партизанской пулеметчицей, на ее счету десятки убитых гитлеровцев, и когда она рассказывала о своих боевых

делах, морщины разглаживались, в глазах загорался огонь азарта, будто она вновь у своего пулемета и косит его огнем кого-то там впереди, видимого только ей одной. И так было с каждым, на кого бы ни обращалось внимание Свешникова. Один, прихрамывающий, казалось бы, совсем немощный, подрывал, оказывается, немецкие железнодорожные эшелоны. Другая была партизанской связной и не раз пробиралась через линию фронта. Третий ходил в блокированный Ленинград со знаменитым продовольственным обозом весной 1942 года. Теперь они и сами, и их дети, и даже внуки работали в колхозах, на льнозаводах, в различных советских учреждениях. Они могли сколько угодно рассказывать о радостных переменах в жизни, о своих планах на будущее. Но о чем-либо страшном, трагическом, ушедшем говорили уже скупо, немногословно и без особой охоты. Антонин Свешников не находил среди них ни тех лиц, которые, как ему думалось в своей мастерской, знаменуют собой подлинный лик русского народа, ни тех черт сельской жизни, которые ему так старательно расписывал поэт Богородицкий.

Как-то они поехали на катере по Псковскому и Чудскому озерам. День был теплый, но ветреный, и ветер, срывая гребни волн, бросался в лицо брызгами. Дышалось легко, во всю грудь.

Антонин и Липочка стояли на мостике катера возле рулевого и всматривались в зеленую даль. На затянутых дымкой берегах белели древние-церковки под зелеными куполами. Но только они, пожалуй, и были здесь из того далекого, навсегда ушедшего, которое еще совсем недавно виделось Антонину сущим. Рулевой был крепким псковичем, недавно окончившим речное училище. Он заговаривал о прочитанных книгах, о виденных кинофильмах. Моторист играл на гитаре и пел модные песенки. Мимо проносились другие катера. Промчалась поднявшая над водой свое стремительное, узкое туловище «Ракета». Невысоко ходил над озером кругами легкий самолетик, высматривая скопление рыбы для того, чтобы сообщить о них чудским рыбакам.

Антонин посмотрел на Липочку, она взглянула на него, поняв его без слов. Он говорил ей глазами: «Не так мы жили, Липочка, не так». В ответ она положила свою ладонь на его руку, обхватившую медный поручень. Как надо жить, ни тот, ни другой еще не знали, до сознания этого еще надо было пройти, может быть, немалый путь. Но одно то, что им становилось очевидным, как жить не надо, само по себе было уже началом этого нового пути.

42

Все дни Ия проводила в библиотеках. Иино внимание было сосредоточено на этот раз на публикациях, связанных с идеологической борьбой, особенно в области литературы и искусства. Во всем она искала теперь Булатова, видела Булатова. В хранилищах книг и периодической печати, присылаемых из десятков разных стран, она узнала о Булатове так много, что, пожалуй, столько о себе он не знал и сам. Немалое место в борьбе идей, во всем том, что в ходе этой борьбы выплескивалось на страницы газет и журналов мира, занимали

советские писатели – поэты, прозаики и драматурги. На многих из них, не угодных Западу, велись ожесточенные атаки в Соединенных Штатах, в ФРГ, в Англии, в Италии… Читая злобные писания, Ия чувствовала, понимала, как необходимо было противнику сокрушить бастион партийности, народности, социалистического реализма, в рядах защитников которого находился Василий Петрович. Атаки на этот бастион обрушивались так яростно, с такой концентрацией сил, как, представлялось Ие, во время войны на фронте враг атаковал наиболее прочные укрепленные узлы нашего сопротивления. Расчет у противника, как и на войне, был тот, что, когда эти узлы будут взяты, его войска вырвутся на оперативный простор и смогут наступать дальше без помех, с ходу круша и опрокидывая все на своем пути. Как только не обзывали Василия Петровича, в каких только грехах не обвиняли! Удивительно, что он еще не только продолжал жить, не только не получил инфаркта, но даже бодр, весел и другим не дает падать духом. Ия в мыслях ставила его рядом со своим отцом, с политруком Паладьиным, который в боях был, несомненно, на самых-самых тяжелых и ответственных участках фронта и также был бесстрашен при встречах с врагом.

На советскую литературу, на советское искусство, как видела она своими собственными глазами, лаяли из самых различных подворотен, тявкали на все лады, на все голоса. Но нельзя было не увидеть и того, что в этой разноголосой стае были особо назойливые псы, среди которых, в свою очередь, выделялись, оказывается, вот эта самая, болтающаяся в Москве, отвратительная мисс Порция Браун и бывший муж Леры Васильевой – Бенито Спада. Они не стеснялись ни в приемах, ни в выражениях.

Своими изысканиями Ия занималась отнюдь не из праздного любопытства. Ей казалось, что так, будучи в курсе всего, связанного с жизнью Булатова, она в какой-то мере разделит с ним и его жизнь и его трудности, тяготы. Навязываться ему она уже не могла, бегать за ним было просто невыносимо; не для нее невыносимо, – она бы бегала, но эта ее беготня могла бросить тень на него, дать в руки его противникам еще один козырь. У Ии по этому поводу был долгий серьезный разговор с Липочкой Свешниковой накануне того, как Свешниковы собрались ехать на Псковщину. Липочка сказала ей тогда: «Знаешь, Ийка, я лично не могу одобрить твое поведение в отношении Булатова. Мнение у меня о нем несколько изменилось. Нет, он совсем не то чудовище, каким его расписывают некоторые. И тем более поэтому ты не должна себя так вести». «То есть как так?» «Хватать его за рукава везде и всюду». «А почему?» «А потому, Иинька, что все это представляется мне очень тонкой материей. Если ты не будешь меня перебивать, я постараюсь не утерять нить мысли и передам свою мысль тебе. Слушай. Во время войны твой Булатов был солдатом или офицером, не знаю, кем, но он воевал?» «Да, конечно». «Так. Встретилась ему молодая женщина. Поженились, стали жить-поживать и добра наживать. Он, солдатик, превратился в писателя, не без мытарств, наверно. Мы-то с Антониной знаем, как в это искусство пробиваться. Вроде нас, наверно, и недоедали они оба и одевались кое-как. Годы труда, годы тягот – и вот он теперь кто! Все трудности, все лишения делила с ним она, та женщина.

А ты, милая, хочешь прийти на все готовенькое. Этакая птичка, спорхнула с ветки ему на шею и зачирикала. Не поймут тебя люди, да и у него на сердце будет мутный осадок. Ты меня понимаешь или нет? Что сидишь, будто каменная?» «Понимать понимаю, но не разделяю. У него и сейчас совсем нелегкая жизнь. Если тогда были трудности материальные, то сейчас они неизмеримо крупнее – он все время, как под пыткой. Даже вот ты, такая деликатная, тонкая, и то, помнишь, что бросала ему в лицо?!» «И все равно тебя назовут выскочкой, ловицей удачи, лисой, поймавшей бобра, какой-нибудь акулой или щукой. К тебе, Ия, будут плохо относиться». «Ну и пусть! – гордо ответила Ия.– Плевала я на всех. Я его люблю».

Разговор в общем-то был беспочвенный. Говорили они так, будто бы дело уже было решено – вот-вот Ия выйдет за Булатова замуж. И все равно, несмотря на беспочвенность, разговор с Липочкой был для Ии очень важным. Заносчиво ответить «Ну и пусть! Плевала я!» не так уж и трудно. Слова эти, скорые, бездумные, обычно сами слетают с языка. Но, навидавшись на своем не длинном и вместе с тем уже не коротком веку всяческих несправедливостей, Ия на прямые несправедливости была неспособна. В самом деле, было в этом что-то такое, что останавливало ее; она видела, ощущала неравенство сил. А всякая борьба, казалось ей, честна лишь тогда, когда шансы у борющихся равны. «Но, собственно,– говорила она мысленно, колеблясь и возражая то себе, то своим, подобным Липочке, возможным оппонентам,– а кто выдумал, что я хочу за него замуж, кто утверждает, что я вздумала лишить ту женщину ее материальных благ? Я просто люблю его и хочу, чтобы и он меня любил. И все. Ничего другого мне не надо».

У нее и на уме не было искать встреч с женой Булатова. Были случайные разговоры по телефону, когда та брала трубку, и этого Ие было вполне достаточно, более чем достаточно. И все же встреча произошла.

Ия стучала на машинке, прямо из журнала, как говорится, с листа, переводя длинную и нудную, научную статью. Делала она это почти автоматически, не очень вникая в смысл того, о чем шла речь в статье.

В дверь позвонили ее звонком, пришлось идти отворять. На площадке стояла не молодая, но и не старая, хорошо, со вкусом одетая женщина, ярко загорелая, отчего особо эффектно выглядели ее почти белые крашеные волосы. Она назвала имя и фамилию Ии.

– Да, я, – ответила Ия, удивляясь гостье.

– Разрешите, я пройду к вам, здесь разговаривать не совсем удобно.

– Да, да, пожалуйста!

В комнате Ии гостья огляделась, села в жиденькое креслице шик-модерн, раздобытое Генкой. Креслице пискнуло – женщина была отнюдь не эфемерным существом; правда, если сравнивать с Ией, то заметно слабже, потому что в связи с возрастом была и рыхлее ее. Она вытащила из сумочки пачку сигарет: «Не возражаете?» – и закурила.

Под ее изучающим, несколько насмешливым взглядом Ия чувствовала себя не совсем ловко. Может быть, впервые в жизни она подосадовала на то, что так простенько, бедненько одета, что не очень изобретательно причесана,

что сидит без чулок и не имеет на пальцах бьющего по глазам маникюра.

– Меня зовут Ниной Александровной, – сказала наконец гостья. – По фамилии я Булатова.

Нет, Ия никуда не годилась, как дипломат, как организатор интриг, как устроитель личных дел. Она почувствовала, что лицо ее при этом имени вспыхнуло костром. Да что лицо, вся она вспыхнула и с каждым мгновением пылала предательски выдававшим ее пламенем все ярче.

– Мы знакомы с вами по телефону, – продолжала Булатова, затягиваясь сигаретой. – Скажите, чего вы хотите от Василия Петровича, моего мужа? Вы не стесняйтесь, говорите все. Я пришла как раз для того, чтобы выяснить это и что-то решить. Нельзя же так. Вы за ним гоняетесь, вы его преследуете. Звонки, звонки, звонки! Вы молодая, мужчины в возрасте Василия Петровича перед такими, как вы, теряют характер, которым они так любят щеголять перед женами. Словом, извольте изложить мне вашу программу.

Ия, отчаянно потерявшаяся было в первые минуты, постепенно приходила в себя, и чем свободнее держалась ее гостья, тем собраннее делалась она, Ия, и когда ей предложено было «изложить программу», она уже была почти спокойной.

– Вы напрасно так обеспокоились, Нина Александровна, – ответила она, тоже закуривая. – Напрасно. Вашему благополучию, уверяю вас, ничто не угрожает. Замуж за Василия Петровича я не пойду. Мне очень убедительно разъяснили, почему этого делать не следует.

– Почему же, интересно?

– Потому что нехорошо приходить, сказали мне, на готовенькое. Он со своей женой, то есть с вами, накапливал что-то там. А я, мол, приду и приберу все к рукам.

– А вы убеждены, что вот так могли бы прийти и прибрать, как вы выразились? Вы убеждены в том, что Василий Петрович оставил бы меня и связал бы свою жизнь с вами?

– Нет. К сожалению, нет.

– Так в чем же дело?

– Вот и я хочу вас спросить: в чем же дело? Чего вам от меня надо, Нина Александровна? Неужели вы не кажетесь себе смешной?

– Увы, дорогая, мне совсем не смешно. Мне, напротив, грустно. Вы, оказывается, еще и дерзки неимоверно. Не надейтесь, Василия Петровича вам не видать.

Ия внутренне закипела, возмущенная и тоном и словами этой самоуверенной женщины.

– Время покажет, Нина Александровна,– ответила она ей, глядя прямо в большие карие глаза. – Подождем.

– Чего, интересно? Когда я сдохну? Долго ждать, дорогая. Я на здоровье не жалуюсь.

– Нет, не этого подождем.

– Чего же еще?

– Того времени, когда Василию Петровичу понадобится верный друг,

товарищ, способный поддержать его в трудный час, разделить с ним не нажитое добро, а ту опасность, ту тяжесть, которые сопутствуют каждому его шагу!

– Ого! Красивенько говорите, дорогая! Никаких тяжестей, никаких опасностей у Василия Петровича не было, нет и не будет. Разве что неприятности от его неуживчивого, упрямого характера, оттого, что он вы брал себе такую хлопотную профессию. Но это неприятность, а не опасность. Вот так.

– Ничего-то вы о своем муже не знаете, Нина Александровна. И выяснять нам с вами нечего и решать нечего. Идите домой и успокойтесь.

Ия уже совсем была собою, острой, ироничной, спокойной.

Булатова еще что-то говорила, кипятилась, не выдержав роли этакой умудренной жизнью львицы, пришедшей к котенку, что она долго и старательно репетировала при активном содействии своих многочисленных приятельниц; она стала повышать голос, выкрикивать стандартные угрозы из анекдотов насчет парткома и парткомиссии. Но Ия не отвечала на это, спокойно курила, выпускала кольцами дым и всем своим видом показывала, что посетительница давно здесь надоела и пора бы уже ей удаляться восвояси.

– Нет, мы еще встретимся, еще встретимся! – восклицала Нина Александровна, идя к двери. – Вы не думайте, я этого так не оставлю, нет. Мне уже письма пишут, меня жалеют: все, мол, видят, только одна я нет! А я тоже вижу, я все вижу!

– Да, Нина Александровна, – миролюбиво говорила, выпроваживая ее, Ия. – Конечно, встретимся, и не раз. В парткоме, конечно. Не так ли?

Сцена была пошлая, гадостная и утомительная. После ухода Булатовой Ия кинулась на кушетку и лежала, почти не шевелясь, до самых сумерек. Ни работать, ни есть, ни пить – ничего не хотелось. Только вот лежать так и ни о чем не думать. Но не думать не удавалось. Все думалось, думалось и думалось о том, как быть, что делать, на что решиться и вообще надо ли на что-то решаться.

Она предполагала, что эта яркая, крашеная дама, устроившая спектакль ей, конечно же, устроит сцену и своему мужу. Но если бы Ия могла только знать, какого характера будет та сцена!

Булатов работал в своей комнате, писал статью для газеты.

Нина Александровна никогда особенно-то не деликатничала с ним, его просьбы не мешать ему, когда он пишет, считала капризами и два с лишним десятилетия все пыталась отучить его от них. А тут она просто влетела в комнату и уселась рядом с его столом в низком кресле.

– Ну-с, побывала у твоей дульцинеи! – объявила она воинственно и торжествуя.– Мила, мила, ничего не скажешь. Двадцать шесть лет, а клетчатки на троих хватит. Фламандия! Рубенс!

– Ах вот ты о чем! – Булатов догадался и, отрываясь от бумаг, повернулся к ней. – Нет, скорее Ренуар, сказал бы я. Неужели у тебя хватило этого самого…– Он сделал пальцами неопределенный жест возле виска.– И ты пошла устраивать скандал? Жутковато, Нина, жутковато. Кто это тебе дает такие

советы? Твои вороны и галки, которые собираются у нас, когда я уезжаю или ухожу?

– А что, по-твоему, у меня своего ума нет? – Нина Александровна чувствовала, что ведет себя не так, как надо, не так, как ей советовали ее многомудрые приятельницы. Она сделала попытку вернуться на правильный путь. По примеру одной действительно умной жены она сказала: – Ну это ладно, Василий. Я другое хочу тебе сказать. Ты с этой особой бываешь на людях, ты известный человек, неудобно же ей так ходить с тобой. Простушка какая-то, замарашка. Давай чулки ей, что ли, купим, кофточку какую-нибудь.

Он знал, что когда-то так поступила та женщина, которой сейчас пыталась подражать его супруга. У той это получилось в свое время тонко, остроумно, без нажима. А его супруга берет, что называется, быка за рога. Он внутренне усмехнулся, ответил с готовностью:

– Давай! Мысль хорошая.– Вынул из кармана несколько крупных бумажек, подал ей.– Съезди куда там следует, в Петровский пассаж или еще куда, купи.

Она вскочила, отшвырнула деньги.

– Вот, значит, у вас уже до чего дошло, вот, значит! Правду мне пишут, не ошибаются. – Она стала выбрасывать из сумочки на его стол конверты со штемпелями разных почтовых отделений Москвы. – Нет, ты не отвертывайся, ты читай, читай! – Она вытаскивала листки бумаги из конвертов. «Дорогая Нина Александровна!…» «Дорогая Нина Александровна!…» «Дорогая товарищ Булатова!…» Вот, вот, люди!… Сообщают. «Вот вам адрес, там вы застанете…» «Это стало сказкой всего города…».

– Нина, Нина, – сказал Булатов с грустью. – Что с тобой сталось, Нина?

Вечером к Ие явился Генка.

– Ты ничего не имеешь против,– заговорил он,– если мы у тебя снова соберемся? Завтра, например?

– Пожалуйста! Мне все равно. Веди своих олухов. Где-нибудь про гуляю вечер.

– Нет, ты тоже будь. Понимаешь, на этот раз и девчонки придут.

– Можно без меня.

– Нет, нельзя. Сюда еще явится и эта, помнишь, у батьки на приеме была, мисс Браун, Порция Браун? Мы можем чего-нибудь не так. А ты знаешь, как с такими. Пожалуйста, Ия?…

Мисс Браун! Это меняло дело. Посмотреть на мисс Браун еще разок, после того, как Ия начиталась ее сочинений, было любопытно. Можно будет и поговорить, выяснить, почему лично у нее, у этой голубоглазой, такую ярость вызывают имя Булатова, каждая строка, написанная им.

– Хорошо, – сказала она. – Уговорил.

На улицу они вышли вместе с Генкой: Ия захотела прогуляться. Не спеша шли они к Москве-реке, к Кремлю. Летняя Москва и вечером была многолюдной, шумной. Народ тек потоками по тротуарам, занимал частью и мостовые. Люди были всех цветов кожи, говорили на всяческих языках. Ия ловила высказывания по поводу красоты Кремля и его соборов, недовольные замечания по поводу того, что нигде не поймать такси, что все рестораны и

кафе переполнены, негде посидеть и выпить чашку кофе. Один высокий, сутулый тип в котелке говорил своему спутнику по-французски о том, что, если бы ему дали возможность, он бы зарабатывал в Москве миллионы. Люди тут не знают настоящего сервиса, за то, что способны преподнести им мы, они отдадут все свои деньги и только радоваться будут. Его спутник отвечал: нет, они упрямые, они хотят достичь всего своими силами. Со временем они это сделают сами, и их миллионы нам с тобой не достанутся. Было время, они сдавали кое-что в концессию – фабрики карандашей, изделий из вискозы и еще подобное тому. Но потом концессионеров вытеснили, и производство всего этого превосходно осуществляют сами.

– А ты все спекулируешь? – спросила Ия Генку.

– Почему же так грубо и примитивно? Не спекулирую, а являюсь посредником между производителем продукта и его потребителем. – Генка засмеялся.

– Богатым стал?

– Как сказать? Есть монета. И даже изрядная. Если понадобится, учти, могу ссудить. Под какой-нибудь ничтожный процент, под чисто символический. Потому что давать без процента – это не коммерция, это профанация. Такого дельца перестанут уважать.

– Ты когда-нибудь очень нарвешься, Генка. То, что ты делаешь, противоречит нашему строю. Тебе оно, может быть, кажется честным. Но оно противоречит, понимаешь? И поэтому оно до времени, до случая.

– Пока не нарвусь на кого-нибудь бдительного?

– Может быть. Во всяком случае, я хотела бы, чтобы ты это бросил. Отец-то, мать-то тебе ничего, что ли, не говорят?

– Отец? Ему все, знаешь…

– До феньки?

– Примерно. Он свое кует. А наша мутти?…– Он махнул рукой.

Ия шла и думала о той семье, в которой они с Генкой выросли. Она была там беспризорной, может быть, потому, что оказалась Александру Максимовичу чужой дочерью. Но Генка-то ему не чужой. А вот, в сущности, тоже беспризорник. Почему же свой-то, родной сын брошен на произвол судьбы? Шутки шутками, а немало таких ребят вывихивают себе мозги на свободном предпринимательстве, без руководящей руки родителей, без влияния семьи.

– Ладно, Ия, – сказал Генка, – ты особенно-то за меня не переживай. Годам к сорока из твоего брата, может быть, что и выйдет. А там, глядишь, и пенсионный возраст подойдет. Так и завершим помаленьку свой жизненный путь.

43

Пришло несколько девушек, две вполне миловидные, приятные, третья – развеселая, с очень смешным и непривлекательным длинным лицом, зато превосходно сложенная. Пришли молодые мужчины, именно мужчины, иначе

их уже не назовешь. Мальчикообразным среди них, пожалуй, был только Генка, который старательно изображал из себя хозяина, поскольку Ия сказала ему, чтобы в этом смысле он на нее не рассчитывал.

Первым любовником в разноголосо беседовавшей толпе, как заметила для себя Ия, был тонкогубый, тщательно, по самым последним модам разодетый красавец, посматривавший на всех многозначительно и усмешливо. – Ну, а где же метатель навах и томагавков? – спросил он, огляды ваясь.

– Юджин Росс? – поспешно откликнулся Генка. – Его, Кирюша, сегодня, к сожалению, не будет. Только Порция Браун. Но и она, сказала, немного задержится. Но что нам! Виски есть, джин есть. Даже индийские орешки! Этот Юджин – жаль, ты не увидишь его – парень деловой. Обо всем позаботился, все доставил еще вчера. Ваше здоровье, доблестные гидальго!

Среди собравшихся был паренек – его, пожалуй, можно было назвать именно пареньком,– невысокий ростом, щупловатый, скромный. Все время он пытался что-то сказать, но его перебивали, он терялся и смущенно пожимал плечами да поправлял очки с толстыми стеклами. Его звали Шуриком. Ия поняла, что он работает вместе с Кирюшей – Кириллом в таком институте, который для простых смертных не имел названия.

Кто-то из гостей, положив и тому и другому руки на плечи, сказал:

– Надежда мира! Со скольких ударов можно расколоть планетку?

Шурик заулыбался в ответ. Кирилл молча сбросил руку со своего плеча.

– Избегай, друг мой, безудержного панибратства.

Девушки толпились вокруг него. Он понимал, какой вызывает у них интерес, открыто куражился, изрекал афоризмы, мудрствовал. «В наш век время, потраченное на любовь,– потерянное время. Все эти любовные воздыхания родились в средние века. До того любовь была лишь натуральной, так сказать, деловой. Недаром античный мир дал человечеству столько мудрецов».

– А что значит деловая любовь? – спросила одна из девушек.

– Такая, которая своей целью имеет лишь продолжение рода человеческого – не более,– ответил, рассматривая ее, Кирилл.

– Какая же тогда это любовь! Это звериная любовь.

– А человек и есть зверь. Сильный, умный, далеко ушедший от своих собратьев, но зверь. Не надо идиллий, девочки и мальчики. Он жрет, он лапает самок – своих и чужих, он убивает, он…

– Не надо, Кирилл, не надо! – воскликнул Шурик.– Зачем же ты так? Товарищи могут подумать, что ты это вправду все говоришь и так думаешь.

– А я именно так вправду и думаю. Ракеты и любовь, любовь и атом – они несовместимы. Вы помните кинокартину про атомщиков? Почему я ее признаю из немногих наших картин? Потому что она реалистична, в ней много обнаженной, не закамуфлированной идеализмом правды. Как там поставлен вопрос одной умной девушкой, умной, подчеркиваю, со временной? «Возьми меня с собой туда, куда ты отправляешься. Тебе же понадобится там женщина. Ну вот и возьми меня на этот предмет на какое-то время». Делово, реалистично, современно.

– Совсем как в античном мире, до рождества Христова! – сказал кто-то, хохотнув.

– Идеалисты под воздействием церковников средних веков много лишнего нагромоздили на плечи человечества, – продолжал Кирилл. – Культивируя романтическую любовь, они увели человечество в сторону. Можете себе представить, сколько энергии миллионов и миллиардов людей ухлопано на то, чтобы часами торчать на углах под дождями, чтобы драться на дуэлях, петь серенады, объясняться, объясняться и объяснять ся, требуя ответа на до крайности затасканный вопрос «Ты любишь меня?» и радуясь в конце концов столь же затасканному ответу: «Да, люблю». Люди, охваченные любовью, тащились на так называемый «край света», затевали войны из-за так называемого «предмета любви». Мы бы давно летали и на Венеру, и на Марс, и дальше, если бы не любовная суета, на каком-то этапе нашего развития охватившая человечество.

– Послушайте, Кирилл, – не выдержала Ия. – Или вы просто дразните всех оригинальностью своих суждений, или вы страшный человек.

– Всех, кто не стеснялся говорить человечеству правду, предавали анафеме,– ответил Кирилл небрежно.– А некоторых даже жгли на кострах. Но правда от этого не переставала быть правдой.

– Мне думается, что дело обстоит совсем иначе, – не сдавалась Ия. – Любовь не убила энергию человечества, а породила и порождает ее. Без любви не было бы литературы, музыки, живописи, скульптуры, не было бы искусств и вообще не было бы духовных богатств, какими мы располагаем.

– Вот вы и убили себя этим высказыванием, богиня! – обрадованно воскликнул Кирилл. – В своей пламенной речи вы не назвали ничего, что двигало бы прогресс. Искусство, литература! Это же словесность, болтовня, мазня. Это нематериально. Вот-вот, так мысль человеческая и пошла уходить в этот суетный песок. Все это порождено чувствами, а не мыслью. Не любовь Ньютона к какой-то тогдашней красотке дала нам за кон всемирного тяготения, а его мысль, трезвая мысль. Не любовь дала нам представление о строении Вселенной, а мысль, мысль Галилео Галилея. Не любовь, не эти воздыхания дали нам возможность влезть в атом, вырваться за пределы земного притяжения, а мысль, мысль, мысль. Ваши «духовные богатства» – только помеха на пути человека к прогрессу. Недаром, когда Гитлер задумал до зубов вооружить свою Германию, он прежде всего сжег книги, и прежде всего про любовь. Солдату нужна не любовь, а…

– Публичный дом! – сказал вдруг Шурик со злостью.

Кирилл усмехнулся, взглянув на него.

– Устами младенцев глаголет истина. Браво, мой мальчик!

Нарочитой оригинальностью своих суждений Кирилл раздражал не только Ию и не только своего сослуживца Шурика, но и других. Они, правда, переглядываясь и пожимая плечами, молчали. И неведомо, до какого напряжения дошло бы дело, если бы не явилась наконец-то Порция Браун. Она мило улыбалась, видя, сколько молодых мужчин обратило на нее заинтересованные взоры. Она не зря оделась так легко и открыто в короткую

юбчонку выше колен, в невесомую блузку без рукавов, не сковав себя никакими поясами и прочими невыносимыми летом оковами туалета.

– Я виновата,– сказала она.– Я надеюсь, меня простят. О, госпожа Ия! – Она протянула руку.– Как приятно!…– Но рукопожатие ее было вялым. Именно Ия, эта красивая девушка, была свидетельницей то го, как с ней обошелся Булатов. Да, неприятно. Но что поделаешь…

Ей налили виски, она выпила, раскраснелась.

– У вас есть магнитофон? Да? Я принесла новые записи. Самые последние.– Она вынула из сумочки две бобины магнитофонной пленки. – Кто умеет, может потом завести.

Генка тотчас предложил тост за гостью, прибывшую в Советский Союз с такой благородной целью – показать миру красоту русского искусства. Все выпили. Кирилл, улыбаясь, заговорил с ней.

– Перед вашим приходом мы решали один важный вопрос, мисс Браун: что такое любовь в жизни человечества – прогрессивна она или регрессивна?

– О, это очень важная проблема! – Порция Браун стрельнула голубыми глазами, прошлась ими по лицу Кирилла. – Я не большой специалист в этой области. Но мне кажется, что любовью, друзья, как и всем иным, чем располагает человек, надо уметь пользоваться. Она может и ничего не приносить человеку, а может и очень много ему при носить.

– Не очень ясно, объясните.

– Надо уметь чувствовать того, кого любишь, развивать эти чувства, – стала объяснять Порция Браун. – А этому мешает стыдливость, которую веками и тысячелетиями культивировали… Я даже не знаю, кто это культивировал персонально. Общество! Все общество в целом. Оно шло за проповедниками стыдливости и постепенно заболевало ею. Стыдливость, я считаю, – это болезнь, которая вредит любви.

– Интересно! – сказал кто-то.

– Да-да, очень интересно! – подхватила Порция Браун.– Стыдливость берет начало в тех временах, когда женщина была собственностью мужчины, когда ее запирали именно как собственность в четы рех стенах, под прочные замки и никому, как сундук с золотом, не показывали, дабы не было соблазна. А если все-таки ей предстояло показаться людям, то она должна была закрыть лицо, закутаться с ног до головы, превратиться в этакий бесформенный куль. Кто же мог полюбить куль? Кого эта куча тряпок способна была заинтересовать? Вот как воспитывалась в человеке стыдливость и вот по какой причине. По самой что ни на есть материальной.

– И, конечно, в те времена не было любви? – сказал Кирилл, по чувствовав поддержку в некоторой части своих утверждений.

– Да, я думаю, не было. Во всяком случае, любовь не имела почвы для расцвета.

– Вы хотите, словом, сказать, что чем больше женщина открыта, тем больше ее любят? – спросила одна из девушек.

– Да, это верно. – Порция Браун закурила. – И женщине при ее естественном стремлении к любви свойственно не закутываться, а совсем напротив.

Разговор был острый. Все курили, все доливали свои стаканы из бутылок, пили, вслушиваясь в слова заокеанской гостьи. Она растревожила всех, разволновала.

Ия, видя, что разговор сводится лишь к одной теме, попыталась пригласить гостей танцевать, пыталась заговорить о чем-то ином. Но Порция Браун довольно бесцеремонно парализовала ее старания.

– Темой любви,– говорила она,– занят сейчас весь мир. Так, может быть, не было никогда, как сейчас. Кинематограф на девяносто процентов – любовь. Литература на девяносто процентов – любовь. Я уже не говорю об эстраде, обозрениях и прочем. А что, друзья, остается человечеству? Атомный век! Никто не знает, что с каждым из нас будет завтра.

– Положим,– начал было Шурик,– у нас есть кое-какие наметки и на завтрашний день…

– О, пропаганда! – парировала Порция Браун.– У вас есть про грамма коммунистического переустройства мира. Это прекрасно. Но во дородные бомбы не считаются с программами. Реальны сегодня лишь удовольствия, какие мы можем получить в современных условиях. – Откинувшись в кресле, она так задрала свою куцую юбчонку, что ноги ее открылись без малого до талии. – Вы очень смешные, наивные пуритане. Во Флоренции когда-то жил один очень строгий блюститель нравов, Фра Джироламо Савонарола. Его сожгли. У вас таких савонароликов множество. Вот вы,– указала она на Шурика,– я по глазам вижу, что вы со мной не согласны и меня осуждаете… Вон та пугливая девушка, которая так настороженно на меня смотрит… И даже наша очаровательная хозяйка, поистине созданная для любви, и та не на моей стороне.

– Нет, – решительно заявила Ия, – не на вашей, мисс Браун.

– Ну вот вас всех ваши менее строгие соотечественники и сожгут! – Порция Браун засмеялась. – Как того флорентийского монаха. Ну что, может быть, пора послушать, музыку?

Генка включил магнитофон с принесенными гостьей записями. Загрохотал джаз. Порция поднялась.

– Приглашайте, господа!

Кирилл принялся выделывать с нею лихие кренделя под суматошный джаз. Подхватились и другие. Началась сутолока. Дом трясся от общего танца. Останавливались лишь затем, чтобы еще выпить из расставленных повсюду стаканов. Уже никто не заботился о том, чтобы найти свой стакан, пили из попадавшихся под руку.

Ия думала о том, как же все это прекратить, а если не удастся прекратить, то как сбежать от все больше шалеющей компании. Она видела, понимала, как мерзка эта мисс Браун, как искусно она высмеивает даже намек на какие-либо высокие чувства, как стремится освободить окружавших ее от моральных обязательств, называя эти обязательства оковами.

– Господа! – Резким своим выкриком Порция Браун остановила танец. Она стояла с поднятой рукой. – Одну минуточку! Кирилл вздумал меня поймать на расхождении моих слов о стыдливости с делом. Мы только что заключили пари. Сейчас будет стриптиз. Прошу устроить свет соответственным образом.

В лицо Ии ударил жар. Не может быть, этого не будет, американка не решится на это, нет!

– Товарищи, товарищи!…– в отчаянии восклицала она.

Порция Браун тем временем выключила верхний свет, набросила чей-то пиджак на один торшер, что-то еще на второй, в комнате сделалось полутемно. На пол она скинула плюшевый коврик с дивана.

– Ну-ка, Геннадий, найдите там что-нибудь ритмичное и небыстрое.

Генка бросился к магнитофону. Все остальные – кто потирал руки в предвкушении непривычного зрелища, хотя и не очень верил в его возможность, кто искал воды, чтобы смочить сохнувшее от волнения горло, кто ухмылялся. Девушки были испуганы и жались в углах. У Ии появилась было надежда на то, что дело еще может ограничиться шуткой, каким-нибудь фокусом, и все.

Но вот Генка включил ритмичное, тихое и даже мелодичное.

Порция Браун поправила укрытия торшеров, встала посреди диванного коврика и принялась под музыку совершать такие движения, будто танцевала восточный танец. Медленно, медленно, однообразно, гибко, не без изящества. Так же медленно, не прекращая танца, она стала расстегивать пуговки на блузке. Одна, вторая, третья… Блузка расстегнута. Освобождена от нее одна рука, вторая… Блузка полетела на пол. В танце, под музыку, Порция Браун стала расстегивать крючки на юбке.

– Не может быть, не может быть!…– почти задыхаясь, крикнула Ия.

– Заткнись! – зло рявкнул вполголоса на нее Кирилл.

Ие показалось, что он хочет ее ударить. Она кинулась к двери, выбежала на улицу. Что-то надо было делать. Но что? Не за милиционером же бежать. «К Булатову, к Булатову!…» -было первой мыслью. Но нет, к нему обращаться было невозможно.

Мимо катилось такси с зеленым огоньком. Ия подняла руку; когда шофер остановил машину, распахнула дверцу и села на сиденье рядом с ним.

– Куда? – спросил он.

– Пожалуйста, только скорее! – И неожиданно ее осенило. Она дала адрес Феликса Самарина. Да-да, Феликс! К Феликсу.

Оставив жакет на сиденье, чтобы шофер не уехал, она бросилась в подъезд, к лифту, поднялась на тот этаж, где была квартира Самариных. На счастье Феликс оказался дома. Была там и Лера. Взволнованная, задыхающаяся, Ия проскочила мимо нее.

– Феликс, милый! – закричала она. – Скорее, только скорее! Там ужасно, ужасно.

– Где, где, Ия?

– Там, у меня дома!

– Извини, Лерочка, – сказал Феликс, хватаясь за пиджак. – Что-то

действительно серьезное.

– И я с тобой! – крикнула Лера.

Втроем они почти скатились с лестницы, такси их в несколько минут по набережной Москвы-реки донесло до Каменного моста, затем на Якиманку к Иному дому.

– Феликс…– Ия остановилась посреди двора.– Там иностранка, из Англии, из Америки – не знаю, откуда, показывает стриптиз.

– Что?! -

– Да-да, надо это остановить. Нельзя это!

Они вбежали в квартиру, распахнули дверь в комнату. Так же, в клубах табачного дыма, в сумраке, звучала ритмичная музыка. Но время прошло, Порция Браун, видимо, уже закончила свое представление. Она сидела, отвалясь, на диване, куря и улыбаясь, а на коврике, сбрасывая с себя исподнее, изгибалась пьяная девица с лошадиным лицом и античной фигурой.

Оттолкнув толпившихся, Феликс шагнул к ней, рывком поднял с пола.

– Немедленно одевайся! – крикнул.

Ия тем временем включила верхний свет.

Порция Браун вскочила с дивана.

– Это что такое? Полиция нравов?

– Товарищи! – сказал Феликс, оглядываясь вокруг. – Стыдно же! Как же вы?

– А вы кто такой? – слегка покачиваясь, спросил с надменностью Кирилл.

– Это Феликс, Феликс,– засуетился Генка.– Верно же, ребята, как-то не того. Уж мы чересчур.

– Не суетись! – одернул его Кирилл и продолжал наступать на Феликса. – Нет, извольте сказать, кто вы такой и по какому праву врываетесь в чужой дом?

Ия подымала с пола одежды дуры, последовавшей за Порцией Браун, помогала ей одеваться. Лера стояла совершенно растерянная. Ей вспомнились разговоры итальянок о зрелищах такого рода, их слова: «Как хорошо, что в вашей стране это не разрешено».

– Успокойтесь, Кирилл,– сказала Порция Браун.– Это очень интересно. Очевидно, перед нами молодой большевик, идейный строитель коммунизма, юный Фра Джироламо.

– Да, мадам, вы не ошиблись, – ответил Феликс. – Фра Джироламо. И поскольку идут такие параллели, хочу вам сообщить одну старую русскую поговорку: в чужой монастырь со своим уставом соваться не следует. У вас там свое, у нас свое.

– Она гостья, учти,– сказал Шурик, поправляя очки.

– Поэтому я с ней так вежливо и говорю.

– Товарищи! И вообще поздно уже! – закричал Генка.

– Бригадмил, что ли? – Кирилл разглядывал Феликса и Леру. – Дружинники?

– Да Феликс же это, Феликс! – опять объяснял Генка.

– Надеюсь, не Дзержинский? – Кирилл усмехался.

– Но названный так в его память! – Феликс своим взглядом готов был

перерубить пополам Кирилла.

Генка начал подталкивать гостей к выходу. Он был напуган происшедшим. Он никак не думал, что дело дойдет до таких неожиданностей, какую учудили мисс Браун, а за ней и дурашливая уродина Юлька. Теперь скандалу не оберешься. Дойдет до отца – он раскудахтается: карьеру мне губишь.

Посмеиваясь, поеживаясь, гости один за другим выскальзывали за дверь. Всем было неловко, даже Кириллу, который после такого ответа Феликса перестал вязаться к нему с вопросом, кто он такой. У всех было чувство, будто в тот вечер они участвовали в очень грязном деле. Никто бы не смог ответить, как это произошло, с чего началось, кому оно понадобилось.

– Ну что ж, юный воин,– сказала Порция Браун, обращаясь к Феликсу, – вы довольны? Испортили людям настроение, помешали им ве селиться, и так, вам кажется, вы строите коммунизм?

– Я помешал людям не веселиться, а терять человеческое достоинство. И я буду это делать. Всегда буду делать. И все мои товарищи будут так делать. И если вы ездите к нам с этим, что сегодня тут было, то лучше бы вам сидеть дома.

– Да, я не учла одного,– стараясь быть веселой, сказала Порция Браун,– не учла, в какой дом пошла. Хозяева таких домов обычно прикидываются святошами. Это ханжи, под показной святостью скрывающие свое подлинное лицо.

– Простите, что вы этим хотите сказать,? – не выдержала Ия.

– То, что не надо было идти в дом к почитательнице таланта господина Булатова и, если не ошибаюсь, даме его сердца, вот что.

– Не стыдно вам? – только и смогла ответить Ия.

– Ия, не волнуйтесь, – сказал ей Феликс. – Не надо. Вы же сами должны понять, кто перед вами. А вы, мадам, идите-ка лучше к себе. Вы сделали свое дело, можете вставлять его в отчет.

– До новых встреч, юные большевики! – сказала Порция Браун и ушла.

В комнате остались Ия, Лера, Генка и Феликс. Сидели вчетвером и молчали, изредка поглядывая друг на друга, на тот ералаш, какой был на столе, на подоконниках, на полу.

– Просто не верится, – сказала Ия, сжимая ладонями виски, – не верится, что это возможно, что это только что вот тут было. Какой кошмар! Неужели и мы можем прийти к тому, к чему пришли они, эти люди в том мире? И как плохо, как робко мы от этого обороняемся!

– Потому что не все понимают, что это такое, что за этим стоит и что за ним идет, – сказал Феликс. – Троянский конь!

– Вернее, троянская кобыла, если ты имеешь в виду эту Браун, – засмеялся Генка. Но его веселости никто не разделил.

– И первый ты ничего не понимаешь, Генка, – сказал ему Феликс. – Ты отворил этой кобыле ворота сюда. Тебе надо задуматься, Генка. До большой беды дойдешь сам и другим бед натворишь.

Поздно среди ночи Феликс и Лера шли по Москве.

– Почему та дрянь так сказала о Ие и о Булатове? – спросила Лера.

– Откуда же я могу знать, Лерочка! – ответил он. – Я же сплетен не собираю. Я никогда в чужие дела не суюсь.

– Но вот сегодня же сунулся…

– Это совсем не чужое дело. Ни мне, ни тебе, ни кому-либо. Оно наше общее.

44

Клауберг не выдержал и двух дней. Железной занозой в его мозгу, во всем его существе сидел этот бывший Кондратьев, ныне Голубков. Он трус, паникер, а такие на все способны от страха. Что он никакой не агент госбезопасности,– это очевидно; что он сам прячет подлинное лицо свое, – тоже. И все равно нет гарантий, что он смолчит, не попытается заработать себе если не полное прощение, то хотя бы смягчение наказания, выдав властям эсэсовца, побывавшего в свое время в Советской России отнюдь не в качестве туриста.

Надо было или немедленно улетать из Москвы на Запад, или предпринимать что-то не менее верное.

Перед глазами Клауберга все время стоял дальний угол Москвы, в недавнем прошлом загородный поселок, виделись глухая улица, старый домишко среди таких же отживающих свое дряхлых халуп, тесная комнатуха за чуланом, с окном, выходящим в заросли сада; и особенно ясно представлялась ему меж столом и шкафом покрытая старым стеганым одеялом железная кровать с облезлой краской и на ней тот, Кондратьев, раздумывающий – о чем? О том же, конечно, о чем раздумывает и он, Клауберг: как быть, что делать? Есть наивернейший выход: подойти к этой грязной кровати и чем-нибудь увесистым, надежным ударить как следует по голове с жидкими белесыми волосенками. И тогда вновь все станет тихо, спокойно, как было. Что ж, не будет только Кондратьева? Но его же давно и нет. Видимо, с войны. Есть Голубков. Но Голубков – миф. Одним мифом больше, одним меньше – какая разница!

Клауберг решился. Купив в магазине инструментов на улице Кирова молоток, он долго путался, тиская его в кармане, по Москве – то спускался в метро, то вновь поднимался – уже на другой станции; чуть было не потерял ориентировку, заехав на другую окраину, почти в лес. И все же через несколько часов добрался до Кунцева.

Вечерело. Солнце было над самой землей, оно отсветило здесь и было теперь там, куда вело пересекавшее Кунцево Минское шоссе, на родном Клаубергу Западе, где столько надежных убежищ, где, несмотря на разрозненные выкрики всяких демократов, можно все-таки спать спокойно, где ты сам себе хозяин, где ты человек, а не волк в окружении красных флажков.

Он крутился по улицам до тех пор, пока солнце не ушло совсем, и только тогда, в теплых сумерках, отправился на знакомую улицу, к тому знакомому дому.

«Может быть, следовало идти не в дверь? – возникла мысль. – Может быть, лучше влезть в комнату Голубкова через окно? А что это даст? Будет лишняя возня, за что-либо заденешь, что-нибудь опрокинешь. Шум, тревога… Нет, чего там! Надо решительно войти, как уже было однажды, и дать ему по башке».

Клауберг уверенно распахнул знакомую калитку, прошел через двор, поднялся на крыльцо, обогнул в сенцах чулан и дернул за ручку двери Голубкова. Дверь была заперта. Постучал – ответа не получил. Уже не ведая зачем, постучал еще раз.

Заскрипела другая дверь в сенях. Из нее, щелкнув выключателем на стене и дав свет, вышла та бабка, у которой Клауберг спрашивал о Голубкове в прошлый приход сюда.

– Кого тебе? А, это ты? – Она его узнала.– Так он же наутро съехал, Семен-то Семенович. Я думала, ты его сманил куда. Всю ночь сундучки свои собирал, вещички увязывал, а утром пригнал грузовик, расплатился со мной честь по чести и укатил. Не к тебе, значит? Ну, адреса не сказал, потому и не спрашивай, не знаю, почтенный, не ведаю.

Это было такой неожиданностью, перед которой Клауберг растерялся. Ничего этому подлецу теперь не стоит где-то в пути сунуть в почтовый ящик конвертик с сообщением о присутствии в Москве некоего штурмбанфюрера и описанием его примет.

Да, надо было действовать быстро и решительно.

Из Кунцева Клауберг помчался было на международную телефонную станцию. Но лондонская контора издательства не отвечала, и за поздним временем это было естественным; номерами же домашних телефонов он не располагал, ничего, следовательно, не оставалось, как ждать до утра.

Нервы Клауберга так напряглись, что он уже боялся войти в вестибюль гостиницы, все ходил и ходил вокруг площади, в сквере на которой стоял памятник Карлу Марксу, и по временам невольно посматривал на тот лозунг о диктатуре пролетариата, который был выложен керамическими плитками на фронтоне гостиничного здания.

– Ну как, господин Клауберг? – услышал он голос рядом с собой. – Нашли Голубкова?

Он готов был бежать от этого возгласа, полагая, что его вот-вот схватят за локти и скуют руки стальными браслетами. Но возле него стоял безобидный, улыбающийся приятель Юджина Росса, сын доцента Зародова.

– Что? – сказал Клауберг, бешено ненавидя этого парня и все же стараясь быть приветливым. – Голубкова? Да-да, конечно. Мы с ним договорились встретиться еще. Но он почему-то не приходит.

– Не приходит? Я съезжу к нему завтра, спрошу, чего это он. Обычно он аккуратен. Деловой человек. Вы куда-то шли? Я вам не помешаю?

– Нет-нет. – У Клауберга мелькнула мысль, нельзя ли предстоящую ночь провести не в гостинице, а скажем, у этого парня или у кого-то из его приятелей. – Гуляю, гуляю, – сказал он, пытаясь улыбаться. – Изучаю вашу московскую жизнь. Скоро уже и конец, домой отправимся. Как поживают ваши

родители?

– Муттер на даче. Фатер – в трудах. Сегодня он, правда, тоже на даче. Суббота! Уик энд!

Клауберг запомнил дом, в котором жили Зародовы. Сопровождаемый Генкой, он шел такой дорогой, чтобы выйти на улицу Горького и как бы случайно добраться именно до их дома. А там, кто знает, может быть, этот простодушный малый пригласит его к себе.

Так и случилось. Возле своего дома Генка сказал:

– Наша берлога!

– Что это означает? – Клауберг сделал вид, что не понимает его терминологии.

– Здесь мы живем, – пояснил Генка. – Вы же у нас были, господин Клауберг.

– Неужели? – изумился Клауберг. – Плохая память! Да и вообще в новом городе с первого раза можно запомнить лишь нечто равнозначное Эйфелевой башне, вашему Кремлю, Колизею. А уж, скажем, башню, на которой установлен лондонский Биг Бен, вполне спутаешь с башнями Стокгольма или Брюсселя, а папский собор святого Петра – с Казанским собором в Ленинграде. Да-да, теперь вспоминаю вашу квартиру, очень было мило, гостеприимно.

– Господин Клауберг,– сказал Генка,– может быть, зайдем к нам? Правда, родителей нет. Но если хотите…

Клауберг помедлил ровно столько, сколько надо было, чтобы это походило на его натуральные колебания и в то же время, чтобы русский малый не успел сказать: «Ну что ж, не смею настаивать»,– и согласился.

– Люблю изучать жизнь, – сказал он, подымаясь в лифте. – А где еще увидишь ее так отчетливо, как можно увидеть в домашней, неофициальной обстановке?

Если бы мать и особенно отец узнали, что Генка без всяких приготовлений приведет к ним в квартиру гостя, да еще и иностранца, они бы обрушили на голову своего сыночка все ругательства, какие им были известны. Без предварительных приглашений в квартиру Зародовых не пускали никого по причинам крайней неряшливости всех ее обитателей. Сам Александр Максимович, на людях появлявшийся в ультразападном виде, дома расхаживал в старых шлепанцах, небритый, всюду сыпал пепел сигарет и сигар. Супруга его была ему под стать. По всем комнатам были раскиданы ее импортные кофты, юбки, чулки, пояса. В доме был пылесос, были полотерная машина, совки, веники. Но добровольно никто к ним не прикасался. Поэтому, когда разговор заходил о том, что кого-то надо позвать, кому-то устроить, как у Зародовых называлось, прием, в квартиру созывались многочисленные родственники Александра Максимовича, и вот они-то и наводили должный порядок. А сами Зародовы грязи, среди которой проходила их жизнь, не замечали, грязь для них была явлением нормальным, бытовым. Тем более она не тревожила Генку. Стены есть, потолок есть, магнитофон есть, холодильник тоже – ну и ладно. Берлога!

Немец Клауберг сразу увидел разницу между тем, как выглядела квартира

Зародовых тогда, во время приема, и какой она предстала перед ним теперь. Можно было подумать, что здесь или готовились к ремонту, или к переезду. Но, конечно, он и слова не сказал о своих впечатлениях.

Генка усадил его на диван перед овальным столиком.

– Сейчас, господин Клауберг, кое-что будет. Одна минута!

Он натащил из холодильника бутылок – и начатых и неначатых, банок с консервами, нарезал прямо на газете, которую разостлал на столике, большими ломтями хлеб.

– Ни виски, ни джина, извините, нету,– пояснял он.– Но вот хорошая, холодненькая водчонка. Вот армянский коньяк. Три звездочки. А это для знатоков. Это нам из Болгарии привезли – мастика. Пахнет каплями датского короля. Вы знаете такие – от кашля? А это очень ценный напиток. Черный рижский бальзам. В керамической посудине который. В нем травы какие-то. От всех болезней. Его можно и так, голый. А можно и в водку капать. Запах отбивает и вкус облагораживает,

– Вы большой знаток выпивок, Геннадий, – сказал Клауберг, все раздумывая об этом проклятом Кондратьеве-Голубкове.

– Ну какой там знаток! Дилетант. Любитель. А что, господин Клауберг, некоторые думают, что выпить – это разложение. А это же жизнь, верно? Выпьешь – какие-то фантазии возникают в голове, идеи рождают ся, чего-то такого особенного хочется. И даже сам себе кажешься лучше, чем есть. Ну, за ваше здоровье, за успешное окончание вашей работы, за благополучное ваше возвращение домой!

Оба они выпили водки, подкрашенной рижским бальзамом.

– Меня, господин Клауберг, все кроют: и родственники и разные там солидные знакомые. Дескать, не определился, балбес, и все такое. А что значит не определился! Зарабатываю? Зарабатываю. А что еще вам от меня надо? Не ваше ем. Свое. Я, понимаете, жизнь люблю. Вот так, что бы жилось – и все. А жизнь, я вам скажу, у нас очень приличная. Были бы деньги!

– Верно, верно, – кивал на его слова Клауберг и подливал себе в рюмку то водки, то бальзама. – Вы правы. Жизнь у человека одна, и нет никакого смысла вколачивать ее в колодки принятых правил. Надо ею пользоваться.

Оба они понемногу хмелели, особенно Генка, который, красуясь перед иностранцем, лихо выливал рюмку за рюмкой себе в рот и не закусывал.

В комнате стоял полусвет от торшера с абажуром из синтетической пленки. В этом свете лицо Генки казалось бледнее обычного, оно было почти белым и, круглое, мальчишеское, постепенно стало все больше тревожить память Клауберга. Мало этого проклятого Голубкова, думал он, вот и еще кто-то из прошлого лезет в душу, будь он тоже проклят. Он увидел рыжие веснушки на этом белом круглом лице, увидел растрепавшиеся Генкины светлые волосы и глаза, устремленные на него с каким-то вопросом. «Он,– сказал себе Клауберг,– он! Тот, из Чудова. Звереныш». Его бросило в жар, он не донес рюмку до рта, поставил ее обратно на стол. Забытое, острое, ни с чем

иным не сравнимое чувство жестокого властвования над человеком передернуло его всего, охватило неудержимой судорожной дрожью.

– Жизнь, значит, любишь? – сказал он, подымаясь.– А смерть ты видел?

Пьяному Генке показался смешным вопрос гостя. Он ухмыльнулся во весь рот, добродушно и понимающе: дескать, оба мы надрались, ну и что тут такого? И тотчас ощутил удар в лицо. Это было как толчок – тупое, резкое, бросающее на спину.

Недоумевая, он поднялся с пола, в глазах его были смятение, растерянность.

Клауберг снова ударил, и Генка снова упал. Встав, он начал пятиться от непонятного, озверевшего человека с железными руками. Дойдя спиной до диванчика, он опустился на него. Клауберг стоял над ним, как глыба.

– Любишь жизнь?

– Люблю,– сказал Генка и получил пощечину.

– Любишь? – Новая пощечина. – Любишь? Любишь? – Клауберг хлестал его правой и левой, правой и левой. Генкина голова моталась из стороны в сторону. Нет, он не пытался кинуться и укусить того, кто его бил, нет, он не плюнул ему в лицо, он только заслонялся руками, извиваясь под ударами, стонал и вскрикивал, а Клауберг в исступлении все бил, бил, бил… Он плевал в это круглое веснушчатое лицо.– Вот, вот! Тьфу! Гаденыш! Мразь! – Все, что штурмбанфюрер СС не сделал тогда в Чудове, все, что более чем четверть века носил в себе мутным осад ком, все мучавшее его он выплескивал в это мальчишечье лицо, так по хожее на то, давнишнее.

И только когда Генка потерял сознание, то ли от побоев, то ли от выпитой водки, Клауберг остановился. В какой-то короткий миг пришло отрезвление. Что же это такое? Что случилось? Почему? Он схватил со столика не рюмку, а стакан для воды, вылил в него остатки водки из бутылки – это составило половину стакана, дополнил бальзамом и жадно, одним духом выпил. Потом взял графин и вылил всю воду из него на Генкину голову. Генка застонал, шевельнулся. Открыл один глаз.

– Зачем же вы так, господин Клауберг? – сказал он, всхлипнув. – Что я вам сделал?

Оставалось прикинуться мертвецки пьяным, что Клауберг и сделал. Под взглядом Генкиного глаза, из которого катились слезы, он, шатаясь, походил по комнате, задевая за стулья, роняя их, бормоча ругательства, и в конце концов плюхнулся на диван рядом с Генкой и захрапел.

Он и в самом деле скоро уснул. Проснулся, когда уже было светло. Огляделся, вспомнил все, что произошло ночью. Генки рядом не было. Встал, кое-как расправил мятые брюки и пиджак, пошел искать Генку. Тот спал у себя в комнате. Лицо его было в синяках и кровоподтеках, правый глаз скрылся в тяжелой опухоли.

Клауберг подумал-подумал, стоя над ним, порылся у себя в бумажнике, достал бумажку в сто долларов и положил на тумбочку возле Генкиной постели. Потом, захлопнув за собой дверь на французский замок, вышел на улицу, отыскал раннее кафе, заказал рассеянной официантке завтрак. Она

принесла ему совсем не то, что он просил, но он и сам забыл, что заказывал, и как рассеянно она обслуживала, так же рассеянно он ел. Надо было дотянуть до начала работы в издательской конторе в Лондоне. Он понимал, что если этот парень, может быть, и успокоится на ста долларах компенсации за битую морду, но Голубков-то где-то есть и способен оттуда с полной для себя безнаказанностью делать с ним, Клаубергом, что угодно. В любую минуту могут прийти с площади Дзержинского. Надо уносить ноги. Но не по-глупому, а по-умному: надо получить разрешение на двух-трехдневный приезд в Лондон для согласования кое-каких накопившихся вопросов. Если следят, если проверяют, все будет законно, в порядке работы, вне подозрений.

Когда наконец среди, дня, потому что московское время опережало часы Западной Европы, он услышал голос одного из ответственных лиц в конторе издательства и изложил ему свою просьбу, он получил обрадовавший его ответ:

– Пожалуйста. Хоть на пять дней. Ждем.

Тогда он отправился в бюро обслуживания. Французская «Каравелла» шла на следующий день. Он заказал билет до Лондона с пересадкой в Париже.

– Где ты пропадал, Уве? – спросил его зашедший к нему днем Сабуров. – Я искал тебя весь вечер.

– А что такое? – встревожился Клауберг.

– Ничего особенного. Но все же…

– А!…– сказал Клауберг, махнув рукой.– Закатился к одной особочке.

– Ты неутомим. – Сабуров улыбнулся. – Годы тебя не берут. Все такой же.

– Учти, что несколько дней меня не будет,– сказал, переходя на деловой тон, Клауберг…– Вызывают в Лондон. Какие-нибудь дополнительные инструкции. А ты продолжай дело, оставляю тебя моим заместителем. Следи за этой шайкой, за Браун и за Россом.

– Знаешь, я тебе как раз и хотел вчера сказать о мисс Браун. Она что-то натворила не очень принятое здесь. Ее сегодня вызвали в посольство.

– А, черт с ней! – отмахнулся Клауберг.– Нам с тобой плевать на них, этих заокеанских. А что касается Браун… Ну сам же знаешь, кто такая она. Обычная шкура, проститутка с образованием. Какие у нее идеи? Никаких. За деньги готова служить кому угодно.

Назавтра, когда Клауберг и Сабуров, отправившийся его провожать, приехали в аэропорт, они увидели Порцию Браун в очереди к пограничникам, которые проверяли паспорта.

– Хелло! – сказала она, нахально усмехаясь им обоим.– Надеюсь, вы извините меня, что не пришла попрощаться с вами. Меня так быстро выставляют из этой миленькой страны, что я вообще ничего не успела.

Потом она ушла, и Сабуров ее уже не увидел. Клауберг пожал ему руку, еще раз сказал: «До скорой встречи. По поводу этой стервы не тревожься. Она к нашей работе не имеет никакого отношения. С нас за нее не спросят» – и ушел тоже.

Сабуров на смотровом балконе аэровокзала простоял до момента взлета

«Каравеллы». Клауберг долго видел его с воздуха – одинокую недвижную точку.

Места Порции Браун и Клауберга были в разных рядах. Но поскольку самолет не был заполнен пассажирами и наполовину, то они при желании могли бы устроиться рядом. Такого желания не было, они сидели каждый в своем кресле, как было указано в билетах, и сквозь иллюминаторы смотрели вниз, на землю. Клауберга не покидала тревога: хотя самолет французский и команда французская, но территория-то внизу советская, и воздух над нею советский, и каждую минуту команде самолета мог последовать приказ вернуться в Москву или сесть на каком-нибудь ином советском аэродроме. И только когда стюардесса сказала, что самолет пересек границу Восточной и Западной Германии, он распрямился в своем кресле и нажал кнопку вызова стюардессы.

– Пожалуйста, – сказал он ей, изящной и приветливо улыбающейся, – сигареты и двойной джин.

В Париже, в аэропорту Бурже, Клауберг подошел к мисс Браун.

– До свидания, дорогая, – сказал он. – Были приятные минутки…

– Мне бы не хотелось больше никаких свиданий с вами, Клауберг, – заносчиво ответила Порция Браун. – И никаких минуток.

– Кто знает,– сказал он с усмешкой,– еще, может быть, они и будут. Может, еще встретимся с вами.

– В каком-нибудь новом Равенсбрюке? Рассчитываете на это?

– Авось и посолиднее что придумаем. – Клауберг ухмыльнулся.Не зарекайтесь, мадам.

Он козырнул ей и уверенным шагом солдафона пошагал узнавать, когда очередной самолет на Мадрид. Он хотел домой. А дом его пока что был там, в Мадриде.

– А, Клауберг! – окликнули его возле бюро справок. – Откуда и куда? – Спрашивал один из его мадридских знакомых.

– Из Москвы, знаешь. И в Мадрид,– ответил Клауберг.

– По второму разу? – Знакомый засмеялся. – Роковой маршрут. А как тебя занесло в Москву?

– Долгая песня. Дело! Бизнес.

– Хватит бездомничать, Клауберг, хватит. Есть новости. Меня фюрер вызвал.

– Кто?

– Фюрер, говорю. Ты перестал понимать немецкий язык. В Ганновер. Там большие дела развертываются. Идет бой за наше место под солнцем. За место под ним для настоящих немцев. Какого черта нас, как евреев, разбросало по всему свету… «Преступники!» Не мы, а те, кто ослабил мускулатуру нации, кто дал ее разорвать на части,– вот кто настоящие преступники. И мы до них еще доберемся. Задача – овладеть бундестагом. Надо на полную мощность запустить машину пропаганды. Меня вот и вспомнили. Фюрер вызвал, понимаешь?

Клауберг смотрел на довольное выражение лица мадридского знакомого, и

у него стало ныть в груди.

– А почему только тебя? – спросил он. – А других?

– Не знаю. Наверно, и до других дойдет очередь. Не всех еще, на верно, можно. Там еще все-таки сильны всякие демократишки. Еще судят настоящих немцев за их верность великой Германии. Но когда бундестаг будет нашим, мы эти законы окончательно прихлопнем. Не железными решетками, а «железными крестами» будут награждены все, кто выстоял в этой борьбе. Будь здоров!

Клауберг смотрел на довольное выражение лица мадридского знакомого, и мысль о Мадриде, как о доме, уже не возвращалась. Что ни говори, дом его был не в Мадриде, а там, в Кобурге, в Баварии, в Германии. Захотелось кинуться вслед за этим знакомым, за счастливчиком, который через какой-нибудь час выйдет из самолета в Ганновере. Черт побери, будет, будет такое время, эта голубоглазенькая дрянь, давно растаявшая в парижской толпе, еще поваляется в ногах у него, у Клауберга. «Равенсбрюк!» Нет, будет почище, почище всех Равенсбрюков, Бухенвальдов и Освенцимов, вместе взятых.

45

Генка два дня не выходил на улицу, до вечера понедельника. Он знал, что в понедельник отец ездит на свою службу прямо с дачи и, значит, домой явится именно только к вечеру этого дня. К тому моменту должна быть приведена хотя бы в относительный порядок расквашенная Генкина физиономия. Он грел синяки грелкой, прикладывал кубики льда из холодильника к разбитой губе, к опухоли вокруг глаза. Лечение шло успешно, но медленно. А главное, Генкину душу раздирала нестерпимая обида. Бывает, конечно, люди напьются и лезут в драку; обычно хорошие, мирные люди, а вот, выпив, становятся как бы совсем другими. У отца есть знакомый, который, когда трезвый, что называется, мухи не обидит, такой всегда грустный, с печальными серыми глазами в густых девичьих ресницах; а напьется – первые у него слова: «Хочешь, я тебе сейчас дам под ребро, хочешь?» – и в самом деле так и прет на тебя, вращая кулаками, глазами, не обережешься – двинет в печень, дух захватит. Может быть, и этот Клауберг, несмотря на то, что он профессор, подвержен озверению в состоянии хмеля.

Допустить все можно. Но ведь он, этот профессор, – Генка отлично помнит, – бил как садист, как палач, со вкусом, профессионально. Да еще и плевался. Почему?

Обида мучила. Благо, никто не видел, Генка то и дело принимался плакать. Сидит, смотрит в одну точку, а слезы по щекам так и бегут, так и бегут.

Нисколько не утешала стодолларовая бумажка на тумбочке. Она свидетельствовала, конечно, что Клауберг понимает свинство своего поведения. Но тоже, скажите, пожалуйста, способ принесения извинений! Сунул купюру – и чист.

Купюра, правда, была крупная, солидная. Сто долларов в мировой, свободно конвертируемой валюте – это не шуточки. В валютном магазине на

нее можно сорок бутылок виски отхватить. Или какого хочешь барахла охапками: ботинок, туфель, галстуков, пиджаков, отрезов на костюмы, плащей. Можно, конечно… Но это же неслыханное падение, это, как хотите, а все-таки тоже торговля телом: тебя бьют и за это платят. Бумажка ценная, что говорить. Но мог бы не ее, а записку оставить: извини, мол, все мы человеки, перехватил.

При всей Генкиной любви к деньгам, тем более к валюте, редкостная бумажка эта его не радовала. Чем больше он раздумывал над нею, тем больше она его угнетала, унижала, оскорбляла.

К понедельничному вечеру еще нельзя было сказать, что следы событий с его лица сошли; отцу, во всяком случае, в таком виде показываться не следовало. Но выйти на улицу было можно. И Генка решил пойти к Клаубергу, отдать ему сотню и, может быть, если сумеет набраться духа, высказать свою обиду. Пусть не думает, что за деньги все можно. У нас не заграница.

На стук в дверь комнаты Клауберга в «Метрополе» ответа не было. Постучал к Юджину Россу.

– О, Геннадий! – воскликнул тот, отворяя. – Сколько лет, сколько зим! Ты где же пропадал? И что это за пятна у тебя на лице? Подрался?

– Да,– решил соврать Генка.– Тренировались, применяя твои приемчики, Юджин. Вот и результаты.

– Ты молодец! Смельчак! – одобрял, гладя его по плечу, Юджин Росс. – Хороший удар – это не то, что вонючие стриптизы. Слышал я, как Порция Браун отличилась. Главное, нашла что показывать. Она же старая выдра, ей давно за тридцать. Словом, тю-тю, не то посольство, не то ваши власти, но кто-то из них дал ей коленом под зад, отбыла в Париж. И герр Клауберг – тоже. Но он через несколько деньков вернется. А она – нет.

– Господин Клауберг уехал? – Генка растерялся. Бумажка в сто долларов жгла ему карман. Он хотел во что бы то ни стало отделаться от нее, это была позорная бумажка.

– Значит, вас осталось двое? – сказал он. – Ты и господин Карадонна? Он-то не уехал?

– Он – нет. Он теперь у нас главный, до возвращения Клауберга.

Сабуров сидел в своей комнате, читал очередное письмо от Делии.

Как обычно, она начинала с упреков за то, что он слишком надолго застрял в России; вместе с тем временем, которое он провел в Лондоне, это уже скоро будет полный год, как его нет дома, наверняка он спутался с какой-нибудь русской; пусть-ка только он вернется, она тотчас влепит ему за это пару отборных пощечин. Он, конечно, понимал, что все это шутки в духе Делии, и видел ее воинственную улыбку, с которой она писала такие строки.

Дальше в письме сообщались вариготтские и туринские новости.

«Синьора Антоииони получила письмо от бывшей жены Спада, – сообщала Делия. – От синьоры Леры. Ты, может быть, встречаешь ее там, в Москве. Если нет, вот тебе адрес, навести и передай привет. А еще передай, если синьора Антониони не успела ей сообщить, что бывшего муженька

синьоры Леры выгнали из коммунистов. Он болтался, оказывается, в Москве по делам фирмы, и что ты думаешь, Умберто? Напихал в свой чемодан контрабанды, чего-то такого, что нельзя вывозить, и таможенники его застукали. Получился скандал. В одной миланской газете было написано, что он вез что-то печатное, очень недружественное Советскому Союзу. А что я говорила? Тезка Муссолини не может быть порядочным человеком. Но он нисколько не горюет. Он быстренько опубликовал письмецо в газетах. Его выгнали грязной метлой, а он пишет: „Почему я разошелся с коммунистами“. Да потому, что он негодяй. Чего тут объяснять! Его папаша путается с МСИ, с этим „социалистическим движением“, которое вздыхает по покойному дуче, и дает этим новофашистским молодчикам деньги. У него связи среди больших богачей. Он уже нашел своему Бенито уродину, вместе с которой, как говорят, ее папаша отдает жениху шикарную виллу за Альбенгой, почти на самой границе с Францией, так что синьор Спада в нашу Вариготту уже не заглянет. Разве если проплывет мимо на яхте из Ливорно или Савоны».

Заканчивалось письмо тоже в ее обычном стиле:

«Дети тебя ждут и целуют. Ну и я могу чмокнуть, если тебе это еще надо».

Сабуров улыбался прочитанному, за расползающимися кривыми строками письма видел его автора, Делию, видел свой дом – виллу «Аркадия», зеленые улицы Вариготты, каменистый берег, море, и ему захотелось поскорее туда, к Делии и к детям. Здесь, в России, он родину потерял. Как ни тоскливо думать об этом, но потерял, потерял. Не она его отвергла, а он сам перечеркнул все, надев когда-то по роковой, губительной ошибке немецкий мундир.

Он поморщился, когда постучали в дверь. Поди, Юджин, который каждый вечер напивается и не дает ни себе, ни ему, Сабурову, покоя.

– Войдите! – крикнул он с досадой по-русски.

Нет, это был не Юджин. Это был Геннадий, сын доцента Зародова.

– Господин Карадонна, – заговорил Геннадий, – извините, что беспокою. Но я шел к господину Клаубергу. А его, оказывается, нет.

– Да, он улетел.

– А у меня такое дело. Ждать его возвращения… Он забыл у меня эту бумажку… Я бы хотел оставить ее у вас…

– Сто долларов?! Как забыл?

Сабуров смотрел на парня и думал о том, что тут какая-то очередная темная история. Такие бумажки спроста не оставляют, не забывают. Тем более не сделал бы этого Клауберг с его немецкими правилами.

– Товарищ… то есть господин Карадонна,– заговорил Генка, чувствуя, как у него вновь начинают от обиды дергаться губы. – Я вам скажу правду. Я пригласил господина Клауберга ко мне домой. Мы там не множко выпили, и он… Нет, вы даже представить себе не можете… Он меня избил. Вот, вот, вот!… – Генка указывал на своем лице места ударов. – Господин Карадонна, он же известный профессор! Почему же это? Почему? И вот, уходя, сунул мне эту бумажку. Оставил на тумбочке возле кровати. Скажите, что же это такое?

С недоумением, с возмущением слушал Сабуров торопливый мальчишеский рассказ человека, которого назвать мальчишкой уже было

нельзя. По летам он взрослый, вполне взрослый, а по духовному миру, по развитию?… Странно.

– Зачем вы пили с ним, Геннадий, зачем? – спросил он с какой-то внутренней мукой. – Что общего у вас с этим человеком, с профессором Клаубергом? Ни возрастом, ни профессией, ни идеалами – ничем, решительно ничем вы с ним не связаны. Что вас заставило водить с ним компанию и даже взять вот и напиться со старым, чужим вам представителем чужого, чуждого мира?

Геннадий смотрел в пол и молчал. А что он мог ответить? В самом деле, почему он потащил Клауберга к себе домой? Почему он вообще больше крутится вокруг всяких иностранцев, чем общается со своими сверстниками? А Карадонна как бы подслушал его мысли.

– Разве у вас нет лучшей компании? Разве у вас нет друзей, таких же молодых, как вы, ваших русских, советских, которые заняты такими интересными, удивительными делами, о чем мы, иностранцы, можем лишь вычитывать из газет, а вы это все можете делать своими руками, участвовать в этом, быть хозяевами этого.

– Чего? – спросил Генка, не подымая головы.

– Как чего? Великой страны! Великих дел! России! Да вы знаете, что такое Россия? Нет на земном шаре сегодня страны, нет народа, на которые бы так или иначе, но не оказывала своего влияния Советская Россия! Одни ей завидуют, другие подражают, третьи учатся у нее, даже не желая в этом признаваться. Будущее за теми, кто пойдет дорогой России.

– Это говорите вы, итальянец? – Генка поднял глаза на Сабурова.

Тот встал.

– Да, это говорю я. Я многое повидал на своем веку, очень многое. И очень горькое. Слушайте.– Он подошел близко к Генке, навис над ним. – Вы мечетесь, вы разбрасываетесь, а потом вот глотаете слезы обиды. Молодой человек,– как-то разом он заговорил с ним на ты,– я тебе задам вопрос: чего же ты хочешь? Чего? Ответь!

В мозгу Генки, путаясь, сплетаясь, неслись клочьями торопливые мысли. Как, что ответить на так вот прямо, отчетливо поставленный вопрос: чего же он хочет? Отец, это известно, тот рвется в верха. Тот хочет иметь кабинет с кондиционированным воздухом, черный длинный автомобиль, сидеть в президиумах, красоваться на экранах телевизоров, быть депутатом, лауреатом. А ему, Генке, что надобно? Он никогда об этом не думал, он не знает – что. Взять, скажем, сестру Ию. Ия – идеалистка. Ей нужна жизнь возвышенная, красивая, интеллектуальная, а не материальная. А ему? Он не думал, не знает. Феликс Самарин? Того вообще не понять. «Класс! Классы! Борьба миров! Человек должен быть всегда честным, к чему-то стремиться значительному». А к чему – никто толком не знает, не объяснит, все болтают общие слова.

– Не знаю, – ответил Генка наконец на вопрос Сабурова. – Так вроде бы всяких мыслей полна голова. А вот такого бы…– Он поделал в воздухе руками, как бы охватывая некий шар, округляя его. – Такого – не скажу. Не знаю.

Сабуров ходил от окна к двери, от двери к окну.

– Ты хочешь,– сказал он вдруг,– чтобы в вашей России кончилась Советская власть?

– Что вы, господин Карадонна! Зачем так?

– Ты хочешь, – не замечая его протеста, продолжал Сабуров, – чтобы началась новая война, чтобы вы потерпели в ней поражение и к вам бы наводить свои порядки ворвались какие-нибудь неоэсэсовцы, неогитлеровцы – неважно какой национальности – снова ли немцы, или кто другой

– Я вас не понимаю, господин Карадонна! – Генка тоже встал.

– Ты хочешь новых Майданеков и Освенцимов, Равенсбрюков и Бухенвальдов? Ты хочешь, чтобы русских и всех других, из кого состоит советский народ, превратили в пыль для удобрения европейских или американских полей? Ты хочешь, чтобы Россия была только там, за Уралом, а до Урала весь ваш народ был истреблен и на его землях расселились завоеватели? Ты знаешь о плане ОСТ? Пойди в библиотеку, найди со ответствующие книги и познакомься с планом ОСТ, вдумайся в него, про чувствуй его. Ты увидишь, что приход западной «демократии», которой завлекают вас, молодых русских, западные пропагандисты, – это отнюдь не полные витрины ширпотреба, а прежде всего истребление ваших народов, уничтожение вашего государства, уничтожение России. По плану ОСТ предстояло или полностью уничтожить русский народ, или если какую-то часть оставить, то только ту, которая явно обладает так называемыми признаками нордической расы, да и то при непременном условии ее онемечивания. Учебные заведения у вас были бы ликвидированы, за исключением четырехклассных школ, всюду как государственный был бы введен немецкий язык, немцы принудительно сократили бы рождаемость русских. Это обширный и жестокий план, план ОСТ. Ты хочешь, чтобы его где-то возродили?

Сабуров открыл бутылку минеральной воды, налил в стакан, выпил.

– Ты протестуешь, отмахиваешься. Но были русские, которые этого хотели, полагая, что так они вернут себе родину. Среди них были и такие, как ты, молодые, запутавшиеся. Они надели на себя немецкие мундиры и вместе с гитлеровцами маршировали по русским дорогам и полям. На их глазах жгли русские деревни, убивали русских женщин и детей, а они думали, что так и надо, что это для них путь на родину, путь к возврату былого. И все рассеялось как дым. Они обманули себя. Никакой чужак тебе не поможет, он думает о своем, ему плевать на тебя, ты нужен ему лишь до той поры, пока он добьется своего, а тогда и ты лети ко всем чертям, и тебя сожгут, растопчут, развеют пеплом по свету. Пальцы грызут сейчас те, кто поверил врагам России, пытаясь видеть в них своих если не друзей, то хотя бы союзников. До того, как напялить на себя немецкие мундиры, они еще могли на что-то надеяться, на то, что русский народ примет их обратно, простит ошибки и заблуждения горячих лет революции. Но после тех мундиров – все, конец. Родина потеряна на веки. Не только родина – имена, фамилии русские потеряны. Поверь мне, Геннадий. Уж

я-то знаю, я-то видел, я-то испытал.

– Что же делать? – сказал Генка растерянно.

Сабуров уже успокоился, говорил обычным своим ровным тоном:

– Прежде всего ответить самому себе на этот вопрос: чего же ты хочешь? Или того, о чем я только что сказал, или того, к чему призывает тебя твой народ. Третьего нет. Вот слушай. Я получил письмо из дому. У нас там был некий синьор Спада. Собственно, он и сейчас есть. Но я говорю «был», потому что он состоял в партии коммунистов, а теперь его в ней нет. Послушай. – И Сабуров прочел то, что о Спаде, о его провале на советской таможне, о его родне, о предстоящей новой женитьбе сообщала Делия.

– Я знаю его бывшую жену, – сказал, тоже приходя в себя после волнения, вызванного речью Сабурова, Генка, – Лера Васильева. Она выходит замуж за одного моего знакомого.

– Меня вот просят передать ей привет, – сказал Сабуров. – В Турине ее многие полюбили. Я ведь тоже ее знаю. Мы как-то однажды очень хорошо с ней беседовали на одном из итальянских холмов, высоко над морем.

– Хотите, мы к ним сходим завтра? – предложил Генка. – Сегодня-то поздно, в такой час даже к хорошим знакомым и то не очень удобно вваливаться.

Назавтра он созвонился с Лерой и Феликсом. Оказалось, что Лера уже переехала к Самариным, что они уже зарегистрировали свой брак в загсе и что вот несколько дней подряд к ним ходят поздравители, и как они ни старались избежать свадьбы, ничего из этого не вышло. Дробными частями свадебные торжества происходят каждый вечер, в том числе и в тот день состоится гулянка, и если Генка приведет иностранца, ничего страшного не будет, напротив, очень хорошо.

Узнав об этом, Сабуров раскопал в своем багаже альбом превосходных репродукций, лучших произведений живописи из музеев и частных собраний Венеции, тщательно, как и полагается в таких случаях, оделся, и они вместе с Генкой отправились к Самариным.

В тот вечер у Самариных собралась родня молодых – родители Феликса, родители Леры – да самые близкие друзья родителей, всего человек с двадцать. Подарок Сабурова был принят радостно, Лера поцеловала «синьора Карадонну» в щеку, сказав, что они старые знакомые. Его усадили на почетное место за столом. Справа и слева от него располагались крепкие здоровяки его возраста, видимо, любители не столько выпить («печень, сердце, давление»), сколько поговорить.

– Знаю вас, итальянцев,– сказал один с широкой улыбкой.– Под Сталинградом встречались, на Дону.

– Я там не бывал,– счел необходимым сказать Сабуров.

– Это эпизод, – согласился сосед. – А студень у вас в Италии едят? Мы считаем его чисто русским кушаньем.

– Да,– сказал Сабуров,– вы, очевидно, правы. Заливные делают во многих странах, а вот такой холодец…

– Ого, вы даже тонкости русского языка знаете! – восхитился сосед.–

Холодец!

– .Да, знаю. Холодец. Так вот, такого холодца нигде не встречал, кроме как в России, а если видывал его и за рубежами, то тоже только у ваших русских.

– Встречались с нашими эмигрантами-то?

– Случалось, конечно.

– Ну и как они? Все еще точат на нас зубы? Или одряхлели?

– Старые уж не точат. Точить нечего. Жалеют, жалеют, что удрали из России. А молодые… Из тех, знаете, которые во время войны ушли…

– Это же недобитки. Это понятно.

– Что значит – недобитки?

– Вражье. Кулачье. Мелкая дрянь. Я слышал, княгиня одна русская была в героях французского Сопротивления.

– Да, была. Вика Оболенская. Ее гитлеровцы казнили. Отрубили в берлинской тюрьме голову.

– Ну вот. А кулак, брат ты мой, на это неспособен. У него даже и показного благородства нет. Одна подлость.

– Вы, пожалуй, правы,– согласился Сабуров.– Очень нечисто плотный народец эти неоэмигранты.

Кто-то за столом затеял речь о том, как, мол, здорово, что Лерочка снова в Советском Союзе, на родине, и что еще не настали времена, когда человеку независимо от его национальности, от принадлежности к тому или иному народу на земле всюду будет дом родной.

Худенький старичок, как сказали – дедушка Леры, тихо, но очень внятно утверждал:

– Русский человек должен жить в России, а если Россия его не устраивает, он не русский человек. Россия!… Да ты выйди на берег русской речки, на холмик подымись, взгляни окрест – луга какие, поля, березки, а воздух-то, воздух – прозрачный, голубой, в ушах от него туго, аж звенит! Леса вдали. Облачка над ними. Белые на голубом. Краски мягкие, тонкие, по глазам не хлещут. Сядешь и засмотришься. И подумаешь. Об истории нашей подумаешь.

Он говорил об истории России, хорошо говорил, красочно, образно, и перед Сабуровым медленно проплывали картины давней, нездешней Руси, которая как бы и ушла в невозвратное, но связи с ней, минувшей, у новой России не оборвались. И, может быть, потому, что, став совсем другой, Россия не отказалась все же от древних ценностей своих, не порвала с ними, она вот так могуча ныне духом и своими начинаниями. Сабурову захотелось сказать тост. Спросив у соседа, как имя и отчество Лериного деда, он назвал его по имени и отчеству и заговорил:

– Вы сказали чудесную речь. Мне, иностранцу, она напомнила многое. У меня есть друг, русский человек. Он тоже живет в Италии, и мы с ним видимся иной раз. Родители увезли его из России маленьким. В годы революции. Они думали спастись от нее на чужбине. Своего сына они воспитывали в ненависти к ней. Вернее, они учили его раздваиваться: любить Россию и ненавидеть ее народ. Получилось плохо. Во имя такой странной любви к России без народа он, этот мальчик, когда вырос, пошел вместе с немцами отвоевывать себе

Россию от ее народа. А оказывается, без народа страна не существует. Она существует только с народом и для народа, для того, кто ей верен, кто никогда ей не изменит. Кто изменил России, пусть никогда ее своей родиной не называет, потому что это неправда. Некоторые из тех, кто бросил ее в трудные годы, кто проклял ее, под старость рвутся обратно: хотя бы, мол, умереть на родной земле. Но умереть на этой земле – это совсем не то, что жить на ней, и они не родину находят таким образом, а всего лишь могилу. За вашу замечательную Россию! За вашу! Я бы с радостью сказал: «И за мою, за нашу»,– но она, вы сами знаете, не моя. За вашу!

Леру насторожил тост синьора Карадонна. Она вспоминала разговор с владельцем виллы «Аркадия» там, в Вариготте, она вслушивалась в его чистую, правильную русскую речь, она видела, как дрожали его пальцы, в которых он держал бокал с вином, и ее стала мучить мысль: кто же он такой, почему так, почти со слезами на глазах, говорит о России?

– Феликс, ты знаешь, он русский,– шепнула она Феликсу.– Честное слово, русский. И тот мальчик, увезенный родителями, никакой не его приятель, а он сам.

– Не может быть,– тоже шепотом ответил Феликс.– Тогда почему он так свободно держится, не боится, что его разоблачат?

– Потому, что он хороший человек и об этом не думает. Мне его очень жалко.

В тот вечер Сабуров наконец-то увидел тех, кто разбил гитлеровскую военную машину. Друзья Самариных почти все были на фронте. Каждый готов был рассказывать об этом хоть всю ночь. Отец Леры, бывший военный хирург, пришел для торжественного случая при всех орденах. Сабурову разъясняли, что каждый орден собой представляет, за что его дают. Ему понравился и орден Ленина, и орден Красного Знамени, и орден Красной Звезды. Они были сделаны с большим вкусом. Пришлось и отцу Феликса доставать шкатулку с орденами. За каждым из этих знаков, изготовленных из платины, золота и серебра, стояли бои, атаки, раны, организация производства оружия, боеприпасов, ночи без сна, годы нечеловеческого напряжения. И в конце концов – победа.

Гости расходились среди ночи. Сабуров как пришел, так и ушел в сопровождении Генки.

– Еще раз говорю тебе, Геннадий, сказал он ему, прощаясь возле гостиницы, – непременно ответь себе на вопрос: чего ты хочешь?

– Стараюсь, господин профессор, – серьезно ответил Генка.– Ничего пока толком не скажу. Но стараюсь.

46

В Шереметьевском аэропорту Москвы, кроме представителей учреждений, с которыми была связана группа по своей работе, Сабурова провожали Генка Зародов и Лера Васильева. Лера просила синьора Карадонна отвезти синьоре Делии и синьоре Антониони какие-то пустячки из высоко-ценимого на Западе

русского янтаря, передать приветы Чезаре Аквароне, старому Пьетро, Луиджи, Пеппо, Эммануэле – всем, кого она знала в Турине. Генка ничего и ни о чем не просил, просто был готов подтащить чемодан, если надо, постоять в какой-нибудь очереди. Но и чемоданы таскал кто-то другой и очередей никаких не было, и применения он себе среди провожающих не находил. Заговаривал лишь время от времени с Юджином Россом. Но тот уже потерял интерес и к Генке, и к Москве, и вообще ко всей этой стране, куда Юджина загнали его хозяева. Он уже был в мыслях далеко от Шереметьева. Он получит деньги в Лондоне и махнет отдыхать. Куда? В Монако, на Цейлон, во Флориду…

Клауберг не вернулся в Москву. Работу завершали они вдвоем, Сабуров и Юджин Росс. После отъезда Клауберга и Порции Браун в группе все было спокойно, тихо, шло по плану. Юджин ни в какие авантюры уже не лез, учтя опыт Порции. Какие у нее были инструкции, он не знал, но ему было сказано весьма строго, что он обязан был делать свое дело в таких пределах, чтобы ни в коем случае не скомпрометироваться и не попасть в число таких иностранцев, которым въездных виз в Советский Союз больше никогда не дают. Он только зверски напивался каждый вечер и тогда мучил Сабурова бесконечными разговорами.

Среди толпы провожающих это сделать было нелегко, но Лера все-таки ухитрилась отвести Сабурова в сторонку и почти в самое ухо спросила:

– Синьор Карадонна, вы не в первый раз в Москве? Вообще в Советском Союзе?

– Нет, не в первый,– ответил он, помолчав.

– А родились вы не в России? Если не хотите, можете не отвечать. Но меня это очень волнует. Вы тогда сказали такой тост…

– Да, я родился в России. Я русский, Лера.

– Но тогда почему же?… Почему?…

– Невозможно. – Он понял ее. – Я опоздал. Лежать в земле? Не все ли равно в какой! А жить на этой земле с высоко поднятой головой я не могу, не имею права. Я ей изменял. Спасибо за участие. – Он пожал ее руку.

В положенный час самолет поднялся в воздух. Внизу лежали поля, изрезанные реками и речками, бесконечные леса. В них скрывались селения, заводы, города и городки. Карта под крылом была зеленой и голубой – от лесов и воды. Сабурову приходилось летать над многими странами. Они были раскрашены в другие цвета. Италия, от ее холмов, гор и ущелий, казалась бурой и лиловой, Германия почти вся была застроена, и всюду можно было видеть только красную черепицу. Нет, таких красок, мягких и тонких – старик, дед Леры, прав.– нигде, кроме как в России, не найдешь. Вот она там, бесконечная, неохватная, огромная. Какой идиот мог вбить себе в голову, что он может покорить, завоевать эту страну! Она плыла, плыла, плыла под крыльями самолета. Она уходила в оставленную даль. И Сабуров понимал, что от него она уходит уже навечно, что новой встречи с нею никогда больше не будет. От этого сжималось сердце, к горлу подкатывало, щемило. Юджин Росс возле него давно спал, приоткрыв рот. Тоже русский, думал о нем Сабуров. Ничтожество, обломок народа, пыль, разнесенная по свету ветром истории. Как было когда-то

и с ним, с Сабуровым, этот щенок помогает ныне врагам России, прислуживает им, но он, Сабуров, не зная правды, делал это из той ложной идеи, будто бы русский народ томится под властью большевиков и что он, идя на восток локоть о локоть с врагом, выполняет освободительную миссию, завещанную ему отцом. А этот? Он за деньги вредит родине своих отцов. Наемник. Ландскнехт. Мразь.

Подумав так, он усмехнулся. До чего же хитроумен человек! Всему, что касается его самого, он найдет оправдание. Смотрите, как ловко отделил себя от этого Росса. Он-де идейный, а тот наемник. На самом же деле разницы между ними нет никакой. Психологи, может быть, еще и могут копаться в их душах, история же заниматься этим не будет. Для истории они оба навсегда, на вечные времена эмигранты и даже, как в Советском Союзе по сей день говорят, белоэмигранты.

Под самолетом была уже Польша. Потом приблизилась и тоже ушла Восточная Германия. Потом Западная. Дания. Голландия. А дальше началось море, а за ним возникли берега Англии.

В Лондоне их встретил Клауберг. Он слетал, оказывается, в Мадрид, а к возвращению группы, к расчетам с издательством вот подоспел. Он был бодр, полон планов, на что-то намекал, подмигивал, говорил, что, видимо, махнет в Германию, в Ганновер.

Издательство приняло работу группы, специалисты хорошо о ней отозвались, и Сабуров получил такую сумму денег в английских фунтах, на какую даже и не рассчитывал.

– Да, заплатили щедро,– сказал Клауберг.– Надо по вашему русскому обычаю, Петер, спрыснуть успех.

Юджин, получив деньги, тотчас исчез, даже не попрощавшись, а Порция Браун в издательстве и вовсе не появилась – ни Клауберг, ни Сабуров не знали, где она, да и не хотели знать. От всей группы они остались вдвоем, и вдвоем спрыскивали хороший гонорар.

Они сходили в русский ресторан «Ля водка», хозяином которого был русский, много лет прослуживший поваром в ресторане офицерской русской вдовы Любы, обобравший ее и открывший это свое заведение. На эстрадке кривлялись напудренные певцы, с надрывом исполнявшие русские романсы, драли струны балалаек балалаечники. Это была карикатура на Россию, на русское, и при виде этого почему-то вспоминался оставшийся в Москве поэт Богородицкий.

Потом они сидели и в немецком ресторане, ели сосиски с капустой, пили пиво из гигантских двухлитровых кружек.

– Ну, не жалеешь, что послушался меня, Петер? – сказал в одну из лирических минут Клауберг. – Не зря я вытащил тебя из твоей глуши? Ну скажи!

– Нет, не жалею, Уве,– ответил Сабуров.– Хотя тут вот больно. – Он указал на сердце.

– Не теряй надежд, дружище! – Клауберг пробарабанил пальцами какой-то боевой марш о пивной столик. – Не все потеряно. Мы еще туда вернемся. Еще…

– Ты меня неверно понял,– перебил его Сабуров.– Мне больно потому, что я не с ними.

– Что?!

– То, что слышишь. И если вы,– он надавил на слово «вы»,– когда-нибудь пойдете туда еще раз, я уже буду не с вами, а против. Понял, Уве?

– Распропагандировали тебя, Сабуров! – зло сказал Клауберг, называя его подлинной фамилией. – Раскис. Он, видите ли, будет против нас! Да ты уже сейчас старые дрова. А что станет с тобой завтра? Мы вас всех… Мы из вас сделаем свиной фарш!

Сабуров поднялся и вышел из ресторана. Он еще день пробыл в Лондоне, накупая всякой всячины Делии и ребятам, и постарался с Клаубергом больше не встретиться. Все было кончено. Свиной фарш!

И вот снова Вариготта, Лигурийское побережье, голубое, в жемчужной дымке сентябрьское море. Ничто не изменилось за год на вилле «Аркадия». Чуть-чуть больше стало морщинок на лице Делии, немножко подросли ребятки, совсем красавицей стала дочь, уже невеста.

Прошли дни радостей от встречи, дни расспросов о том, что было за это время там и что было здесь, все улеглось в русло привычной, размеренной, однообразной жизни. Потекли дни будней.

В один из таких дней Сабуров отправился на автомобиле по своим любимым местам. Он углубился в ущелье, оставил там автомобиль и медленно, еще медленнее, чем год назад, поднялся на вершину холма, на котором встретил тогда Леру Васильеву. Он сел на то место, где сидел в тот раз, и стал смотреть на далекое море. Где-то вправо по берегу была Альбенга, затем– дальше – Санремо, а там и те места, в которых находится, как рассказывает Делия, роскошная вилла бывшего мужа Леры, Бенито Спада. Влево Савона, Генуя, Специя – то побережье, близ которого утонул поэт Шелли и где сочиняла свое страшное, полное глубокого смысла произведение его супруга мисс Мэри Шелли, известное миру под названием «Франкенштейн».

В морской дымке плыл большой военный корабль. За ним показался второй, третий… Тяжелый гул катился над морем. Где-то там был район учений военно-морского флота Италии. Там же находили себе прибежище американские корабли.

Сабуров смотрел вдаль, представлял себе мысленно Леру – и ту, какой увидел ее здесь, и ту счастливую, какой встретил в Москве. Подумал о Москве. «Чего же ты хочешь?» – вспомнился ему вопрос, который он задал там круглолицему, в веснушках, Геннадию. «А ты чего хочешь? – вдруг спросил он самого себя.– Ну-ка скажи, чего, чего?» «Но я же спросил так не потому, что сам все знаю. Я спросил так потому, что много ошибался в своих желаниях. На ошибках же учатся, и если мне уже учиться нечему, то не хотелось бы, чтобы мои ошибки повторяли другие. Пусть на них учатся они. Человек обязан знать, чего он хочет».

– Пешеканэ! Пешеканэ! – орали ребятишки, когда Сабуров вернулся в Вариготту. – Пешеканэ!

– Что, опять акулы? – спросил он у Делии, ставя машину на место.

– В этом году они стали еще крупнее,– сказала она.– Наши власти хотят воду посыпать от них порошком. Если не поможет порошок, надо будет ставить железные сетки с электрическим током. Иначе хоть море закрывай. Вот какие дела, пока ты пропадал где-то.

47

Булатов перечитывал короткое Иино письмо. В нескольких шутливых словах она сообщала ему о том, что на целых два года уезжает в Индию. «В Мадрасе есть университет, и я там буду преподавать. Не знаю, многому ли научатся молодые индусы от меня: мне всегда думалось, что учить я не способна. Но я-то, несомненно, кое-чему поучусь у их отцов и дедов. Возможно, что по возвращении вы увидите во мне убеждённого йога».

Представив лицо Ии, правильное, с крупным ртом и несколько суженными, удлиненными глазами, он подумал о том, что, когда кожа ее приобретет загар под индийским горячим солнцем, Ия станет походить на красивую индуску, особенно если еще наденет местные одежды – сари.

Было немного грустно от того, что она уезжает, что ее не будет в Москве, – так бывает каждый раз, когда из круга твоих встреч уходят, или надолго, или навсегда, хороший, интересный человек. Но было и радостно за Ию. Ей, молодой, пытливой, беспокойной, это долгое и нелегкое пребывание в ином, непохожем мире даст много, и она, в свою очередь, не будет в нем пассивна; напрасно она скромничает: молодые индусы приобретут совсем неплохую наставницу.

Булатов раздумывал о Иной судьбе, о ее жизни, о том, как с жизнью Ии пересеклась и его жизнь, о напрасных, мучительных подозрениях жены по поводу характера его и Иных отношений, и жалел о том, что письмо пришло слишком поздно: оно было брошено в ящик почтового отделения аэропорта. Ия улетела, она вчера уже вышла в Дели, под опаловое небо индийской столицы, в котором кружат и кружат черные коршуны, а на днях будет и в Мадрасе, на берегу теплого Бенгальского залива. Он ее не проводил, не пожелал ей счастливого пути. Жаль, очень жаль!…

В письме не было об этом ни строки, но Булатов не мог не понимать истинных причин столь неожиданного и поспешного отъезда Ии буквально за тридевять земель. Он не знал Иных разговоров с Липочкой Свешниковой, он не знал ее долгих размышлений о правомерностях и не-правомерностях вторжения в чужую жизнь, но он догадывался о чем-то подобном, и для него было ясно, что если Ия и могла в своем обескураживающе прямом стиле делать категорические заявления о том, что все средства хороши, если с их помощью достигают цели, то это только слова, на деле же она совсем иная.

Телефонный звонок прервал его раздумья над письмом.

– Василий Петрович, простите, пожалуйста, – говорил в трубку молодой

голос.– Это Феликс Самарин. Я долго не решался обратиться к вам. Но Лера сказала мне, что вы… Словом, мне очень надо с вами посоветоваться. Василий Петрович, не можете ли…

– Давай, Феликс, приезжай,– перебил его Булатов, слыша, как тот волнуется у телефонной трубки. – Давай. Сейчас же. Жду.

Через полчаса Феликс сидел перед ним в кресле и, бледнея, крутил в руках свернутую в трубку школьную тетрадь.

– Ну, излагай,– подбодрил его Булатов, бросив взгляд на эту лиловую трубку и прекрасно понимая, зачем к нему примчался молодой Лерин муж. Вот так же когда-то, еще до войны, он сам, рабочий авиазавода, прибежал к прославленному советскому писателю, держа в руках такую же вот лиловую трубку. – Рассказ, что ли? – спросил он точно так же, как его спросил тогда писатель. И так же, как тогда он, Булатов, Феликс вместо ответа только кивнул. – Ну давай, давай сюда! – Он взял трубку, нагретую рукой Феликса, развернул, разгладил на колене, про чел название рассказа: «Сладкая жизнь».– Наверно, о том, как одной молодой особе, уехавшей из Москвы за рубеж, не слишком-то сладко жилось там, а?

Феликс растерялся.

– Да,– сказал, смущенно улыбаясь.– А вы откуда знаете?

– Да знаю, брат, все знаю. Мой первый рассказ был, ты даже представить себе не можешь, о чем… О том, как поп порвал с религией, с церковниками. Это я чего-то такого тогда наслушался или начитался в га зетах.

– И что с тем рассказом было?

– Что? В печку сунул. Один хороший, умный человек посоветовал. Он сказал: «Ты поп?» «Нет». «У тебя знакомые попы есть?» «Нет». «А кто твои знакомые, друзья, приятели?» «Рабочие,– говорю.– Ребята по дому». «Вот о них и напиши. А тогда приходи снова».

– Понял, Василий Петрович. Отдайте тетрадку.

– Не спеши. Я ее все-таки прочту. Сунуть в печку никогда не поздно. Но вот что учти, дорогой мой. Если тебе вздумалось писать, пропащий ты человек. Одну тетрадку сунешь в печь, другую, десятую… Но все равно рука твоя потянется к следующей, к новой – одиннадцатой, двадцатой… Жена твоя будет на тебя злиться за то, что…

– Лера не будет! Она не такая, Василий Петрович!…

– Да, я понимаю, она особенная. Но ей захочется в театр, в кино, на Химкинское водохранилище, а ты со своими тетрадками. Друзья тоже начнут выражать недовольство. Забурел, мол, прячешься. А ты над своими тетрадками сидишь. Тебя будут бить критики по рукам, по голове, по чему попало. А ты… Ну скажи: во имя чего ты хочешь пойти на такие муки?

Феликс не ожидал подобного вопроса. Он не находил ответа. Молча смотрел на Булатова. Но смотрел не растерянно, а с тем самым упрямством, о котором только что сказал Булатов, когда рука сама собой тянется к одиннадцатой, к двадцатой тетрадке. По ней бьют, а она, тянется, тянется.

– Столько всего на свете,– сказал он наконец.– Вот хочется сказать людям, что ты об этом думаешь. Как расцениваешь то или иное.

– «То или иное»! Попробуй прежде всего рассказать людям о себе. На твоем поколении величайшая ответственность за судьбу страны, а в конечном счете за судьбу коммунистического завтра на земле. Вот что ты думаешь о себе, о своих друзьях, о своих подругах, расскажи. Так ли живешь сам, так ли живут твои товарищи. Куда вы идете, к чему стремитесь. Ты прав: столько всего на свете. Но среди этого всего есть главное. Не трать себя на раздумья о пустяках, на расписывание их на бумаге. Думай о главном. О цели нашей жизни, о путях к ее достижению. Мы прокладываем дорогу человечеству. Нам трудно. Но это трудность не обывателей, а пионеров, разведчиков. Ты меня понимаешь?

– Понимаю, Василий Петрович. Хотя бы потому понимаю, что так же, как вы, говорит мой отец. На вас, мол, ответственность – не про пляшите то, что вам передают из рук в руки старшие поколения. Вы уже не мальчики, задумывайтесь о будущем. У вас уже свои дети – у кого есть, у кого вот-вот будут. О их судьбах подумайте. – Ну и что, думаете?

– Думаем. На днях Свешниковы вернулись из Пскова. В восторге оба от поездки. Антонин – он же мне вроде молочного брата – просто вопит: «Я, дескать, в трех соснах путался, жизни, души народа не знал, я ему богородиц и страстотерпиц преподносил, а народ не бледно-зеленое, не синее лицо, а румянец во все щеки! Не святые и не святоши жизнь творят, а богатыри-труженики».

– Вы у него в мастерской были? – поинтересовался Булатов.

– Нет, Василий Петрович. В Шереметьевском аэропорту позавчера встретились. Ию Паладьину провожали в Индию.

– Ию? Вы были в аэропорту? – Булатов чиркнул зажигалкой, что бы прикурить сигарету.

– Да. Такая мужественная, шутила до последней минуты, но все-таки прослезилась. Просила поцеловать вас при случае. Я сказал: сама целуй, когда вернешься.

Зажигалка все горела, неприкуренная сигарета была зажата в пальцах, Булатов смотрел в глаза Феликсу, но видел не только эти настороженные глаза. В глазах этих ему виделся мир, в который вступал Феликс. В том мире были радости, горести, встречи, расставания, была любовь, были трагические разрывы, был труд – как подневольная лямка для одних, и труд – как радость, как творчество для других, – было все, из чего состоит жизнь человека и человечества.

Занятый мыслями, он не заметил, как Феликс, именно и стараясь сделать это понезаметней, взял со стола свою тетрадь, вновь скрутил ее в трубку и сунул в карман. Чтобы через какой-то срок принести, конечно, вторую, третью, двадцатую…

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
BooksCafe.Net
Оставить отзыв о книге
Все книги автора